



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

11-12 (465)

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Иван Козлов. «Пусть меня забирают по праву...» и др. стихи.....	3
Герман Бер. ковальски. повесть.....	8
Сергей Шуба. «Дети правда тебя отпускали одну...» и др. стихи.....	34
Андрей Тавров. Клуб Элвиса Пресли. Роман.....	38
Александр Авербух. Свидетельство четвертого лица. Стихи.....	160
Алла Дубровская. Египетский дом. Повесть.....	164
Наталья Черных. Три элегии памяти Ю.М.	203
Андрей Пермяков. Новые стихи для Жени Коробковой.....	207
Валерий Земских. «Оно прошло сквозь дверь...» и др. стихи.....	214
Александр Дергунов. Кадры решают всё. Из цикла «Конец эпохи двух нолей».....	218
Сергей Чернов. Очень странная игра. Рассказ.....	223
Светлана Гусева. «разместились скучно хлопотно...» и др. стихи.....	226
Михаил Моисеев. «Человек отпускается по рецепту...» и др. стихи.....	230

ПУТЕШЕСТВИЕ

Каринэ Арутюнова. Окрестности улицы Данте. Из книги «В тени тутового дерева».....	234
--	-----

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Анна Сафронова. Осенние отражения Наталья Ключарева. Счастье. Роман; Анна Козлова. F20. Кинороман.....	254
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Андрей Пермяков. Продолжение, увы, следует? Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2012–2016).....	260
Алексей Александров. Diamond Collection и Миндальное дерево Журнал «Новая Юность». Избранное. 2015; Гнездо. Литературный альманах. 2016. №3.....	263
Сергей Трунев. У человека – заживи Привычка жить в гетто: неподцензурный поэтический альманах.....	264
Иван Стариков. Ахиллес из Выхина Дмитрий Данилов. Два состояния.....	266
Инна Домрачева. Здесь бездну заворачивали Сергей Ивкин. Грунт.....	268

НАША ХРОНИКА

Николай Аржанов, Алексей Александров, Олег Рогов, Алексей Голицын.....	271
---	-----

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ ЗА 2016 ГОД.....	273
--	-----

Иван КОЗЛОВ

Пусть меня забирают по праву
Города, возведённые теми,
Кто за мной неусыпно следит

Из промзон, не снимающих траур,
Фонарей, источающих тени,
Лестниц, лифтов, провалов и плит

Я смотрю, как расходятся кольца
На поверхности лужи осенней,
Как над озером стелется дым

Подо льдом моего беспокойства
Страх в чудесный момент воскресенья
Не подняться из чёрной воды

Волк проглотил меня и не убил случайно
Не прожевал второпях, только щёлкнул пастью
Чувствую ужас и почему-то счастье
Слышу стук сердца его и кишок урчанье

Волки стремятся добраться до края ночи –
Хищники кроме смерти ни с кем не дружат.
Я для таких в лучшем случае сытный ужин
Но ведь и то – недожёван и худосочен.

Волк перепрыгнул овраг, перешёл болото,
В ельник метнулся. Чтоб не терять надежду,
Нужно уметь больше смерти любить кого-то
Это почти невозможно, но неизбежно.

Иван Козлов родился в 1989 году в Перми. В 2013 году закончил филологический факультет ПГУ по специальности «Журналистика». В 2010-2011 году был обозревателем в интернет-газете «Соль», после этого с разной периодичностью или по случаю пишет для различных федеральных изданий. В 2012 году возглавил пресс-службу музея современного искусства PERMM, тогда же стал лауреатом премии для молодых поэтов в рамках пермского поэтического фестиваля «СловоNova».

Лес опустился в дремоту, лишился красок
Волк затаился во мраке еловых веток.
Ты повстречаешься нам на краю рассвета
В шапочке красной, с ножом для разделки мяса.

Когда ты окунаешься во тьму
Дворов ночного спального района
Среди предметов неодоушевлённых
Так страшно очутиться одному

Скрипят качели, сушится бельё
Здесь нелегко остаться одиноким –
Скамейки, турники и шлакоблоки
Фиксируют присутствие твоё

Они все оскорбительно живей
Тебя, меня и всех нас вместе взятых.
Ты здесь родился и выросл когда-то
Теперь крошись, ломайся и ржавей.

Вас всё ещё соединяет нить,
Но ты для них чужак и инородец,
И в прошлое, как в высохший колодец
Спускаешься, чтоб жажду утолить.

Мириам поселяется в доме, в таёжной глуши.
Топит печь, ставит чай, создаёт минимальный уют,
Сидя в кресле, листает альбом, никуда не спешит.
Это днём. А к закату её непременно убьют,

Если только окно не зашторить как можно скорей
Если вход не закрыть, зеркала не повесить тряпьем.
С темнотой подбирается холод, стоит у дверей,
Чтоб коснуться тебя, стать хозяином в доме твоём.

Мириам, это память – метель, гололёд, снегопад
Оставайся в укрытии, это полезный совет.
Никогда не бывай там, куда невозможен возврат
С географией можно поладить, со временем – нет

Выбрось старые вещи из дома, какой от них прок,
Не храни их внутри, их и так у тебя не отнять.
Будь одна, Мириам, только не выходи за порог.
Зиму сменит зима,
и опять, и опять, и опять

Ангар неизвестного назначения, брошенный, одинокий.
В дальнем углу навалены кучей битые стеклоблоки.
Снаружи, в осеннем некошеном поле, произрастает мятлик.
Мог ли ты здесь при жизни бывать? Наверяд ли.

Ты никогда и не был, но вот погляди ж – вернулся
Без документов, одежды, дыханья, пульса.
Время в ангаре как будто бы сплошь состоит из пауз,
[Где-то на фоне играет Sleep Has His House]

И непонятно, что происходит. Явно что-то не то, но
Пока ты становишься воздухом, грязью, стеклом, бетоном,
Чувствуешь, сколько во всём этом заключено покоя.
[Sleep Has His House сменяет гудение – тихое, нутряное]

Пока ты стаей голубей
Над крышами паришь
В моей груди растёт репей
Во рту ютится мышь

Мне абсолютно всё равно
Я всплеск воды в пруду
Я камень, брошенный на дно
Лежу и просто жду

Когда концлагерные рвы
Заполнит дикий мёд
От смерти нет в саду травы
Но скоро прорастёт

Прошу, будь рядом в этот день
Незрим и невесом
Нелепый танец на воде
Станцуй мне перед сном

Зимой по ночам
Выходили курить на балкон
Обнаружили, что на крыше каждого дома
Спрятаны корабли

В колючее зимнее небо
Поднимается дым из труб

Каждый готов отчалить
Хоть в следующую минуту

Красные лампочки по бортам
Словно все уже поднялись, разошлись по каютам
Значит, скоро и нам.

Но пока, покурив, возвращаемся в темноту
В кровать, под изорванный плед

Никого, кроме нас, больше нет
Мы вдвоём

Пыль, куски арматуры,
Осколки бетонных глыб

Так в одном из декабрьских снов
Выглядит микрорайон

Но ни крови, ни трупов, ни слёз
Все спасутся
Никто не умрёт

Потому что флотилия
Вышла в открытое небо
Двигается вверх и вперёд
Выше и выше.
Просыпаемся ночью
Курим
Присматриваем за кораблями
На заснеженных крышах

Принцесса Тамара оглядывает уголья, стоя на гребне холма
Земли, которые предки её собирали из века в век –
Волшебные рощи, поляны цветочные, пряничные дома,
Фонтаны, бисквитные берега полноводных священных рек

Тамара идёт по секретной тропе – озирается, словно вор,
Стараясь остаться никем не замеченной, не помня себя, спешит
Туда, где качается над рекой потаённый сосновый бор,
Туда, где Степан Алексаныч её ожидает в лесной тиши

Степан Алексаныч, вне всяких сомнений, наследный принц
Но имя его как будто из мира, чужого для здешних мест
В том мире принцесса Тамара не различает лиц
Не совершает движений,
Через трубочку ест

Вокруг отсыревшие блёклые стены, на стенах узор грибка
Ей плохо, какие-то мрачные люди пытаются ей помочь
Она видит мух в ожерельях тенёт, свисающих с потолка
И этот кошмар настигает принцессу Тамару каждую ночь

Там есть и Степан Алексаныч, но он совсем не почтенный сэр,
А мятый мужчина, который всё время подавлен и отрешён.
Вместо камзола он носит нелепое рубище с надписью «СССР».
– Как замечательно, – шепчет принцесса, – что всё это просто сон

Упал на траву, споткнувшись о скользкий камень
Собрался подняться, но замер, едва дыша.
Болотная мара украденными зрачками
Глядит на меня из зарослей камыша

Вставать бесполезно, теперь никуда не деться
От той, для кого я холод костей берёт.
Она не шевелится, лишь голова младенца
Трепещет на шее, изящной, как стебелёк.

Я всё ещё там, похороненный в жёлтых листьях
Меня навещает осень, хотя и без
особенных чувств. Её хищная морда лисья
Моими глазами смотрит куда-то в лес.

Герман БЕР

КОВАЛЬСКИ

повесть

...till human voices wake us...
T.S. Eliot

1. ковальски едет на работу

все утра мира на один цвет, с поволокой. глаза обвязали темной лентой и выпустили за дверь. завести машину, подождать, пока прогреется печка; размять пальцы, ладонью тереть о ладонь, сперва медленно, потом быстро-быстро, но прежде, перед уходом, ополоснуть лицо холодной водой, позавтракать: яблоко и греческий йогурт чобани. йогурт нежный, обволакивающий, приготавливающий к дневным делам. только не абрикосовый, не нравится слово абрикос. малиновый, ананасовый, с ломтиками на дне баночки. вычерпывать белую, желтую, розовую массу. в яблоко нужно вгрызаться. нектар скапливается в уголках губ. промокнуть губы бумажной салфеткой. йогурт – тихая с кислинкой нежность, яблоки по ту сторону кожуры – твердо-сладкие, напоены соком. добраться до сердцевины, уничтожив всё остальное. поединок с яблоком заканчивается победой рта: огрызок летит в мусорное ведро. яблоки покупает линда на фермерском рынке, глубокий бумажный пакет *спасибо за доставленное удовольствие* на полу возле холодильника. линда повторяет обычное: *яблоки обладают целебными свойствами*. печка прогрелась, стефан ковальски садится в машину, включает радио. передают обстановку на дорогах города и предместий. *на двести восемьдесят седьмой загорелась фура, пользуйтесь другими дорогами*. в слове *позавтракать* щепоть наслаждения, вкусное в середине. *на мостах и в туннелях движение идет нормально...* сказать сыну, что мы не сможем завтра пойти в филармонию; сдать или продать билеты, желающие найдутся. ковальски смотрит в предрассветную мглу. передают новости: *подарите нам двадцать две минуты своего времени и мы подарим вам мир*. давайте, дарите мне ваш дивный, новый мир. выдавливает из себя улыбку. *в квинсе убит имам. два года назад приехал из бангладеш (бан-гладеш, медленно повторяет ковальски). убит выстрелом в затылок; санитарные службы закрыли несколько мексиканских ресторанов, не соблюдающих санитарные правила; на севере страны найден труп женщины. она шла по лесной тропе из джорджии в штат мэйн, но заблудилась в вермонте и умерла от голода*. ковальски выключает радио. на повороте смотрит по сторонам, не подрезали бы, не разбили бы крыло. предместье спит, окунаясь в предрассветное беззвучие. почти во всех домах темно. там, где включили свет, одеваются, отхлебывают кофе, поглядывают на часы. утро, наверное, самое свободное время суток, думает ковальски, свободное от себя. пластмассовые мусорные баки выставлены на асфальте возле домов. вповалку лежат ненужные вещи: старые настольные лампы, полосатые в бурых потеках матрасы, кривобокие этажерки, газонокосилки со следами гари на оранжевых корпусах, старые мониторы. на соседней улице смуглая женщина с маленькой девочкой разглядывают выброшенные предметы. женщина подхватывает настольную лампу, девочка подбирает шнур; вдвоем возвращаются к машине. голова женщины повязана ярким платком. на девочке безрукавка и пегие шорты. совсем с ума посходили, в середине зимы, мысленно восклицает ковальски и продолжает движение. в убывающей темноте дома смотрят углами, щели между торцами строений и пустотой, которая отталкивается от стен. язык деревьев понятен,

Герман Бер – писатель, переводчик. Родился в Москве в 1970 году. Эмигрировал в США в 1991 году. Живет в Мэдисоне, штат Висконсин. Работает программистом. В «Волге» публиковалась повесть «Сулико» (2015, №9-10).

они говорят гулким воздухом между ветвями, случайно схваченными извивами, кротостью замедленного роста, или, наоборот, режут взгляд бессильной корявостью. если дует ветер, провозжают хмурыми взмахами перед выездом на трассу. междометия тянущихся мимо предместий: внезапный сигнал светофора справа внизу, сонный школьный автобус забирается на пригорок, мальчик с рюкзаком на краю дороги. он ждет автобус, чтобы залезть и согреться. вороньи гнезда в верхних ветвях клена, как огромные скучные чаши; птицы, сидящие на деревьях, стылая земля, безличная, как затисканная ученическая тетрадь, выгнуто-вогнутая. линда часто говорит за ужином: *вот оно как хорошо, мы живем в лесу*. ковальски объясняет, выпуская столовую ложку, что это только с виду хорошо. лес обладает дьявольским аппетитом, он похож на работу времени, которое проглотит меня и тебя, любимая. линда сладко зевает, берет серебряный половник и подливает супа. *сказать линде, чтобы сдала билеты*, напоминает себе ковальски. он рассматривает номера автомобилей, мчащихся мимо. три буквы и четыре цифры. читает: *был, рок, фак. был-рок-фак*, ковальски напевает себе под нос. первые ласточки исчезновения домов, деревьев. редкие конусы крыш, черепичная натяженность кровель. ковальски мчится по трассе, ведущей на север, мимо звукопоглощающих заграждений грязно-розового цвета.

остается земля, незастроенная. низины, глиняные ладони, повернутые к небу. приращение темно-серого предутреннего воздуха; слово *предутренний*, выпятить губы и произнести. на покатых склонах редкие дома, сдаются на милость суглинку или что там таится под ними. холмы, прыгкие, как олени, внезапно перебегающие дорогу. они выстреливают навстречу, горчично-коричневые, из прозрачной лесополосы. олени лежат на обочинах, застывшие в смерти. живые с живыми, но мертвое тело – вопрос без возможности ответа, встреча, от которой неловко, как будто сосед обмочил штаны. ковальски вспомнил любимое: *он либо умер, либо преподает грамматику в младших классах*. он переводит регулятор тепла на два деления влево, температура в салоне падает, тепло отступает быстро. ковальски вжимается в демисезонный плащ, подарок линды на рождество. вчера перед сном читал книгу, называется «непогода». ковальски воскрешает вечернюю колкость: ненастье начинается на пятнадцатой странице; до конца так и не распогодилось. плащ бежевый, на три размера больше, чем нужно. ковальски думает, что в этот плащ поместились бы они с линдой. вечером линда на кухне, в красно-зеленом фартуке. каштановые после покраски волосы, взгляд чуть раскосый (моя монголочка, дразнится ковальски), теплое прикосновение рук, плечи широкие, такие бывают у пловчих, хотя линда не умеет плавать. вчера приготовила итальянский суп минестроне. останется, думает он, на сегодняшний вечер. нравится въедливый холод в салоне, плащ, который не греет.

ковальски сворачивает на главную улицу городка, движется к школе, где работает учителем английского языка и литературы. ещё не рассвела глазурь пряничных фасадов. городок стоит опустошенный, как израсходованная батарейка. женщина выгуливает лабрадора. он давно привык к присутствию этой дамы. двенадцать лет выгуливает, подсчитывает ковальски. несколько автомобилей подъезжают к бубличной. бодрые старушки возвращаются из тренажерного зала, покупают кофе и бублики с маслом. ковальски притормаживает возле бубличной, пропуская старушек. сквозь стекло он смотрит на экран телевизора, подвешенного под потолком. молодой человек субтильной наружности направляет лучик лазерной указки на атмосферную карту. говорит, помогая себе бодрыми жестами. на экране возникает картинка с прогнозом: *облачно, ветер двадцать миль в час, температура тридцать восемь градусов по фаренгейту*. зима бесснежная, хоть бы один снежный день, думает ковальски, проснуться бы от директорского звонка: *по причине неблагоприятных погодных условий школа сегодня закрыта*. тогда ковальски и сын возьмутся за руки и запляшут в гостиной, а потом вытащат кусочки льда из холодильника и бросят в унитаз, и линда возмутится, *какие вы бессовестные*. а мы вправду бессовестные, воскликнет ликующий ковальски. да здравствует жирный, несбывшийся саван снега. ковальски выжимает педаль газа, погружается в пустоты и складки демисезонного плаща.

он проезжает продуктовый магазин, парикмахерскую, задраенные окна ресторанов, похоронную контору; наконец, приближается к зданию школы. псевдоклассический стиль времен великой депрессии. огромные, толстые колонны вдоль фронта, что-то слоновье в них есть. машина вкатывается на школьную парковку. ковальски выползает из салона и припускает вихляющим аллюром работника народного просвещения. пробегает школьный газон, тянет на себя входную дверь. в помещении тепло и сухо. ковальски ловким движением стаскивает плащ и перекидывает его через левую руку. в правой он держит зеленый портфель из крокодиловой кожи.

2. дэнни: начинается день

ветер подталкивает *заходи скорей, теленочек*. мать называла бычком или теленочком, *рослый ты у меня*, говорила, *уродился, пухленький, круглые плечи, морда сладкая*. ветер, проталкивающий сквозь, приводящий меня сюда, лижущий на прощанье затылок. напротив главного входа, между двумя стеллажами со спортивными трофеями, светится плазменный экран. останавливаюсь перед экраном. пересматриваю слайд-шоу: ледовый отель, замерзающая полоска кленового сиропа на снегу, серебристые шпили церквей, собачьи упряжки, косая челка снега в фонарном свете. потом показывают фотографии школьного мюзикла: главная героиня поёт о неразделенной любви; мальчик в роли директора бродвейского театра подбрасывает цилиндр в воздух и порывается что-то сказать, но, преисполненный восторга, не может выразить своих чувств; действующие лица танцуют чечетку, ударяя каблучками туфель по дощатой сцене. среди танцующих я увидел ри, её байковую рубашку и разведенные руки, замершие в жесте *милости просим*; легкий наклон вперед, вместе с другими, отбивающими чечеточный такт под песню *мальчики любят девочек, да будут они достойны сладких объятий*. нежное чучело, ласково подумал я, родной теленочек. она исполняла роль водопроводчика. выходила на сцену во втором действии и спрашивала: *водопроводчика вызывали? это у вас протекает кран на кухне?* штаны на подтяжках, байковая рубашка в мелкий горошек; сзади к рубашке пришили крылышки. пока водопроводчик-ри устраняла неполадки, влюбленные целовались в сторонке. ри подмигивала залу, кривила губы, давая понять, что не собирается прерывать поцелуй. вздрагивали крылышки. я ходил на каждое представление, на каждое приносил для неё цветок, на первое – алую розу. она удивилась и даже зарделась немного. исполнители главных ролей кланялись залу с пустыми руками; ри помахивала моим цветком. во второй раз преподнес ей желтый тюльпан. она рассердилась и зарычала: *перестань таскать цветы каждый вечер*, и я сказал, что не перестану, пусть даже не думает. на последнее представление пришел с гладиолусом, завернутым в папиросную бумагу. я подбежал к сцене и, как в предыдущие два раза, протянул ей цветок. ри схватила гладиолус и сразу же передала его, как эстафетную палочку, школьной примадонне, которая по сюжету мюзикла флиртует с директором бродвейского театра. это они целуются, пока ри чинит кухонный кран. сначала я разозлился. зачем она отдала цветок этой лахудре, ведь я специально купил его для неё и завернул в папиросную бумагу, приятную на ощупь? потом я понял всё-таки: ри не такая, как все, цветок отдала от щедрости; я бы сам так поступил, если бы меня задаривали цветами. после мюзикла я подстерегал её в школе и на улице, но она упорно не замечала меня.

в детстве я любил карабкаться на ледовую горку возле дома. карабкался и падал, но поднимался и дальше лез, и снова падал. мама смеялась и говорила: *упорный мой теленочек*. я не собирался капитулировать перед ри, ходил за ней по пятам. одноклассники спрашивали: *что ты за ней все время бегаешь? смотри, затаскают тебя по психологам*. она мне нравится, очень нравится, отвечал я. не хочу стыдиться своих чувств. тогда джонни мальфо спросил: *ты готов на все ради ри?* да, готов. *тогда подойди к ней на уроке французского и пролай, как пёс*. я не хочу лаять, ответил я. *значит, твоя любовь – пустые слова*, сказал мальфо. в глазах мелькнул огонек презрения. остальные мальчики закивали: *нет, ты не любишь её, сам говорил, что готов на всё*. ладно, подумал я, сделаю, как хотите, докажу, что люблю по-настоящему. на уроке французского, пока мадам орландо, повернувшись

спиной к классу, выписывала тему изложения, я подошел к ри, упал перед ней на колени и залаял, как домашние псы, когда они лают не со злости, а чтобы напомнить о своем присутствии. потом заскулил. все смотрели на меня, как будто я свихнулся. некоторые смеялись. ри сказала *перестань, придурок*. мальфо с задней парты кивнул одобрительно, *молодец парень, сдержал слово*. я скулил и лалял не для мальфо, а чтобы себе доказать. мадам орландо повернулась к классу и объяснила тему изложения. после урока подозвала меня: *дэнни, ты опять забыл выпить таблетки?* нет, мадам, не забыл. *тогда почему ты срываешь урок, ведешь себя, как помешанный?* я сам не знаю, мадам. я боготворю её. *ясно*, сказала она и повела меня к школьному психологу, покачивая бедрами, как деревянная крона перед летним, освежающим ливнем. мадам легонько постучала в дверь. это был стук, похожий на поглаживание. *входите*, отозвался скрипучий голос. старик с продолговатым лицом, в очках с толстыми линзами порылся в боковом ящике стола и вытянул папку с моей фамилией. просмотрел содержимое, ухмыльнулся, посверкивая угольками глаз: *молодой человек, вы не забываете о своих лекарствах?* не забываю, ответил я. *хорошо, хорошо*, продолжал психолог, *почему вы не даёте покоя этой девушке?* он назвал фамилию ри. я влюблен в нее. *ну, если влюблен, тогда понятно*, он взял со стола механический карандаш, и рисовал в воздухе невидимое сердце. *вот что я вам посоветую, молодой человек. если вы не хотите провести остаток учебного года в моем кабинете, научитесь держать дистанцию, любить, так сказать, на расстоянии. жизнь – такая штука, что не всякое наше чувство находит отклик в сердцах других людей. вы понимаете меня, молодой человек?* безусловно, ответил я. *тогда не стану вас больше задерживать*. в тот день я встретил ри возле столовой. она была печальна: *ты хотел, чтобы мне было больно?* наоборот, думал, что ты засмеешься вместе с другими. *дэнни, ты – форменный кретин*, сказала она.

в семь часов утра в школе никого нет, столовая закрыта, толстые тетки в белых передниках не выкладывают на синие подносы банановые и ореховые кексы, кофе еще не сварен, не кипятится вода для чая. я разгуливал по школе, останавливался возле доски объявлений, разглядывал вырезки из газет: два хоккеиста несутся по льду, у одного над головой кубок нашего штата, болельщики толпятся возле пластиковых ограждений, похожие на масло, размазанное по куску хлеба. они мозжатся по ограждению, поднимают правую руку в триумфальном жесте *мы победили*. лица вытягиваются, кривятся, или, наоборот, сжимаются, морщатся, как будто состарились. рядом фотография-портрет. выпускник школы, ефрейтор армейской разведки... когда в город привезли тело, нас вывели на главную улицу. мы стояли на тротуаре. ждали, когда начнется. наконец показалась машина с заженными фарами, сияющий катафалк. я увидел голову водителя и руки в белых нитяных перчатках. в кабине следующей машины плакала женщина в черном платье, рядом сидел грузный мужчина и смотрел вниз. женщина высморкалась. деревья сонно покачивались. на другой стороне стояли два старичка в военной форме. взяв под козырек, они не сходили с места, пока процессия не скрылась за поворотом. рядом стояли их жены. в руках они держали флаги. я тоже размахивал флажком.

корейцы приходят в школу к семи часам. два корейских фрэшмена перешептывались на гуттаперчевом английском, их слова отскакивали от ртов, как теннисные мячики. я услышал, как один говорил другому: *и тогда он мне сказал, чтобы я облизал руль велосипеда. я ответил, хорошо, джек, и облизал языком велосипедный руль, и он оказался солоноватым на вкус. я стоял рядом с велосипедом и думал, а что если кто-нибудь заметил, как я облизываю велосипед*. я не расслышал, что ответил другой кореец, потому что направился в туалет, из чистого любопытства, прочитав надписи на стенке крайней кабинки. там интересное пишут. *эй вы там, в чем смысл жизни?* спрашивает один, а другие отвечают. я прочитал свежее: *смысл в том, чтобы не утонуть в этом дерьме*. мне понравилось это. я подумал, что мир, наверное, представляет собой один большой канализационный слив. мы не чувствуем вонь, настолько мы к ней привыкли. я дал себе слово, что останусь на плаву до конца, буду плыть изо всех сил, пока какой-нибудь псих не засветит веслом по темени, и тогда я пойду ко дну, и меня сожрут ваши говенные рыбы.

3. ковальски занят делом

ковальски заглянул в преподавательскую столовую. кевин, допивающий кофе, увидел его и воскликнул: *сейчас прикончу это пойло, посыплю голову вонючей тинейджерской перхотью, упаду на пол, накроюсь директорским пиджачком и засну смертью храбрых.* кевин работает с умственно отсталыми. после ланча ходит с напарником-дауном по коридорам, от одного кабинета к другому. собирают макулатуру и стеклянную тару. сперва стучат в дверь, потом заглядывают: *слушай, ковальски, есть у тебя бумага для этого?* даун стоит рядом, держит пакет для бумаги, верхняя губа елозит по нижней. получив порцию макулатуры, кевин поднимает правую руку к потолку, отгибает указательный палец и говорит: *благослови нас, ковальски, и наставь на путь истинный, да не будем вхожи в совет нечестивцев. веди нас в райские кущи.* сегодня ковальски спросил, скорее из вежливости, чем ради того, чтобы завязать разговор: *как живется тебе, кевин, на скоростной полосе?* тот осклабился: *я давно перемахнул в среднюю, скоро переберусь в правую, а там в запасную, а потом на обочину съеду.* ковальски заставил себя улыбнуться. ничего, ничего, прорвемся, главное, не сдаваться, пролепетал ковальски. покинув кевина, отправился проверять контрольные и готовиться к урокам.

в учительской разложил на столе бумаги и начал проверку. ответы учеников туманны, почерк – уродлив, глуповат. он ставит галочки, не вчитываясь в написанное. ковальски откладывает контрольные, берет книгу и читает знакомое *о если бы этот сгусток мяса растаял, изошел бы росой.* он воображает тающее тело, кожу, которая, как снег, оседает медленно, превращается в водяные капли. смотрит на учительниц, сидящих за соседним столом. вспоминает слова, сказанные сыном в детстве: *роса – это когда земля плачет, и некому вытереть её слезы.* раскрывает ученическую тетрадь, продолжает проверку. учительницы сидят возле фрамуги. миссис чияльди пришептывает: *она не отпускает меня, только мы ляжем, кричит из своей спальни: мама, мама, я не могу заснуть. я уйду к ней. мы засыпаем рядом. перед тем как заснуть, она шепчет: балу, балу, балу. иногда она бьет меня кулачком в живот, и я говорю ей: маме больно.* другая учительница, миссис пилиаскис, качает головой, советует спать отдельно, *нехорошо для психического развития ребенка.* чияльди не слушает её: *младшему никки три года. муж играет с ним в одну и ту же игру, берет щетку для одежды и прячется за диваном. когда в комнату входит никки, муж выпрыгивает из засады и начинает размахивать щеткой. никки убегает на кухню, муж гонится за ним, настигает и скребет щеткой по мордочке никки. на днях купали его, а он выбежал голенький, встал на стул, и брызнул по книгам (муж коллекционирует старинные издания). муж не знал, плакать ему или смеяться. потом мы сушили каждую книгу под феном...* миссис пилиаскис рассмеялась: *через двадцать лет вы будете открывать эти книги, чтобы почувствовать запах своего ребенка.*

ковальски завидует женщинам, которые жуют бутерброды в учительской. он наливает теплый зеленый чай из термоса, медленно втягивает чайную горечь. он, который говорит о погоде – снежный бы нам денечек, согласен на всё, лишь бы снежный. спрашивают: *как вы отпраздновали день валентина?* ответить невнятно, неплохо, неплохо, спасибо, что спросили. перенаправить вопрос: а вы? а другие? карусель в парке, *мэри гоу раунд*, ковальски помнит нэтэли, катание на карусельных лошадках, музыка веселенькая, *если любишь, то всего добьешься.* он думал, что, да, любит, и всё будет, как он желает: твидовый пиджачок, лекции по английской поэзии, девушки, увивающиеся за ним. неподалеку от карусели ковальски лежал в обнимку с нэтэли. приспускал шорты. от нескольких её прикосновений извергался в траву. кустарники, в которых они прятались, теперь разрослись, наверно, столько семени разлито вокруг. кольхайтесь, веточки на ветру, наливайтесь соками моих надоев. надо было успеть повернуться к земле, чтобы не заляпать её платье. он всегда успевал. ездили вместе на тресковый мыс. экскурсоводка рассказывала о девственных лесах коннектикута и они смеялись. о если бы в этих лесах побывала моя похоть, думал про себя молодой ковальски. однажды лежали вместе, и она сказала: *у меня задержка.* он испугался, поду-

мал: несчастный кролик ковальски, теперь надо искать клинику, потому что зачем ребенок, если жизнь только-только затеплилась. через день начались регулы, он обрадовался. они пошли в кино и смотрели фильм про человека, который втирается в семью генерала, а потом всех предает, и она заплакала в конце. она верила в бога и думала, что ковальски на ней женится. однажды приехала в гости, начала говорить пустое: ты, мол, ковальски мне не муж, сначала женись, а потом проси, о чём хочешь. ковальски не помнит, в чем заключалась его просьба. помнит только, что на нее упала высокая дверца встроенного шкафа. он вовремя подставил руку. они поругались, он посадил её на автобус и отправил домой. позже заехал за книгами, которые оставил в её квартире. пришлось поехать, потому что послать книги почтой она отказалась. она не подпускала его к себе, а он и не собирался домогаться. сказала, что любила его. он ничего не ответил.

он хочет быть женщиной, жующей бутерброд и запивающей твердую пищу сельтерской водой. их разговоры долгие обо всем. говорят, как будто струнки натягивают и отпускают. заповедное сестринство, одна понимает другую. ковальски вспоминает о сыне. сын не спит по ночам, ловит каких-то тварей в компьютере, периодически выкрикивая "фак", если тварь уходит от преследования. вчера поругались. ковальски сказал сыну: своими тупыми играми ты убиваешь интеллект. ковальски плюнул на ладонь и растер слюну. сын не остался в долгу, надавил на больное место: *лучше на себя посмотри, падрэ. учитель английского... впариваешь всякую хрень раздолбаям, а они только что не вытирают об тебя ботинки, зато на интеллект не жалуешься*. спасибо, ответил сыну ковальски, всегда говори только правду, в глаза говори. всё не так уж плохо, думает ковальски, даже можно сказать, хорошо, т.е. могло быть гораздо хуже. свет во мраке светит, ради двух-трех строчек живешь, прочитаешь, и вспорхнет психея-душа, и ты почти здоров, отслаивается короста глупости. как будто смотришь в дверной глазок, когда к тебе стучится вечность. нетленен чадающий свет, двухнедельная бумажка чека: квартира, газ, электричество, вода, налог на имущество. вслушайся в это слово *и-му-щес-тво*, похоже на мужество. мужайся, ковальски. дети растут, вызревают, как яблоки, жесты и лица округлы, крепко висят на корявых ветвях, не собьешь ни рукой, ни камнем. *мой уезжает кататься на лыжах*, не замолкает миссис чиальди. *отпускаю, конечно, пусть развеется*. гибкие женщины. где бычок качается, там корова устойчива. кто это сказал? их сущность: косвенная радость навсегда, настырная живучесть, мимикрия, насекомистое шу-шу-шу. я – скоропортящийся продукт, думает ковальски, скоро сгнию совсем. женщины долго живут без запаха. есть такой сайт, называется овцы-точка-ком, там можно увидеть овец и баранов, можно даже купить овцу, а можно послушать, как она блеет или бебекает, говорили в детстве. жмешь на фотографию, а оттуда бе-бе-бе-бе. я – бараний отрез, вспрыснуть уксусом, большим вином. здравствуйте, нимфы чикагских скотобоен, нимфы гор и деревьев. сзади и спереди круглится сладкое. позвольте, позвольте дотронуться. ощутить. там, где должна быть попка, выступ холодной коры. упавшие в реку стволы деревьев, плывущие вниз по течению. ковальски забыл, как пишется миссиссиппи, два «s», потом опять два «s», потом два «p». *prepare for trouble and make it double-double*. джесси и джеймс, ловцы покемонов. вчера ковальски сказал сыну, когда они помирились: всё равно бросай ловить своих тварей. в этой жизни проигрывают все, главное понять – с каким счетом. мысль извивается и рвется. хорошее название для мыла «мыслю», если забыть о значении, только звук *лю*, и еще раз *лю*. получается, нет меня, или обмылочек только. ковальски, кто он такой? откройте книгу на странице икс. какие ассоциации, мысли, образы... нужно учиться у женщин, которые жуют бутерброды в учительской. ты, втягивающий в себя горечь зеленого чая. ты, который учишь детей ненавидеть поэзию. ты, который говоришь о погоде – снежный бы нам денечек. спросят, спросили уже: *что вы делали на день валентина?* ковальски ответил косвенно и перенаправил вопрос: а вы? а мы...

ковальски сидит на краю стула в кабинете английского. скоро завершит звонок. вжаться в себя, сомкнуться внутри. *природа прекрасна, но человек еще прекрасней*. гнать от себя прикосновения слов. ковальски смотрит в окно: дерн аккуратно уложен, деревья, капилляры заиндевевших веток.

человеческая природа прекрасней... прекрасней чего? затишье, вот-вот звонок... *легкий сон на клеверной лужайке заставляет увидеть указующие персты, сотканые из эфира...* субтильный Джон китс харкает кровью, сотканной из эфира. что-нибудь из географии – кровотечение, медленно сносит в сторону, сила инерции относительно вращающейся системы отсчета. они современники с кориолисом. больной забывается сном, кирпичным сном; врачи лезут внутрь, посмотреть, что там. нет, не кирпичный сон. заснуть – это значит *небыть*. ковальски уверен, что оба раза, когда он лежал под наркозом, он побывал *там*. в первый раз понравилась маленькая смерть, после второго жить захотелось ещё; испугался темноты, безобразности. после сна черноземного – злону, похоть, даже зависть сцеживает в фарфоровую копилочку жизни. похрюкивает копилочка: *мы одного помета*. выжить бы только. *немногими опорами должен довольствоваться человек, чтобы сплести пряжу своей души и ткать неземную ткань*. ковальски забросил диссертацию, нашел место в школе. нет, не жалет. всякий смертный да станет великим. кто это сказал? ковальски тоже так думает. каждый смертный смертен по-своему. пока еще можно, ковальски смотрит в окно, на той стороне дороги № 97 начинается парк, дуб, вяз, осина, попадают чохлые сосенки, *великая демократия лесных деревьев...* хорошо бы превратиться в неземных свинок, чтобы на воле поедать духовные желудки... *лесной орех все равно что поднебесный желудь*. где ты сейчас, Джон китс, источающий чахоточный мед? ковальски отдан на откуп красному словцу. он вспоминает: приходила одна на замену, всё время читала сборники крылатых выражений, делала выписки. *прочитаешь, говорила, и настроение сразу*. даже книжечку выпустила, назвала *то, что помогает нам жить*, оставила на конторке в директорской, берите кто хочет. скоро звонок, никто не спасет его отсюда, подав соломинку-цитатку, никто не скажет *держись, ковальски*. ковальски не принадлежит себе. добро пожаловать в театр одного волка и тридцати охотников. они приходят, чтобы загнать его в угол. ковальски чувствует, как пританцовывает нутро. пусть всё будет... к черту, к черту, к черту. постучал по дереву. хорошо, когда тишина в кабинете. они, это те, которые лишают тебя тишины. *состояние, когда человек передается сомнениям, неуверенности, догадкам, не гонясь нудным образом за фактами*. ближе, ближе, теплее, вот оно, почти что понял всё. *закат утешает меня всегда; и если воробей прыгает под моим окном, я начинаю жить его жизнью и подбираю крошки на тропинке, усыпанной гравием*. ковальский завидует птицам небесным и лилиям долин. раздается звонок, тишина, как фарфор, разбивается вдребезги. скоро начнется урок. в дверном проеме появляется голова.

4. влюбленный дэнни

дед говорил: *с чем приходишь, с тем и уходишь, трудное дитя*. зачесываю волосы на сторону, деодорантом обмазываю подмышки. смотрю в зеркало. не толстый, но склонный. *надо больше ходить*, говорил дед. вот мой живот, складочки жира. полоскаю рот лимонадом. освежаю дыхание. лицо круглое, мягкое, дружелюбное. на правой щеке прыщики выступили. втираю мазь. фляжечка с лимонадом булькает. жвачку в карман куртки. принимаю таблетки. сестра, уходя на работу, сказала: *выпей таблетки; сегодня я не смогу приехать за тобой в школу*. не надо меня забирать, ответил я. *прими, прими свои таблетки, чтобы не было, как в пятницу, когда ты забыл*. в пятницу я забыл. думал, что обойдется, к четверем вернусь домой и приму таблетки. в пятницу перед уроками поднимался по склону холма. рюкзак болтался за спиной, пустой и бесполезный. вдруг я увидел её: привет, ри! что собираешься делать на выходные? *рисовать*, ответила, *или играть на дудочке*. послушай, ри, будь моей валентинкой. она помотала головой: *отстань, найди себе другую*. не отстану, подумал я, всё равно куплю гвоздичку в школьной столовой, нацарапаю на крошечной открытке: дорогая ри, жить не могу без тебя. пожалуйста, будь моей валентинкой. дежурные передадут ей гвоздичку и открытку. пока я размышлял о гвоздичке, ри окликнула свою подругу, заторопилась, исчезла в толпе детей. дрожь охватила меня. в глазах мелькали деревья и лица. я побежал вниз по склону, поскальзываясь и цепляясь за можжевельниковые кусты. остановился на главной улице городка. двигался медленным шагом, делал вид, что всё нормально, гуляю себе и гуляю. по улице ходили люди. осклабившись, открывали рты в приветствии: *доброе утро*. мне казалось, что люди, шедшие

навстречу, ищут моей крови. я снова побежал, стараясь не смотреть на людей. начал задыхаться, ввалился в бубличную, чтобы отдышаться немного. мексиканка, которая там работает, промямлила *чеум могоу ваум поумочь*. по-английски говорит не очень, дежурная фраза ползет изо рта, как улитка. сложно с первого раза понять, надо переспрашивать. я закашлялся от злости. мексиканка похожа на зяблика, зимнюю птицу, глаза широкие, я бы сказал, во все стороны. внезапная догадка, осветившая черным светом: она способна на всё. измышляет, наверное, какую-нибудь гадость, зарежет или подсыплет яду в кофе с молоком, который я собирался купить. она снова спросила: *чеум могоу*, и я сказал, что ничего от неё мне не надо, развернулся и хлопнул дверью. так было страшно, что захотелось спрятаться где-нибудь и не вылазить наружу. улица в обе стороны, либо к школе, либо от нее. я отдышался и отправился в школу. всё причиняло боль: цветочные горшки на окнах, белый хлеб в школьной столовой, ломкий смех девочек, диктант, когда мадам орландо читала прокуренным голосом: *в декабре стояла на редкость теплая погода, женщины носили блузки, мужчины – рубашки с коротким рукавом, январь выдался ненастным, в конце февраля потеплело, а в марте погода переменчивая, то солнце светит, то снег идет. апрельские ливни приносят майские цветы*. ри причиняет боль, её рисунки: глаза-запятые на лицах персонажей из мультфильмов-анимэ, драконы и единороги. даже клубничный крем, которым она смазывает ладони. в пятницу она нашептывала соседке, а я жадно подслушивал, как будто пил воду: *тридцатилетняя перуанка забеременела, но не родила, носила плод сорок пять лет, до самой смерти, а когда сделали вскрытие, оказалось, что ребенок окаменел*. а ещё нашептывала о проповедниках из церкви трех приснодев. они хотели обратить ри в свою веру, чтобы она приносила в жертву барашков и колдовала на бараньей крови. когда ри всё это говорила, она была похожа на летающую белку, которая жила у нас в подвале. я поймал её сачком и выволок через гараж. она металась, пытаясь перегрызть сетку. беличьи глаза черные, огненные. в пятницу я балансировал между страхом и отвагой. мне нравится шершавость ее голоса, как будто намаливаешь тело мочалкой, и мочалка колючая в начале, а потом привыкаешь. в середине урока подошел к мадам орландо и сообщил: *мадам, сегодня я забыл выпить таблетки. мне кажется, что я схожу с ума*. она отпустила меня к медсестре. на прощанье я сказал: до свиданья, ри. ты все равно будешь моей валентинкой.

если это *нелю*, то что тогда *лю*. вот лист, он исписан *лю*, взять и захихать в кулак, и выбросить. нет, не *лю*, но притяжение, льдистое кружево, не отмерзает. напрасно вокруг да около, метелки овса летом по ладони. идет по коридору, заворачивает за угол. бегу за ней. догоняю. о чем это вы с ним говорили? *не твое дело*. я видел, он взял тебя за руку. *мы кулачками ударились, помирились*. вы что, поссорились? *я извинилась за рисунок. какой рисунок? не твое дело, просто пожалела его*. жалеть-то его зачем? он за твою жалость получает между прочим деньги. *при чем здесь деньги? нашелся тут, наследник престола, будто я пожалеть его не могу без твоего согласия*. объясни мне, ри, почему он достоин твоей жалости. *живется ему хреново*. ну и что, пытаюсь противоречить, многим хреново, не он первый. не ты же спасешь его? *нет*, отвечает ри, *не мое дело спасать*. набираю смелости: ри, ты здорово играешь на дудочке, вчера на ютубе слушал тебя. *спасибо, дэнни. говори мне больше хорошего*. ри, я всегда буду говорить тебе только хорошее. посмотрела пристально. увидел, что испугалась. заторопилась. куда ты, ри. спишемся, да? внезапное превращение в дикую кошечку. шепотом *да, спишемся как-нибудь* и понеслась по коридору. мне хорошо с тобой, ри, подумал я и пошел за ней. ветер впархивает сквозь дверную щель. стою на сквозняке, открываю рот пошире, вдыхаю поглубже. хочу заболеть. ри, я давно тебя не видел, хоть и видел только что. набираю на мобильнике: привет, ри! что нового? *привет, спишемся позже, у меня дел по горло*. я хочу заболеть, остаться дома. пусть лучше она пишет *где ты, дэнни?* она ничего не напишет. я для неё – пустое место, вроде стула или стены. настойчиво продолжаю, пришли мне, пожалуйста, снэпшот рисунка. *я бросила его в мусорную корзину*. поднялся на второй этаж, заглянул в пустой кабинет английского, подошел к мусорке, покопался, нашел рисунок. положил его в карман рюкзачка, на память о ри. когда я рядом с ней, забываю слова, не знаю, о чем говорить с ней. было бы проще на другом языке, если бы знать другие. я говорил бы с ней, спрятавшись за щебет чужеватых слов, не моё и не твоё, но будет наше,

я изобрел бы язык, который никто не знает. опускаюсь в ледяной колодец невезения: стою перед ней, потею сильно: как дела, ри? проклятые как дела. беспомощность. немного хочешь, немного получишь. отвечает: *все в порядке, а у тебя?*, и уже не слушает меня. джонни мальфо советует: хочешь закадрить девчонку, подойди к ней, скажи печально: сегодня у моего мобильного особенно грустный день. девочка, если не отошьет тебя сразу, удивится и спросит: *почему это твой телефон такой грустный?* и тогда ты ответишь: потому что в нем нет твоего номера. идиотский способ. я знаю ри с детского сада, наши матери дружили, номер её телефона наглухо вбит в мой грустный мобильник. охмурение девочек похоже на ловлю бабочек, успех зависит от правильности замаха... только что видел, уже соскучился. искал по всей школе, обнаружил в столовой. она сидела, пила кока-колу и водила карандашом по бумаге. я приблизился и сказал: я ослеп, ри, ничего не вижу, закрыл глаза и протянул руки в ее сторону. ри, если ты коснешься моей руки, я прозрею. она улыбнулась: *ты, действительно, псих.* сказала мягко, почти ласково. прикоснулась рукавом байковой рубашки. *теперь уходи, не мешай рисовать.*

5. ковальски вчера

вчера повышали квалификацию. учителя пришли в джинсах и свитерах, просветленные после выходящих. лекция была скучна: высокий, подтянутый господин рассказывал, как преподавал историю в массачусетской школе. теперь обучает педагогов новым технологиям. ковальски почувствовал легкую зыбь зависти. открыл книгу, прихваченную из учительской. стараясь не слушать лектора, принялся за чтение: *несколько лет тому назад – когда именно, неважно – я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег, а на земле не осталось ничего, что могло бы еще занимать меня, и тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного, чтоб поглядеть на мир и с его водной стороны.* кевин наклонился к нему, зашептал злобно, разбрызгивая слюну: *какие к дьяволу новые технологии? раздолбаем был, раздолбаем останешься, будешь бумажки в мэрии перебирать, раз бумажка, два бумажка.* ковальски представил себе, как заверяют документы в предбаннике мэрии. наготове компостер нотариуса с девизом штата *excelsior*. компостер вгрызается в бумагу, оставляя приятные на ощупь пупырышки: *сим подтверждаю, что такой-то принял в собственное владение булочную на углу главной и липовой улиц* (каждое утро с пяти часов свежий хлеб и булочки), под печатью красуется размашистая подпись лузера из бывших учеников. лектор завел речь об автомобилях, которыми будет управлять встроенный компьютер: *такие машины уже проходят тестирование. это значит, вопрошала поджарая сволочь, кто останется без работы? водителям кэбов и грузовиков придется искать другой заработок.* кевин закипятился: *вперед в будущее... машина, которая сама объезжает колдобины в факинговом бронксе, где малолетние ниггеры кидают покрывки с мостов – на трассу; захерачат покрывкой по ветровику или колесо прострелят. ты ведь, сука, кевин ругался вполголоса, чтобы слышал только ковальски, сбежал из школы, чтобы не видеть этих ублюдков, которые тянут руку для того только, чтобы выйти в сортир или спросить “что вы сегодня ели на завтрак?” или “вы изменяете жене?”, или расскажут что-нибудь познавательная (век, блядь, живи, век учишь), например, игра есть такая – передай подружку: херачишь её сзади, но не кончаешь и передаешь другу, а она не подозревает об этом... зовите меня ишмаэль, повторяет про себя ковальски, стараясь заглушить шепот кевина и монотонное жужжание лектора.*

после лекции разделяют по группам. стулья расставлены неровным, рвущимся полукругом. методистка уже на месте, сапоги высокие до колен, с пряжечками, одна напротив лодыжки, другая – на подъеме голени. сапоги поскрипывают. глаза крапивного цвета. лукавая мордочка лисья, говорит то ли с акцентом, то ли без него, бывают такие, что не поймешь. волосы красны, одна прядочка пепельная, у виска. раньше с мужем жили в городе. когда родились дети, перебрались в предместье. она научит их, как стать *эффективными учителями*, не просто – пришел, отбарабанил до звонка и бай-байчик – видеть вас не желаю, сукины дети. надо, говорит она, *поступательно разрабатывать их мыслительные способности.* ковальски вспомнил линду, ее итальянские супы, фартук в

томатных потеках, домашнюю лапшу. он посмотрел в окно. внутренний дворик школы посыпан гравием. посередине фонтан – штырь торчит из втянутой в землю бетонной раковины. осенью и зимой отключают воду. летом, когда в здании нет детей, шепотливый росплекс наполняет слух. вокруг фонтана расставлены скамейки, на которых никто не сидит. если кто-нибудь всё же сядет, пусть будет готов к летящей сверху пицце. пиццу бросают метко, почти всегда в цель, вонючее масло стекает по волосам, рубашке и брюкам. есть в этом что-то библейское. в углу двора – чугунный овен, символ школы. учителя шутят: не напоминайте нам, где мы работаем, и так видно, что вокруг – одни бараны. *мы живем в обществе*, продолжает методистка, *следовательно, мы – социальные животные*. переходит на элинджера. как вы собираетесь научить ребенка любить эту книгу? вместо *кетчер*, кажется, произносит *кетчуп*, или слышалось? всё-таки есть легкий акцент. ковальски попытался вообразить кетчуп во ржи... *if a body kiss a body, will a body cry?* заплачет ли тело моё, если меня поцелуют? *как вы преподнесете холода детям?* спрашивает методистка. голова героя на серебряном подносе. раздает индексные карточки. на каждой три вопроса: 1. *почему в книге нет женских персонажей, кроме проститутки и девочки из четвертого класса?* 2. *холод – защитник детской невинности, но что эта невинность значит для него?* 3. *может ли повествователем стать девочка? почему да, почему нет?* интересный вопрос о детской невинности, думает ковальски. методистка вся перед ним: черные брови взлет, в крашенных волосах копать похоти. она обращается к нему и спрашивает о невинности. ковальски отвечает: не в растлении дело, а в чем-то другом. человек, который перестает спрашивать себя, куда улетают утки из центрального парка, теряет не только невинность, он вообще теряет себя, вы понимаете, что я хочу сказать... всё очень серьезно... методистка пожимает плечами, переходит к другому вопросу, о женских образах. девочки, козочки, бьющие серебряным копытцем, куклы с фарфоровыми щиколотками, солнечные мордочки. женщина – твоя могила на этой стороне земли. кто это сказал? линда варит итальянский суп (на кухне повсюду висят толстые рукавицы, чтоб раскаленную кастрюлю брать без страха, на одной рукавичке карта польши, город краков залеплен жирным пятном), бросает кинзу и какие-то травы благоухающие, сама благоуханная в фартуке, с голыми коленями. липкое притяжение. кетчуп во ржи... когда на уроке читают о проститутке, мальчики выделяют слюну; подошвы кроссовок тщательней трутся о школьный линолеум. женское тело – пальмитин, стеарин, олеин. у женщин жирнее всего на груди, на животе и на бедрах. на ступнях тоже жирно, они боятся щекотки. ковальски вспомнил: в субботу поздно вечером ехал из бруклина, слушал радио *легкий джаз*. передачу вели двое: ведущий и его гостья. ведущий спросил её: *как вы относитесь к тому, что с каждым годом стареете и жиреете* (так он сказал – *жиреете*. ковальски удивился бы, если бы умел удивляться). она ответила: *я обещаю вам с каждым годом стареть все больше и больше, пока господь не скажет «хватит», а жир, что в сущности такое жир? это плеск нашего тела, его живое дыхание*. методистка продолжает говорить о героях элинджера. вот она вся перед ним, борется со старением, замазывает морщины, руки холеные, маникюр неброский, но сделанный начисто. она не хочет выглядеть, как заношенная перчатка, но ковальски знает, что внутри она – вся истертая, заплаточная. барственный, манерный тон методистки открывает потайную дверцу памяти... тетка стефания... ковальски вспомнил тетку, которая во время семейных сходов улыбалась тонко нитяным польским ротиком и говорила на своем шипящем английском, что детей обязательно надо выучить польскому языку, что они вообще не представляет, как это *её дети* не будут *владеть польским*. когда она это говорила, нерожденные дети стефании перебирали стрекозиными крылышками. польские жужелицы, щебетанье сплошное. ковальски вспомнил скворца из единственной детской книги, которую читала бабка на ночь – свистящая шкварочка *шпак*, а жаворонок – *сковронек*, и деревья *ёды* и *липы*. отдельные слова, как ладонь против высокой волны. однажды, когда он учился в аспирантуре, решил посетить собрание общества любителей польской словесности. вице-президент, пан боровски начал выступление с собственных польских стихов. оставаясь в сладком неведении, ковальски вслушивался в шаткие, свистящие сочетания слов. звук, издаваемый газировкой, когда, открыв бутылку, содержимому позволяют свободно выдохнуть. *штучка*, вспомнил он слово из детства. потом пан боровски зачитал перевод. декламировал, поглядывая

на председательшу в костюме огуречного цвета: *сиял гигантский диск в бездонном чистом небе. но долго горький дождь лил по щекам моим. ведь никогда вовек – таков мой грустный жребий – красавицей с олимпа не буду я любим.* несколько человек преклонного возраста восторженно захопала и закивали, как будто пан боровски был по меньшей мере байроном. ковальски засмеялся тонким, дребезжащим смехом, содрогаясь всем телом и выбрасывая вперед кисти рук, как человек, который просит о помощи. собрание прервалось. публика обшিকাла его на своем наречьи. не сумев успокоиться, ковальски схватил сумку и выбежал из комнаты. пан боровски покрутил кончиком пальца у виска, заросшего сединой.

6. дэнни: экскурсия в квебек

смотрели шрека. мучение шреком. зеленый жирдяй с ушами-трубочками, ему помогает вислозадый осел. органная музыка вдруг. серое небо. я не такой, как другие. в автобусе большей частью девочки, но есть и мальчики. за спиной два тонких голоса поют песню. читаю книгу об индейском культе. ученые нашли вход в подземелье, которое оказалось загробным миром. теперь поют деревянные человечки. не пытаюсь понять, о чем поют. хочется спать, укачивает. потянулись леса. девочки сзади смеются отрывисто, хоркают. мимо – облезлые амбары, полупрозрачные, обшитые кое-где вагонкой. снежные потёки. земля, поросшая жухлой травой, цвета перегнившей соломы. девочки хоркают. шрек – зеленое чудовище с гнилыми зубами. пропускной пункт. офицер пограничной службы. *какой красавчик, кьюти-кьюти*, перешептываются между собой девочки.

мы в канаде. поля голые, черные, взрытые. на межах, где кустарник, лежит снег, наслоения снега. снег почернел, покрылся икристым налетом. зияние во рту водителя, не хватает нескольких верхних зубов. предпочитает не улыбаться, прижимает верхнюю губу к десне. нижние зубы все на месте. девочки начали петь, весело и дружно. я сидел в первом ряду, за спиной водителя, слушал его болтовню. понравилось, как он выговаривал *шоколадный круассан*. водитель то ли с ямайки, то ли с другого острова. я смотрел в окно. проезжали город, я видел посеребренные, как будто оледенелые башни квебекских церквей. низкие облака. другое, простуженное небо. читал французские придорожные объявления. *вы всего лишь на два пальца отстоите от смерти*. кампания против использования мобильников во время вождения. вы находитесь на два прикосновения к экрану.

поехал в канаду ради ри. у неё волосы перегнившей соломы, ноздря проколота, а глаза серебристые, как шпильки квебекских церквей. когда все пели, она спала. иногда я оборачивался и смотрел на нее. в столице провинции много снега, но я охотно бы променял снег на теплую землю после паводков. ледовые фигуры в парке скукожились после временного потепления. в парке всё равно холодно. мы грелись возле железных баков, в которых горели дрова. ри держала руки над пламенем. я стоял рядом. бородач в старинном кафтане наливал горячий кленовый сироп на примятый снег. сироп ложился полосами. надо было подождать полминуты, потом накрутить на палочку сладкую, застывающую полоску. леденец полупотекший. когда мы приехали в город, наш гид по имени жиль первым делом стал танцевать, хлопать водителя по плечу и громко смеяться.

катались по трое на длинных салазках возле реки святого лаврентия. девочки с девочками. ри сидела вторая. высокая щуплая девица сжимала её бедра длинными, пауциными ногами. на следующий день вечером нас привезли на карнавал. участники шли медленно, останавливались, протягивали руки зрителям, и те протягивали свои. ри тоже тянула руки. к ней подбежал человек в наряде шута и коснулся перчаткой её варежки. я бросил в него снежок. он рассыпался на лету, не долетев до цели. когда снежок пролетел над ри, она обернулась, посмотрела, как будто видела меня в первый раз. мадам орландо хлопала в ладоши, смеялась и подпрыгивала. я давно заметил, учительницы французского языка – это девочки, которые не захотели вырасти. старенькие родители, наверное, до сих пор покупают им на праздники коробки с печеньем мадлен. на высокой платформе повезли

белого толстяка с черным ртом, безумными, как у бешеного енота, глазами. девочки воскликнули: вот он, *bonhomme*, подвязанный разноцветным кушаком. мадам орландо восхищалась. веселый французский язык.

день начался с катания на собачьих упряжках. один сидит в санях, другой стоит сзади на полозьях, тормозит, если надо. держится обеими руками за деревянную спинку. я стоял на полозьях, но соскользнул. собаки волокли меня по снегу, пока не подбежал человек и не остановил упряжку. сибирские лайки на собачьей ферме. мы брали шеночков на руки и тискали. шерсть глубокая, мягкая, желтоватая, как зассанный снег возле конуры. *лайки лапочки кьюти-кьюти*, говорили девочки, фотографировались с песиками. ри подошла к собаке, запрыгнувшей на крышу фанерной конуры, погладила её по рыхлому загривку. *здравствуй, радость*, сказала она. лайка ластилась к ней. каждая собака сидит на цепи, привязанной в конуре.

ледяной отель. японцы и австралийцы останавливаются на ночь. стены из спрессованного снега, кровати тоже. сначала клиенты принимают горячую ванну, потом залезают в спальные мешки и крепко спят. стаканчики тоже ледяные, граненые, внутри виски светится, как теплый фонарик. ри стояла в ледяном зале, как снежная королева. вечером, в гостинице она вышла из комнаты в шелковых шортиках, ноги шуплые, кожа неровная, кое-где малые шишечки. я сказал привет, ри. ты мяса не ешь? *нет, не ем*. что же ты ела сегодня в ледовой гостинице, ведь там одни бургеры и хотдоги? ри сказала, что в гостинице был ещё другой киоск, в котором салаты и бутерброды. она взяла суп и салат. суп пересоленный, из банки. когда она произнесла «пересоленный», я захотел погладить ее шершавую кожу. её волосы стали темней и прекрасней.

если у неё такие скучные ноги, тогда зачем мне эта любовь, уговаривал я себя. она вошла в номер, а потом снова вышла. я приблизился к ней и зачитал стихи: *враг мой лежит на земле и долбит физиономией по моему ботинку, как дятел, до крови своей долбит...* произнес и осклабился. она сказала: *ты это сам?* я ответил, что сам, хотя это был не я. правда здорово? она сказала: *тихий ужас. больше никогда ничего такого*. не нравится, не слушай, ответил я. она снова ушла в свой номер, наверное, принимать душ. я бы хотел взглянуть, как она там стоит под душем, запрокинув голову, и волосы цвета перегнившей соломы растекаются по плечам, и вода по ногам хлещет, и они уже не такие на вид шершавые, и плечи ее увидел бы и шею без дурацкой водолазки, и как она закрывает глаза, когда по лицу льется теплое... занимаюсь самовнушением: зачем мне такая общипанная? мадам орландо говорит, что любовь слепа, полюбить можно даже дерево. ри должна была стать ольхой, а родилась девочкой.

вчера, перед возвращением в гостиницу, пошел снег. в луче фонаря я видел, как он накапливается на кровле и на крыльце. если смахнуть его рукавицей, то сначала взлетят как бы перья, потом рассыплются в пыль, и исчезнет снег, и не вернется на прежнее место. мне нравится, как ругаются квебекцы, разбавляя речь церковными словечками – *ости-облатка, табарнак-скиния завета*. ударит себя квебекец молотком по пальцу и закричит *облатка, облатка, скиния*. хорошо, смачно выдувают слова. *ости* снега тает во рту. чаша рта, раскрытая настежь. самое красивое, когда небыстро сыпется мимо источника света. больше ничего не надо, ты как бы плывешь *табарнак* его знает куда, и ветер в спину, и всех обнял бы одним махом, из-за этого снега, идущего косо, крискросс в фонарном лучике. нас привели в хижину и рассказали, как добывают кленовый сироп. когда приходят экскурсанты, содержимое одной столовой ложки медленно льется на снег, медленно очень, а потом полминуты надо подождать, пока остынет, и наматать на палочку, а потом медленно лизать и обгладывать... водитель автобуса говорит все время, не могу сосредоточиться, вот его шея, и голос тягучий, островной, как струя выпаренного кленового сиропа. они добывают сироп, делая дыру в дереве, а в дыру запускают шланг, и собирают сок, который всходит по жилам деревьев ближе к кроне, где поют птицы. сироп полезный, заменяет сахар. вообще заменяет всё.

взял кусок ветчины – подсиропь, тарелка с гороховым супом – пусти туда струйку сиропа, а потом хлебушком, хлебушком. я люблю сироп на палочке, когда он медленно сползает на пальцы, и потом в уголках губ делается сладко-сладко.

ри-ольха или ри-гусиная-кожа, прозвал я её про себя. глаза ее влажные, серебряные, как у сибирских лаек, которые тащат сани, а другие псы из загона лают. завидно, что другим позволено пробежать в упряжке, испражниться в пуховый снег... затянулось карнавальное шествие. все чего-то ждут и дуют в пластмассовые трубы, холодно. сначала вроде ничего, а потом до костей. ри подошла к мадам и сказала, что не чувствует пальцы на ногах. мадам повела ри в сторону автобуса. на морозе глаза ее перестали источать влагу, я почти не узнал её, только походку, как будто курица бежит по земле и хлопает крыльями. хотел пойти за ними. нет, дождусь конца процессии, подумаешь, пальчики на ногах, ри-гусиная-кожа. потом отогреемся. карнавал продолжался. проплывает картонный дом на платформе. по дому бегают две фигурки, трубочист и заяц. трубочист норовит обнять зайца, а заяц между тем забегает в одну дверь и выскакивает через другую. королева карнавала стоит на возвышении, изображающем снежный сугроб, и машет оголенной рукой, улыбаясь стоящим на тротуарах. дети в высоких гренадерских шапках, с белыми барабанами, девочки-снежинки, белыми палочками выбивают маршевую дробь из белой барабанной кожи. толстые полицейские на мотоциклах, в костюмах белых медведей.

7. ковальски. урок

сидит на стуле. сидение тихое, стул ходкий, на колесиках, оттолкнулся и поехал. первая голова заглядывает *можно-войти*. он выдерживает паузу. голова как бы висит в воздухе, взгляд тоже подвешенный. входите, входите, почти шепотом говорит ковальски. голова исчезает. дети вползают в кабинет английского языка. на него не смотрят. кто-нибудь обязательно скажет *отсадите меня от окна или на сегодня что-нибудь задавали?* пузыри бессмысленности. ковальски чувствует: в груди, как цветок, вырастает прелая пустота. он с отвращением глотает отвар из праздных, необязательных слов. преисподняя, думает ковальски, это неосмысленное многоречие, кубышки слов, тусклые полосочки фосфора, шенячьа алчность сказать что-нибудь. господи, помилуй меня, ковальский обращается к высшим силам с короткой молитвой: *не презри молитий наших в скорбях наших*. отвечает спокойно: нет, антонио, сегодня мы остаемся на своих местах. антонио не спорит, садится, поворачивается к соседу. другой говорит: привет, мистер кей, *как жизнь?* в порядке жизнь, отзывается ковальски. второй звонок, начало урока. гомон не прекращается, елозят на стульях, приваренных к крохотным партам. девочка-коротышка срывается с места, подбегает к приятелю и опускает маленькие, мартышечьи ручки в копну его волос. масляное лицо джонни мальфо, это он приласкан. ковальски чувствует глущую зависть, он почти ненавидит мальфо. несколько секунд он любит девочкой. она действительно похожа на обезьянку. ковальски берет плюшевого ежика и швыряет в неё. от кисти её руки игрушка рикошетит в лоб мальфо. тот глядит на него томными глазами. девочка отправляется в другой конец кабинета. замолкают дети. ковальски рассказывает первое, что приходит в голову: вчера я пошел в парикмахерскую, и меня хорошенько подстригли. парикмахерша, упитанная дама, обращалась со мной, как с беззащитным барашком, надавливая на шею кистью свободной руки. я смотрел, как летела на пол бесполезная седина. они слушают напряженно, как будто боятся, что сейчас он скажет глупость. тогда ковальски переходит к теме урока. итак, возвещает он, сегодня мы поговорим о поэтах-романтиках, в частности – о джоне китсе, разберем его стихотворение «ода к греческой вазе». ковальский показывает им несколько слайдов с вазами; на одной оранжевые люди соревнуются друг с другом в беге, на другой изображена черная колесница; воин отправляется в поход, его провожает в путь богиня мудрости. они смотрят на вазы, но ковальски знает, что они смотрят сквозь. он рассказывает о китсе: *утром он вскакивал с постели, умывался, надевал чистую рубашку, причесывался, чистил щеткой одежду, туго зашнуровывал башмаки, словно собирался на прогулку, а затем, подтянутый, весь с иголки, садился писать*. почему,

спрашивает ковальски, поэт обращается к греческой античности? мальфо поднимает руку. *мистер кей, вы тут говорите о чистых рубашках и башмаках, а вы мне ответьте честно: если бы у меня не было рук и я обосрался бы, вы бы потерли мне задницу?* ковальски не реагирует.

в персиковой косточке иссохло ядрышко. не говори высоких слов. им не нравится, когда их спрашивают, им вообще ничего не нравится. итак, джонс китс. почему они смеются? мякнул кто-то. да, смешно. котенок-китс. ковальский, до этого говоривший в сторону, теперь смотрит прямо: пусть докажет мне кто-нибудь, что он действительно существует? снова мальфо: *когда я поем жареных бобов с рисом, живот раздувается от скопившихся газов, что является неоспоримым доказательством моего существования.* хихикнула девочка-обезьянка. кто-нибудь ещё? йорито йомагуту, это он мяукал, выкрикивает: *хей, мистер кей (вот вам и стишочек), зачем мне знать, есть я или нет, если вот он я (глядит себя по животу), лучше не придумайшь. много думаешь, раньше посидеешь, или волосы вылезут,* жирным пальцем тычет туда, где сияет в электрическом нимбе плешивый учительский скальп. фак-ю, фак-ю, йомагуту, молоточки стучат в голове... терпение, ковальски, терпение. ковальски открывает рот. верхняя губа оттопырена, как будто он обиделся: сегодня – необычный день. я разговариваю только с теми, кто просыпается ночью и не может заснуть, потому что не умеет ответить на вопрос: *кто я такой.* хотите, слушайте меня, хотите, слушайте музыку. тогда все надевают наушники и склоняются над экранами мобильных, даже те, которых ковальски считал верными. одна рианна сидит без наушников. рисует, она всегда рисует. всё подряд рисует: шкафы, парты, окна, деревья в парке. рисует или играет на дудочке. ри, ты не наденешь наушники? она мотнула головой, не отрывая карандаша от бумаги. ковальски подошел ближе: кажется, мы с тобой остались одни. ри продолжает рисовать. ковальский всё понимает: ты тоже не хочешь слушать меня? кивнула. хорошо, но ведь ты – художник, тебе, наверное, интересно, что думали до тебя другие, которые... отвечает: *я не люблю мертвых.* ковальски извивается как пойманная змея, переходит на шепот: но ведь можно представить, что они живые. хорошо, поддается ковальский, ты продолжай рисовать, а буду говорить. вот, например, что ты сейчас рисуешь? ковальский наклоняется над партой. она заслоняет рисунок ладонью. ри, мы с тобой как слепые, запертые в одной комнате. нам известно, что мы незрячие, остальные думают, что владеют зрением, а на самом деле ничего не видят. ри продолжает водить карандашом по бумаге. *невеста тишины* думает ковальски и ошибается. теплее, теплее, хоть и неточно, но близко к тексту. ковальски почти согласен: *ничтожны различия между синим чулком и самой очаровательной красоткой...* китс, маленький бог, говорит, что все они одинаково постылые. синие чулки, музыкальные ящички вместо голов. гендерные пчелки. было, было такое сочетание слов, похожее на флюгер, флюгер подернулся жвачкиной, начал поскрипывать в гнездышке, это душа скрипит на ветру, но есть такая вода родниковая в бутылках «фуджи», выпьешь её, и оживаешь как будто. определение женской души придумали гендерные пчелки из вассар колледжа. что там рисует ри? он обращается к ней: послушай первую строчку... *застывшая, нетронутая невеста безмолвия.* скажи мне, ри, как можно стать невестой безмолвия или невестой покоя. где оно, это успокоение, горячее на вазе. *а почему ваза, а не урна. там что, пепел?* нет, вино, там было вино, а теперь ничего нет, пусто. *значит, может быть пепел.* вино лепечет, пепел молчит. ри, я не об этом. что такое покой? *когда сидишь и не двигаешься.* а еще? когда твой профиль выжжен на бывшей глине. теплее, теплее. когда тебя уже нет, но ты еще есть, когда из всех щелей сквозит твоё отсутствие. прислушайся, какая стоит тишина вокруг... *сладок напев, который слышишь, но, беззвучный, он еще слаще.* звук запаян в полу трубку безмолвия. ри, сделай хотя бы вид, что слышишь меня... ри кивает. представь, что ты останешься юной и красивой, и навсегда уйдешь от преследования – времени, чьих-то вонючих объятий. она подняла, наконец, голову: *мне не нравится говорить об этом. умереть лучше, чем остаться такой, как я сейчас.* всё это очень серьезно, говорит ковальски, тебе надо вслушаться в себя, закрыть глаза и вслушаться. *красота есть истина, а истина есть красота, это всё, что мы знаем, всё, что требуется знать.* она рисует, заслонив рисунок ладонью. ри, послушай, говорит он и оглядывается. ты когда-нибудь влюблялась? *не знаю,* она ответила. ты бы могла написать такое: *шелковая подкладка, которой она*

подшила мою дорожную шапочку, сжимает мне виски раскаленными щипцами. ри, ты покажешь мне, что у тебя нарисовано? вам лучше не смотреть. нет, я очень хочу посмотреть. обещаю сделать свой ум широкой улицей, улыбается он своим словам. тогда ри говорит: а вы-то сами знаете, кто вы такой? да, скорее всего, знаю. я – орех за щекой обезьяны. ри отнимает ладонь от альбома и показывает рисунок. на рисунке круглится лицо, глаза черные, испуганные, слезы текут, как шарики ртути, под глазами провалы, почти зияния. оттопыренная верхняя губа придает лицу обиженное выражение. между двумя передними зубами расщелинка, в которую пролезла бы десятицентовая монета. гладкое, покатое взлобье. ковальски узнает свою голову.

8. дэнни, свеча, дед

спичка чиркнула, чирикнула, фитилек зажгла, а свеча поминальная, в стеклянной баночке, опоясанной фиолетовой лентой, свеча иегуды. свет внутри, снаружи фиолетовый, фитилек белый, загляни внутрь, огонь в середине, спичку подносишь горящую, коробок большой, на ладони не помещается, спичка вспыхивает и тянется к отпарафиненному фитильку, замерзшей ниточке, спичка тычется в стеклянные стенки. аквариумная рыбка, которой некуда деться. выскальзывает из рук и падает – горящее поленце – на застывший воск, чтобы разбудить его – перекошенный огонь плещется там. наконец, прихватывает фитиль, и тот занимается, малыми сполохами, потом горит с постоянным тихим напором, а спичка выгорает вся, червивеет, вернее, обращается в прах, в дым, в грязцу на пока еще твердом воске, но скоро он просветлеет, сдвинется, станет прозрачно-жгучим глазом, натяжение – ты меня помнишь? – скаредный свет, как будто вот-вот потушат, свет перед темнотой, ночь предутренняя, рвотная, окисленная. укромный свет, стекло накаляется медленно, нести можно, обхватив тряпицей, из одной комнаты в другую. ставлю на холодильник, когда обедаю, пусть оттуда светит; на подоконник, когда сижу за компьютером. свет, исходящий оттуда; там пусто, холодно, темно. после обеда сплю часа полтора. горящая иегудина свечка охраняет сон, пусть тебе спится сладко, мой теленок.

*выживший из ума старик сицилиец сбил её на середине бруклинского перекрестка. дед, который тогда был с ней, сидел на асфальте, звал людей на помощь и всхлипывал *талия, сейчас приедут. они уже в пути.* за ней приехали и увезли. я долго не знал, куда её увезли, но кто-то из родственников шепнул другому: *мертвую не вернешь, им надо жить дальше.* я начал приставать к деду, просил объяснить, что всё это значит. дед сказала: *мать увезли, и больше ты её не увидишь.* дед боялся, что я изведу себя, но я уже привык к тому, что ее не было рядом. хотел показать деду, что я расстроен, но смог заплакать. потом я всё понял: люди и вещи, они все – ненадолго: сначала вот они, а потом растворяются в бруклинском воздухе с лимонной кислинкой залива. дед говорил: *бог дает и отбирает.**

*спичечный коробок, хозяйки держат такие на случай возле плиты. подносят горящую спичку к конфорке, и рождается синий огонь, триумфальный венок варки и жарки. прежде, когда мы жили с дедом, захлебывалось электричество. обычное дело, подует сильный ветер, ударит молния, завалится дерево набок. тогда дед доставал поднос с поминальными свечками. необходимы три-четыре спички, чтобы поджечь фитилек внутри каждой стеклянной баночки. дед, говорил я, дай помогу, он отвечал, *тебе не надо, сам все сделаю.* хорошо-хорошо. дед постепенно зажигал свечки, от каждой свет скаредный, слюнявый, позволяющий увидеть очертания предметов, люстра похожа на червивую грушу, холодильник как гулкий памятник героям войны. постепенно квартира становилась понойной, и мы двигались, не боясь удариться лбом о дверную притолоку, привыкали к новым, долгим сумеркам. можно заварить холодный чай или выудить из холодильника теплеющую упаковку крабовых палочек, доесть, что осталось, чтобы не испортилось бело-розовое мясо, много чего можно. свечки – маленькие резервуары, в которых живет горячее, текучее мыло памяти. когда они стояли на подоконнике (утлый сигнал к спасению), неровный свет ложился на потолок, пусть там тоже будет светло-мутное. дед доставал с антресолей запасные одеяла, бросал на кровать, и мне казалось, что*

под ними кто-то спал. тяжелый, плывущий полусвет, пятнадцать бабочек, халколотых на игольчатые фитили. было у нас несколько фонариков, но дед говорил: *нужен постоянный источник*. зажигал пятнадцать свечек, и я думал, что он зажигал их в память о людях, которых больше нет. их тусклое, сумеречное дыхание освещало нашу ночь. одну свечку я называл материнской, другую посвящал бетховену. в детстве меня учили играть на пианино. однажды на концерте я сыграл «оду к радости». а потом, когда мы с дедом ехали домой, сказал ему: жалко, что бетховен умер. дед удивился очень: *отчего тебе жалко?* я ответил: мне бы хотелось поговорить с ним. мы стояли на светофоре, дед повернулся и спросил меня: *о чем же ты хочешь говорить с бетховеном?* о музыке, конечно, ответил я.

помню, как навещал деда в реабилитационном центре за городом, на берегу озера. вот он сидит в коляске возле окна. просит: *отвези меня к озеру*. сиделка выпархивает. *хэллоу, хэллоу, ты только посмотри, кто к нам пожаловал. сын твой, что ли? нет, внук*, – улыбается он. я ввожу его в чешуйчатую, серебристую кабину лифта. лифт скользит, останавливается на первом этаже. открываются двери, но не спереди, а сзади. пячусь, тяну коляску за собой, вывожу во дворик. подкармливаю деда арбузной мякотью. охранники-гаитяне громко переговариваются. дед говорит: *скоро мы все станем черными, как баклажаны*. погружается в себя, зависает, как испорченный компьютер. продолжаю кормежку. арбузные кубики выпадают из горсти. я подхватываю и выкидываю в мусорный бак. кубики, которые он все же доносит до рта, проглатывает жадно. кашляет, отхаркивает желтоватую дрянь. я вытираю ему губы и подбородок стопкой бумажных салфеток. выделения просачиваются. потом везу на набережную. коляска катится по асфальтовой дорожке. на камне возле воды стоит человек. он шурится и закидывает колеблющуюся блесну. сентябрь, бархатный месяц. шорты и безрукавка. толкаю коляску, огибая выбоины. дорожка упирается в решетку, отделяющую территорию реабилитационного центра от пригородного пляжа. там за оградой лежат на полотенцах люди, подставив животы увядающему сентябрьскому солнцу. мы разворачиваемся, возвращаемся к корпусу. снова толкаю коляску по направлению к пляжу. дед говорит: *отдохни*. останавливаюсь. он встряхивает головой, кашляет, вытирает желтую слюну тыльной стороной ладони. просит рассказать что-нибудь. рассказываю первое, что приходит в голову: две одноклассницы поругались, и одна из них рассердилась очень, взяла ножницы и срезала клок волос у другой. дед не слушает, дремлет. жду, когда он очнется, запросится обратно. открывает глаза. смотрит на меня. не хочет отпускать: *сделаем ещё два-три круга по набережной, ладно?* на камнях сверкает на солнце склизкое серебро сдохшей рыбы. я стараюсь не смотреть на камни, на дохлую рыбу. на другом берегу длинная полоса пляжа. в солнечные дни кажется, что противоположный берег намного ближе, чем на самом деле. фантазирую: вот я переплываю озеро, отдыхаю на той стороне, покупаю мороженое в павильоне, а потом снова пускаюсь вплавь. парусники бороздят тихую влагу, перемещаются, как шахматные фигуры, переставляемые медленной рукой. дед спрашивает: *какой час?* отвожу его в столовую. *ты куда-нибудь торопишься?* он просит меня остаться. подталкиваю коляску к столу, сажусь рядом на пластмассовый стул. заканчивается концерт. возле окна, выходящего на озеро, поёт женщина лет пятидесяти. жирная коса. губы накрашены так, что помада захватывает не только губы. женщина подхватывает бумажную салфетку и вытирает пот со лба. поёт для колясочников песню про влюбленных, которые танцуют в подворотне. о том, как хорошо им вместе. песня заканчивается, женщина с жирной косой удаляется не попрощавшись. колясочники и ходячие занимают свои места. к столу, за которым обедает дед, подкатывает толстая старуха. непонятно, как она вообще умещается в коляске. старуха накидывается на меня с вопросами. спрашивает, не знаю ли я джонни, который работает на уолл-стрит. джонни – её младший сын, самый любимый. *а мой старший, старшенький служит в полиции*. приносят суп, старуха берет ложку и замолкает. не отрываясь, смотрит в тарелку. заедает суп куском хлеба. дед подхватывает суп ложкой, долго дует, проглатывает гущу. морщится. отодвигает тарелку. на том конце столовой другая старуха вскакивает со стула, верещит: *бенджамин, бенджамин!* к ней подходят две санитарки и увозят в палату. смотрю на деда. он плачет, размазывая слезы по щекам. как ребенок. *бенджамин, бенджамин*, – шепчет он, – *сын старости моей*. утираю дедовы слезы, говорю, что мне пора возвращаться, делать уроки на завтра. отвожу его в палату. включаю телевизор, целую в теплую щеку.

9. ковальски дежурит по коридору

ковальски берет стул в кабинете медсестры, садится и смотрит в обе стороны. дежурит на первом этаже, напротив лестницы. ученики не допускаются на второй. первая, тихая половина перемены. кевин прошаркивает мимо. ковальски приветствует кевина: как дела? *не жалуюсь*, отвечает кевин перед тем, как исчезнуть в копировальной. относительное спокойствие, можно почитать книгу. ковальски читает, но недолго. боковая дверь открывается, входят девятиклассники, мелкие, вертлявые. кевин называет их сперматозоидам. некоторое сходство есть. впархивает ветер. ковальски зябнет, свитер не защищает его. быстро закройте дверь, кричит он девятиклассникам. привстает и жестикулирует, показывая, как надо закрывать дверь. кевин возвращается из копировальной, смотрит в другую сторону. прохода мимо, кевин перебирает пальцами правой руки, как будто стучит по клавишам. ковальски вспоминает недавний разговор. он признался кевину, что жизнь его, как осколочное ранение, саднит. непонятно, что делать с собой. кевин похлопал его по плечу: *ковальски, я знаю рецепт от хандры. садись в машину и отправляйся по монреальской трассе, пока не доедешь до указателя «69-я миля». остановись, взойди на пригорок. помочись, глядя в звездное небо, потом возвращайся, и будешь как новенький.* ковальски отправился на север. добравшись до 69-й мили, съехал на обочину. вышел из машины. оказался на склоне холма. по снежному насту (еще лежал грязноватый снег) поднялся наверх, встал спиной к дороге, лицом к далекой, невидимой реке. фруктовые деревья – узловатые уродцы, корявые пигмеи. вечерний воздух морозен и горек. ковальски почувствовал одиночество, но по-другому, не так, как прежде. теперь это было не наказание, а освобождение от расплаты. он закрыл глаза, простер руки, сжатые в кулаках, к звездам, потом выпятил оба средних пальца. заскулил в студеное небо.

ковальски сидит на стуле, на синей, в мелкую клетку обивке, склоняясь над книгой. подходит завуч *что происходит на свете, ковальски?* ковальски отвечает, улыбаясь: ничего особенного, сижу читаю. завуч в костюме, выбритая физиономия светится, от гладкой залысины исходит сияние; на рукавах запонки в форме самолетиков (ковальски всегда обращает внимание на запонки, у одних – самолетики, у других – божьи коровки). спрашивает завуч: *наверное, развлекательное читаешь?* ковальски отвечает честно: да нет, один тип умирает от туберкулеза, читаю последние письма. заслышав *умирает*, завуч спешит по коридору и скоро становится недосыгаем для голоса, но ковальски продолжает, пытаюсь добросить до завуча камушки слов: ничего развлекательного, жалко парня, до слёз. в коридоре появляются старшеклассники, останавливаются, мурлычат вкрадчиво: *что вы читаете?* книгу читаю... *ха-ха-ха, мы и сами знаем, что книгу, а какую книгу?* ковальски не отвечает. излишне приветливый, воруют его время. мелкое воровство. идите, идите, куда шли, повелевает ковальски. они подходят ближе. от мальчиков несет потом, от девочек по-ванивает менструальными выделениями. девочки окружают сидящего на стуле. ковальски видит выпирающую плоть. одна, от которой пахнет, хочет погладить его по голове. ковальски согласен подставить плешивую голову, но было бы лучше, если бы девочка отошла в сторону, потому что тело его – чувствительно, на прикосновение теплой ладони отвечает жадно, прося повтора, а она гладит и дефилирует дальше по коридору, в своих коротеньких шортах. ковальски не выпустит синичку радости, желая насытить зрение телесной сочностью. он делает вид, что читает, а на самом деле смотрит вслед уходящей, радуясь открытиям, как археолог, который выкапывает мраморную ногу, а потом её осторожно обметывает и поливает водой, чтобы сошла серая грязь. вот оно, чудо, сверкнувшее в помещении школы. девочки движутся кругами, приближаются и удаляются. о этот кисло-сладкий, пощипывающий подкорку мозга, повторяемый (и *неповторимый*, сказал бы поэт-романтик) взгляд сзади. вождельные кружит вороном-невермором, вслед за ними и вместе с ними. голова хранит прикосновение ладони. выпрыгивающие из шортиков ягодицы – вроде чистой мысли или поэзии чистой, которая застает врасплох. *поэзия земли не умрет никогда. голосок проносится от изгороди к изгороди, возле скошенных лугов. внезапное неужели это всё – для меня?* свет, электрический свет, быть брошенным в аквариум, с обрубленными плавниками и хвостом,

лежать на серых камушках. вот дверь, за который живое солнце и деревья шевелятся, а здесь свет игрушечный, отраженный, дверцы железных шкафчиков окрашены в чиновничий синий. если дверцу – любую – открыть, на внутренней стороне висит обязательное зеркальце. светло-бежевая, больничная, что ли, покраска стен. мальчик-индус, подручный кевина, *beast from the east*, называет его кевин. индус тоже ходит кругами, в клетчатых штанах, с футляром не поймешь какого инструмента. семенит, будто ведет за собой невидимую армию канадских гусей. напевает тонким голоском. помахивает футляром, теряет нить писклявого напева, подбирает её. друзей у него нет, только этот черный футляр. к индусу направлена тощая горечь сочувствия. ковальски отвернулся от мальчика. он повторяет про себя: *я много всего изведal в странах, где много золота, побывал возле восточных островов*. на дне его души еще осталось немного спасительного эфира. золотая подливка поэзии. индус остановился возле стены, разговаривает со стеной. ковальски вспоминает: индийские девочки занимаются танцем живота, так у них принято. ковальски представляет себе, как они то вдавливают в себя, то выдавливают мякоть круглых животов. много в жизни бывает интересного. ковальски выговаривает беззвучные слова, но не понимает их смысла: *кортес глядит на тихий океан орлиным взором*. он размышляет о девичьей плоти, выпирающей из шортиков, о леггинсах, повторяющих форму ноги. *прекрасное – прекрасно навсегда*. ковальски – тот, который навсегда, он – дерево возле пожарной станции, он – птица небесная и лилия долин, он – золотая роза техаса. ковальски желает быть камнем на дороге. он чувствует, что заблудился, как та старуха в вермонте, погибшая от переохлаждения. она вела журнал, звонила мужу, но сигнала не было (*со мной небольшая проблема, сбилась с дороги, свяжись со спасателями, целую*), записку оставила *найдете моё тело, позвоните, пожалуйста, мужу и дочке. им будет приятно узнать, что тело моё отыскали, сколько бы дней ни прошло после*. взяла себе псевдоним *дюймовый червяк*. в палатке, где лежал труп старухи, нашли зубную пасту, тальк, аптечку, веревку, карандаш и ручку, карту тропы. мир тебе, дюймовый червяк, ты среди друзей, которые прошли тропой воина. мимо проходят девятиклассники. грязь и слизь, ничего больше. поиграем в святость, сукины дети. вам прощается всё, ибо из вас составлено какое-то там царство, но есть ещё кротость учителя, который наследует землю, худой проселок после дождя, черное, хлюпающее месиво. не надо, не надо жалеть себя. блаженны нищие духом, ибо они узрят *дельфины кораллы. дельфины кораллы глубоких морей*. блаженны изгнанные за правду. свет, в грязи свет маячит, на берегах темноты сиянье, как зелень на крутых склонах вермонта. лопнула почка рассвета на невидимой ветви, тройное зрение в пронзительной слепоте. ковальски видит: ри тоже ходит по кругу, дудит в хриплую дудочку, в байковой рубашке, галстук синяя сеledка, рукава собираются в складки, на щеках пятна румянца. ковальски ждет, когда приблизится ри. он вынимает жестянку с монпансье, ловко приподнимает крышечку, протягивает: *угощайся, ри!* она проходит мимо, наигрывая на дудочке песенку «три слепые мыши»: *смотри, как бегут они, мышки, за фермершей, которая обрубилa им хвосты разделочным ножом, ты когда-нибудь видел подобное, три слепые мышки, три дряхлых грызунишки...* сделал круг, ри возвращается, вслед за безумным индусом, который снова поворачивается к стене и говорит со стеной, как с человеком. говорит и кашляет. ковальски слышит, как сквозь россыпь кашля простукает дудочный наигрыш ри. кашель истончается. на голове ри черная лента. она останавливается, кладет дудочку в глубокий карман коротких клоунских штанов: *давайте ваше монпансье*.

10. дэнни на перемене

дайте мне половину побеленного школьного неба, я рассыплю там свои каракули, напишу о французенке в темном клетчатом платье, о клетчатке женской, о стареньи ее, как об облаке, летящим над кронами. она, окропленная дождем смирения, лошадка подневольная, ножками цок да цок. дети, оттопырьте губы и скажите французское «у». у-у-у повторяют дети, и она говорит «у». кончик языка к нёбу. *скажите французское «досвидание»*, гните, гните язык, чтобы выпорхнул из рта слепой уродец. повторенный, он покрывается опереньем, *оревуар, оревуар*, а вот и звонок. слово виснет, как дохлая рыба на плотной леске звонка. *до свидания*, дети, не забудьте выполнить до-

машнее задание, увидимся завтра, завтра, трепещет воздушный змей парящей фразы, до завтра. *orevuар*, коллективные прыщики взросления, гнойные медальки унылого роста.

мадам орландо спускается по лестнице, в темно-зеленом платье, *elle s'est mise une robe verte fonc e*, медленно, тяжело спускается, с ворохом бумаг. держится за поручень. тело плотное, как будто кожа набита тяжелым материалом. направляется в копировальную размножить упражнения для учеников, *elle va faire des copies pour les tudiants*. морщины её глубоки, самая глубокая – канавка, пересекающая лоб слева направо. настоящее русло, если налить немного воды, *est-ce que vous pouvez te verser d'eau?* не могли бы вы налить мне немного воды? я бы сказал ей, мадам, лягте на пол, пусть отдохнут ваши ноги, им положен отдых, и тогда я налил бы воды в глубокое русло канавки, пересекающей лоб с востока на запад, и вода потекла бы с востока на запад, и капли как бусины осыпались бы на одно ухо или на другое. зашелестел бы плеск в шкатулке вашей прекрасной головы. капли воды отражают электрический свет. я распластал бы её на полу. вот она лежит, дерзостно шевелится края недлинного платья, её грудь огромна, как два кувшина с прокисшим вином. я сказал бы: мадам, займитесь йогой или кикбоксингом, запишитесь в тренажерный зал. живот чуть подобрать и сбоку немного тоже, велосипед, эллиптический тренажер, вставляешь ступни в углубления и ходишь на месте, надавливая одной ногой, потом другой, помогая себе руками. веселее, под музыку, перебирая ногами, руками. взамен – крепость мышц и успокоение. не забывайте себя, мадам, следите за собой, *prenez soin de vous*. дети растут ущербные, не люди еще, черт знает что такое, вроде рыбы, которую размораживают при комнатной температуре, но она еще покрыта ледяной корочкой. точность подобранных слов: *перхотные твари*, видеть не видела бы. мадам, берегите себя. *orevuар*, голубоглазые, кареглазые дети, убирайтесь к чертовой матери, чтобы духу вашего не было. до завтра, подонки обоих полов. по вечерам в тренажерный, и ходить на эллиптическом, и потеть, чтоб истаял жировой слой, потеть обязательно. перспирация – двояродная сетка дыхания. еще есть кикбоксинг (мадам, помните рекламу *если устал от жизни, займись кикбоксингом*), вам выдадут синие перчатки, вроде боксерских, научат лупить по кожаной вытянутой груше, сбоку и снизу. вбивайте в нее дневную злость, пока не наступит покой, как одинокое тело воды. включайте волшебный фонарь фантазии: *это я тебя уничтожаю, дрянь, это я тебя, как последнюю тварь, рву, полетишь у меня по небу, руки и ноги по разные стороны солнца.*

я положил бы мадам орландо, как любимый предмет, осторожно, и любовался бы: вот живот её, как палуба, на которую постелили брезент, он вздувается от свежего ветра. грудь, как два капитанских мостика, стоящие рядом. я положил бы мадам на спину, она закинула бы руки за голову, как будто на дворе лето, и она лежит возле речки, слушая шепот воды, и смотрит в синее небо на рыхлый след, оставленный военным самолетом. радость, которую я ощутил бы, увидев ее живот, похожий на вздымающийся брезент, глубину складок, змейку шрама справа, возле линии трусиков, и звездообразную родинку над пупком. я взял бы штемпель из её кабинета и оттиснул сегодняшнюю дату на рыхлой коже мадам орландо: *вторник, шестнадцатое февраля две тысячи шестнадцатого года*, потом – по кругу – оттиснул бы эту дату семь или восемь раз, чтобы получился цветок в семь или восемь лепестков, с углублением посередине, похожим на маленький кратер. в углубление налил бы немного меда. тогда я услышу, как бьется ее сердце, веско и сладостно, и промолвлю на языке воздушных пирожных: мадам, у вас густые волосы и большие белые зубы, мне нравится, как вы лежите здесь. о чем вы мечтаете, мадам? она ответит: *я мечтаю уйти из этой проклятой дыры, открыть свой ресторан, в котором будут готовить изысканные блюда, вот о чем я мечтаю*, сказала бы мадам. я спросил бы её: скажите, пожалуйста, какая сегодня погода, и она повернет голову в мою сторону и пролепечет на языке пломбирного мороженого: *небо заволочли тучи, на дворе пасмурно, прояснений не ожидается, по главной трассе нашего городка из-за аварии медленно движутся автомобили.* и тогда я склонюсь над ней и скажу: мадам, закройте глаза и повторяйте за мной. начну нашептывать на ухо, и она засвиристит, повторяя *здравствуй, милый?! ты сделал покупки? bonjour, mon cher, est-ce que tu as fait des courses? да, ma cherie, я сегодня ездил в супермаркет,*

закупился всем необходимым, полкило сливочного масла, триста грамм спаржи, две коробочки сардинок, двести грамм твоего любимого сыра рокфор и бутылку, нет, мадам, бутылочку – *une petite bouteille* – красного вина, всё, что ты, ма шерри, просила купить к ужину. спасибо милый. а ты, пупсенок, как ты провела этот день? неплохо, милый, я сделала влажную уборку, постирала и погладила белье, испекла пирог к твоему дню рождения. какая же ты у меня умница! мишель и катрин, вы уже сделали домашнее задание? да, папа, я исправила все ошибки в упражнениях. а ты, мишель? я повторил имена городов, гданьск – город-порт в польше, севилья – город на юге испании. умница, сыночек (говорит мамá), а постель почему не застелил утром? – мамá (кричит мишель из другой комнаты), я не расслышал... мадам, для вас это только начало. а теперь вы повторите диалог и, добравшись до последних слов мишеля, улыбнетесь, а потом еще раз перескажете и снова улыбнетесь, и, если не сможете улыбнуться, я растяну руками уголки ваших губ. я скажу вам, чтобы вы открыли глаза и посмотрели на страницу, вырванную из вашего учебника. там стоят мамá и папа, носики приподняты одинаково, коротенькая юбка на мамá и кружевная блузка, пострижена модно и коротко. я заставлю вас пересказать диалог еще раз, не отводя взгляда от картинки, а потом вы скажете мне: ну, хватит, у меня начинает кружиться голова, и тогда я протяну вам руку и помогу встать, поправлю края вашего темно-зеленого платья, и вы подниметесь вверх по лестнице и войдете в свой кабинет, и захлопнете за собой дверь, а я буду ходить по школьным коридорам, увижу мальчика, который таскает черный футляр с музыкальным инструментом и писклявым голоском напевает одну и ту же унылую песенку, как птичка, которая подавилась зернышком и теперь не может ни горло прочистить, ни застыть на тротуаре тихим камушком смерти. возле медсестринской я увижу дежурного по коридору. в руках он держит книгу. на обложке книги изображен юноша, он подпирает ладонью щеку, его темный камзол как бы струится по рубашке, взгляд направлен вверх, волосы вьются, зачесанные на пробор, перед ним тоже книга, нет, не книга, тетрадь, посередине которой вздымается лист. я спрошу: куда смотрит человек на портрете. месье ковальски, это он сегодня дежурит, ответит мне: он смотрит туда, откуда исходит вдохновение. я спрошу: что такое вдохновение? вдохновение – это когда в тебя кто-то вдохнул достаточно воздуха, так, что грудь твоя переполнилась, и ты способен написать стихотворение или сделать что-нибудь великое. месье ковальски поднимет голову и посмотрит наверх, на побелку потолка, глаза у него серые, слегка навькате, ресницы белесые, и веки с покраснениями. иногда кажется, что глаза у него заполнены пустотой, как фарфоровая чашка – остывшим утренним чаем. глаза, которые видят и не видят, из них исчезло теплое желание смотреть наружу. я снова спрошу: может ли вдохновлять человек, которого давно уже нет? конечно, может, например, вот этот человек, который умер почти двести лет назад. я поясню вопрос: я не об этом, может ли вдохнуть в меня что-нибудь человек, который ничего не написал, просто жил однажды, а потом его не стало, и вы о нем почти забыли, но что-то еще осталось на донышке? месье ковальски скажет: наверное, может, и снова примется за чтение, но скоро прервется, когда из дальнего конца коридора зазвучит дудочка, и появится ри в разноцветных клоунских штанах, с черной повязкой на голове, и тогда я подумаю, что, пожалуй, лучше не попадаться ей на глаза, в то еще передумает идти со мной в кино, и отправлюсь в столовую, купить печений, завернутых в вощеную бумагу.

II. ковальски и ри

держала монпансье подушечками большого и безымянного. остальные пальчики отогнула. рука застыла в воздухе, как будто приготовилась к танцу, лепестки пальцев, горький, ярко-красный маникюр. лимонное монпансье осветилось, светло-желтая слезка. гибкость пальцев. выпуклость губ, помнящих запах мягкого дудочного дерева. ковальски хотел прикоснуться, почувствовать её присутствие. её рука повисла в воздухе, потом была поднесена к губам. ковальски видел прожилки, реки и ручейки, по которым бежит её жизнь. леденец исчез за белоснежной преградой зубов. язычком она подтолкнула влажный леденец к щеке, щека чуть вздулась (эластичность, податливость щеки) и оставалась такой, пока леденец не истончился. привет, ри-и-и! он продлевал звук

её имени. китайчатая краткость ри, галочка, птичка, запятая. крапина ри, легкое перышко, на котором уместилась бы карта страны: волосы цвета перегнившей соломы, синь прожилок на тыльной стороне ладони, северная чахлая тонкость ломкого тела и смех, похожий на дрожь утренних листьев. уголек имени. ковальски как будто извлек из себя жалобу, изо рта, полного горьковатой слюны угасающей похоти: ри-и-и, вспомни, что я есть, скажи деревьям, когда выходишь на улицу, что на грязно-синей обивке стула, взятого в медсестринской, сидит дежурный по коридору, стефан ковальски, создание нежное, розовый куст, забывший выпустить шипы, растрепанный воробушек. одноразовая тарелка, дети сделают из неё маску на уроке английского. нелепый ромео – треугольник носа, завитки волос – желтым фломастером, а ножницами – два отверстия, сквозь которые смотрят глаза. ушные раковины влюбленного отрока. юнцы выходят к доске и мычат *ах, быть бы на руке её перчаткой*. ковальски хочет, чтобы она увидела его, как он дышит, как кивает ей плешивой головой, как родится сизая щетина на подбородке... ковальски осенен внезапным крылом памяти, вспоминает случайную встречу на улице. дряхлый старик говорил жалобно, обращаясь к нему: *человек, не уходи человек, милый, хороший, я тебе подарю тебе голубку – живую, и живого теляночка. ты меня за это зарой. зарой хорошенько, человек мой милый*. о, нежная голубка ри. я подарю тебе кору засохшего дерева, за которой начинается море, соленая слава воды. пожалей меня. начни свой спасительный щебет.

её речь – иглока, штопающая порванную рукавицу старения. слова, произнесенные ри, улетают на юг, как птицы, или клубятся, как дым от сожженных листьев, или волной разбиваются об искромсанный берег. когда она говорит *что нового*, слова свиристят и посверкивают, как битое бутылочное стекло. *что нового* на самом деле другое, беспечное *что там, наверху*. корчится учительский слух, ковальски хочет ответить: там, наверху, потолок, покатая школьная крыша, башенка с часами, высокое серое небо и тусклое солнце. там, наверху, звезды, похожие на леденец, спрятанный у тебя за щекой. ковальски отвечает скучно: ничего за последние пять-десять минут не изменилось. говорит, конечно, не вдумываясь в слова. даже в школьном террариуме всё меняется: девочка бежит в уборную и плачет, а до этого шла и смеялась; учительница французского выходит из копировальной и, прихрамывая, поднимается по лестнице; индийский мальчик размахивает черным футляром, он перестал петь свою песенку; боковые двери то и дело открываются, в здание входят ученики и влетает ветер, сырой, как недоваренное яйцо. ковальски вздрагивает и повторяет: всё идет как идет, изменений, кажется, не предвидится. ри подходит ближе, прислоняется плечом к дверному косяку. в предбаннике медсестринского кабинета она проглатывает слюну, подслащенную лимонным монпансье. а у тебя, ри, как дела?

она рассказывает: *представляете, на первом уроке мальчик, сидящий в соседнем ряду, обливал пол и спинку двух или трех сидений*. ковальски отчетливо представил себе урок французского, утренний, первый. солнце просеивается сквозь серое, скупое небо. дети слушают и не слушают, не смотрят друг на друга, не обмениваются даже снэпшотами *у мадам за отворотом платья мелькнула рыжая бретелька лифчика, как рубец от удара*. пустой календарный квадрат, вторник, шестнадцатое или семнадцатое, гиблое время. мадам неровным (утреннее покашливание) голосом спрягает глаголы. половина класса думает *что она там кудахчет?* другая половина вообще ничего не думает. войлочное утро, неоперившийся день, таким он и будет до сумерек. дети поглядывают на часы. минутная стрелка, если б могла, двинулась бы в обратную сторону. утро как жевательная хубба-бубба, которую можно растянуть между двумя сигнальными башнями, бесконечная бельевая веревка. вдруг среди вязкого покоя выпрыгивает мальчик рыжеволосый. голова похожа на тыкву, физиономия перекошена от непомерного усилия; глаза выпучены, готовые выпрыгнуть из орбит. мальчик бежит к задней стене кабинета, где на пробковом стенде висит карта наполеоновских войн и приколоты кнопками репродукции картин. под картиной гогена стоит мусорное ведро, в которое из другого конца класса мальчишки на спор кидают бумажные шарики, скатав их из ненужных тетрадных листков. туда и направил свой бег тыквенноголовый, ладонью плотно прикрыв крепко

сжатые губы. казалось, он хочет крикнуть, но сдерживает свой неистовый порыв. он выблевал содержимое желудка на пол, перед лилиями клода моне. воздух в кабинете французского загустел, приобрел гадостную приторность. мадам нахмурилась, поставила стаканчик с остывающим кофе на стол (на кофейном стаканчике, возле ободка, остался малиновый след от помады), дождалась, когда рыжеволосый выпрямится и испуганно посмотрит на неё, и сказала: *сейчас же отправляйся в медсестринскую*. позвонила школьной секретарше: *скорей пришлите уборщиков*. уборщики отвечают за чистоту и ходят по коридорам с широкой шваброй, которая за одно прохождение очищает половину поверхности линолеума – стирает следы кроссовок, ловит и собирает в кучу фантики, бумажки, поломанные ручки, огрызки карандашей. в кабинете появился томми. ковальски помнит томми, когда тот был ещё молодым уборщиком, носил серебряную рыбку на жирной, позолоченной цепочке. по выходным брал детей на рыбалку, жена оставалась дома, смотрела телевизор или вязала очередную пару носков. потом они развелись, дети остались с женой. теперь отяжелевший томми перемещается по коридорам с явным пренебрежением к собственной поступи, как человек, который не верит, что идет туда, куда на самом деле движется. лицо, в прошлом заостренное, стало лунообразным, приобрело брезгливое выражение. томми дослужился до старшего уборщика. теперь он рассказывает по школе с огромной бутылью, из которой длинными глотками отпивает холодный, подслащенный чайный напиток. томми сохранил пристрастие к рыбной ловле, коронную наклейку на старом пикапе «поцелуй моего окунька». ковальски всегда улыбается, когда проходит мимо пикапа. он улавливает игру звуков и смыслов в английском слове «окунек», которое, если опустить первую букву, моментально превращается в «задницу». к тому времени, когда томми со шваброй и тряпкой ввалился в кабинет французского и принялся, пофыркивая от неудовольствия, осматривать место происшествия, *мадам*, продолжала рассказывать *ри*, *отвела нас в коридор и рассадила вдоль стен таким образом, чтобы одна половина класса сидела напротив другой. мы должны были поджать колени, чтобы не мешать проходящим ученикам и преподавателям. мадам вернулась в кабинет и увидела томми. он лежал с запрокинутой головой посреди блевотины. губы его пенились, слюна текла изо рта. мадам бросилась к телефону. примчалась скорая, и два волонтера увезли томми. потом пришел другой уборщик, итальянец с физиономией мясника, с картофелеобразным носом. шваброй, которая осталась от томми, вытер начисто пол и побрызгал освежителем воздуха. в коридоре я сидела с краю, *ри* продолжала, сладостная песнь неслась, насыщая знанием: *пока мы там сидели, дэнни (вы знаете дэнни? не имел счастья, отозвался ковальски). матери наши дружили, и он сказал что-то, и я ответила ему, не помню что. тогда он пригласил меня пойти с ним в кино сегодня вечером*. ковальски сказал: я рад за тебя, *ри*. *я хотела ответить, что нет, не хочу я никуда идти, но согласилась все-таки. пойду, пойду, посмотрю с ним что-нибудь, но сразу предупредила, чтобы без фокусов, терпеть не могу, когда берут мою руку и тискают в потных ладонях*. её поджатые губы обмякли. взглянув на нее, нельзя было сказать с точностью, сомневается ли она или тихо радуется. эта полуулыбка, которая не улыбка даже, а что-то другое. высокомерие вверстано в кривизну рта или, наоборот, милосердие, неглубокой тенью плывущее навстречу тебе, ковальски, как нерожденному ребенку. алая сложность рта, властность и податливость. так дерево знает, что по стволу к веткам и листьям движется жизнь. ковальски представил себе городской кинотеатр с двумя крохотными залами. по будням туда никто не ходит, кроме двух-трех старушек. сиденья слишком узкие, неизбежно чувствуешь соседнее тело. ковальски позавидовал тому, кто будет сидеть рядом с *ри*, плечом касаясь ее плеча. он ощутил глубину своего падения в ночь, когда зрение на отливе, остывает, как мертвый лист. руки его охладели, безразличные, он приник к своему одиночеству, как птица перед дождем жмет к земле. несколько мгновений сидел неподвижно, постепенно освобождаясь от черной ночи вокруг. наконец, сжал руку в кулак и дотронулся до её кулачка, кулачком в кулачок ударил: *молодец, ри, очень-очень рад за тебя и за него*. *ри* стояла рядом, покачиваясь из стороны в сторону. репейничек *ри*, прицепившийся к рукаву его пиджака. ковальски хотел, чтобы она поскорей ушла, чтоб унеслась вниз по течению коридора, только бы не видеть её. *ри* положила ладонь на его проплешину, лепетнула *на счастье* и умчалась в сторону столовой. ковальски встал и поволок стул обратно в медсестринскую. ножки стула скреблись по*

линолеуму, издавая неприятный звук. на синей обивке выгнутой спинки зеленел след от жвачки. медсестра кивнула ему. на кушетке лежала девица оливия и симулировала мигрень. она лежала на спине, скрестив руки на груди, в позе отравленной принцессы. глаза её были закрыты. в комнате было тихо. она приоткрыла один глаз и посмотрела на него.

12. ДЭННИ СМОТРИТ В ОКНО

ветвь полыхнула, обожженная случайным солнцем, капли ночного дождя, освещенные вскользь, ненадолго. хотел сосчитать точки света, которые, как прозрачные улитки, облепили неподвижную ветвь, лежащую на бархате случайного просветления. дерево казалось не таким корявым и грустным, каким было на самом деле. на ветвь уселись две птицы, название которых я знал раньше, но забыл, маленькие, юркие, как будто смазанные маслом. такие летают в больших стаях. приземляясь, птицы заливают черным глянцем крышу, деревья, лужайку перед домом. кажется, что всё вокруг засыпано мокрым пеплом.

вдалеке, на линии горизонта, проступают верблюжьи горбы холмов. когда-нибудь я сяду в автобус и уеду отсюда. в денвер, например, или в феникс. останусь там навсегда. наверное, так оно и будет. пытаюсь представить, что весь этот мир – школа, дерево, далекие холмы – не имеет ко мне отношения, свободны от моего присутствия. радуюсь этой мысли, её легкости, но в голове свербит другой голосок: исчерпнут или останутся подробности моей жизни здесь? конечно, останутся, как бусинки дождя, которые забыли вытереть: собака лает на соседней улице, ей отвечает другая; пенсионеры играют в теннис на школьном корте (одного из них зовут джерри, он носит рыжий парик, клоунскую шапочку и розовые шорты... грустный клоун джерри); три вишневых дерева возле дома. весной они отравляют взгляд ядовито-фиолетовым цветом. в начале мая, когда зацветают, хочется облить их бензином и поджечь, как фермеры сжигают змеиные гнезда. змеи горят, извиваясь, пока не замерзнет в огне змеиная гибкость. я подумал, что вряд ли забуду майский отравленный цвет. запомню птичью стаю, когда залитый черным кустарник вспархивает мгновенно.

две птички отбились от стаи; сидят на ветке и смотрят в окно нашего класса. я – единственный, кто отвечает взглядом на взгляд; другие поглядывают на доску, переписывают глагольные формы, выведенные на доске рукой мадам орландо: череда слов похожа на аккуратно подстриженный газон. я забываю о дождевых каплях на ближней ветке и смотрю на птичек. мне интересно, о чем они разговаривают. бывает ведь птичья речь, если есть дельфинья или козья. первая, наверное, выщербивает: *вижу женщину, стоящую перед детьми, в руке у нее прибор вроде фонарика, выпускающий узкий зеленый луч, и она подводит лучик к кружкам и галочкам на черной поверхности. зубы у женщины крепкие, белые, как птичий помет. дети склонились над партами, как будто пытаются склевать рассыпанные зерна.* солнце исчезло, снова стало пасмурно. птички улетели. по узкому проходу между партами пробежал фрэнклин, которого называют *фрэнклин тигр*, хотя на тигра он не похож. фрэнклин подбежал к задней стене кабинета. наклонился вперед, упершись рукой о крайнюю парту. коричневатая жижа выливалась изо рта. мадам орландо остановилась на фразе *неопределенная форма глагола «понимать»*. схватила телефонную трубку: *у нас чп, пришлите скорее уборщиков.* качнув головой с роскошными рыжими волосами, сказала, чтобы мы выметывались без единого звука. дети выходили бесшумно. я остался один, потому что, во-первых, смотрел в окно, а во-вторых, не хотел куда-то идти со всеми вместе. на другой стороне улицы я увидел человека. он махал кому-то, и я помахал в ответ, но он, кажется, не заметил меня, а потом я увидел, как в здание почты входят две китаянки, которые там работают. они ступали мягкой, рысей поступью, и дверь за ними закрылась. я увидел двух птичек, тех самых, которые покинули соседнюю ветку, и теперь сидели на покато́й крыше почтового отделения. увидел полицейского. он регулировал движение на перекрестке, но машин на улице почти не было, и полицейский большую часть времени стоял без дела. светло-серая фуражка, черный лаковый ремешок прихватывает подбородок. вот он остано-

вил одну машину, выпятив ладонь вперед, и пропустил другую, движущуюся по боковой улице, а потом я услышал грохот и обернулся: возле двери, в лужице рвоты, растянулся главный уборщик томми; его швабра была похожа на шест, которым лодочки отталкиваются от берега. уборщик тянул голову назад, как будто хотел увидеть то, что находится позади затылка, линолеум был залит блевотиной, оставшейся от фрэнкалина. дверь в кабинет открылась. мадам орландо всплеснула руками и понеслась к телефону. платье раскачивалось на бедрах, как колокол. она схватила трубку, задыхаясь, проголосила *у нас тут снова чп, у томми припадок. он лежит на полу... нет, я вела урок... баночка из-под кока-колы.... ах, вот оно что.* она повесила трубку и выбежала в коридор, не заметив меня. когда мадам исчезла, я посмотрел на уборщика: гигантское тело сотрясилось в корявом танце, прерывистое дыхание напоминало звук, издаваемый старой газонокосилкой. я взглянул в окно. теперь постовой стоял на тротуаре, а мимо неслась бело-голубая машина скорой помощи. волонтеры появились внезапно. повернули уборщика на бок. один волонтер присел на корточки. я подумал, что сейчас он начнет сдвигать пену с губ уборщика, как в баре дуют на мутное облако поверх пивной кружки. он стер пену с губ и посмотрел на своего напарника. напарник шепнул *давай подождем немного.* и тогда они стали ждать, и один шепнул другому *ну и вонь здесь, это не этот наложил в штаны? нет, говном вроде не пахнет,* сказал другой. *да, пожалуй,* согласился первый и замолчал, а потом увидел меня и спросил *а ты чего здесь делаешь?* сижу и смотрю, ответил я. он оставил меня в покое. припадок закончился. уборщик стал похож на медузу. тело обмякло, взгляд потеплел. он проговорил, подбирая слова, как будто забыл человеческую речь: *положите носилки рядом.* они разложили носилки на полу. он медленно переполз, разлежся, как будто приготовился спать. они тащили его, как охотники тащат борова, привязанного к толстой жерди, или как на картине два работника несут белого ангела. улыбается сидящий ангел. по лицам работников катятся крупные капли пота. в кабинет заглянула мадам орландо. заметила меня и сказала: *а ты что тут делаешь? марш в коридор.* в коридоре я сидел напротив ри. другие дети молчали, глупо смотрели перед собой или слушали музыку. ри вынула из кармана дудочку. делала вид, что играет. дула в нее осторожно, почти беззвучно. звук, подобный пробегу ветра по верхам деревьев. я старался не смотреть на неё, но ничего не мог с собой поделать. ноги, согнутые в коленях, затекли. тогда я стал сгибать-разгибать ноги. поглядывал на ри тайком, чтобы она не заметила. увидел, как из-под задранного рукава байковой рубашки, чуть выше локтя, мелькнули слова *не бывает.* я подумал: это хороший предлог, чтобы начать разговор. подождал, когда она закончит играть на дурацкой дудочке, и сказал: мне нравится татуировка возле локтя. а что там дальше написано? она задрала рукав до плеча: *не бывает начал и финалов, финал – это другое начало.* прочитал и ничего не понял, то есть понял, но не хотелось об этом думать. сказал: мне очень понравилась эта надпись. ри ответила: *я хотела бы взжигать в себя разные слова, например такие: если вас окликнули в супермаркете, наклоните голову и сделайте так, чтобы тому человеку, который на вас смотрит, показалось, что ваша голова превратилась в капусту.* да, голова похожа на кочан капусты, я рассмеялся. потом спросил: ри, как твоя мама? ри сказала, что мать работает, а по вечерам смотрит «анатомию страсти». *хочешь послушать стихотворение?* не дожидаясь ответа, вытащила тетрадку, прочитала негромко: *брызги ложжились возле ног, песок сочился между пальцев ног, я закинула голову и смеялась, пока набегали волны, пока уходили. взрослые лежали на пляже, обнимали тень, отброшенную домом, а другие дети куда-то ушли, – песчинки, которые тянуло за собой течение. те и другие звали меня, хотели, чтобы я присоединилась к ним. дети призывали бороться с волнами, взрослые – лечь на песок, заснуть в тени, но мне безразличны и те, и другие.* я подумал, что стихи – это глупость, которой занимаются грустные девочки, похожие на птичек. сказал, что да, понравились стихи, очень даже. она спросила: *в чем их оченьдажесть?* я не смог ответить, и она замолчала. я смотрел на ее черные носки и ботинки, доходившие до щиколоток, и мне захотелось прикоснуться к её щиколоткам. я сказал: ри, можно задать тебе вопрос? и она ответила: *конечно, можно.* я спросил: ты пойдешь со мной в кино? она сказала, что пойдет. я обрадовался, но виду не подал, продолжил сгибать и разгибать ноги. *при одном условии,* добавила ри. *ты не будешь брать меня за руку, не будешь обнимать меня или пытаться поцеловать, вся эта мишура унижительна для женщин, ты понимаешь, о чем я?* да, ри, понимаю, я

не собираюсь тебя обнимать или целовать. тогда я представил себе, как мы пойдем вместе, и я почувствую запах ее соломенных волос. вечер будет растилаться по небу. мы пойдем по опустевшим, бормочущим улицам, мимо бубличной и грязной гостиницы – туда, где подслеповатый туман трется мордой об окна и лижет влажным языком желтые щеки нашего городка.

13. ковальски в лесу

он вышел из школы, втянул ноздрями вязкий, недовыстуженный воздух. вспомнил, что надо зайти на почту, отправить несколько писем. почтовое отделение – небольшое кирпичное здание: прием посылок, подача заявления на паспорт, продажа марок: мария с младенцем, золотой семисевеник и белая арабская вязь на зеленом фоне. медленно прошел мимо магазина, в котором торгуют спортивным инвентарем и тишотками с логотипами футбольных клубов. спортивный был закрыт, но работала соседняя лавка. ковальски разглядел старика-нумизмата с увеличительным стеклом в трясающейся руке. в детстве ковальски коллекционировал монеты. он вспомнил матовую истертость, исчерпанность старинных монет, мысленно пересыпал темную медь из одной горсти в другую. дата впыхнула зримо, 1666 год, на кривом грошике, отчеканенном в речи посполитой. ковальски ощутил тысячи прикосновений к телу монеты. он улыбнулся, в кованых сундуках его памяти блеснули французские сантимы, с фасциями и топориком. сладостная французская речь, как будто слова где-то в глубине рта обсыпают сахарной пудрой, прежде чем выпустить их на волю. воспоминание прервалось, уступив место вчерашнему: они с линдой возвращались из супермаркета. линда, которая вела машину, резко затормозила перед велосипедистом. фонарик светил из ярко-белого шлема. опустила стекло, крикнула сиплым, медсестринским голосом: *освободи дорогу, мудака*. велосипедист остановился и сказал негромко, но внятно, так, что ковальски услышал: *придурочная*. ковальски почувствовал стыд, не за линду, а за себя; ему было стыдно, что он оказался рядом с ней в машине и услышал её. когда они приехали домой, он заперся в своей комнате, включил интернет. просматривал объявления риелторов, пока не нашел комнату, в полчаса езды, недорогую. подсчитал, сколько надо будет внести за комнату и сколько оставить линде, чтобы она ни в чем себе не отказывала. на этом успокоился и больше не думал о переезде. линда позвала его ужинать. они сидели за столом и разговаривали о разном.

ковальски приблизился к почте. когда в помещение входил посетитель, дверь медленно открывалась и оставалась растворенной, не возвращаясь сразу в тесноту створок. дверь из тяжелого материала. преодоление пружинной работы, противостояние вдавливанию, слиянию с поверхностью стены. тяжелый сорт дерева. живой организм на пограничной полосе между дыханием и его отсутствием, на невидимой стене, отделяющей одно от другого, то, третье состояние, которое схоже с первым и со вторым, но существует помимо тех двух, как область светотени на полотне мастера. ковальски хотел помедлить, остановиться на входе, ни внутри, ни снаружи, подражая медлительной двери. пять или шесть ступенек ведут к двери, но ковальски всегда поднимается сбоку по бетонному съезду для колясочников. колясочники разговаривают со служащими, задирая головы. две служащие-китаянки глядят на инвалидов сверху вниз, и глаза у них темные, как пулеметные гнезда, как полусасыпанные колодцы. их речь отрывиста, – так топором на растопку рубят кольшкы, чтобы костёр затеплился, полыхнул немного. обрубленная речь, культя дежурных слов. *сколько конвертов, два острых кольшкы, никогда не скажут сколько конвертов у вас имеется?* не спросят как там с погодой сегодня? за всю зиму снег так и не выпал. глобальное, видимо, потепление. инвалиды смотрят снизу, не нужно им ваше узкогрудое сочувствие, но сказать ведь можно что-нибудь, китайская мордочка, по-человечески, жалко, что ли, а они – одна и другая – щепочка к щепочке: *платить... наличными... карточкой... нет, лучше карточкой... так, хорошо, следующий*, и инвалид съезжает вниз по уклону, карабкается в машину, и говорит себе: *сделал дела почтовые, хоть день не зря потрачен*.

ковальски передумал идти на почту. неотправленные письма положил в карман плаща. направился к городскому парку. мысли его уходили вниз, к влажной и скользкой, как будто отказавшейся от себя земле. он не мог уследить за чередованием мыслей, терял их круговой рост, стремительное повторение. усталость наваливалась, как плачущее облако. как будто ковальски оказался в темном углу и так долго там простоял, что, наконец, сам превратился в остроносую тень. изможденность сочилась сквозь поры: от пьет из реки, в которой нет воды. поезд ушел, самолет улетел, машина уехала. не успел на посадку, не открыл вовремя дверцу, чтобы скользнуть в салон, исчез для себя самого. не достучаться до собственного сердца. теперь он хочет спрятаться под прозрачным покровом леса, вжаться с желтые оплевки прошлогодней травы, почувствовать её прикосновение. её бесполезность. в траве он узнает себя, но разница всё-таки есть. трава мертва, другая вырастет скоро, а ковальски жив еще, гуляет и смотрит, как ловит рыбу человек в непромокаемых ботфортах. вот он накрошил хлебушка, и теперь рыба клюет. человек вытаскивает одного карасика за другим, и каждая рыбка тонка и почти прозрачна, но если наловить ведёрко, то можно сварить уху. *сучик пожирнее*, говорит линда. ковальски глотает виноградную мякоть отчаянья. где птичья песня, которая льется весной? неслышная, тусклая музыка целует в темя; время февральских, бесснежных туманов, нежной бесплодности, время подозрений, что жизнь вот так же остыла и стоит перед ним теперь голая, не присыпанная ни бурой листвой, ни наволочкой горьковатого, пахнущего бензином снега. все уже было, и ничего не будет, кроме желтой травы, изжеванной подошвами. другая, живущая помимо него, свербящая мысль о нежной ри, мысль, которая преследует учителя, вернее, вперед устремляется. как будто ковальски бежит за автобусом, который отъезжает медленно, не так медленно, чтобы можно было догнать и ударить несколько раз кулаком по передней двери и крикнуть водителю *остановись, пожалуйста!* ковальски переживает свою мысль, как сновидение. мнится, что он одевает ри, подбирая сначала платье в мелкий цветочек, потом матовые туфельки. заплетает косы, выкладывает их как слои праздничного пирога, закрепляет гребенкой, и тогда она преодолевает девичий возраст, становится взрослой. ковальски прикасается к древесной коре. открывает книгу, заложенную картонкой с периодической таблицей элементов. он пробует читать сокращения как слогги, шивая их в слова: *феруос, неакр, сетено*. придумывает смысл каждому новому слову, *рур* – это дух, летящий над водой, а водой пусть будет *тавере*. он смотрит на дерево. белка перескакивает с ветки на ветку. мех отливает февральской просинью. из глубины парка выходит рабочий в комбинезоне, на плече он несет огромную ветвь, мертвую, засохшую. он идет в сторону прицепа, на котором стоит механизм с трубчатым жерлом. механизм заработал, издавая звук, похожий на побудку. человек медленно опускает ветвь в жерло, слегка на неё надавливает, а потом из противоположного отверстия мокрые опилки сыпятся в кузов стоящего рядом грузовика. рабочий уходит за новой ветвью. ковальски поднимает воротник плаща, как будто пытается защититься от ветра, хотя ветер почти не дует. он отправляется дальше по дорожке. перевернутые деревянные лодки лежат на берегу, их покрашенные в серый сурик днища сгнили. на этих лодках никто не поплывет, думает ковальски. уточки плавают. наискосок от него, наполовину заслоненные гнутыми ветками ивы. возле кромки озера стоят дети и бросают в воду катыши хлеба. он видит несколько уток, которые подплывают нехотя и подхватывают брошенный хлеб. ковальски слышит, как женщина, невидимая за деревом, говорит ребенку: *отщипни побольше, малыш, кинь подальше вон той робкой птичке*. он садится на скамейку. поворачивается вправо и читает кривую надпись, процарапанную сквозь грязно-синюю краску *джонни любит дженни*. ковальски аккуратно снимает ботинки, ставит их возле скамейки, стягивает плащ, свертывает и кладет под надпись. сверху оставляет книгу, обложкой вниз. по влажной, холодной земле подходит к озеру, смотрит на уток, потом – на свои ладони. ему кажется, что он видит их впервые. он приглаживает клочковатые волосы на голове; вздрагивает, как будто слышит чей-то внезапный окрик, и входит в неподвижную, серую воду.¹

2016, мэдисон – нью-йорк – мэдисон

¹ Отрывки из писем Джона Китса даны в переводе Сергея Сухарева.

Сергей ШУБА

Дети правда тебя отпускали одну
целовать вскипающий дождь
а сами шагали с волны на волну
и ждали пока придёшь

Коровы с мёртвыми говорят
кошки играют с землёй
спать захочешь вступи в отряд
возвращайся бесшумной слезой

Кто тебя видит чайка да кость
что омыта белым бела
первым всегда приходит гость
стучит по краю стола

Ему сгодятся вино и сны
остальное на память пускай
Качается ветка стынут блины
и дождь капает в чай

Давай-ка мы подруга поедем по мосту
Как два больших вагона ту-ту ту-ту ту-ту
Пусть впереди жиган туман и чехарда
Мы насквозь просочимся и ты мне скажешь да

Как будто плывёшь на плоту
В глухое глухое вчера
Плескает вода горько листу
Не думай что это спираль

Сергей Шуба родился в 1983 году в городе Курган-Тюбе (Таджикистан). В 2005 году окончил Ростовский государственный строительный университет. С 2007 живёт в Новосибирске. Работал дорожным рабочим, начальником ПТО, дворником, кровельщиком, пекарем. Печатался в литературном альманахе «Ликбез», журналах «Ното Legens», «Топос», «Плавучий мост», «Южная звезда», «Лифт», «Северо-муйские огни», «Подъём», «Новая реальность», интернет сообществе «Полутона». Выпустил поэтический сборник «ВПиХ» (микроформат, «iZZdat», 2012). Участник поэтических («Experiences» – 2010, 2011, 2012, 2013) и музыкальных («С.Ш.А.» – 2008, 2009, 2012) фестивалей, различных поэтических и музыкальных акций в Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске.

Ещё три веревочки есть
Завязаны в нашем во рту
Ты думал что глюк ты думал что ртуть
А мы то ли там то ли здесь

Так что темнел февраль
Жданов принёс сто грамм
Выпили на улице советской
За потерянное детство

А вынырнуть успели к луне и чудесам
Качались на качелях сипели островам
Которые как призраки кружило по волнам:
Веревочки развязаны и вам и вам и вам!

Мял-мял куролесил долго-долго
До того что позвоночник стал Волгой
И понравившийся сон вытек небом
Небо злой собаки стало белым

Так сидел не под кустом а на лавке
Словно в озере-степи в пустом парке
Хоть бы звездочка хотя бы синичка спела
Как всё чёрное оборотится белым

Чёрной ягодой смородиной зажму губы
На плащанице льняной говорят горбы
За углом под фонарём ждёт самса
Только спит солдат скатав шинель у виска

Два колеса повез, не маленьких, на счастье
А кольца бьются о земную полутвердь
и утверждает глазомер: до тихой урны
еще успеешь ты не весел ни сердит
всё сердолик и яшма и янтарь
рубашка белая ну прямо как берёзка
в известняке качается сережка
И список полон – никого не жаль.

Поищи-ка «Гранатовый браслет» Куприна
Там какая-то правда (правда, она не одна).

Очень жаль, что бессонные ночи, разговоры, цветы
Означают расширение мира на «я» и «ты».

И какую бы рыбу ты не принял за плот
Говори на её языке, потому что немеет рот.

Едешь через речку так езжай
Лапы поднимаются в тиши
За рекой поддатый краснойбай
Даст тебе тарелочку лапши
Ты не думай, это не Китай
Красноглазых, впрочем, тоже нет
И тихонько плещется у свай
Забывья вода, вязанки лет
Покружившись, уплывают вдаль
Видимо, разлуке суждено...
Едешь через речку – так езжай
Дальше, за рекою, всё одно.

Главное, не копаясь – лечь
Знай свою меру, вещь
Знай своё дышло, скит
Вывернут – и убит.

И расстояний соль
И времён берега
Можно делить на моль
На циферблат врага

Только бы приберечь
И разменять на дно
В общем-то, просто вещь
На то, что не по рублю.

Уже давно и вас никак, меня никак.
И у кого будет сириец, будет рак

У одного, с запасом тел нынче труба
Кто разберётся, кто пострел
А кто губа
И кича, личка, мичман-птичка, и модель...
Ты не седей, ты вспоминай свою метель
Залает за спиной сосед, что в душу влез

Стеклянных струй невпроорот, но есть же мест
Ещё чуть-чуть на каждого из нас...

Ты не горюй, купи в Ашане ананас.

Снег не дышит за окном
Под лопатой умолкают
И земля и неба глина
Зёв зимы пророчит ночь

А пока студёный день
Опрокинул стопкой Время
Надо ли ему помочь?
Или сам он по себе?

Или сам я по себе
Или это только снится –
Снег, лопата, ночь, синица...
Что исчезнет по весне?

Андрей ТАВРОВ

КЛУБ ЭЛВИСА ПРЕСЛИ

Роман

Викки, зеленому зимородку

I

Совсем не обязательно, когда море синее, когда зеленое тоже. А еще раннее утро, и туман над морем, а оно, как зеркало, плоское, млечное, а Витя-саксофонист идет с удочкой на пляж, где пока еще не продают кофе, а пахнет водорослями, а сквозь ячейки железной сетки, опоясывающей теннисную площадку на спуске к морю, летит сюда стук одинокого теннисного мяча.

На пляже пусто, галька еще холодная, слышно, как плеснет волночка и умрет, а с буны видно дно с черными мочалками водорослей и асбестом песка, на камнях сидят маленькие крабы. Витю потряхивает. Он боится, что снова увидит Гама. Гам – это страшный человек, весь в белых бородавках и жирных волосах, который хочет Витю убить и появляется всегда неожиданно, то на остановке автобуса, то в туалете, а иногда на пляже. Выходит он, обычно, как будто из стекла и опять туда входит, а Витя от этого сидит на асфальте, его тошнит и ведет нехорошо к земле, но потом он всегда встает, потому что музыка. Жена его выгнала и теперь он живет у дочери, которая его не выгоняет. Витя поднимается со ступеньки и отряхивает джинсы.

Из чего это делают море по таким утрам, разве что только из молочного с зеленым стеклом, а воздух, точно, делают на Луне или еще где, но, наверное, такой воздух делают еще и здесь, на пляжах у железной дороги, где он с особенным лунным отливом, и Витя идет к буне, но на нее не выходит, потому что спускается вниз, садится на гальку, прислоняется спиной к бетонным блокам с той стороны, где тень, и закрывает глаза. Удочку он поставил рядом, и она высится над ним, как древко без флага, а если бы был флаг, то был бы белым, как сигнал о сдаче.

Лучше всего быть молниеносной летучей мыслью, которая, как кусок отломанного антрацита, носится куда хочет по зеленеющему небу, а в это время зажигаются окна, и он подумал, что не мыслью, а мышью и еще что это одно и то же, потому что если не мысль о Вите, то Вити не будет тоже. Мысль о мыши делает ее антрацитной, парящей и свободной там, куда Витя может дотянуться только пока играет в ресторане или на концерте, свингуя и потопывая ногой в кроссовке, а инструмент звенит и свисает на нем, тяготя и хорошея, как выбившаяся из-за ремня незаправленная рубашка, и вознося туда, куда ногами не дойти.

Он чувствует холод воды, и, кажется, хорошо бы разуться и забрести в нее по колено, наверное, сразу же станет легче. Сквозь прикрытые веки вспыхивают колкие зайчики неправильной формы, пляшущие на волнах, которые теперь живут внутри Витиных глаз, а он думает, что на олимпийской стройке на Поляне исчезло 20 таджиков, а потом выяснилось, что их утопили в жидком растворе, и теперь, чтобы их достать, надо бетон взрывать, и все равно навряд ли он поддастся – кто же будет взрывать зацементированный котлован, а раньше на Поляне было хорошо, речка звенела, как хрусталь, и ястребы кружились в глубине небес, как справедливость и предел прозрачности.

Андрей Тавров родился в городе Ростов-на-Дону в 1948 году. В 1971 году окончил филологический факультет МГУ по отделению русской филологии. Работает на «Радио России». Автор двадцати сборников стихов, прозы, статей и эссе. Участник антологий «Строфы века» и «Антология русского верлибра». Стихи и рассказы печатались в журналах «Новая Юность», «Урал», «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Воздух», «Комментарии», «Арион» и др. Главный редактор издательского проекта «Русский Гулливер», главный редактор журнала «Гвидеон». Член Союза писателей Москвы (с 1996 года), член Литфонда, член Международной федерации русских писателей (МФРП), член Международного Пен-Клуба (с 2010 года).

А вот туман над морем и стал еще гуще, взамен того чтобы уйти, а наверху из кафе раздался звук движения, и Витя, оставив снасти, встал и пошел по лестнице вверх, туда, где звякнуло.

Огромный черный грохот рвет тишину в куски – это грохочет поезд на Сухуми, раскачивая ходом и ветром зеленые верхушки кипарисов, в одной из которых Витя когда-то убил воробья, а потом ночью плакал, а за стеной сарайчика какой-то курортник скрипел раскладушкой, а девочка постанывала, а теперь кипарис качает верхушкой без воробья, или, может, с каким другим воробьем, и Вите от этого свободно и пусто.

Он подходит к буфету, заказывает сто пятьдесят водки и несет пляшущий белый стаканчик за столик под тентом, а на пляже стоит туман, то гуще, то прозрачней, как будто плывешь куда-то, а не сидишь за столиком, солнце больше совсем не проглядывает, да оно и лучше без солнца, он запрокидывает голову и, дернув кадыком по смуглой морщинистой шее, вливает в себя водку и застывает.

Он хотел бы видеть еще кого-то. Да, хоть одного человека, потому что там, в буфете, не человек, а так, сгущение. Никого нет, и он сидит, ожидая, что будет, а потом понимает, что ничего особенного не будет, и тогда встает и снова идет к буне.

А на буне сквозь туман высится над водой, словно шаря собою в воздухе, гигант в линялой розовой майке и с подводным ружьем – спуск звенит, гарпун уходит в воду, а через миг вспыхивает жидким серебром огромная кефаль, бьющаяся, как пружина, вынутая из моря, и великан, плавающий в туманном молоке то головой, то линялым сиреневым торсом, вытягивает ее на буну, нанизывает на кукан и с треском заряжает свой самострел. Идет дальше по буне, мористее, в глубину, всматриваясь в воду, ведет концом ружья и снова стреллет в рыбу, вынимая ее из моря, влаги, тумана, черного грохота, воробья и Витино сердца – серебряной огромной гирей. Витя лезет в карман за сигаретами, в голове постепенно оживает то ли Дюк Э., то ли Джон К. – сладкая верная тема на клавишах и басы, – закуривает и идет здороваться. Голова у него кучерявая, немытая, походка приблизительная. На волнах качается чайка, и что она есть, что ее нет – одно и то же.

2

Имена – продолжение вещей, говорит Аристотель, поэтому музыка вещи не продолжает, а словно бы образует. В горах время стоит над кладбищем в сини и лазурите весеннего неба, оно струится над гигантской чашей меж горных склонов, внутри которой амфитеатр могил, вырытых и засыпанных в разные годы.

Если читать все, что там написано, то станешь земляным человеком, а не стеклянным ангелом, как хотел. Может, и сомнительно, чтобы музыка образовала и кладбище, но музыкантов, которые здесь лежат и живут, образовала именно она.

Она образовала почти что все, но это мало кто замечает, потому что для того, чтобы не слышать вовсе, не надо умирать и чтобы забивались уши землей, и наоборот – если слух открылся для прекрасных мелодий – в джазе ли завернутых или поющих в старинных фугах – то и могила тебя не удержит, потому что она тебе не хозяйка.

К кладбищу от остановки ведет асфальтовая дорога, взятая в ряд кипарисов, в жару и в ослепление солнца. В самом начале на почетном месте – гигантский мавзолей с изображением усопшего во весь рост в мраморе рядом с мраморным же BMW. Здесь, видимо, упокоились те, кто богател на выстрелах и быстро умер, а деньги у родственников остались. А в небе, лазурите и синеве, блестит, как иголочка на солнце, самолет, и, кажется, он всегда там стоит и блестит, но это разные самолеты – один летит в Адлер, а другой, например, в Сингапур.

Чтобы въехать в дом к Николаю-музыканту, надо обогнуть кладбище повернувшись, откуда справа внизу виден город, а слева новая дорога, пробитая в горах, шоссе в объезд города – над ним сизая пелена выхлопов, от которой все время хочется убежать на побережье, а видом это шоссе – пустыня смерти с железными жуками внизу.

От дороги, в песке и асфальтовых выбоинах, надо свернуть налево и тут поставить машину почти что вертикально – носом вверх, чтобы, тужась и подергиваясь, она въехала в узкий круглой

переулочек, и снова нырнула вниз. А там Николай вылезает из машины и открывает железные ворота, локти почти прижаты к бокам, так здесь узко, и лает собака. Он заезжает внутрь, в крошечный дворик и глушит мотор.

Зато дальше как будто настоящая вилла на озере Рица – гудит кондиционер, прохлада, три этажа и студия звукозаписи.

Да, студия. Да! О, зачем, зачем мы не наслаждаемся теперь же тайной жизнью студии, в которой разбросаны поблескивающие части саксофонов, мерцают и бегают туда-сюда огоньки усилителей, на полу валяются в перекрученных проводах штанги микрофонов, а на столике пепельница, коньяк и в вазочке лед. Зачем мы принимаем это как должное, вместо того чтобы взять и остаться тут, хотя бы ненадолго, взять и пережить всю эту музыку, запах табака, блуждающие мелодии и сквозняк из двери не как всегда, а только так, как и следует, – всегда заново.

Да, всю эту пыль, да. Воздух, музыку, лихорадочный и знобящий объем свободы, не привязанной ни к чему, как вид из окна вагона! Скажи мне, богиня жизни с узким деревянным ножом в пятке и латунной дудочкой в сердце, скажи! И я поверю.

Тут же огрызок яблока, а в динамике тихо толчется Колтрейн. Николай достает из холодильника бутылку вина и ставит на стол.

Если особенно не вглядываться, то чудовищные наросты на его ногах и руках не видны, а если вглядываться, то это словно в нем пробиваются, перепутав, изнутри лосиные рога, но выходят к свободе сдавленно и не как у лося, а через локти, запястья и колени.

Николай – человек белый лось, но он устал переживать и сидеть на диетах. Роза его любит и такого, а когда он играет на фортепьяно, то нет больше человека-лося, а есть белый одинокий лось, что сам по себе плывет в небе вместе с облаками через край горизонта, и многие плачут под его музыку, и сейчас они готовят с Витей новую программу.

Витя должен вот-вот зайти, а Николай поднимается на террасу, широкую и раздольную, и подходит к ограждению. Далеко видны сизые горы с белыми шапками, лазурит вверху раскаляется, над дорогой-пустыней с бегущими, сверкая стеклами, жуками висит сизая пелена, а под террасой, в овраге крутятся четыре огромных вентилятора на крыше тепловой станции. Лопасты выкрашены в оранжевый цвет, и лучше на них долго не смотреть, потому что закружится голова.

Раньше на этом месте стоял домик, а в нем жил человек, который ел стекло. Николай сам видел несколько раз, когда был маленьким. Он тогда думал, что человек будет сам стеклянным, а может, тот и стал, Николай не знает, но потом дом исчез, вырыли котлован, залили бетоном и построили тепловую станцию.

Звонит звонок, это пришел Витя. Николай наливает ему холодного вина, потому что другу надо помочь, а иначе и говорить не о чем, и хотя Витя и сам знает, что помрет от выпивки, но что ж тут поделаешь. Помочь все равно ведь надо. Пока же он живет, и слава богу.

– Инструмент где? – говорит Витя невнятно. – Нинка опять не пускала, – добавляет он, проглатывая холодное ркацители.

Он лезет в карман, но передумывает и берет сигареты со столика.

– А помнишь Гориллу? Вот же пацан две октавы брал, ежли б не спился, наверное, в Америку бы уехал. Я сейчас его сеструху видал, шла к нему на могилу.

– Ничего он не спился.

– Нажрался и прыгнул с солярия головой на камень. Как это не спился?

– Ладно, – говорит Николай, – на, держи!

Он протягивает Вите жар-птицу, золотой саксофон, инструмент из штата Нью-Йорк, и у Вити открывается рот, глаза жмурятся и сияют, а по лбу бегают золотые отсветы.

– Вот же, черт! – говорит Витя – Вот же, черт, а!

Потом они играют в плотном воздухе, постепенно входя в раж и воодушевляя пространство и время, и еще друг друга, словно все опять начинается заново, а ласточки визжат и цокают за окном, а ноги отбивают ритм и от этого становятся сильнее и моложе, а изумрудный фантомас музыки шастает по всему дому.

Вечером, когда воздух придвигается и темнеет, они спускаются к черной «Волге», кладут сумки на заднее сиденье, и Николай долго прогревает мотор. Потом, пятась, начинает выбираться из ворот, целясь багажником в вечеряющее небо, в салоне жарится. Перевалив гребень и грохнув чем-то на заднем сиденье, они едут по кромке кладбища, похожего на амфитеатр с мертвыми и живыми, город внизу зажигает первые огни, видно, как пирс выбежал в темное море тонкой сизой полоской с красной точкой маяка на конце, а впереди тащится, мотая прицепом, КраЗ, поднимая пыль – ни обойти его, ни объехать. Витя уже не всегда понимает, кто мертвый, а кто живой, но Николай понимает и объясняет Вите, но он не особо любит говорить на эту тему, потому что он еще не придурил и не спился.

– Слышь, – говорит Витя, – а я Серегу на пляже повстречал. Сначала не узнал. Идет и лупит кефаль прямо с буны. Штук семь набил.

Он знал, что кефаль птица херувимов и сказал это тогда Сереге, а Николаю не стал.

3

Птицы херувимов бывают разные, и среди них есть иногда и люди. Человек птица херувим излучает черный свет, который кажется незаметным или едва заметным, как будто от него чем-то пахнет или он какой-то странно притягательный. В общем, видно, что он всегда готов умереть и что для него это не имеет большого значения.

Скорее всего, он похож на плоскую и черную камбалу, человек херувим, и если на него смотреть с одной точки, то он будет огромен во весь почти пляж, как сейчас распластался на его гальке Савва Цырюльников, потому что он любит ту женщину, которая бьется под ним, словно самка дельфина, полная детенышей, белого живота и сияния и еще стона на Ы, и всего птичьего, дельфиньего. Но она все время куда-то ускользает от Саввы, и не наводится на ту ослепительную точку, от которой мир исчезает, как исчезает он в фокусе линзы, потому что в этот момент вспыхивает, и так же точно хочет вспыхнуть Савва, чтобы открылась ему вся вселенная от края и до края. Со всеми, он хочет, чтобы открылась она ему смыслами, лошадьми на улицах, рыбами в океанских глубинах, где затонули атомные субмарины, и звездами из тех, которые увидишь разве что в темную августовскую ночь, когда все лишние, словно фосфорные яблоки, падают они с неба, размазываясь по нему и светясь, а остальные остаются в глубине, чтобы ярче выговорить эту глубину, и ту глубину, которая за этой, и еще следующую, совсем уже ни на что не похожую, ну, разве что цветом отдаленно напоминающую оранжевый апельсин.

И в такой миг Савва становится сам всеми звездами и сияниями, и наконец-то вспоминает, кто он есть, потому что в остальные дни и периоды времени он этого не помнит из-за сильной травмы, полученной на ринге, от которой он шесть лет назад чуть было не помер, но в последний момент удержался и стал жить, но уже без памяти о себе.

И когда он видел красивую женщину, то всегда думал, что, может быть, именно она его память, и не отступался до тех пор, пока она не соглашалась пойти с ним на пляж или в гости к другу, и тогда он становился человеком херувимом и пластался, как камбала, накрывая ее со всех точек сразу своим телом ладонью, словно пляшущую по зеркальному столику монетку, чтоб не выпрыгнула.

Тогда он становился с ней разными вещами – например, с этой Медеей, с которой он сейчас гнался за ускользящей точкой познания, сначала они были: он – парнем в выцветших джинсах, а – она девушкой в шортах с рваными краями и выбившимися нитками, а потом они стали как две бабочки, которые в Китае обозначают супружескую пару в ранний период жизни, легкие, пестрые, без веса и забот. А потом она стала длинными ногами без шортов на песке и гальке, а он словно астронавт в невесомости, поднялся над ними и стал медленно кувыркаться, замороженный их белой длиной и могущественной силой, вокруг которой рожали львицы и кружились звезды, а у него делалось тепло в животе, а глаза начинали застилаться туманом, который скрывал весь пляж и все деревья у железной дороги для того, чтобы видны были только эти смуглые ноги с белой чайкой на бедрах, там, где они не загорали.

А потом, когда он снова стал камбалой, она превратилась в большие и маленькие прозрачные яблоки, больше похожие на медуз, которых зеленая волна несет куда-то в море, а они, тихо ше-

велясь, что-то хотят сказать, но не могут. И испугавшись, что она вся разойдется по пляжу, Савва сказал ей: Медея. И она ответила ему: Да.

– Ты та самая, замри, – сказал ей Савва. – Мы зачнем с тобой не детей или там лохматых звярят, а новый мир, в котором ты будешь не только длинноногой, но и вещей кассандрой бабочкой, и на работу тебе ходить не придется, и подкладываться под начальство тоже будет больше не надо. – Ы, – отвечает Медея Савве и смеется, проталкивая серебряный смех сквозь Ы и жемчужные зубы.

– Сейчас, – говорит Савва, – ты только не уплывай в медузах, а соберись обратно, и мы с тобой начнем быть людьми и богами.

И теперь он гонится за своей точкой, расположенной в животе и затылке у женщин одновременно, чтобы настигнуть ее и сгореть в ней всем беспамятым и костностью жизни. Он ссаживает себе колени, елозит по гальке локтями, загнутыми пальцами ног и губами, в зубах у него обкатанная волнами добела сухая щепка, которую выбросило на берег море, а он ртом подобрал, не заметил, и сейчас грызет, как пес или там лев, сладкую кость врага, и сухая слюна течет на белую грудь. Замри, говорит Савва, а она не слышит, словно яблоко кусает в задумчивости, и вот ей стало уже и пять лет, сидит она в платьице на ветке алычи, ничего не видит, коленка сбита, плечики худые, а потом и сорок лет – сильная, с большой, никогда не расшнуровывающейся грудью, в длинном сером пиджаке, а вот и богиня Геката она, про которую ему говорил Профессор, со страшным взором и собачей вонючей пастью, с текущими из нее розовым маслом, а вот и стали они тем, кем он хотел – стеклянным водным велосипедом.

Не только режет море этот велосипед, когда на нем сидят, вращая педали и лопасти, с которых летит вода, мужчина с девушкой, но и способен превратить их в себя. И это тот миг любви, о котором повествует тантра, и наши девушки и мужчины никогда до него не добираются из-за слишком большой своей материальной плотности, лени и пьянки. А Савва добирается, и теперь он и она – уже не Савва и Медея, а одно – безмянный, похожий на бронтозавра стеклянный велосипед с плоскими лопастями, заваленный немного набок под бледнеющими звездами далекой вселенной.

И уже умолкло все, и даже волн не слышно, а только тихо крутятся стеклянные лопасти, и с них скатываются, блестя, как ртуть, капли, и проступает сквозь стекло ржавчина двух гулких понтонов, похожих на огромные гробы с плещущей внутри ржавой водой, и непонятно, зачем кто-то их втащил с моря на пляж и завалил набок.

Но, с другой стороны, если сейчас вглядываться в пляж, то не увидишь на нем ни народа, ни топчанов, ни цементных стенок с надписями, что мы были здесь из Воронежа, потому что все сейчас странно стало – непривычно стало все в этот один на всех остановившийся миг, и только слышно, как где-то в овраге скребется и рождается новая улитка, закручиваясь в раковинку, и вдалеке в небе плывет звезда.

А потом звонит телефон, и Савва лезет за ним, шаря слепыми руками по всем карманам сброшенных на гальку джинсов, находит и говорит, приставив его к щеке кверху ногами, еду профессор. Поймаю какую-нибудь тачку, через час буду обязательно. А потом сразу встает на ноги, помогает одеться Медее, берет ее за локоть, и они идут на шоссе, словно обменявшись ногами – он на высоких длинных, а она, прихрамывая, словно бы на кривоватых, боксерских.

4

Потом, когда он уже поговорил с Николаем-музыкантом и сказал, что Клуб соберется на заседание сегодня вечером и чтоб они с Виктором приезжали, Эрик вернулся к столу с ноутбуком, в книжках и тетрадках, поцарапанному и с незакрывающейся левой дверцей, сел за него и открыл толстый том. Том был из библиотеки, в которой Эрик работал – глянцевого, желтого, в супере, с изображением свирепой японской куклы на обложке.

Эрик пытался сосредоточиться, но сделать этого не мог, потому что это как деревяшка, которая никак не может стать водой, и если твердый лед, например, может стать водой и расплавиться в воду – в сильную и гибкую мысль, способную омыть изнутри теплом, то деревяшка только плавает в мозгу, тычась в него изнутри и выступая наружу в ландшафт каким-нибудь нелепым обгрызенным краем, и все.

После того, как пропала Офелия, он словно перестал ориентироваться и внутри комнаты, которая была куб, и внутри большого куба, которым был этот горный поселок с чайными плантациями и телескопической вышкой, продолжающийся в мир своим расширением. Но если раньше понятно было, как куб комнаты, в которую был встроены мягкий шар мыслей Эрика, его светящийся разум, – как этот куб со светящимся шаром встраивался в большой куб мира с горами, плантациями и далеким морем, мерцающим между двух склонов гор, то теперь все разладилось и все три объема Эрика плавали отдельно, не стыкуясь и не выстраиваясь по Полярной звезде, и не могли найти своего места. От этого у него временами кружилась голова, и его мутило, словно он прокатился в болтанку от Сочи до Сухуми на прогулочном катере послушать орган, сработанный немцами в 60-е годы, а вместо этого пошел в туалет, и его там долго тошнило.

Он временами мог даже забыть про простые вещи, например, зачем ему книга про японских кукол, вот и сейчас – взял и забыл, только средний куб (комнаты) зажегся гранью, это заходящее солнце метнуло золотой луч в зеркало на комод, и то отозвалось теплым облачным сиянием, как растворенное в воде облако марганца, и вот в этом розовом облаке снова вспомнил – посылка.

Она лежала на диване наполовину распрошенная, а рядом переливался драгоценной тканью в вензелях и ало-золотом шитье костюмчик карлика. Но на самом деле не был этот костюмчик костюмчиком карлика, потому что он был одеждой куклы, которая приехала сюда, в комнату Эрика, из Японии, прислала его Наталия – давняя подруга, с которой он при трагических обстоятельствах два года назад расстался навсегда в Москве и даже попробовал застрелиться, но дальше уточнения цен на оружие дело не двинулось, и он до сих пор удивлялся и не мог понять – почему. То есть на диване лежала японская кукла, которую прислала именно Наталия и именно ему, и тоже непонятно, зачем.

Да-да, Офелии не было видно уже неделю, когда ее стали разыскивать, он думал, что она сорвалась, уехала, но теперь он знал, что дело плохо, что с девочкой могло случиться что-то, может быть, даже непоправимое, но что все равно еще можно каким-то образом поправить.

Иногда он думал, что она – в горах. То есть он даже знал наверняка, что она не в другом городе, а в горах – сначала он думал, что она там одна – прелестная, загадочная, лопочущая, как обморочная птица соловей, то на армянском языке, то на греческом, а то на английском, но теперь душа Эрика прозревала в горной дали Офелию не одинокую, а словно бы какие-то фигуры с ней были рядом – большие, недобрые и как бы ржавые.

У Офелии душа была – папуаски. Она могла читать наизусть по-английски Шекспира и не знать имени автора, ухо у нее было проколото в пяти местах, а ниже пупка была татуировка, изображающая в два цвета какого-то затаенного мужика из религии гаитянского черного населения, вуду.

Кто-то говорил ему, что ее прабабка была турецкой княжной, а сама Офелия могла придти к нему ночью с зажженной керосиновой лампой и наушником в ухе, поставить керосинку на его стол (и это пока он спал) и всю ночь сидеть и глядеть, переживая и бормоча, на пляшущее желтым и красным пламя за тусклой слюдой. Керосинку она забыла, и на следующую ночь он зажег ее и сам сидел до утра, разглядывая пляшущий и потрескивающий огонек в фиолетово шарахающихся сумерках, переживая и бормоча, не заметив, как пролетела ночь, и с тех пор они стали с Офелией возлюбленными, но она этого еще не знала.

Японская уродина лежала у него на диване, посверкивая парчой, и вот что было особенно неприятно – ноги ее и руки вовсе не были продолжением ее основного тела, туловища, а существовали отдельно, как если в краба выстрелить трехпалым гарпуном из подводного ружья, и от этого он иногда разваливается на части. Да и туловища не было – а была под парчой пустота. А отдельное прелестное фарфоровое личико тоже лежало на диване само по себе, и только оно одно было ясной частью красоты и природы, как например луна над горами.

Когда Эрик открыл посылку и расправил куклу на диване, то замер от ее внутренней пустоты и разъятости настолько, что пустота вошла в его собственный живот и там стала расправляться, пытаясь отодвинуть ноги Эрика дальше от его туловища, чем они были на самом деле. После этого он пошел в библиотеку со свечой, потому что свет в поселке внезапно вырубил, нашел там желтую

книжку про японский театр Нингё Дзёрури и принес домой. Но читать он ее не стал, а зачем-то зажег керосинку на письменном столе и всю ночь просидел, глядя в огонь, переживая и бормоча, а утром так и заснул головой на столе.

В книжке он увидел, почему кукла разъята. Потому что на кукольной сцене ее вели сразу три человека, согласованных в своих движения чудесной, сверхъестественной для Эрика силой – один вел левую руку, другой ноги, а главный кукловод – отвечал за мимику, и жесты правой руки. А чтоб не видно было, что кукла внутри вся поврозы, – сверху переливалось парчовое платье, и вот еще что понял Эрик, вот что еще. – Все это громоздкое кукольно-человеческое сооружение, весь этот составленный из живых человеческих частей и мертвых кукольных органов монстр, плавающий в совместном усилии трех человек в черных трико с глухо задраенными лицами, – живо-мертвый урод, раскачивающийся туда сюда над сценой и купающийся в звуках музыки и марсианской речи рассказчика, вдвухающего со стоном в фарфоровые губки куклы живое слово, – именно в эти минуты своего существования утрачивал свою разъятость и обретал каменную слитность, которая собирала трех кукольников и пять разных частей куклы – в одно лицо.

Эрик хотел выразиться как-то по-другому, что не в лицо, а в единство или даже в собравшееся существо, что ли, но вышло – в одно лицо. А вот уж на что это лицо похоже, на картошку, что ли, или на лопочущую бессмысленные речи пропавшую Офелию, он решить не мог. Ему достаточно было известия, что в поселок приехал Офелиин дядя, профессор, встревоженный пропажей племянницы, и что сегодня, еще перед заседанием Клуба, к нему нужно будет зайти и познакомиться.

5

Когда идешь через туман, как шел сейчас Эрик, то иногда думаешь о куклах, как и он. Туман спускался сизыми и млечными простынями с гор, камни-кремени блестели от влаги, а гул речки был словно завернут в вату.

О куклах думаешь не так, как о других вещах, потому что кукла не вещь, а видение. Кукла родилась прежде тебя и даже прежде твоей мамы, и когда ты и твоя мама были еще одно и то же в теплой и ясной близости, кукла все равно уже существовала и наблюдала эту близость, и поэтому, когда видишь ее разъятой, то думаешь не о ней, а о себе.

Волосы Эрика стали влажными от мелких капелек, и лицо тоже, но это было приятно. Еще Эрик думал о том, что надо зайти к Марине и взять у нее обещанную ему виниловую пластинку-раритет с музыкой Шютца. Наверное, у Шютца и Эрика могла бы быть одна и та же душа, но не потому, что его музыка Эрику нравилась, ему нравился Колтрейн. Одна душа могла бы быть у Эрика со многими вещами и даже с Мариной, белые ноги которой на зеленой простыне, почти черной от погашенного света, он иногда вспоминал с тоской и почти что с воплем, который был, кажется, такого же зеленого цвета, угольного, почти черного, и шел у Эрика из ребер, когда он выдыхал. Это было очень странно, что, когда простыня в тот вечер погасла, ноги все равно оставались такими же белыми, млечными, как этот вот плывущий туман, и не только не теряли яркости, но, казалось, что еще и разгорались. Много раз они с ней хотели повторить то, что случилось тогда, словно гонясь и преследуя призрака, яркое свечение в темно-зеленой ночи погашенного света, несколько раз они приближались к нему, но так и не совпали. Казалось, что лампочка перегорала от силы свечения, так и не дойдя до самого сильного света.

Эрик подошел к магазину с открытой деревянной дверью, на которой была прибита картинка с девой в шароварах и в позе лотоса. Дева поднимала сложенные ладонями руки вверх, глаза ее были мечтательно прикрыты, а в волосах торчал какой-то бледно-лиловый цветок. Над девой на синем фоне виднелась надпись:

НЕБЕСНЫЙ ЛОТОС
горная природная вода

Рядом с дверью стояла каменная урна со вставленным в нее ржавым ведром, на дне которого валялась кожа банана.

Эрик снова думал о куклах, смеркалось, он стоял как гаснущий силуэт, вглядываясь в свои мысли, и тут к нему пришла та, что его поразила. А ну как, подумал он, – (так и подумал, старинным оборотом), – а ну как для того, чтобы моя пустота и разъятость пропали и я ожил, мне тоже нужно, чтобы меня вели три невидимых кукловода – один ноги, другой левую руку, а главный – правую руку и лицо? А ну как они меня уже и ведут, да только я их не замечаю? А как же их заметить? Их могут заметить зрители, но кукла их заметить не может, потому что они с ней одно. В миг жизненного вдохновения-сатори они и друг друга не замечают, а действуют в высшей интуиции, которая открывает им другое зрение и полную слаженность в единении с куклой. А вот, – подумал он, – если б мне сейчас удалось наладить связь с кукловодами, то наверняка уж, прямо даже сегодня, я отправился бы в горы, туда, где колыхаются ржавые и огромные фигуры, и нашел бы Офелию, и привел бы ее назад домой.

Денег у него было немного, на днях надо было купить еще дрова и кое-какие книги, которых не было в библиотеке, и поэтому он взял не целую бутылку коньяка, а маленькую фляжку. Но чай он купил самый лучший – «Эрл Грей» высшего сорта, потому что для заседаний Клуба он никогда не жалел денег. Еще надо было купить лампочек, потому что сразу три перегорело, и он пошел через площадь с плакучей ивой, свесившейся изумрудными метелками до земли у здания забитого клуба, к магазинчику напротив.

На ступеньках магазина сидел пожилой мужчина в футболке с пацификом и кормил собаку сосиской. Лицо у него было бледное и незагорелое, значит, приезжий. Бобик заглядывал сосиску не жуя, а мужчина смотрел на него внимательно, шевеля губами. Эрик уже прошел было мимо, но тут мужчина повернул к нему голову и улыбнулся. Улыбка у него была странная – собачья какая-то, хоть лицо и было лицом волевого стрелка Вильгельма Теля, с серыми зоркими глазами. Эрик купил лампочек, положил их в оранжевый рюкзак, а когда вышел, то мужчины уже не было видно.

Марина вела себя неприступно, презрительно. Сказала, что скоро придет муж, как будто муж не знал, кто они с Мариной друг дружке. Хотя Эрик и сам про это не знал. Она была одета в синюю, в обтяжку, блузку с темными тюльпанами, и от этого хотелось погладить ее по вырезу на груди и даже засунуть туда всю голову – вот ежели бы можно было засунуть голову в этот теплый айсберг и уплыть, держа в одной руке ее колено, а другой глядя волосы. Вот бы они так и путешествовали между улиц и тумана, неважно, что видимые кому-то, но пусть бы речка шумела, а он бы становился все более нежным и тонким, чтобы стать с ней одно, но не так, чтобы совсем себя потерять.

Он сидел за столом с фарфоровой чашкой кофе и купленной фляжкой «Белого аиста» и смотрел в окно, почти полностью закрытое виноградными листьями. Она протянула ему пластинку Шютца, большой белый квадрат с влажным отблеском глянца, и Эрик начал сходить с ума. Когда он ее видел, это случалось, и тогда никто не мог ему помочь.

Он сказал: Марина, ты черт.

– Пей кофе, уже остывает, – сказала она. А он вдруг понял в своем безумии, что никогда, ни разу в жизни он не замечал на ней грязи, потому что ни разу у нее не были испачканы носки, или юбка, или брюки – ни глиной, ни краской, ни пылью. И это здесь, в поселке! На этой чистюле никогда не задерживалась ни одна пылинка, только белые ноги светились, разгоняя и желанную, и пугающую Эрика тьму.

Он заплакал, а она сказала: это твои крокодилы слезы, бедный.

Потом подняла его голову, положила правую его руку к себе на голую грудь, под блузку, и поцеловала в губы так, что с губы потекла кровь на рубашку, а его безумие прекратилось, и он вспомнил, как на практике в школе они ходили по розовым плантациям и собирали красные лепестки в большие серые мешки.

6

Отчего же, думал и говорил он, отчего же. Отчего же я искал смысла, и духа, и света, долго и сильно, и тщательно и безумно. Уже в юности понял, в юности, что есть мудрость, есть свет неварный, озаряющий, осеняющий, – говорил он, уткнувшись лбом в ее голую грудь, захлебываясь

слезой и словом, отчего же Марина. – Вот птица Феникс – большая, живет в Египте, сгорает как шар волос, пересушенных на солнце, полыхнув вонью, и, бессмертная и нагая, вновь восстает. Вот так и я, Марина, – ни на кого не был похож, я готов был презирать всех этих сыновей отцов – а они в свою очередь презирали отцов, чтобы повторить их судьбы. Но я не стал повторять. Я захотел сгореть, как бабочка Гете в стихотворении «Блаженное томление», Марина, и разве я не томился блаженно? Ты помнишь «Блаженное томление», Марина? – Помню-помню, попей моего молочка, моего белого плотного света, попей, Эрик, бессмертная моя птичка-кузнечик, пей большими глотками глаз – свет моей кожи, блеск моей ноги, зарницу моего подбородка, бедный мой мальчик, подлый и ясный!

Я подсматривал за соседкой, Марина, как она мылась в ванне, и как вода под душем, свиваясь, как полотенец, только прозрачное, текла с ее груди, с ее сосков, и тогда я мечтал о тебе. Я был мальчик, я смотрел в ванну из туалета, сквозь дырку в стене – это была большая ослепительная птица фламинго, и я видел птичий коготь на ее ноге – шестой птичий палец. Помнишь, помнишь, как у ангела Леонардо палец – с когтем: то пророческий палец, указующий на тебя, Марина, и на меня. А потом в университете я продолжал читать. Но не просто читать, но и жить – Яков Беме, а потом Серафим Роуз, а потом Силезский Ангел, а потом Рудольф Штайнер, а потом Ричард Бах, ты знаешь, вчера он разбился в авиакатастрофе, и его отвезли в больницу, он сломал несколько своих сильных и белых костей, и неизвестно, выживет ли теперь. Не бейте меня, не бейте, – заходился Эрик, просовывая голову все дальше под блузку Марины, так, что уже его черные волосы на макушке показались у ее подбородка. – Но они били меня. А я читал и любил, читал и любил. Я любил женщин и читал книги. Трудные, кем только не проклятые, большим количеством народа, и загадочные – Гермес Трисмегист, Альберт Великий, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Гроссест, который все знал про свет и его самоумножение. Я глаза проплакал и протер их о книги, как Катулл о губы Лесбии, так я протер их о шершавые не целованные никем, кроме меня, страницы, Марина. Мир бросался на меня, как волк, когда я выходил из библиотеки и садился на лавочку в ночи, в центре Москвы. Мир подходил ко мне, как девчонка, садился рядом и заговаривал, чтобы раскрыть молнию на моих брюках и припасть жадно, ненасытно и взять у меня вечное семя, а я светился, и свет мой был долог и высок. Я лазал по деревьям этим светом, не сходя с места, я провозжал девчонку презрительным взглядом, когда они шли от меня, как пьяные, чтобы уже никогда не протрезветь, чтобы теперь отдаваться водителям, грузчикам и доцентам, потому что ноги их уже сцеплялись с землей, но тщились сойти с белого облака и не сходили!

Ты знаешь, я бы мог быть доцентом! Но я все бросил!

Я искал ответа у Алхимии и Астрологии, в Некромантии и Каббале, и я нашел его. Я почти что нашел его, Марина, но он так мне и не дался! Но я шел вперед, я настаивал!

– Боже ж ты мой, – пролепетала Марина хрипло, – страсти какие. Ты уж, дитяtko, не пугай маму-то.

– Я настаивал, Марина!! – взвился голосом Эрик, – настаивал! Я бросил доцентуру! Я бросил докторскую. Я бросил жену. И вторую жену я тоже бросил, потому что золотое свечение манило меня, когда я шел через осенний парк, а фонарь горел, словно сова или птица феникс, голая и золотая, вся одетая в свет и шар истины. И тогда сам Бог заговорил через мои губы, как будто он был фонтан, а я маска фавна с раздутыми щеками и смешным заплетающимся ртом, через который течет вода, разбиваясь на мелкие сияющие брызги, невнятно произнося благую весть, полную жарких секретов и тайн, и кто их подслушает и поймет, тот и будет владеть всем миром и даже небесами.

– Гурджиев! – взвизгнул Эрик, – несравненный мастер! Неужели же ты думаешь, что все они сумасшедшие, – зашептал он тихо и жарко. – Нет, – провидцы! Это мы сумасшедшие, мы! А они – провидцы. Мы молиться на них должны, а мы их не знаем или, хуже того, презираем. Но они... они – смерть нашего тусклого, нашего убогого, нашего тупого, ничтожного, как будто берцовая кость коровы в поле или череп ее на суку в огороде рядом с мангалом и шашлычницей, – нашего сводящего меня с ума мира. Сводящего с ума, потому что он никуда не девается, и сколько ни читай и ни

знай, а он все тот же – голый коровий череп, насаженный на шест, и не оживить его, не отдышать, будь он проклят. И я, Марина, я... не могу больше... Он убивает меня... Я презираю его, но он презирает меня еще сильнее, этот мир – и в огороде, и в автобусе, когда я еду в Хосту или на Мацесту, или... Но не важно, не важно... – снова зачастил он в Маринину грудь, и тяжкая слюна полилась ей на млечную кожу, а Эрик словно содрогнулся, словно был это и не Эрик вовсе теперь, а член неизвестного бога, совершающего любовное излияние, и тут Марина завизжала что было мочи, так, что начали дрожать окошки, и, додрожав, одно из них, выходящее во двор, лопнуло и посыпалось хрустальным и мелким дождем на цикад и кузнечиков, и на землю.

– Любовь моя золотая, подлец мой ореховый, – бормотала Марина, качая головой с рассыпавшимися до пола каштановыми кудрями, сидя на стуле, ничего не видя и не слыша, словно китайский болванчик, заведенный маленькой девочкой с измазанным шоколадом ртом, который если и остановится, если и уменьшит белые свои кивки, то снова толкнет его перемазанная девочка, и снова будет он долго качать головой, пока окончательно не замрет на полке в бесконечной ночи и квартире.

А Эрик уже бежал по улице под лай собак-истеричек, прихватив чай с бергамотом и мерцающая глянцевым Щютцем подмышкой, бежал под белой луной, и рот его чудной был так странно устроен в тот час, как ни у кого из людей, потому что не бывает у людей так, чтобы одной половиной рот улыбался, уходя верхушкой прямо вверх, прямо к небу, а другой зарывался в землю, как крот, и плакал.

– Йок-йок, – вскрикивал Эрик – Йок-йок!

До чего же красив был он, облитый луной и черной тенью, Марина, до чего ж красив и не похож вовсе на человека – то ли ангел он был, а то ли и лебедь.

7

Горы есть горы есть горы. А Кавказ это другие горы. Те, остальные горы, выстроены снизу – миллиарды лет их выдавливала, извергала, формировала земля, запечатывая на альпийских вершинах трепангов и окаменелых моллюсков. Горы пришли со дна моря, из впадин, полных подземных светящихся глаз, ужаса и миллионоатмосферных конвульсий – поднялись, стали. А Кавказский хребет – другой. Он пришел с Луны. И даже не с Луны, а с еще более отдаленной звезды, которая воздвигла его, сначала невидимо на Луне, а потом уже он спустился на Землю. Спускался сначала он не как формы материи, базальта, гранита, кремня, а как формы мысли – бессловесного разума, чистого и всесильного, похожего на падающий снег на улице Верхней Масловке, когда каждая снежинка видна, как она, вращаясь под фонарем, движется, нарядная, к земле и собственной тени, чтобы там войти, минуя свою тень, в свою же единственность и неповторимость.

Разум этот, о котором здесь говорится, – не снежинка та или другая – а то пространство, в котором эти снежинки падают к земле. Пространство – чистое и бескрайнее. С такого пространства и начинались Кавказские горы. Но постепенно к чистоте этой примешивались не такие возвышенные состояния разума, а более низменные, как тогда, когда на сияющем беспределе боги распяли Прометея, и сияющий беспредел подсох, и сжался, и отдался, и запекся гранью, и пещерой, и рекой, и ее звоном гулом, и завыванием в узком ущелье, и луной над ним.

Не забывают горы, откуда пришли и движутся вместе с Луной-Дианой. Не только воды движимы Луной, но и эти горы. Прислушайся в новолуние – как начинают потрескивать они и съезжать со своих мест, словно не окаменевшие это махины, а океанские корабли, – да и есть они корабли с мачтами и парусами, приплывшие сюда от другой звезды, но кто же сейчас это разглядит, кроме разве что нескольких знающих человек, обитателей здешних мест.

Горы эти много чего помнят и знают, потому что это и не горы даже, даже и не корабли это, а существо, наполненное другими живыми существами, словно бы человек, но огромный, горный и нездешний. И есть у него такое свойство, что людские мысли запечатлеваются на нем в виде кристаллов и граней, отвесов и кубов – словно бы замирая и находя иные формы для себя, новые и причудливые, больше похожие на землю с кварцем, чем на воздух или сознание.

Течет река, бурлит в узком ущелье. Луна заглядывает вниз, серебря поросшие тисом вершины, достигает берега в валунах, и от того сверкают пороги, как молоко или даже алмазы, полной пригоршней брошенные в молоко, точно такие, какие хранятся в алмазном фонде, где есть орден святого Андрея – распятый бриллиантовый человек на кресте-иксе. Тяжек валун, сер. На нем сидит Офелия и смотрит на поток. А рядом сидит, привалившись к валуну, еще одна фигура – мужская, в воровском капюшоне и узких штанах, словно ржавая – сидит, не шевелится, смотрит окаменевшим взглядом на бурливую реку. Тени исполосовали поверхность в молоке и алмазных блестках, гудит река, изредка вынырнет на поверхность сияющая чешуя – для рыбы велика, для человека чересчур ослепительна, блеснет в луне и скроется, вот и гадай, что это было – никто не смог угадать.

– Зачем сидишь? – спрашивает Офелия, но не отвечает человек, не сводит взгляда с реки. И тут словно все начинает бежать быстрее – быстро человек становится стариком с растущей на глазах и седеющей, как молоко, бородой, сбегаящей к его ногам, а потом голова его заваливается на бок, а тело сползает с камня, пластается на берегу, вытянувшись длинными костяными ногами в кроссовках, – мертвое, плоское. А вот и кожа его сходит с костей – бризги размячили ее, раки да водяные крысы с лисицами растащили на части – остался один белый остов с воздухом между ребер, а вот уже и косточки с черепом разошлись по стихиям и свету, лунному да солнечному – стали светом и землей и исчез старик вовсе, как и не было, а вместо него лежит младенец на камне и плачет.

Недолго плачет и громко, и уже снова он взрослый в воровском капюшоне и словно бы ржавый, а вот и стал стариком, и умер, и распластался. И так – снова и снова. И тут останавливается беготня и цикл, и безумие времен, и все становится медленным и живым, как и прежде – и Луна та же самая, что светит на тисы вершин, и Офелия сидит на валуне, и речка бежит, шумя, как прежде, и ветерок задувает, теплый, мягкий.

Но что это там темнеет в порогах, молоко и алмазах, рядом с ныряющей чешуей незнакомого существа – темнеет, вздымаясь и опускаясь в провалы между волн и порогов. Кто плывет, глядя остановившимися глазами на склоны и камни, словно бы мысль, а не человек проходит вдоль ущелья с двумя сидящими на берегу. И словно бы хочет он что-то сказать, но не скажет уже никогда, потому что всажен в печень косой клинок, и печень вытекла наружу жизнью и кровью, смешалась с водой и песком и уже не хочет вернуться назад, в бородатое тело, пахнущее французской туалетной водой. И жил бы он еще, и целовал бы дев в своем мерседесе, и купался бы в бухте под Венецией, в Лидо или еще где, но вот сел другой человек на камень на берегу речки и ждет. День за днем и месяц за месяцем. Ждет не восхода солнца, не пробежки выдры по мерцающему от звезд берегу, не далекой песни и не вопля шакалов. Даже не ласки, не поцелуя Офелии ждет, не раскрытого ее белого тела. А ждет он того, что проплывет мимо него труп врага. И тот плывет.

8

Если глядеть не отрываясь, то можно увидеть, что бледное лицо Офелии разделено как бы на две части – солнечную и ветреную. Солнечная часть это лоб. Как на все солнечные пространства, на него так и тянет голубей, чтобы сесть, как на площадь, и поворковать-покурлькать, подметая хвостом твердый солнечный камень под красными лапками. Еще там хорошо расти пальмам, и овраги кончаются, когда добираются сюда. Тут плещут бледные раскатыстые волны лазурного цвета, достигая твердых очертаний и откатываясь от них в блеске и шуме.

Раковина, поднесенная ко лбу Офелии, начинает гудеть все сильнее по мере приближения, а когда соприкасается, то начинает петь и разговаривать на голоса. Ее говор и отдельные слова можно понять, потому что при солнце многие лунные или глубоководные слова становятся совсем понятными, и даже дети могли бы их растолковать – еще их можно понять и потому, что они совпадают со многими словами, которые говорит сама Офелия, неважно на каком языке. Они словно становятся словами и Офелии и не Офелии, словами и раковины и не раковины. Так вообще-то часто бывает, особенно если человек мудр или влюблен, но сейчас не об этом.

Слово раковины и слово Офелии говорят вроде бы одно и то же, например – привет!, однако то слово, которое больше Офелия, чем раковина, говорит привет, слыша шорохи и шепоты раковины, а то слово, которое больше раковина, чем Офелия, говорит привет, слыша дыхание самой Офелии.

Еще на солнечной части лица находятся ее голубые глаза. Они непохожи. Потому что правый глаз смотрит вдаль, а левый смотрит вверх, как это всегда происходит с озерами, в зависимости от того, что в них отражается – если берег с желтыми деревьями, то озеро смотрит вдаль, а если небо с какой-нибудь хвостатой и кривоклоуной птицей, то тогда озеро смотри вверх, туда, где облака. Конечно, на самом деле озера смотрят только в ответ на нас, но все равно так принято говорить, что они смотрят.

Вот и про глаза Офелии поэтому можно сказать, что они смотрят и что они похожи на озера. Особенно если по озеру проплывает какая-нибудь лодка с рыбаком и с удочкой, то тогда даже если сама Офелия и спит и ничего вокруг не видит, то в глазах ее все равно плывет рыбак и блестит леска, и от движения лодки остается на воде такой след, как от складок мягкой простыни, но если простыня сама не выравнивается, а ждет прикосновения чей-то руки, чтобы снова стать ровной, то поверхность озера делает это без руки и сама.

А ветреная часть лица Офелии – это волосы и губы. Губы ее такие же точно, как вы видели, путешествуя по какому-нибудь лесу и наткнувшись на старый, почти невидимый и заросший окоп – он начинает вас тревожить, хотя вы не понимаете, почему. Таких всхолмий и бугорков полно в лесу, но окоп это совсем другое дело, и вы гоните эту мысль от себя, потому что она привязалась к вам, как муха.

А дело в том, что вы, конечно же, знаете и понимаете без слов – этот холм окопа тихо связан с жизнью и смертью, потому что кто-то из солдат выбрался из него и пошел дальше через лес и жизнь, а кто-то в нем умер и уже никуда дальше не пошел. Только ветер играет листвой выросшей над окопом березки и тихо шелестит в ней. Но этот ветер над окопом совсем не то, что ветер над поляной, потому что и в нем появляются слова и интонации, знакомые с детства, а более отчетливо прочитать их вам все равно не удастся, как бы вы ни бились.

Губы Офелии тоже связаны с жизнью и смертью, хотя, конечно же, если гнаться за поверхностным сравнением, то окоп никак не напомнят, а напомнят красную рану, которую я видел, когда один из друзей полоснул себя бритвой по голой руке, неизвестно почему. Он потом сказал, что и сам не знает, отчего он это сделал, но мне кажется, что он хотя бы догадывается, что это было, а вот Офелия вряд ли догадывалась, откуда у нее такие красивые губы жизни-смерти.

И вот еще что – вот еще что. Ноздри ее были похожи на гнезда или на то, как плющится улитка по стенке сарайчика в лунную полночь. И когда она вдыхала, то улитка ползла к одной звезде, а когда выдыхала, то замирала на одном месте, словно вслушиваясь, куда ей ползти дальше.

Подбородок ее был похож на то, как вы шли и шли в детстве, грея в кармане булыжник, чтобы запустить при случае в кошку, и он там лежал еще теплый от солнца, которое освещало его, пока он, обкатанный, валялся на дороге, прежде чем вы его подобрали и сунули в карман так, что брюки ваши серые перекосилились и пояс съехал набок, а вы шли, оглядываясь на бетонную стенку бассейна в солнце, на белку, сигающую по чинаре, на тропинку и на свою босую ногу на этой тропинке, что бежала вверх, к вершине горы и на которую иногда выползали змеи-медянки, и вот вышли на какую-то высоту – словно бы холм, и отсюда виден и ваш город и все остальные города, и вы там стоите и крутите булыжник в руках, и хотя не понимаете, для чего он вам теперь, но все равно счастливы, что он есть, потому что вы здесь целиком оказались в счастье, а думали, такого не бывает, а теперь только оно и есть.

Волосы ее были похожи на те дороги, что тянутся через горы, соединяясь, когда обходят гору с двух сторон и здесь встречаются. Еще они были похожи на чернозем разрытой почвы, потому что пахли по-разному – если уйти в них глубоко, то они пахли грибами и землей, а если их раздвигал ветер, который они же и рождали, то они пахли теми подснежниками, которые растут здесь, в горах, и тоже имеют переливчатый и необыкновенно прекрасный запах. И я думаю, что поэтому в каждом подснежнике, если тихо и долго в него смотреть и нюхать, живет Офелия, и не в переносном значении, а в самом прямом, как улитка в домике или младенец в своей матери.

А если смотреть в лицо Офелии, и даже неважно, в какую его часть – ветреную или солнечную, то становится ясным, что все здешние мосты и переходы через горные речки с их скользкими – не

дай бог ступить оплошно – камнями и есть Офелия, и кремень камней то же самое, что отсвет ее ногтей, за которыми она тщательно следила, а паутина, колыхающаяся в глухоманной тисовой роще, это и есть кольчание грудной клетки Офелии, а васильки, что иногда растут, но не здесь, в горах, а пониже, и есть вкус ее губ, и не дай бог вам их тронуть. Потому что если вы их тронете, то забудете свои слова и не вспомните новые, но так и будете лежать где-то рядом с автобусной остановкой возле Воронцовских пещер и подвывать от беспамьяства.

9

Вот и сейчас на неопрятном гравии, что раскидан вокруг остановки и ржавого ее остова с металлической табличкой-расписанием автобусов, на которой нет ни одной цифры и нет даже названия маршрута, вот и сейчас валяется рядом фигура в китайской куртке, корячась и всхлипывая.

Конечно, то, что на остановке кто-то валяется, еще ни о чем не говорит, – мало ли кто где валяется – но тот, кто валяется сейчас на гравии сбегающего вниз, в синее ущелье, асфальтового шоссе, корячится здесь не просто так, не случайно, а из-за той своей особенности, что он падает на землю и заходится, только если с ним происходят два особых случая, и никогда не валяется, если эти вещи с ним еще не произошли. Лева теряет себя и почву под ногами, либо когда на него находит любовь ко всему миру, либо когда он начинает думать об Элвисе Пресли.

И тогда от него словно сочится влажное пламя, окружая его белые запыленные кроссовки и джинсы и соломенную шевелюру, и от этого его словно и видно, что он там лежит и дергается, а словно бы и не видно. Т.е. если вглядывается человек с любовью, то, конечно, увидит. Или еще увидит тот, кто так же, как и Лева, любит и понимает Элвиса Пресли, а все другие видят словно марево, которое от марева их собственных мыслей никак не отличается, и поэтому принимают Леву за еще одну свою мысль. А поскольку мыслей и так много, то одну из них, не самую главную, они, в общем-то, и не замечают.

И поэтому Эрик долго бы еще бился и корячился, источая синее прозрачное пламя, а может быть, и совсем сошел бы с ума, но тут, завизжав дверьми, притормозил автобус, и из него вышли Савва и Медея.

– Смотри, – сказал Савва, – Лева на земле бьется.

– Где? – сказала Медея, потому что она не знала Элвиса, и, хоть и была недавно растоплена пламенем любви, но ее любовь отличалась от Левиной, и поэтому она приняла его за свою мысль.

Савва подбежал к Лева и склонился над ним, над пыльной его шевелюрой и продранной на щетине китайской курткой, и тогда Лева его увидел и обнял за шею. Лицо его все еще заходило от виденья запредельного и от чувств, которые словам не поддавались, и губы были синие, а глаза белые, но все же он узнал Савву и стал говорить.

– «Тюремный рок», – сказал Лева, – ты помнишь «Тюремный рок», Савва?

– Смеешься! – воскликнул Савва, – смеешься! Помнишь, как он на стол запрыгнул и там поет и танцует по чем зря, помнишь?

– Зря он связался с Полковником, – сказал Лева. – Другой человек ему был нужен.

– Ясно, зря, – сказал Савва. – Ему надо было раньше на Присцилле жениться.

– Не, – сказал, Лева, выплюнув кусок земли, – раньше нельзя – она несовершеннолетняя тогда была. Только ты знаешь, как я слышу «Тюремный рок» у себя в памяти, так что-то со мной делается, и я становлюсь как ангел или трава. Мне тогда хочется всего так сильно, что я просто не выдерживаю, понимаешь.

– Понимаю, – сказал Савва, – ты давай вставай.

– Зачем? – спросил Лева.

– Собрание Клуба, забыл, что ли?

– Я помнил, а как упал, забыл.

– А я вот девушку привел, она тоже в Клуб хочет. Ну-ка, держись за мою шею крепче.

Он поднял Леву с земли и стал отряхивать ему джинсы от пыли.

– Это бывает с тобой так, что ничего не можешь, потому что все уже есть? – спросил Лева, снова опираясь на дрожащие ноги в белых кроссовках.

– Бывает. Но я все забываю, как только случится.

– А я помню, – сказал Лева.

– А скажи, Савва, – продолжил он, ковыляя и волоча ноги в пыльных джинсах и обняв Савву за шею, – зачем тогда жить, если ни черта не помнить? Ты же ни черта не помнишь, Савва.

– Не знаю, – ответил Савва, – не знаю, зачем.

Их обогнал грузовик с крутящейся цистерной, оставляя на шоссе шлепки раствора. Один шлепок разлетелся и обдал Савву с головы до ног злой грязью. Савва полез в карман и достал платок.

– Вот сволочь, – сказал он равнодушно, – гад!

Медея шла сзади и смотрела, как Лева наступал на ноги все увереннее и шел все тверже, хотя Саввину шею все еще не отпускал, а влажный огонь, похожий на горящую конфорку, едва видный и ненужный, теперь окутывал их обоих.

го

Потому что горящий огонь конфорки расходится в стороны, и внутри него всегда есть место. И в него можно поместить дом, птицу или друзей. И тогда они с Левой идут среди него, невидимого под солнцем, и чувствуют, что они идут вместе не только друг с дружкой, но с жизнью деревьев и дельфинов, а еще с музыкой Элвиса. А Савва шел и думал, что никто не знает, кто такой Элвис Пресли. Потому что все только делали вид, что знают, разговаривая об Элвисе. А на самом деле никто ничего не знал. Элвиса можно узнать, только рассказывая о том, что ты в жизни увидел интересного, такого, чего еще никогда раньше не видел. И надо, чтобы другой тоже рассказал про то, зачем он живет. А поскольку они встретились для того, чтобы узнать, кто же такой Элвис Пресли на самом деле, то во время этого обмена главными вещами сегодняшней жизни сам Элвис начинает проявляться и рассказывать сам о себе незаметным, казалось бы, но очень явным по сути образом.

Вот так и был основан Клуб. Сначала в нем было всего два человека – Савва и Витя, а сейчас их уже намного больше, потому что у Элвиса есть такая сила раскрывать в людях то, ради чего они живут, что, ощутив ее в себе, хочешь, чтобы она росла все сильнее и охватывала бы тебя прозрачным синим пламенем, как конфорка.

Элвис!

Что они знают об Элвисе?

Потому что Элвис это не человек, а джунгли. Алюминиевые лианы, обвивающие пальмы, орхидеи и фикусы, бамбук и раффлезия, бумажное, резиновое и хлебное деревья. Элвис всегда в движении, он движется, как волк или ящерица, по мерцающим под луной полянам и смотрит на красную звезду Марса, откуда он родом. Поэтому Элвис все знает, но ничего не помнит, как и он, Савва. Элвису ничего не надо помнить, потому что все с ним есть прямо сейчас. И с Саввой тоже есть все прямо сейчас.

После того как его на ринге вырубил мощнейшим апперкотом нечестный бразилец Леокадио, Савва провалялся три дня в больнице, а когда остановилось сердце, он не перестал жить, а сильно закричал, так, что из окна вылетело стекло, и сердце снова забилося, а он встал вместе с системой жизнеобеспечения и капельницей, подсоединенной к его венам, и пошел по коридору легко и прозрачно, потому что перестал быть боксером, а стал человеком будущего, новым огнем, горящим, как светлый спирт, а капельница волоклась за ним по коридору, который он вымазал своей кровью, и никто не мог его остановить. В ту снежную ночь он дошел до дома, как прозрачный огонь, в ночной одежде и лег в постель, но заснуть не мог. И с тех пор он ни разу не помнит, чтобы заснул, хотя он и многого другого, конечно, не помнит.

Элвис – вот кто мог бы понять Савву, потому что Элвис из новых людей был самым первым. Он делал, что хотел и что хотела его душа. И если вы еще не поняли, что Элвис – это новый человек, то послушайте «Голубую луну Кентукки» или «Отель, где разбиваются сердца», который сразу же разошелся миллионным тиражом, и вам все станет ясно. Вы увидите, что Элвис – это джунгли, где растет хлебное дерево и воет волк.

Они подошли к возвышающемуся над поселком дому, вокруг которого горел невидимый огонь, а во двор, увитый виноградом и вьющимся по сетке киви, можно было войти, открыв ржавую железную калитку.

Когда дверь в дом открывалась, Савва мог видеть в самой глубине темного длинного коридора узкое высокое зеркало, поблескивающее, как кусок луны, поставленный на попу, а в нем свое далекое и правильное отражение, и каждый раз он этому удивлялся. Как будто дальнее зеркало только и делало, что его, Савву, знало и ждало, чтоб показать маленьким и далеким. И, наверное, если глянуть туда пристальней, то в отражении можно увидеть не только Савву и Леву, который висит у него на шее, и не только бледное лицо Медеи за их плечами, но и все горы и снежные вершины и даже, наверное, тех козлят, что развели таджики и абхазы на краю поселка, и чайные плантации, и пасеку на склоне, и тис по берегу речки.

Собака на них почти что не лаяла, только подвывала чуть-чуть.

– Проходи, Медея, – сказал Савва. – Прямо по коридору.

Медея пошла по темному коридору и закрыла от Саввы зеркало. Следом вошел Савва слевой, заснувшим на его плече и бормочущим всякую чепуху, пуская слюну. Савва потащил его налево в ванную, чтобы умыться и ободриться с дороги, а пока Лева умывался Савва стоял перед большой, подвешенной под потолком черно-белой картиной, изображавшей Париса, похожего на одного знакомого грузина, у которого Савва иногда покупал грибы. Напротив Париса стояли три голых богини. Таких Савва видел однажды в детстве, когда заплыл на женский пляж – толстых, белых, застывших. Но каждый раз, когда он сюда заходил и наткнулся на репродукцию, он смотрел на нее заново, потому что все время ее забывал. Вот и теперь он стоял напротив нее и смотрел на пастуха и голых богинь, и губы его беззвучно шевелились.

II

Окна комнаты, где проходило очередное заседание Клуба, выходили на юг. Днем из них можно было видеть священную гору убыхов, таких людей – наполовину атлантов и наполовину птичек, которые жили здесь прежде в лесах и горах, чирикали, воевали с русскими, а потом пропали где-то в Турции. А еще в окне между склонов двух синих гор днем синел дальний кусочек морской синевы с белым пароходом, величиной с муху, что полз от одного склона горы до другого.

Сейчас занавески были задернуты, потому что за окном было темно и чтобы никто в него не заглядывал. Когда Савва вошел в комнату, спотыкаясь обо чьи-то ноги и качаясь широкими плечами, Эрик стукнул в крошечный гонг, с которого отсвечивал яркий желтый клин.

Эрик был какой-то заплаканный, как увидел Савва, но с лицом Эрика часто происходили разные вещи, Савва это понимал. Однажды его лицо можно было спутать с лицом Марины, что жила на спуске к памятнику, а однажды лицо у Эрика было как лопух, шершавый изнанкой и цвета серебра. Иногда Савва вспоминал про лопух, а иногда про Марину, и каждый раз дивился, но не очень. Потому что Савва знал, что когда лицо изменяется даже до неузнаваемости, его все равно всегда можно узнать по самому факту перемен. Они, перемены, у одного лица происходят в направлении вперед, к жизни, любви и отчаянию, а у другого обратно – к успокоению и замыканию на смысле собственной кожи и идеи. По лицу всегда видно, о чем человек думает, и где его родина сегодня, вот поэтому у Эрика сегодня родина была там, где плачут.

Профессор Воротников как-то рассказывал, что раньше люди плакали все и не стыдились, но Савва об этом забыл и вспоминал редко, хотя, как только вспоминал, то каждый раз у него внутри дергало какую-то занавеску за шнурок, и та распахивала Саввину грудь и озаряла его дальние и бесконечные внутренности ослепительным светом. Это потому что в слезах всегда набирается много света, больше, чем они могут выдержать, и от этого срываются вниз, а в самом плаче заключено очищение людьми друг друга и всей земли тоже. Но сам Савва брезговал плакать, хотя и старался научиться.

– Говорите, – сказал Эрик. – Мы сегодня еще не говорили и не сделали работу, которая каждый раз с помощью Элвиса Пресли создает мир не губкой с жирной водой, а возвращает ему движение

планет по небу и настоящую и живую красоту. Главное говорить правду и ничего не придумывать. А Элвис дополнит все остальное для того, чтобы деревья и дальше росли, птицы летали, а девушки кричали изо всех сил от счастья!

– Я волнуюсь, – сказал Лева, рисуя пальцем на коленке какую-то фигуру и запрокинув неразличимое и белое лицо к потолку, – я волнуюсь, потому что как всегда. Я же говорю про Машу-учительницу и ее «Незнакомку» Крамского. Она всех прощала и не могла никак понять, как это устроено так, что она желает детям добра и знаний, а они ее один раз обокрали, а еще один из отцов пришел, чтобы ее ударить. У нее была оспина на верху левой щеки, а над постелью висела «Незнакомка» Крамского. Я лучше стоя буду говорить...

Лева встал, и слова дальше выходили у него изо рта не как обычные звуки, которые можно услышать, например, в 23-м автобусе до Адлера или в пельменной «Ромашка», а в форме настоящих событий и предметов разных лиловых и золотых цветов.

К таким словам пока еще никто не мог привыкнуть, хотя в Клубе Элвиса случалось так, что многие умели их говорить, но, конечно, не в обычных ежедневных случаях, а по вдохновению.

– Маша-учительница была как кошка, но не дикая, а гладкая и серая, – говорил Лева. Она жила в бараке на Бытхе, где в 50-е годы была начальная школа. Она жила в комнате, похожей на голубиное яйцо, а на правой щеке у нее была оспина, похожая на маленькую луну. Луна иногда делалась больше, как будто бы догоняя рост настоящей луны в небе, но никогда не догоняла, только светилась немного сильнее, при нарастании лунного света в небе. А когда луна в небе терялась, то терялась и Маша-учительница. На два или три дня, и никто не мог ее найти, хотя при этом и разговаривал с ней или даже шутил. Но потом про это сразу же забывал и никак не мог вспомнить, что это он такое только что делал и с кем шутил.

Савва разволновался и сказал, привстав, что, да, такое бывает, но не со всеми. Что розы, например исчезают совсем часто, становятся черными, как головешка в печи, а потом сразу же куда-то деваются, а вот еловые шишки и билеты на поезд могут обойтись без исчезновений, стоят себе на одном месте и все. Потом он сел, лизнул косточку на правом кулаке и снова стал слушать.

– Так вот, – сказал Лева, – волосы она зачесывала назад и закалывала русый пучок коричневым гребешком из кости, хотела выйти замуж за хорошего человека, но не знала, зачем, наверное, для того, чтобы ее жизнь стала другой и чтобы она вылупилась из своего голубинового яйца, для которого была уже большой. Однажды кто-то подарил ей лакированный широкий ремень на талию, она примерила его, но носить не стала, потому что ей казалось, что он слишком сильно блестит и это может отпугнуть от нее детей и соседей. Но на самом деле Маша сама испугалась этого блеска и лака, которые слишком сильно выделяли ее из окружающих учителей.

Но хорошего человека она найти не могла, потому что после киносеанса или танцев все тянули ее в кусты, а она ждала сильного и культурного мужчину, а не всякую шантрапу, обычных местных хулиганов. В ее комнате висела географическая карта и репродукция картины Крамского «Незнакомка». Это я уже говорил. И когда Маша ложилась спать, слыша, как из санатория играют на танцплощадке вальс-бостон или краковяк, то Незнакомка Крамского серебрилась в свете луны, и если наверх из города ехал рейсовый автобус, то от его фар по комнате и картине начинали мучительно удлиняться тени, словно натягиваясь и сокращаясь, как резинка подводного ружья. Потом автобус заворачивал, и тогда с ружья соскакивала стрела и все, метнувшись назад, пропало и гасло, кроме глаз Незнакомки Крамского. Ее глаза с очень темными ресницами все равно еще долго вздрагивали и мигали и когда уходил автобус, и потом – когда с танцев возвращались парочки и шли, шурша щебнем и переговариваясь, под Машиным окном.

Но хоть ружье уже и выстрелило, водоросли все равно еще оставались какое-то время в комнате с крашеными в голубое и серое стенками и покачивались.

Маша знала все города на свете, потому что преподавала географию, и знала все реки и горы, и даже как живут люди в Албании, но не знала, что ей делать с этими водорослями, в которых у нее вместо двух ног иногда начинал расти хвост, похожий на птичий. И тогда она начинала словно захлебываться и, даваясь, поворачивалась лицом в подушку и щелкала и свистела туда разные дивные звуки, вроде удода или кричащей чайки.

Иногда она не могла остановится целый час, но когда переставала, то понимала, что была в стране счастья. Об этом она никому не рассказывала, потому что ее брат однажды сошел с ума, и Маша навещала его в больнице, где пахло вареной капустой и лекарствами, а лицо у брата было серым и землистым. Брата, конечно, вылечат, потому что в больнице работают очень хорошие доктора, но Маша решила все равно никому не рассказывать про свой час ослепительного счастья, похожего на гору, где среди проржавевших заборов цветет какая-нибудь бело-розовая, как снег, вишня, и от этого ни ей, ни тебе уже ничего не жалко, даже самой жизни.

– Я все сказал, – задохнулся Лева и посветлел глазами.

– А если у нее была луна на щеке, то у нее могло быть и солнце, – сказал Витя.

– Где? – спросил Николай-музыкант.

– Не знаю, – сказал Витя, – может, между грудей, где сердце.

– Тогда у нее еще должны быть и звезды с метеоритами, – пошутила Медея, девушка Саввы.

Лева вскочил со стула и стал бегать по комнате, спотыкаясь о ноги и ковер. Потом сел на пол и со стоном спрятал голову между белых коленок, засветивших из продранных джинсов.

– И все остальное, и все остальное, – бормотал Лева в пол, почти достав его лбом. – Пещеры, и облака, и пляжи, и железная дорога с хорошим человеком.

– Так она его встретила? – спросил Витя.

– Это неважно, – сказал Лева в пол, – а важно, что она была девственницей, как римская весталка, и цвела серебряным цветком и губами. Значит, она пророчила и видела самое главное, а не всю эту дрянь. И без нее нашего города не было бы, и Луны тоже не было бы. Я иногда думаю, что она до сих пор жива и, может, в Сибири или в Краснодаре готовит обед внукам.

– Но если она девственница, то какие у нее могут быть внуки? – снова спросил Николай.

– Это не ее внуки, – сказал Лева. – Это внуки брата. Он вылечился от помрачения ума и взял Машу к себе.

12

– И правильно сделал, – сказал Николай-музыкант. Было видно, что он волнуется. Если ты человек-дерево, весь в холмах, невидимых ветвях и наростах, то тебя держат корни, а ветер раскачивает. И сейчас ветер раскачивал Николая и свистел у него в волосах и во рту. И когда он делал губы колечком, то ветер начинал гудеть, как будто в большой пустой бутылки.

– Мы с Витей оставили включенный магнитофон в горах, это нужно для музыки, сказал Николай среди гудения, – и ушли. А он там остался и записывал все, что случалось, но при этом за ним никто не наблюдал, что очень важно для рождения музыки, потому что пока есть наблюдатель, то есть и дерево, и ручей. А когда наблюдателя нет, то нет, возможно, и дерева, а возможно, нет и ручья. То есть, возможно, они все-таки и есть, но, наверное, они совсем другие – не такие, как в присутствии какого-нибудь человека, который своим наблюдениями так на них влияет, что от них ничего первоначального не остается. Потому что наблюдение это активный акт, а наблюдаемое – может быть, даже и не совсем вещь, а скорее чистая идея, полая, как авоська, и в нее можно загрузить все, чего хочешь...

– Я тоже думал об этом, тоже – загорелся Лева, дернув ногой в белой кроссовке. – Есть мир полных идей, платоновские полиэтилены. В них чего хотят, то и запикивают, никто не понимает, что это у него только в голове...

– Что в голове? – спросила Медея.

– А что загружают, то и есть, – сказал Лева, дергая вытянутой вдоль ковра ногой и вообще никуда не глядя, как будто бы то, что он видел своими синими глазами, остальные глаза увидеть не могли. – Кто-то грузит работу, а кто-то тарелку пельменей с уксусом, – добавил он, – вот они и видят вместо дерева что-то совсем непутевое. Например, начальника с бородавкой или какую-нибудь глесту.

– При чем тут глеста? – удивилась Медея, а Лева уставился на ее круглые коленки и собрался отвечать, но почему-то закрыл рот и так ничего и не сказал, а просто еще раз дернул ногой и скрипел, наверное, оттого, что снова увидел то, чего никто не мог видеть.

- Что отражает зеркало, когда в него никто не смотрит? – все-таки не удержался Лева.
- Шкаф, – сказала Медея. – А что еще?
- Откуда ты знаешь, – стал заводиться Лева, – ну скажи мне, откуда? Ты что, там была в то время?
- Я не была. Но мало ли... Шкаф-то был. А что ему еще отражать? Конечно шкаф. Что же еще?
- Ну... ежика, например... Или то, чего ты даже себе представить не можешь своим умом. Пока тебя там нет, оно не может отразить то, чего ты можешь представить своим умом.. Или представить другой человек. Значит, оно отражает то, чего никто из людей не может представить – то, что мы есть на самом деле, но не знаем.
- Совсем не знаем? – занервничал Савва. – Кто мы есть на самом деле? Или можем немного догадываться?

Лева задумался. На белом его лбу обозначились сразу три морщины. Потом он вцепился себе в волосы и закрыл глаза. Было слышно, как на улице подвывала соседская никчемная собака в колтунах, которая любила душить куриц, и поэтому была прикована цепью к своей будке.

- Можем догадываться, – сказал Лева. – Редко, – добавил он строго. – Да, редко, иногда.
- Наутро мы с Витей прослушали запись, – продолжил Николай-музыкант, уловив паузу в разговоре, – там оказались слова на нерусском языке. СИП, ЦБА, ГУ, ЧИ, ССЕ, – Николай стал петь высоким голосом, словно сверкнув невидимой фольгой в воздухе, и от этого в комнате стало светлей. На последнем слове он приподнялся на цыпочки и всем сразу показался красавцем. Потом он снова опустился на ступни, и его снова начал раскачивать внутренний ветер.
- Мы с Витей долго думали, что это может быть, – говорил Николай, качаясь. – В горах есть вечные люди, они там давно, они такие, что всё знают, но их никто не видит. Я думаю, это они оставили сообщение, чтобы мы к ним вышли навстречу.

– Сейчас, сейчас... – Витя встал со стула. Ветер Николая колыхал и трепал его тоже. Но если у Николая уже были корни, то у Вити корней не было, и казалось, что он вот-вот улетит вместе со своими ласковыми и неверными губами, тонкими руками и всем своим дрожащим телом. – Там недалеко лежит камень, как его...

- Песчаник, – подсказал Николай.
- ...ага, – повторил Витя, – песчаник. На нем две выемки есть – большая и маленькая. Камень находится в ущелье, и потому его можно разглядеть только с одного выступа, который образуется высоко над ним. Я туда залез и нашел еще один камень, похожий на каменный трон. А когда соскоблил с него мох, под ним оказался рисунок – словно бы знак бесконечности, – тут Витя ненадолго затрясся, но вскоре перестал. – Потом я понял, что это не знак вечности, а пивка, – сказал Витя.
- Богиня крови, – сказал Николай.
- А на том камне, что внизу, выдолблено углубление, и теперь все понятно.
- Чего тебе понятно? – лязгнул зубами Лева.
- Там убивали жертву, а кровь сливалась в нижнее углубление. А на верхнем камне с выдолбленной пивкой сидел жрец. Пивка же это – богиня. У какого-то народа богиня, например, Афородита, а у кого-то – пивка. Или еще что.
- Что? – спросил Лева, но ему никто не стал отвечать. Минуту все молчали. Было слышно, как на кухне поет сверчок, а на улице подвывает никчемная собака.

13

...потому что самое интересное наступает значительно раньше, чем, скажем, профессор Воротников знакомится с этими разнообразными людьми где-то в ближних горах, куда он приехал в поисках пропавшей девочки. Если по этим горам ехать из города к дому, где происходит собрание Клуба, то сначала надо сесть в автобус на пяточке внизу, у моря, напротив здания железнодорожного вокзала.

Там, в магазинчиках, конечно же, продаются разнообразные вещи – от бритвенного помазка и отдельно мыла в тубике до чашки кофе или ручной косилки, но автобус останавливается не там, а

напротив памятника погибшим во время войны. Памятник расположен среди кипарисов, где горит вечный огонь, отсвечивая на боку пустой банки из-под тоника, когда она там есть.

Если из такой банки делать коктейль Молотова, то это дохлый номер, потому что она не разобьется, а только сплющится с хрустом под ногой. Но лучше всего бывает на платформе вокзала, откуда видно синее с живым солнечным серебром море и дальний сине-зеленый мыс с растущим на нем и наклоненным к волнам кедровым деревом, которое отсюда кажется крошечным. А самое лучшее здесь – разбег теплого ветра в лицо, блестящие и изогнутые вдоль берега рельсы и запах водорослей с пляжа.

Там, в море, ходят по коридорам и сквознякам разные корявые и колючие рыбы, впрочем, среди них есть и гладкие, как торпеды, сияющие и истекающие потоками мучительно прекрасного серебра и золота, и иногда даже кажется, что невозможно, чтобы после таких потоков от самой рыбы хоть что-то осталось, но она непостижно остается все той же, как будто в ней спрятаны вечные запасы этого самого драгоценного сияния.

Есть там и похожие на коряги рыбы, и плоские камбалы, а также сине-розово-серебряные окуни, которых раз увидеть – понять, зачем тебе даны глаза и зрение, потому что в этот момент с твоим телом тоже что-то творится, и оно внутри становится на время таким же, как этот бьющийся в огне и солнце между водорослей окунь с попавшей в него стрелой, похожий на факел.

Такой же факел загорается внутри тела, а иногда горит так ярко, что проступает светом и красками даже на наружной стороне кожи, и тогда вечером где-нибудь в санаторской темной аллее с лиловыми и гуталиновыми тенями от кустов, куда даже не проникнуть какой-нибудь серебряной звездочке, твой лоб светится среди их густого мрака и освещает путь вместо фонаря.

Но вот автобус с нагретой крышей разворачивается, открывает со скрипом передние двери, и в него начинают влезать пожилые и морщинистые местные, девочки со жвачками и мобильниками в потных руках и курортники. Грузятся все они толкаясь и молча отпихивая друг друга, потому что мест в автобусе мало, а ехать больше часа. Воротников не толкался, но в конце салона оказалось свободным изрезанное шкодливым ножом кресло, куда он и сел.

Теперь, входя в трудный оборот повествования, чтобы выразится пояснее и познергичнее, заметим, что непонятно каким образом, но профессор, о котором идет речь, примостившегося сейчас у открытого стекла автобуса, что газует с подвывом на второй скорости, можно было, так сказать, ничтоже сумняшеся, воспринимать одновременно и как человека, и как, с другой стороны, дерево. Сейчас мы все поясним, почему такое произошло.

Пусть, например, дальше говорит его знакомая девушка, что ли ученица или просто почитательница его тихих даров, а она говорит так (забыл только, кому это она сказала, но сказала наверняка и даже покраснев от некоторой небольшой досады), что ничего тут нет странного, потому что он, профессор Воротников, невольно являет собой то сияние и то впечатление, которое ты сам по себе искал в своей жизни, но не нашел и даже не мог как следует сообразить, чего же, собственно, ты так безнадежно ищешь. Но однажды ведь желания исполняются, и ты встречаешь то, что встретить никак невозможно, кроме как только в самой мечте, и вот оно вдруг происходит. И не обязательно один профессор Воротников, но, наверное, и многие другие в какой-то момент могут расширяться своим телом и душой так, что из тела и души постепенно произрастают деревья, голуби и дороги, и то самое сияние, что так необходимо ищущему его всю жизнь человеку. И видно, как они возникают в незнакомце и увеличиваются вместе с облаками, а ночью – со звездами, похожими на большие оловянные репейники.

Данте говорит, что само бытие есть сравнение, а вернее, не Данте, а один поэт говорит про Данте. Но словами сравнивать всегда долго, и часто все получается искусственно, если ты не такой поэт, как Данте или тот, который про него написал, – а вот глазами и мыслями можно сразу увидеть, как сравнение происходит наяву, и даже продолжается в единство с самим человеком – профессором Воротниковым, например, но это необязательно. Я сама несколько раз слышала, как из куста на его плече пел дрозд. Не тот дрозд, который в морозный зимний день в Стрешневском парке среди заснеженных ветвей раздувается в сплошную пушистую подушку, склевывая ягоды

рябины и не сводя при этом с тебя глаз, а другой – певчий, которого я слышала как-то весной в Симеизе. И я не удивилась, потому что для удивления нужно что-то необычное или внезапное, а тут все было так, как и должно происходить.

Поэтому – это уже говорит не влюбленная в профессора девочка, а я сам – если профессора и можно было иногда принять за белого голубя, то этому никто не удивлялся. Ведь не зря же иногда говоришь своей жене в минуту просветления – голубка ты моя, при этом догадываясь про то, сколько ты ей сделал ненужного и лишнего за все эти годы и не сделал основного и главного, например, не додал ей ласки и других необходимых вещей, ну и так далее. И при этом видишь не жену, а, действительно, нежную голубку. Или, может, наоборот – сначала видишь вместо жены голубку, а потом уже догадываешься. Или один человек говорит другому, что он бурундук, и долго сам в это верит, как никто. Ну и так далее.

Автобус тем временем пересек автостраду и, мучительно подвывая, стал взбираться по крутой дороге, миновав справа бензоколонку с бетонированной стенкой, покрытой вьющимися паразитами, а слева ржавый заброшенный мост, сквозь который проросли кусты и деревья. Мост висит над широким пересохшим руслом речки в белых на солнце булыжниках, а вода позванивает лишь в узких протоках посередине, но все равно в ней живут рыбы и по ночам пучат круглые глаза на луну. А днем тут полно черных бездомных собак, что валяются как попало на камнях набережной возле бетонной стенки, на которую мочатся все, кому не лень, но собаки все равно любят это место, хоть и неизвестно, за что.

Рядом с профессором села бабушка, загорелая абхазка в длинном синем платье с рисунком каких-то жалких рыбок или ягод и с корзинкой на коленях. Он нее сильно пахло потом и селедкой, но потом пахло от нее, а селедкой от покупок, которые лежали в корзинке. Лицо ее было похоже на сильно мятую коричневую оберточную бумагу, а рисунок губ стерся почти что совсем. Белки ее глаз тоже стали светло-коричневыми от долгого срока жизни, а ресницы – редкими. И когда она вдыхала полной грудью, то все равно оставалась такой же мелкой, высохшей от тяжелой жизни старушонкой, как и тогда, когда она выдыхала весь воздух, который ей удавалось выдохнуть. Она знала, что скоро выдохнет его раз и навсегда, или, точнее говоря, насовсем, но часто забывала об этом, потому что привыкла к этой мысли и даже иногда ей радовалась.

14

Профессор вошел в дом, когда Николай рассказывал про пивяку, и, когда он закончил, Савва представил гостя из Москвы.

– Друзья, пропала дочь моего ближайшего друга, – сказал Воротников. – И Савва посоветовал мне обратиться к вам за помощью.

Эрик усталился на профессора и узнал в нем того субъекта с собачьей улыбкой, что совсем недавно кормил бобика на ступеньках продуктового магазина.

– Ее зовут Офелия, – сказал Савва из угла, – гы!

Эрик, услышав заветное имя, вздрогнул.

Савва помолчал, дергая кадыком и глотая. Потом наморщился, длинная судорога пробежала через его горло, но он, давась воздухом, все же проглотил то, что ему мешало, задышал неожидан- но часто и улыбнулся.

– Простите, я не нарочно сказал «гы!», – сказал Савва. – Это у меня бывает, когда подступает сильное напряжение. И если я не скажу «гы», то могу даже на какое-то время ослепнуть. Поэтому не обращайтесь, пожалуйста, на это слово внимание, даже если я еще несколько раз его скажу.

Лицо Саввы стало прекрасным и светлым, а на лбу его замерцал пот, словно ледышки под фо- нарем. Он кашлянул, втянул с шумом воздух через ноздри и добавил:

– Приехала сюда пожить и пропала. Вот ведь! А профессор хочет ее разыскать.

– Да, разыскать, – сказал профессор, – и мне нужна ваша помощь. – Тут он снова улыбнулся своей жалкой собачьей улыбкой, и Эрику показалось, что гость сейчас залает, но не басовито и раскатисто, как какой-нибудь породистый пес-доберман, вышедший на прогулку с хозяином в хо-

роших джинсах, – а залает мелко, визгливо, забрешет так, что самому делается неловко и страшно от вклянья, какое издает только щенок, что собакой еще не стал, а суматошно частит по улице так, что задние ноги его все время наступают на пятки передним.

– Офелия – хрупкая девушка, – сказал профессор.

– Хрупкая, – сказал Савва и засипел.

– Да, – сказал Воротников, – очень.

– Очень, – сказал Савва. – Совсем девочка.

– Да, – отозвался профессор.

Сейчас заплачет, – подумал Эрик, – сейчас. Но профессор не заплакал, а продолжил:

– Она очень любит музыку и книги. В этом все дело.

– Почему, – спросил Эрик. – Почему все дело в музыке и книгах?

Но профессор не успел ответить, потому что из коридора раздался грохот, словно упал таз, потом крик, и на порог вбежала бледная Марина.

– Лева повесился, – крикнула она профессору в лицо.

– Где повесился, где? – закричал Савва и выбежал в коридор.

В кладовке рядом с сорвавшимся со стены корытом на полу лежал Лева с обрывком бельевой веревки на шее, похожий то ли на овцу, то ли на крокодила, потому что рот у него был раскрыт так широко, как будто бы он собирался откусить невообразимо большой кусок бог весть от чего, но не смог, а с губ текла слюна и какая-то дрянь, вроде сукровицы.

– Лева, встань! – сказал Савва.

Но Лева продолжал лежать и склаться, словно поломанная кукла, у которой лопнула пружина, и от этого она больше не хочет жить и посмеивается. Лицо у него было бледное и страшное, а глаза навывкате, можно сказать, что это было вовсе и не Левино лицо, а другого человека.

– Лева, вставай, – повторил Савва, – я же вижу, что ты живой, потому что у тебя щека дергается.

– Да не напирайте же, – обернулся тут Савва ко всем остальным членам Клуба, сгрудившимся у него за спиной. – Ты как, Лева, не повредился?

– Нет, – слотнул Лева и лягнул зубами, – я не повредился. Вот только локоть рассадил об это корыто. А я и не видел, Савва, что у тебя на груди голая тетка, – добавил он, и глаза его стали оживать, превращаясь из белых и плоских в серые и печальные.

– Это я с тоски наколол, – признался Савва. – Когда бой проиграл Рою Джонсу по очкам. Я бы его сделал, да судья подсуживал, засранец. Он хороший малый, потом ко мне в раздевалку заходил, руку жал. Только я не помню, то ли он заходил, то ли еще кто, но руку жал, это я хорошо помню.

– Морда у него белая была или черная? – спросил Лева.

– Вроде черная, – сказал Савва. – А я знаю? Я тогда расстроился, пошел в салон тату и сделал эту летучую мышь на грудь. Три часа сидел, пока он меня накалывал. Маленький какой-то, захудалый, как не свой. В Америке дело было, не помню, как улица называется, – океан там.

– Бабу, – сказал Лева и взвизгнул на вдохе. – Бабу ты сделал, а не мышь. У тебя, Савва, все мозги отбиты. Ты себе на грудь глянь.

– Да, наверное, бабу, – согласился Савва. – А у тебя, Лева, шишка на лбу. Только сейчас разглядел.

Савва подошел к Лева и стал поднимать его на ноги, но Лева никак не мог сделать так, чтобы его ноги выпрямились и уперлись в пол, а наоборот, все время их подворачивал и передергивал.

– Ты, Лева, вспомни, как мы на Красном Штурме утром купались, – посоветовал Савва. – Помнишь, на электричке приехали, спустились с насыпи, а там вода такая голубая и зеленая, просвечивает насквозь, и видно водоросли и камни. И еще на камнях крабы сидят и греются.

– Я все помню, – сказал Лева и заплакал. И от этого ноги его окрепли и стали его держать. – Ты там нырнул в голубую бездну, – сказал, дрожа, Лева. – Только ты ботинок забыл снять с одной ноги.

– Ты зачем вешался, Лева? – спросил Николай-музыкант. – Ты чего, совсем с ума сошел?

– Чтобы изменить свои мысли и чтобы снова *быть*, – сказал Лева твердым голосом. – Потому что если не отдать свою жизнь всю до конца, то так и будешь бледной тенью и не сможешь *быть*. Чтобы *быть*, нужно отдавать жизнь.

– Правильно, – сказал Савва, – я тоже так думаю. – Вот когда из отключки поднимаешься с ринга, так сразу крепнешь, и жизнь начинается заново. Я три боя выиграл после отключки, а никто не верил, что такое возможно. Потому что в отключке есть своя живая вода. Не знаю, где она там течет, но иногда вспоминаю форму русла – оно такое, как ручей – серебристое и звенит.

Савва взял Леву под руку, и тот, переступая ногами, вышел с ним во двор, под виноград и звезды. Там они сели на лавочку, и Савва погладил Леву по голове.

– Не делай так больше, ладно? – сказал Савва. – Обещаешь?

– Не... – сказал Лева, – не...

– Ну и ладно, – сказал Савва, – может, у тебя путь такой, особый. Слушай, Лева, может, ты хочешь чаю, я сейчас тебе принесу.

– Хочу, – сказал Лева. – Только я не чаю хочу, а знания.

– Чего же ты хотел узнать? – наклонился к нему Савва и добавил: – Дай-ка я веревку с тебя сниму, а то некрасиво как-то.

– Я хочу знать, зачем мы не отличаем себя от плохих мыслей, – сказал Лева. – И еще: когда шакалы кричат, почему они так похожи на пьяных девчонок, а? Может, с ними пьяные девчонки ходят, как ты думаешь?

– Может, и ходят, – сказал Савва. – Пропала наша девочка, слышал? Офелию похитили.

– Я знаю, кто ее похитил, – сказал Лева. – Знаю.

– Как бы ее не убили, – ответил Савва, – так что ты лучше скажи, кто это сделал.

– Сейчас, – сказал Лева, – сейчас. Вот только понимаешь, – он посмотрел на темное небо в хвосте звезд и дрожащих лучей, – понимаешь, Савва, меня мама неправильно родила, не по любви. Но ведь моя звезда все равно входит во все остальные. Меня вот Марина все спрашивает – давай гороскоп тебе сделаем, а зачем мне гороскоп, если все дело в воле и подозрении.

– Каком подозрении?

– Подозрении, что у тебя есть своя звезда и никто тебе не мешает быть бессмертным, а если и мешает, как тот настройщик, то все равно у меня есть сила и звезда.

– Что за настройщик?

– К маме ходил. Рояль настраивал. Тяжелый такой рояль. Бок блестит, а клавиши с боков пожелтели. Я на нем занимался.

– Поиграешь как-нибудь? – спросил Савва. – Щютца. Я Щютца люблю, Лева.

– Поиграю, – сказал Лева. – Только я Щютца не очень. Хочешь, я тебе Моцарта поиграю?

– Не, – сказал Савва, – мне бы Щютца. Я его один раз слышал и сильно запал. Я так чувствую, что навсегда.

– Ладно, – сказал Лева, – ты меня уговорил, Савва, только ноты надо найти.

Тут цикады запели с такой силой, что казалось, будто во всех кустах и деревьях закрутились серебряные колесики, и лишь иногда в их монотонный звон вклинивалась какая-то ерунда и проносила ужасным голосом: Уху! Уху! – так, что холодело в животе и возникали разные мысли. Но потом она замолкала, и цикады продолжали пение как ни в чем не бывало, хотя, может, это были и не цикады, а какие-нибудь обыкновенные кузнечики.

15

А вот уже звезды сильнее зажглись, а вот уже и сместились. И та Медведица, что стояла над домом, теперь уже висит над далекими горами, словно бы еще ярче разгоревшись и посвежев. Как будто ее звезды теперь уже не из латуни, как раньше, а сделаны словно бы из хрустала. Так вот иногда бывает, что выходит человек на улицу, и очки у него сразу запотевают от холодного воздуха, и от этого он сначала плохо видит – все у него словно бы в тумане; но вот стекло охлаждается, становится прозрачным, и тогда весь мир является ему в подлинности и холодке – отчетливый, ясный,

с синими звездами, и в таком мире хочется жить и бежать все дальше по улице, подпрыгивая и притоптывая ногами.

Профессор стоял у окна и смотрел в темноту на Медведицу, когда в дверь постучали. Воротников пошел на стук и, щелкая замками наугад, открыл дверь, за которой стоял Эрик.

– Позвольте, – сказал Эрик. – Позвольте пройти. Мне надо с вами поговорить.

– Проходите, – сказал Воротников и провел гостя в комнату, где накануне было столько народу. Савва предложил профессору занять комнату в доме, и тот согласился.

– Присаживайтесь, – сказал Воротников, пододвинув Эрику стул.

– Вы думаете, что теперь уже слишком поздно, и я совершенно с вами согласен, – сказал Эрик.

– Да, согласен. Но разговор, видите ли, не терпит...

– Да вы говорите, – сказал профессор, садясь на стул напротив Эрика и смотря на него своими жалкими и виноватыми глазами. – Говорите.

– Я, возможно, не то скажу, – начал Эрик, – вот у меня куклы. Как вы думаете, откуда они?

– Куклы?

– Разумеется. Японские куклы. Разумеется, из Японии. И вы думаете, что в нас нет пустоты, как в них, что это в куклах, запакованных в бандероль, то есть в посылку, может находиться своя собственная пустота, а у нас ее быть не может, пусть даже нас никто и не запаковывал в бандероль.

– Так-так, – сказал профессор. – Так-так...

– Вот и я говорю, – горячо зашептал Эрик, – и я говорю. Потому что – одиночество, оно ведь и есть пустота. И дело не в куклах, конечно, а в том, кто рядом. А если рядом – никого? Ну, совсем ни одной собаки, чтоб могла тебя понять, когда ты ей говоришь не для общего употребления, а единственное и душевное. То есть простите меня за этот возвышенный слог, все это ерунда.

Эрик внимательно поглядел на профессора и быстро облизал губы.

– Я вижу, вы меня понимаете, – быстро проговорил он и слегка присвистнул. – Простите, это я неволью. Это у меня с университета невольная привычка. Я когда говорю с незнакомым человеком и волнуясь, у меня с губ срывается свист, как у птицы. Я в детстве подражал некоторым птицам, вот у меня так и осталось, – пояснил Эрик. – Одно время совсем было прошло, но здесь снова начал свистеть, так уж сложилось.

Он сокрушенно помотал головой, словно выпил очень крепкой водки без закуски.

– Дело тут вот в чем. Я испытываю к вам доверие. Не знаю, почему, вероятно, потому что вы девочку пришли искать. Ее надо найти, ее обязательно, срочно, безотлагательно, теперь же надо найти, умоляю вас.

Тут он вцепился профессору в рукав рубашки и стал тянуть его на себя, пока рукав не затрещал и не разъехался.

– Извините, – сказал Эрик и снова свистнул. – Простите, я вам уже объяснил про свист, что он от птиц, вернее, от подражания птицам, поэтому мы больше про него не будем говорить. Простите за рубашку. Хорошая рубашка. Из Пакистана? У меня была такая же рубашка, и я ее очень любил. Я знаю про нее, знаю. Немножко только надо зашить и снова будет как новая. А Лева известно, где она, – сказал он. – То есть Офелия, да. Мы завтра же отправимся на поиски, завтра же. Хотя Лева мог и сочинить, сами понимаете, с собой не в ладу человек, но он не всегда же сочиняет. А иногда так и говорит неожиданную правду. Вот и сейчас я хочу сказать вам, профессор, одну неожиданную правду, и пусть вы меня сочтете за невежу, но я все равно вам ее открою.

– Вам не бывало так, – продолжил Эрик, глядя в угол комнаты, где стояли горные ботинки, – что весь мир словно бы налип на внешний слой вашей кожи, словно рыба-прилипала или ракушка рапаны какая-нибудь? Вы видели ракушку рапаны? Она буквально облеплена ороговевшими образованиями минералов, да. Чего там на ней только нет! А между тем, ежели ее интенсивно потереть о гальку, то через 20 минут она возьмет и засияет вам своим первозданным цветом, как новенькая. Поразительно, правда?

Профессор кивнул головой, не отрываясь глядя на Эрика. Губы его шевелились, как будто он тихо повторял Эрику одно и то же слово, но Эрик не слышал.

Он задумался и продолжил.

– Вот так и я. Я очень одинок.

Он оживился.

– Я словно часто-часто посылаю в мир свой глубокий сигнал, но меня не слышат. А я его посылаю, да! Я посылаю его, – взвизгнул Эрик. – Я посылаю его, даже когда я, например, вымажусь в чем-нибудь непотребном, в какой-нибудь пакости, даже когда я ем селедку или, например, очень устал или убит разочарованием, и тогда рву подушку зубами. Я все равно его посылаю.

– Сигнал?

– Я не могу его не посылать, – зашелся Эрик, присвистывая, – потому что я тогда забуду, кто я такой, а я не должен этого забывать, потому что иначе все будет кончено. Я здесь не просто так, – вскричал он высоким голосом. Я в этом поселке не потому, что я не мог бы жить в Москве или в Сан-Франциско, куда меня приглашали, не потому! Но нет! Я посылаю его и вплетаю в ткань мироздания и великого действия, *magnum opus* – свой единственный голос, на котором держатся миллионы, миллиарды других голосов, и ежели только его, этот голос, выдернуть вместе со мной из ткани – слышите, вместе со мной, таким как я сегодня есть, из ткани – и неважно, откуда и куда прислали куклы и про штрафы, и про поклены, и про Марину тоже, и если вам скажут, не верьте! – если только выдернуть меня, то все построение из величайших мелодий, из небывалых слов, из несравненных вершин еще невятной миру поэзии, ее восходов и закатов – все будет погублено!

Тут Эрик внезапно упал на пол лицом вниз, но не ударился, а засмеялся и стал отжиматься от пола, не сводя глаз с профессора.

– Я, кажется, понимаю, о чем вы, – тихо сказал Воротников. – Я сам часто об этом думал, но давно уже, в молодости.

– А сейчас вы уже не думаете? – спрашивал Эрик с натугой, продолжая отрывать тело от пола. – Не думаете?

– А сейчас стараюсь не думать.

– Ага! Я так и знал, я так и знал! – захохотал Эрик. – Что ж, значит я не ошибся, приди к вам. Значит, я пришел к нужному человеку.

Он вытянул руки вдоль тела и теперь лежал на полу, лицом вниз и глубоко дыша. Потом за тих, и могло показаться, что в комнате его больше нет. Так иногда бьется на траве рыба, снятая с крючка, вздрагивает хвостом, обливается серебром чешуи, а потом тихо застывает, и даже жабры ее перестают двигаться. Только поют птицы, и продолжают скакать кузнечики.

16

– Я расшифровал послание убыхов, – глухо сказал Эрик в ворс ковра.

Профессор Воротников посмотрел на его затылок, потому что могло показаться, что Эрик разговаривает сейчас затылком, но не из-за того, что он обладал даром чревовещания, а потому что затылок его был самым убедительным местом во всем его теле, а лица не было видно совсем.

– Ту запись, о которой говорил Николай, помните? Со словами на птичьем языке. Так вот, я ее расшифровал. Да, я это сделал.

– И что же это за язык? – спросил Воротников.

– Язык этот убыхский, – глухо сказал Эрик в ковер, закашлялся и плюнул в сторону. Потом снова уткнул лицо в ковер.

– Вы знаете убыхский язык? – воскликнул профессор.

– Да, знаю, – веско произнес Эрик.

Теперь он сидел на ковре и пытался сдержать кашель, и от этого прекрасное, несмотря на пыль с ковра, лицо его было стало отсутствующим и слегка идиотическим, как это случается порой у очень красивых женщин.

– А я-то думал...

– Два самых ценных исследования о языке убыхов оставили Евлия Челеби в рукописи XVII века и немец Адольф Дирр, лингвист, – начал было Эрик, но тут его пробил сильный приступ кашля, от которого он согнулся, скорчившись вдвое и почти рыдая в голос. – Простите....

Однако, откашлявшись и раскрасневшись, он продолжил совершенно ровным тоном: Именно Дирр, отчаявшись в начале XX века найти остатки исчезнувшего убыхского фольклора, все же в конце концов записал одну их легенду. И, как ни странно, эта легенда оказалась – о языке.

– Очень интересно, – пробормотал Воротников.

– На Востоке, где встает солнце, – сказал Эрик, – было государство. Это уже легенда началась, – пояснил он, диковато блеснув белком одного глаза. – Государством правил могучий и умный шах. При нем был пронизательный и умный писатель, интересовавшийся самыми неожиданными науками. Однажды шах отправил этого писателя изучать языки. Через много лет тот возвратился из странствий с мешком за плечами, одетый в дорогие шелковые и бархатные одежды. Он поклонился шаху и произнес: «Я изучил все языки – арабский, армянский, греческий, немецкий и все остальные».

И словно бы тень печали легла на его лицо.

«Прекрасно! – сказал шах. – А что у тебя на спине?»

«Это один из языков. Мне не удалось постичь его в совершенстве, потому что я еще не нашел к нему подхода».

Он снял со спины свой мешок и вытряхнул на персидский ковер его содержимое. Это были камни.

«Что это?» – спросил шах.

«Это убыхский язык», – ответил писатель.

Эрик помолчал. Потом продолжил:

– Остальными сведениями по убыхскому языку мы обязаны Дюмезилю и Фогту. В 1958 году они разыскали в Турции, на южном побережье Мраморного моря, в деревне Тепеджик-кой и близлежащих селениях последние двадцать убыхов, все еще владевших своим языком, и записали их рассказы. Был составлен небольшой словарь убыхских слов, собранных ранее, и осуществлена фиксация произношения. Язык убыхов состоял в основном из односложных и двусложных слов с преобладанием губно-губных звуков: пти, птс, пц, пь, ф, ть – придававших звучанию схожесть с птичьим щебетом.

– Я вижу, вы в теме, – сказал Воротников. – Вы, вероятно, нашли этот словарь языка убыхов с транскрипцией.

– Нет, – сказал Эрик, – дело не в том.

Теперь он сидел на ковре неподвижно и был похож на вытесанную из одного куска камня мраморную бабу, которую профессор как-то видел в Асканийских степях.

– Я нашел не словарь, – тихо продолжил Эрик. – Я нашел мешок с камнями. Тот самый, что писатель принес шаху.

– Но ведь... – начал было Воротников.

– Не спрашивайте! Не спрашивайте меня ни о чем, – загорячился Эрик. – Просто поверьте, что убыхский язык – это действительно камни и птицы. Не в смысле, так сказать, образных украшений легенды, а в самом, так сказать, прямом смысле этого слова. Птицы и камни!

– Птицы и камни, – сказал Воротников, – птицы и камни. Я, впрочем, понимаю. Я кажется, впрочем, сейчас пойму до конца. Но ведь это... – он не закончил. – И что же вам удалось понять из послания с гор? – спросил Воротников, и Эрик увидел, что он готов улыбнуться своей жалкой улыбкой, и поэтому заторопился. От этой улыбки душа Эрика словно переворачивалась, и в ней начинали появляться забытые или полузабытые с детства чувства, и от этого по телу бежали мурашки, словно бы по щекам слезы. И он продолжил:

– Голос, записавшийся на магнитофонной пленке, говорит буквально вот что. Однажды жрец убыхов во время совершения жертвоприношения в священной роще услышал голос духа. Дух сказал жрецу, что в следующем месяце на гору А. под дерево Гамшхут придет сын бога Уашхвы – Цсбе. И что это будет Бог, спасающий языки, камни, людей зверей и все вселенные, какие они только есть. С их ангелами, рыбами и деревьями. И что каждый звук будет выправлен, а взгляд просветлен. И что боль и смерть уйдут из миров, если только племя поднимется к дереву Гамшхут и узнает

своего Гостя. Но жрец не поверил посланию. – Кто мы такие? – решил он. – Что мы можем? Мы всего лишь охотники и пираты. Это голос демона, который хочет нас погубить, развеять наше племя и наш народ по свету. И жрец ничего не сказал своему народу. А через двести лет последний убух исчез с лица земли, ибо они побоялись выйти навстречу неизвестному и утратили то, что имели. И во второй раз, спустя 270 лет прозвучал голос – пусть другие люди придут под дерево Гамшухт встретить спасителя Цсбе, потому что если люди опять не придут, значит им не нужно спасение ни себя самих, ни рыб, ни деревьев, ни всех миров и вселенных. Вот мы передали вам это.

– На этом, – сказал Эрик, – запись оборвалась. Просто именно в этот момент кончилась пленка. Наверное, там были еще какие-то слова.

– Оборвалась... И что вы думаете по этому поводу? – спросил Эрика профессор.

– А то, что все, черт бы их взял, у них ненадежное. То рвется, то останавливается.

– Я не про то, – сказал Воротников, – я про содержимое послания.

– А то, – сказал Эрик, – что завтра же я отправляюсь на поиск этого места.

– Зачем? Хотите спасти людей? – едва заметно улыбнулся профессор.

– Плевал я на людей, – взвился вдруг Эрик. – Плевал! Что они мне сделали, ваши люди? Что они вообще хорошего сделали? Смрадное, подлое, лягушачье племя, лгущее без остановки, похотливое, жадное. – Он стоял посреди комнаты и даже лягался ногой от злости. – Вся беда, впрочем, не в том, что они скоты, – Эрик подбежал к окошку и стал дергать раму за ручку, – а в том, что они – гниль!

Мутное окно, звякнув, распахнулось, и Эрик, высунувшись наружу чуть ли не по пояс, начал плевать и вскрикивать.

– Гниль, гниль, гниль! – кричал он в сторону побережья, отсюда не видимого, – гниль! Ненавижу!

Потом он аккуратно закрыл створку, вернулся и сел в кресло напротив профессора.

– Тогда в чем же дело? – снова спросил Воротников и досадливо сморщился.

– А в том, – вдруг засмеялся светлым смехом Эрик, – что есть одно существо. И я не хотел бы, чтобы с ним хоть что-то случилось.

– А, – серьезно сказал профессор.

Он так и сказал: – А!

И Эрик, услышав этот ответ, совсем было собрался броситься ему на шею, но отчего-то не стал этого делать. Он встал и тихо вышел из комнаты.

17

В мире существует много загадок и всего одна луна. А также много отгадок, но всегда один человек, который отгадки лишен и вечно вас озадачивает. Иногда мы не узнаем винограда или другого лица, так уж мы устроены. Всегда есть то, что мы не узнаем, ну, пусть так и будет. Вот ученые не узнали, например, воскресшего Христа, а потом узнали. То, что они его не узнавали, кто он такой, пока он был жив – тоже факт. Вот и мы не узнаем ни друзей, ни температуры за окном, ни животных. Самих себя мы тоже не узнаем, и иногда нас это мучит, а иногда не очень.

Савву это мучило сначала сильно, а потом, как только он потерял память, почти перестало.

После того как он потерял память, он ее иногда снова терял совсем, а иногда что-то оставалось, похожее на полет бабочки, особенно когда она ныряет вниз и словно пропадает из виду, а остается какой-нибудь один цветок на фоне синего неба или вдруг непонятное лицо, и не поймешь – то ли мужское, а то ли женское.

Однажды Савва спросил профессора – откуда в мире страдания?

Он спросил, потому что ночью ему снился ужас, произошедший с любимым человеком, которого Савва не мог вспомнить, но все равно знал, что он любимый, потому что не мог оторвать своей любви от этого человека и ясно понимал, что он его любит очень сильно, сильнее даже, чем самого себя, когда был маленьким, и он спросил Воротникова, откуда на земле взялся весь этот ужас, потому что того человека рвали волки, а Савва во сне мог только плакать и ничего не мог сделать.

Тогда Воротников сказал ему: задай этот вопрос не мне. – А почему, спросил Савва. Потому, сказал профессор, что ответ на этот вопрос на словах невозможен. Но он все же возможен, если от слов отказаться. А кому, спросил Савва, мне его задать? Задай его цветку, сказал Воротников, или камню и слушай. Хорошо, сказал Савва и пошел в сад своего дома. Там он сел рядом с хризантемой и спросил: скажи, откуда на земле такое, что моего лучшего друга разорвали волки, а люди ненавидят себя, моря и дельфинов, и других людей? Он спросил и стал слушать. Уже всходила луна, а света в окне на огород не было, и постепенно, когда глаза привыкли, все вокруг стало призрачным, словно тихо светящимся. Савва сидел на земле и ждал. Он был похож на курицу, которая собралась снести яйцо, или на женщину папуаску, которые рожают сидя, Савва один раз видел, но он этого не принимал, потому что все время смотрел на цветок. Цветок, на который смотрел Савва, не давался зрению и куда-то все время ускользал, словно бы ему не нравился Саввин взгляд, и он плавал по краям зрения, а иногда возвращался назад, но тут же ускользал снова.

Но вдруг Савва понял, что цветок стал разгораться и светиться, а он, Савва, словно уменьшаться в росте. Они сидели рядом и глядели друг на друга, и когда Савве казалось, что это цветок глядит на него, то он ясно видел цветок, а когда цветок думал, что на него смотрит Савва, то он ясно видел Савву. Потом Савва увидел, что они с цветком никогда не были разными, а все время были одним и тем же. Не то чтобы в сидящем на земле Савве был цветок, хотя, конечно же, он и был Саввой, как была Саввой его мать, когда его носила, но Савва знал, что они так всегда сидели, еще до того, как возникла земля, ангелы и серафимы. И что если бы Савва с цветком не смотрели бы друг на дружку, то не возникла бы земля, ангелы и серафимы, и ничего бы не возникло. И пока они так сидят и смотрят друг на друга, ничего не может никуда пропасть, потому что пропадать никому некуда, пока они так вот сидят в призрачной луне и смотрят один на другого.

Когда потом Савва встретил профессора, он сказал ему: я спросил у цветка. Профессор посмотрел на него внимательно и улыбнулся. Что он тебе ответил? – спросил он. – Мы вместе ответили, сказал Савва, потому что нас не было по отдельности. Мы ответили вместе, потому что как можно ответить по отдельности или самому одному цветку, когда у нас стал один рот и одни губы. Ответа даже и не надо было вообще, сказал Савва, потому что зачем он, ответ? – Ты же хотел узнать, почему твоего друга разорвали волки во сне. – Это не во сне, сказал Савва. – И я очень хотел узнать и я узнал. Я понял, что мы с цветком и есть сами по себе ответ на этот вопрос, и ничего другого тут больше нет.

Тут профессор стал смеяться, и почему-то Савва словно узнавал его все больше и больше, пока не увидел, что профессор тоже стал неотличим от цветка, с которым они разговаривали ночью, и от этого Савве стало хорошо, и он попытался было обнять профессора, но постеснялся.

А сейчас Савва сидит на лавочке и смотрит в сторону моря. К нему подходит Лева и говорит: я тоже с ними пойду, Савва. – И правильно, говорит Савва, пойдем. – А ты тоже идешь? – спрашивает Лева. И когда Савва кивает головой, Лева говорит: как же я рад, что ты идешь с нами, как же я рад, Савва, потому что тебе не надо оставаться одному, а Медяка тоже пойдет с тобой?

– Я еще ее не спрашивал, – задумывается Савва, – но, наверное, она не откажется. Потому что куда нам еще идти. Вот и пойдем вместе.

Солнце встает выше, и если посмотреть в сторону моря, то самого моря почти что и не видно за горами. Но если смотреть дольше и внимательно вглядываться, то можно увидеть на короткую минуту его нестерпимый, глубокий блеск между двух горных вершин, оттуда, где меньше всего ждешь. О чем он говорит тебе, – ты не знаешь, однако, что была бы твоя жизнь, если бы однажды, когда совсем уже ничего не ждешь или очень устал, а то и хочется забыться и отчаяться от неудач и обид, если бы в этот миг не блеснул бы тебе влажный синий луч прямо в глаза, оживив их изнутри своим нестерпимым блеском. И, может быть, через миг он опять пропадет, скроется в синей дымке ущелья, и уже не видно будет ни блеска, ни даже морского горизонта с белым корабликом на нем, и все снова подернется серостью и туманом, – но нет, не все. Уже зашел этот луч в твои глаза, словно добежав от какой-то дальней звезды, про которую ты еще не знал, что она твоя, и ты под ней родился для свершений и невозможного, а она тебе послана в этом сестрой и помощником, – уже

зашел в глаза луч, и ты уже не такой, как прежде, и готов даже слушать новую музыку и трогать новые ветки, и женские лица, и камни – осторожно, почти не дыша, почти задохнувшись от внимания к необыкновенному их явлению на свете.

Вот так он пришел, оживил и потом пропал. А теперь ты сам идешь дальше и тычешься в листву и стены, и светишь на них, а в конце жизни кажется, что пропадешь, будто бы попал в закат. Но ты не пропадешь, а уходишь на время за горизонт, чтобы однажды, выйдя оттуда, блеснуть кому-то другому новым лучом, которым ты сам стал – сверкнуть издали в глаза и в лоб, и зажечь их, и оживить, и открыть заново для другого зрения и неожиданных постижений.

– Эж ведь распогодилось, – сказал Николай, расчехляя трубу.

– Теперь уже дождей не будет, – ответил Витя. Потом залез в багажник и достал оттуда саксофон. Он подержал его в руках, подумал и слегка дунул в воздух. Воздух принял Витино дыхание, чуть-чуть отозвавшись шорохом.

– Вот, – сказал Витя, – вот! Вот так надо играть. То самое!

И он снова дунул в воздух.

– На кой он вообще нужен, этот сакс? У Паркера своего не было. Он свой все время терял – то в метро нахер забудет, то в гостях. Так вот и надо жить.

– Паркер помер, когда мультики смотрел по телевизору, – сказал Николай.

– Ага, легкая смерть, хорошая, – отозвался Витя, рассматривая клапаны инструмента. – А мог ведь загнуться и на бабе. Или еще где.

– Ты не врубаешься, Витя, – сказал Николай. – Смерть от любви – лучшая смерть на свете.

– Не думаю, – сказал Витя, – не думаю.

– Ты просто женщин не понимаешь, – сказал Николай. – Они от тебя уходят.

– Не думаю, что ты прав, – сказал Витя.

– Почему это я не прав?

– Потому что они и от тебя уходят, – сказал Витя.

– Правильно, – сказал Николай, – они от всех уходят, – даже от миллионеров. Потому что ничего не понимают.

– А кто понимает? – спросил Витя.

– Рафаэль понял, – сказал Николай. – Понял и умер на женщине, которую любил.

– И что? В чем тут заслуга?

– Это не заслуга, Витя, это – судьба.

Витя подумал.

– Не, – сказал он, – умирать надо не на женщине, умирать надо в воздухе.

И он снова дунул в пространство, и оно отозвалось нежным звуком на весь сад.

– Понял? – спросил Витя и торжествующе посмотрел на Николая.

Тот молчал. Видно было, что он вспоминал что-то свое. Потом тоже дунул в воздух, и тот тоже отозвался, но не как у Вити, а словно бы с серебряной печалью. Николай вздохнул, и белые его рога и наросты зашевелились. Словно бы лось, который в нем жил, напрягся и решил выйти из него, оставив человека пустым и одиноким, но потом передумал и вернулся.

– Все же музыка лучше женщин, – наконец отозвался Николай.

– Ну! – сказал Витя. – Ну!

18

Через час отряд выступил из сада. Савва пропустил всех на улицу, тоже вышел, оглянулся на дом и запер металлическую калитку.

Впереди шли, играя «Караван», Витя и Николай, за ними шагали профессор, Эрик и Медея, а за ними Лева. За спиной у Эрика был большой рюкзак, а Медея несла в руках флаг, который нашла в доме, в комнате, где были свалены рюкзаки и ватники.

Так ведь случается, что два или три человека могут стать главными не только в своей или чужой жизни, но и во всем окружающем просторе. Не знаю, отчего это происходит. Иногда мне кажется,

что это происходит от музыки, которая способна огромным серебряным шаром окутать человека или даже нескольких человек, особенно если их движения совпадают с музыкой так сильно, что та начинает к ним подстраиваться своей мелодией и расширяющейся до гор и горизонта шарообразностью, которая больше, чем мысль или одежда.

Вот потому они кажутся какими-то великанами, словно бы засыпанными металлическими рожами, тяжелыми и неопасными, поблескивающими тускло в воздухе. А может, они и правда великаны, как и все мы тоже в какие-то времена своей жизни, особенно когда музыка входит на нашу палубу, как она вошла к Периклу, потому что тот все никак не понимал, что видит дочь, которую десять лет искал, и без музыки так бы и не понял. Вот чудак, она перед ним, а ему все кажется, что это просто молодая девушка у него на корабле. Но тут заиграла небесная музыка, но ее никто из свиты Перикла не слышит – слышит он один. И он спрашивает, откуда эти божественные звуки, с какого неба пришли, а все говорят – какие звуки? А что делать, если они действительно музыки не могут слышать, а он слышит. Так ведь всегда и бывает.

Есть один чудак, который слышит музыку в себе и вокруг, а остальные не слышат, и думают, что он спятил, как, например, вот эти вот люди, Витя и Николай, что спускаются сейчас по разбитому асфальту в сторону магазина, – а ни он, ни Витя, ни Николай вовсе не спятили. Просто с ними музыка сейчас говорит, а с водилой у магазина, что смотрит на них с интересом, не говорит. И с тетками у магазина она пока что не говорит и, может, никогда и не заговорит, что будет жаль, а с ними она живет и движется. И поэтому они, как и Перикл, могут в конце концов увидеть, как оно все есть на самом деле, а не как они про себя или про молодую девушку на палубе придумали, что она сама по себе, а по правде, она не отдельная девушка, а – твоя дочь.

И тогда все вокруг начинает меняться и оживать – лица людей, которые сто раз видел, и кирпичи, и змеи, и самосвал с заляпанным глиной задним протектором, и даже, скажем, собака по кличке Босый, что тусуется у магазина в ожидании своей сосиски от случайного доброхота. Все они становятся такими, что те, кем они были только что, вдруг оказываются просто бледными призраками по сравнению с тем, кем они стали сейчас от музыки, а ты думаешь, да как же такое могло быть, что ты жил среди призраков выцветшего и скучного мира и мог не только называть это своей жизнью, но еще и радоваться с ней и даже говорить всякие фривольности женщинам и похохатывать. Как, Господи, я не сошел с ума среди этого пыльного сада в этой запыленной и тусклой жизни, где ни пение кузнечика, ни даже крики шакалов в ущелье меня не могли ни согреть, ни поднять в воздух от счастья. А сейчас вот мы идем все по воздуху, как по сияющему асфальту, и так и должно быть, потому что если не ходить по воздуху, как по асфальту, то кому такая жизнь нужна вообще.

Тут дело в том, чтобы не просто жить или разговаривать, а в том, чтобы услышать музыку даже там, где вокруг тебя ее больше никто не слышит и говорит матерные слова, когда пытаешься ему объяснить, что с тобой происходит, а он ничего не слышит и продолжает говорить матерные слова. Периклу никто не говорил матерных слов, потому что боялись, что он царь, а так бы непременно сказали. Вот и не надо ему ничего объяснять, ему, может, твоя музыка ни к чему, а тебе она дороже жизни, и не на словах, а на самом деле. Тебе она дочь и мать. Не надо этим чужакам ничего говорить вообще. А если уж есть большая охота, то можно поговорить со стенкой дома, или со старым цементным бассейном, или даже с каким-нибудь ангелом – в общем, с любим, кто эту музыку слышит, такие всегда есть на свете.

Они дошли до развилки, где жили татары, разводящие свиней. Свиньи и сейчас там хрюкали, а на земляной обочине толкались, бляя, овцы. Морды у них были глупые – на то они и овцы. Из последнего в поселке барака вышла девушка в модных джинсах, с телефоном в руках и стала смотреть, как они спускаются в ущелье. Тут дунул ветер, и флажок в руках у Медеи заиграл и забился, как живой.

Знаете, тут ведь неважно, что за музыка, неважно. Из любой музыки можно выйти не куда-нибудь в окрестности, а именно что прямо к себе самому. Вот Витя однажды, пьяный, нес портвейн

друзьям и заблудился, можно сказать, в трех соснах – забыл обратную дорогу от магазина к полянке над городом, где его ждали друзья. Стоит на мосту, как приезжий, с бутылками в карманах и не помнит, куда ему идти дальше. Это потому что он покурил травку.

И от травки у него возник в голове такой эффект – как только он вспоминал с облегчением, что ему надо с вином идти на полянку, так сразу же и забывал про это и опять мучился, пытаясь вспомнить, куда он идет. Так он стоял на мосту довольно долго, трудно морщил лоб и пучил страшного глаза.

И тут подходят трое молодых и высоких и говорят: отдавай портвейн.

– Не дам, – сказал Витя и стал соображать, как бы от них убежать, но убежать было нельзя. Витя решил, что можно ударить первого бутылкой, но сообразил, что бутылка может разбиться и вино пропадет, и друзья с девушками, которые ждут его там, наверху, так ничего и не дождутся.

Тогда обошлось – один из них Витю признал, в одной школе учились. Витя обнял его, как родного, посетовал, что никогда времени нет, чтоб отпраздновать как следует встречу, и ушел. А дальше – вот. Дальше он решил вспомнить лучшую музыку – и вспомнил. Стал напевать, отбивая такт, и тут словно пелена сошла у него с глаз. Он теперь больше не проваливался в беспамятство, как Савва, а усмехнувшись, легко взбежал по горным аллеям на вершину, где ждали его товарищи и девушки.

Хороший тогда вечер получился. С музыкой все получается там, где уже ничего не могло бы получиться.

В этот день они ушли довольно далеко в горы. Горы это такие большие холмы, иногда зеленые, а иногда скалистые, белокаменные. Их никто не надувал, они появились сами, и никто не знает, откуда: то ли кому-то приснилось, что они есть, то ли их вытянули своим желанием наверх из глыбы земли прозрачные лески звезд. В горах много такого, что сразу не понять. В горах случаются вещи и события, каких на побережье никогда не увидишь. Вот думаешь, например, что справа у дороги лунный блик запутался в кустах шелковицы, ан нет. Это хрусталем сияет река, текущая в глубине бездонной пропасти и посылающая оттуда сквозь черные тернии и веревки зарослей свой живой трепещущий блик. Кто б мог подумать, что в этих кустах затаилась такая глубина – такая пропасть. Шагни – и не станет тебя, только шорох по воздуху пронесется.

– Отойди, – сказал Савва. – Лева, отойди.

Но Лева не отходил, стоял на самом краю пропасти и слушал, как там, в глубине, шумит речка.

– Лева, не надо, – сказал Савва. – Не смотри туда, пожалуйста.

– Если бы мы могли узнать себя, ничего не было бы жалко, Савва, – сказал Лева.

– Зачем, Лева, тебе надо себя узнать? – спросил Савва.

– Тогда бы все стало ясно, все! – сказал Лева и наклонился ниже, разглядывая ртутный блеск далеко внизу.

– Все равно что-нибудь бы еще осталось, – сказал Савва. – Я вот думал, что мне мозги совсем отшибли, и успокоился, а оказалось, что еще много чего осталось. Наверное, – тут Савва задумался, – наверное, даже больше осталось, чем пропало. Только другого.

– Я помню это место, – сказал Лева, показывая рукой на темный сарай у дороги. – Там чачу продают и мед. Мы давно уже идем, Савва?

– Давно, – сказал Савва, – наверно, несколько дней. Слышишь, как кузнечик поет?

– А куда мы идем, я что-то забыл.

– Мы идем по двум делам, Лева. Спасать Офелию и выйти на встречу с Богом Цсбе, сыном Уашхвы.

– Зачем?

– Цсбе хочет, чтобы люди жили дальше. И чтобы они все спаслись от своих кошмаров.

– Каких кошмаров?

– Разных, – задумчиво сказал Савва, – разных, Лева. Ты от края-то отойди, пожалуйста. А то земля поедет и сверзится туда к чертовой матери, что тогда хорошего будет?

Тут Савва внезапно просветлел.

– Слушай, Лева, – сказал он, – как только ты встретишь Цсбе, ты сразу узнаешь себя.

– Да? – недоверчиво спросил Лева.

– А то!

– Ты мне правду говоришь, Савва?

– Я тебе правду, Лева, говорю. Узнаешь себя всего, как ты есть. И тогда можешь сигать куда угодно, и уже ничего с тобой не будет, а если и будет, то не больно.

Тут глаза Левы на миг зажглись желтым, как это бывает в фантастических фильмах про вещей ягуаров, и сразу погасли.

– Хорошо, – сказал он. – Хорошо, Савва. А что такое случилось с Офелией?

– Ты, Лева, чего? – встревожился Савва, – ты чего это, тоже все забываешь, что ли?

– Нет, – сказал Лева. – Я помню. Офелия пропала где-то в здешних местах. Приехал профессор Воротников, и мы пошли ее искать. Я только не помню, давно мы здесь ее ищем?

– Дней восемь, – сказал Савва, – а может, и около месяца.

20

Под утро стало холодно, костер погас. Эрик обошел спальник, из которого торчала курчавая голова Вити, и спустился к речке. Здесь уже было солнце, пахло свежестью, и в бурунах метались искры и радуги, как будто в утреннем зеркале с отбитым краем. Эрик наклонился над потоком и умыл лицо. И тут он все понял.

А что он понял, напрямую рассказать никому невозможно, и поэтому нам придется прибегнуть к запрещенному приему. Во-первых, надо понять, что эти воспоминания пишут сразу несколько человек, в том числе и сам Эрик, и каждый из них, конечно же, вносит в повествование свой стиль, манеру изложения и качество слога. А во-вторых, вы, скорее всего, согласитесь со мной, что есть вещи, которые словами не передать. Вот например, вы влюбились первый раз, стоите на мерзлой аллейке напротив аэровокзала, весенний снег идет, а губы вашей любимой – легкие, как цветы, тяжкие, как росы, полукоткрыты, а на лицо ее колдовское падает свет фонаря. И вы качнетесь вперед, и обнимите, и пропадете в этом лице, в его росах и цветах, и тогда вас какое-то время больше не будет на свете, а будет то, что словами как раз и не взять.

Вот поэтому то, что понял Эрик, напрямую, конечно, не выразить, но это можно выразить при помощи магической картинки, в которой больше правды, чем во всех описаниях сразу.

Вот стоит Эрик с непросохшим лицом, с подбородка и с носа у него капает на рубашку, а видит он не только реку с бурунами и словно бы хрустальным дымом над ними, и даже не голое плечо Марины видит сейчас Эрик, а то, что иной человек и не увидит никогда за всю жизнь, сколько б ни напрягался. Да и то сказать, разве у каждого не своя собственная Марина, или речка, или видения! Впрочем, неважно.

Но Эрик-то видит свое!

Сначала он увидел петуха в виде костра на заборе. И этот петух сказал ему такое слово, что у Эрика дрогнули его белые неутомимые ноги, и едва не упал он в бурлящую под ногами речку. И после этого открылись его глаза. Вот лежат на траве его друзья – Савва, профессор Воротников, Лева, Николай, Медея, Витя, и на первый взгляд спят мирно и видят сны. Савва скрючился, как младенец в утробе, и редко вздрагивает. Николай чего-то закашлялся, перевернулся на другой бок и снова задремал. Медея... она прекрасна и смуглолица, она спит и видит свои матовые сны с луной и зеркальными витринами в драгоценностях. Но вот подходит к ним высокий человек и начинает их по-хозяйски ощупывать и переворачивать. Вот он перевернул Леву, распахнул у него рубашку на груди и начал укреплять там какие-то шарниры и деревянные втулки. Человек этот большой, спина у него широкая и сильная, движения точные. Он достал из своей сумки несколько фарфоровых лиц и задумался. Потом снял с Левы его лицо и укрепил на Левиной шее другое и задумался. Поднял Леву с чужим лицом на руках и повел его тоже к речке. Странная вещь! Как только он сделал первый шаг, так сразу и стал невидим, а видим стал только один Лева с чужим лицом, бредущий к воде, чтобы напиться или умыться. И сколько Эрик не вглядывался, Кукольника он разглядеть больше не мог, хотя точно знал, что тот здесь, рядом, сбоку от Левы.

Вот Лева наклоняется рядом с Эриком к речке и умывает свое чужое лицо, и у него тоже капает вода с носа и подбородка. Лева пытается войти в речку поглубже, но течение здесь быстрое, а камни скользкие, и он теряет равновесие и шлепается в воду, поднимая веер брызг.

– Тыфу ты! – говорит Лева и, судорожно балансируя руками, идет к берегу. Тут растет самшит – деревья, обросшие зеленым, свисающим с ветвей мохом, тут сумрачно и холодно. Лева идет под деревья, садится на землю и начинает стаскивать полные воды кроссовки. Тут Эрик снова увидел Кукольника. Как тот наклонился над Левой, свинтил ему новое лицо и поставил старое обратно. А потом исчез. Лева же продолжал стаскивать с ног кроссовки и выливать по очереди из них воду. Потом он снова надел их на ноги и зашнуровал. Эрик понял, что Лева даже не заметил, что у него только что было одно лицо, а потом другое, и вот теперь снова прежнее.

– Лева, – говорит Эрик, – ты чего это, упал?

– Ага, – улыбается Лева. – Хорошо, что мелко было.

Эрик думает, что сейчас что-нибудь случится и произойдет, ну, например, окажется, что это ему снится или еще что – например, что он вчера грамотно вмазался и ему до сих пор представляются всякие вещи, приятные, или не очень, – но ничего не случается. Эрик, вообще, знает, что когда ждешь, что вот-вот что-то случится, никогда ничего не произойдет, хоть до гроба жди. А вот если ничего не ждешь, то с тобой незаметно случаются такие вещи, что потом только диву даешься, как такое вообще могло с тобой, а не к кем-то другим, стрястись.

– Пойдем Эрик, – говорит Лева, – у Саввы кофе есть в рюкзаке растворимый, взбодримся. – Эрик идет за Левой, они приходят в лагерь, и тут Эрик останавливается, потому что не знает, как ему быть дальше со своими друзьями. Понятно же, что если тут хозяйничает Кукольник, то все его друзья не больше, чем какие-нибудь куклы, у которых отвинчиваются головы и руки, и тогда все не только лишь бессмысленно, но вдобавок и очень обидно, что тебя столько времени водили за нос. И еще Эрик думает, что раз его друзья – все куклы, то не кукла ли и он сам, Эрик? И еще он думает, упрощает ли такой подход ситуацию, или усложняет. В смысле, делает ли такой подход, что и он сам – кукла, ситуацию более терпимой, или нет. Эрик знает, что здесь все равно что-то не так, что не может быть на самом деле того, что он увидел... Но, дорогие дамы, преуспевшие в постижении поэтических тонкостей, вы-то должны знать, сколько вещей происходит на свете, несмотря на то, что на самом деле они вовсе и не происходят. Вот, например, муж избил жену за то, что она ему изменила, а она ему вовсе и не изменяла – так, пококетничала слегка в ночном клубе с тем парнем с серьгой в ухе, и всех-то дел. Т.е. этот самый муж живет так, как будто бы что-то произошло, несмотря на то, что этого вовсе и не происходило. И что же из этого следует? Что следует из того, что этот прямой и вспыльчивый человек живет в мире, где ничего не происходило, так, как будто живет он в мире, где это произошло. А это, думает Эрик, означает, что человек живет в вымышленном мире.

– Понимаешь, Лева, – бормочет Эрик, – если человек думает о себе то, что о нем думают другие, или, например, пытается думать вопреки им, то это значит, что он живет не своим умом, а заемным. В принципе заемный ум возможен. Некоторые философы, так они, вообще, утверждают, что не заемных умов, например, не бывает, что умы – все заемные. И это правильно. Но тогда какая разница – заемная у тебя голова или нет. Ведь если нет беды в заемном уме, то почему его, Эрика, так потрясло заемное лицо. И Эрик понимает, что его не заемное лицо потрясло, а тот хозяйственный подход, с которым Кукольник свинчивал и навинчивал на Леву голову, словно Лева не человек, а какая-то тряпка. Что обидно и невыносимо было смотреть на эту деловитость, превращающую Леву в какую-нибудь еще одну вещь, а Лева – пусть даже и с другим лицом – все равно единственный и неотменимый, и Эрик это твердо знал, и готов был плакать об этом, и драть обидчика когтями, если надо, и есть землю, если потребуется. И он подошел к Леве поближе и поцеловал его в мокрый затылок. От Левы пахло речкой и молоком.

ками с выпуклыми китайскими драконами на них, соединенными кожаными ремешком. А если сидели, то пойдите со мной в это начало звука. Стукните эти два диска друг о дружку и послушайте, как возник между двумя драконами чистый и немного вибрирующий звук. А теперь поймите, пожалуйста, что вы и есть этот звук. Что и ваши глаза, и руки, и все ваше тело, а особенно сердце – соединились с этим вибрирующим и постепенно затухающим звуком.

Вот он уходит вместе с вами и вашим телом, с вашей душой и с вашими воспоминаниями во все стороны и одновременно в тоннель, похожий на тот, что у санатория «Красный шторм», с сошной и плеском моря на берегу, – уходит и затухает. И вы, и ваше тело затухают вместе с ним. Вот они становятся все тише и тише, ваше тело истончается до невозможности, затихает, вибрируя напоследок почти неуловимо для слуха, и исчезает. Остановитесь. Вы исчезли. Вас больше нет. Нет больше вашего звука.

И вот тут-то вас настигает первый тихий взрыв радости. Это первое ваше прикосновение к стране, в которую ушел звук и вы ушли вместе с ним. Из этой страны вы когда-то вышли и теперь снова прикоснулись к ней. Некоторые люди называют ее Ничто, но разве это не глупо? Разве может эта тихая и полная радость принадлежать ничто? Разве может этот бескрайний восторг, который вы сейчас ощущаете, быть ничто?

И вы понимаете, что из этого края родом не только звук колокольчика и не только вы сами – но все, что вас окружает и могло бы окружать: птица, сидящая на столбе террасы – ласточка, говорящая вам про жизнь своих птенчиков, и рыба, плывущая глубоко под мраморной гладью озера, раздвигая своим лбом темно-серебряные струи чистой воды... Или вот кабан в чаше, хрюкающий, весь в свалывшейся бурой шерсти, дерущий травяной наст, чтобы добраться до корешков, – и он тоже оттуда; и его поросята тоже, и бегемот, похожий больше на чудовищную субмарину с выпуклыми глазками и кожей, словно натянутой на нескончаемый диван, вот и он, бегущий, покачиваясь, к водопою под колющейся тонкой звездочкой – и он тоже родом из той тишины, которая полнее любой полноты, блаженней любого блаженства.

Зажмите же губы и глаза, дорогие дамы, и идите омыться к серебряным родникам под Мантуей или Флоренцией, ибо везде они текут и везде они ждут вас.

– А почему ты назвал меня дамой, – спросил Савва Эрика. – Разве я дама?

– Савва, – сказал Эрик, – так обращался великий Данте в своих сонетах к своим слушательницам, которым он доверял душу и сердце.

– Пускай, – сказал Савва, – пускай. Я люблю Данте. Я был во Флоренции. Я ходил и искал дом Данте, а потом выпил. Потом я выпил еще, а дома так и не нашел. Я лег спать в парке на той стороне реки, забыл, как он называется. Потом я проснулся, пошел искать дом Данте и снова выпил. Я позвонил в гостиницу жене, и мы встретились за столиком.

– У тебя была жена? Ты не говорил мне об этом, – сказал Эрик.

– Была. У нее были розовые губы, и мы все время ссорились, даже когда я не пил. Она пришла, села за столик, что стоял прямо на тротуаре, и мы начали ссориться. Вышла хозяйка и спросила, может, вам чем-то помочь. Но жена ее даже не заметила. Она достала листок бумаги и перечислила мне все мои недостатки, которые туда выписала. Я тогда понял, что я ужасный, и заплакал.

– Ты мне ничего такого не рассказывал Савва. Надо же, жена, – и Эрик, сам того не замечая, презрительно улыбнулся. – Надо же...

– И потом я долго не мог жить на свете. Я тогда ушел от нее и начал дружить с бабочками и собаками. Бабочки полетели за мной сразу, как я понял, что я чертово отродье. Я тогда пошел в музей, пьяный немного, но не сильно, и они полетели за мной. Я ходил по залам с какими-то статуями – там залы, длинные, как тоннели, а они все за мной летали и шуршали, как дерево под ветром. А когда я вышел на улицу, за мной увязались собаки. Целая свора. Не знаю, почему это произошло. Они за мной целый год потом ходили, потому что я целый год плакал. Я думаю, они мне сочувствовали.

– За тобой целый год ходили итальянские собаки?

– Не знаю. Может, и итальянские. Я тогда много пил, я их не различал.

– Слушай, Савва, – сказал Эрик, – а ты знаешь, что наш профессор с Данте общается. И не только. Он еще общается с разными людьми из прошлого и будущего. С Гельдерлином, например...
– Кто такой? – спросил Савва, – я не знаю, кто это такой. Я Данте знаю, а этого нет.
– А что профессор с ними общается, знаешь?
– Знаю, – сказал Савва. – Это ты, наверное, про Общество живых говоришь. Конечно, знаю. Я тоже с ними общаюсь. Я недавно с одной бабушкой общался – у нее все померли, а она смеется. Дело говорит не в этом. Я ей чашку чая с пирожком принес.

Накануне они шли целый день и, когда уже садилось солнце, вышли к альпийскому озеру с цветущими высокогорными фиалками по берегу. Озеро было похоже на зеркало, которое давно здесь лежало, отражая облака, птиц, а может, и звезды ночью. Потому что есть такой вопрос – что отражает озеро, когда в него никто не смотрит. Это вопрос трудный, и мне не хотелось бы в него вдаваться (понятно, что эту часть текста писал Савва), – но мы пришли к нему как раз вовремя. Еще оно было большое, красивое и будто запыленное, но это от облаков, которые в нем отражались. (А может, и не Савва, для Саввы слишком художественно.)

Мы остановились на берегу, разогнали костер и умылись в озере. Медя плавала и визжала – вода была очень холодная, а она плавала в одних трусиках – тоненькая, с грудью, как у богини Афродиты, и прекрасная, как сама жизнь (Савва, конечно, а кто же еще?).

22

Солнце зашло и стало холодно. Через час, словно та самая Афродита, наверху выбрались наружу, на поверхность, звезды, засияли над лагерем, замигали длинными ресницами. Если ночью затоптать костер, разбросав его остатки по земле, и прибавить их ногами, то вся земля покрывается огнями и огоньками, большими и маленькими, пульсирует, дышит. Таким же было и небо, только огоньки на нем были не красноватые, как от костра, а зеленые, белые и синие, и они разгорались и замирали, но все равно хотелось перевернуться вниз головой, чтобы они оказались под ногами и можно было бы по ним пройтись.

Николай лежал на земле и воображал, что вот он сейчас идет по небу, и все в его жизни налаживается – огоньки тлеют, разгораются, уходят в глубину, ему под ноги, откуда кто только не приходил невидимый, и кто только в нее не уходил, в эту гулкую до тишины бездну, похожую на опрокинутый муравейник, а он вот идет по этой звездной муке и кострищу, и сердце его успокаивается, а душевные раны заживают. Слово бы и в голове у него расширилось и прояснилось, разошлись мысли во все стороны, как светила, и легче стало дышать.

– Слушай, Николай, – позвал Витя, лежащий рядом. Ему было немного холодно, и поэтому он согнул ноги в коленках.

– Чего ты, Витя, не спишь?

– Ты знаешь, кто такой профессор? Как он, и вообще?

– Из Москвы приехал, – отозвался человек-лось, продолжая рассматривать, как стелется под его мерно бегущими копытами звездная стезя.

– А я знаю. Мне Савва рассказал. Он сказал, что профессор сначала совсем спился, а потом с ним что-то произошло такое, что он теперь вроде Будды Амиды или самого Иисуса Христа. Только в это никто не верит.

– Савва расскажет. У него любое дерево – Будда.

– А вдруг он правду сказал?

– Если он чуть не спился, то какой же он Будда, – сказал Николай, все еще следя за бегом млечных огней под копытами. Ему было жалко их терять из-за Витиной болтовни. – Либо ты спился, либо ты Будда. Будда спиться не может. Если ты спился, то, конечно же, ты в случае чего можешь и Наполеоном стать, и Буддой, но сам понимаешь, Витя, что это не серьезно. Что это белочка и ерунда.

– Так ты что, – загорячился Витя, – думаешь, если человек ошибся в жизни, украл или там спился, так он и Буддой стать не может?

– Нет, не может, – сказал Николай. – Грех не даст.

– А как же раскаяние, как же переоценка? – Витя от волнения даже сел. – Что ж, если тебе кранты, так и уже и с концами, что ли? Не... так быть не может. Перед человеком открыты все возможности – хочет, станет вором, хочет – Буддой, а хочет – огурцом.

– Что еще за огурцом?

– Это я к слову, – сказал Витя, – к слову. – Голос у Вити дрожал, было видно, что он волновался. – Если человек может быть алкашом, то он и всем другим может быть – звездой, или бабочкой, или огурцом. Иначе какая же это справедливость, иначе ведь труба получается, сплошные, блин, сумерки, а не жизнь.

– Вот ты, – сказал Николай, подумав, – ты хочешь быть огурцом?

– Я, например, не хочу, – сказал Витя, – а вот кто-то, например, захочет. И сможет, если очень захочет, – должен смочь. Если человек не сможет стать, чем захочет, то все несправедливо и никого нет.

– Кого никого? – не понял Николай.

– Никого. И Бога нет, – тихо сказал Витя, и Николай услышал по голосу, как тот ужаснулся.

С озера долетел какой-то утробный звук, и Николай подумал, что, наверное, в озере сейчас хорошо видны звезды и что в нем живет странная говорящая рыба, которая, может, хочет сказать людям про них, но у нее отчего-то не выходит.

– В общем, он чуть не спился, а до этого у него много чего в жизни было. Семья, потом другая. Потом консерватория. А потом он спился.

– Чего ты заладил, – разозлился Николай, – спился, спился. Смотри сам не спейся.

– Я не сопьюсь, – угрюмо сказал Витя. – У меня дело есть, саксофон.

С озера снова долетел нехороший гулкий звук, словно кто-то кого-то проглотил.

– Вот ты говоришь, Будда спиться не может, а откуда ты знаешь, может Будда спиться или нет?

Николай прикрыл глаза, и теперь перед ними стояло бледное лицо Маши, такое, как у нее было той первой ночью, когда она его любила на открытой веранде его дома, ночью, в доме над кладбищем и тоже под звездами. Маша! – позвал Николай молча, – вернись, пожалуйста. Я один без тебя пропаду. – Потом он открыл глаза и сказал:

– Вообще-то Иккю закладывал. И Хотей тоже может заложить при случае, мама не горюй!

– А кто это? – спросил Витя.

– Будды, – сказал Николай, – просветленные люди.

– Вот я и говорю, – оживился Витя. – Тут не может быть такого, что раз ты пьяница, то тебе кранты на все времена.

Он помолчал, глядя, как в небе словно бы кто-то тихо прошел, качнув занавеску, но так, что его никто не заметил. Витя сказал:

– Савва говорит, что профессор необычайный святой человек и что сейчас уже никто не отличит святого от просто чувака, обыкновенного лабуха. Он сказал, что он необычный, что он даже и не святой, а Христос.

– Достал ты меня, Витя, – отозвался человек-лось. Он закрыл глаза, и теперь они с Машей бежали по звездной дороге вдвоем, и хоть им там было хорошо и свободно, как прежде, как тогда, на веранде, но Николай отчего-то все равно плакал, хоть и не мог понять, отчего именно. Наверное, оттого, что лицо у Маши было очень красивое и бледное, а ноги белые, и дорога не кончалась и никогда не могла кончиться.

– Он людей исцеляет музыкой и просто молчанием. Савва сказал, что он одного мужика исцелил от паралича, а еще бабуку от алкоголизма. Что он сам видел. Причем, заметь, ничего не делал. Савва еще про Общество живых говорил, – тихо закончил Витя.

– Что за общество? – неожиданно заинтересовался Николай. – Что за живые? Ну-ка, ну-ка давай поподробнее.

– Общество живых, – обрадовался Витя, – это...

23

Конечно, мы все одиноки. Но кто сказал, что можно безвозвратно утратить связь хоть с одним человеком. При желании – это конечно. Можно сделать вид, что человека ненавидишь и желаешь вычеркнуть его из своей жизни, и он превращается для тебя в не человека даже, а в какую-то неприятную фигуру, витающую в твоей памяти, и чем больше ты его ненавидишь, тем большее оказываешься в обществе мертвых. Это может быть твоя бывшая жена, товарищ или еще кто-то подходящий, но как бы там ни было, ты из этих людей, пусть для тебя и не весьма приятных, делаешь теперь не людей, а проводников в царство мертвых. Конечно, им от этого ничего не будет, потому что проводники живут только в твоём воображении, но уж зато там-то они и набирают полную свою силу и ведут тебя по адресу и назначению, прямо в страну неживых. Потому что для того, чтобы попасть в царство мертвых, умирать не обязательно. И царство, и Общество мертвых существуют не только с той стороны видимой жизни, но и с этой.

Когда ты сам становишься мертвым, а из бывшего любимого делаешь проводника в Общество мертвых, то, конечно же, такого живого человека ты утрачиваешь, подменив его на плод своего воображения, который, однако, обладает вполне явной силой спровадить тебя в тартарары. И отныне ты живешь в аду, хотя внешне еще ничем не отличаешься от того, каким ты был всего несколько лет назад, когда у тебя была живая душа. А теперь она умерла. Потому что нельзя ненавидеть, врать, предавать, затевать диалоги с проводниками и при этом сохранить душу. Вот так ты и ходишь мертвый, причем не только среди живых, но по большей части среди всяких шоферов, министров, домохозяек, чиновников и парикмахеров, которые, как и ты, тоже давно померли, но продолжают наполнять собой футляр тела, цепляясь за него как за доказательство своего существования, дескать – вот он я.

Но тебя там почти что и нет больше.

Вот такие люди и составляют на земле Общество мертвых. Любят они редко и неистово. Врут отважно и иногда даже не замечают, что врут. Едят много и со вкусом. Кости их тел крепкие и прочные. Тела их налиты влагой, которую они принимают за силу, но это влага смерти и незнания. Все они не думают о смерти, считая, что она их настигнет не сегодня, а в другой раз. У большинства из них глаза стиснутые, как две монетки в тисках. Такая же у них и душа. Я бы и дальше о них писал, но мне это неинтересно – они внутри все устроены одинаково.

Я напишу здесь о другом обществе – об Обществе живых. Знаешь, знаешь, мой дорогой мальчик, когда ты как-то на юге идешь вместе с детским садиком в горы, а вокруг уже колдует самая настоящая весна, и воспитательница ведет первую пару за руку, и вот вы входите на тропку, ведущую в темные кущи букв... В этот момент ты как раз и забредаешь по тропке далеко в глубь чащи и вдруг видишь синий огонек на земле, и когда наклоняешься, понимаешь, что это цветочек, которому ты еще не знаешь названия, и нюхаешь его... В этот момент атлетические сферы мира останавливаются, Луна прекращает свое движение, а Солнце застывает на голубом южном небе. Волны больше не ударяют в берег, ветры уже не носятся за миром, сея панику, разруху и штормы. Выпрыгнувшие дельфины зависают в воздухе, а Атлант дивится на то, как, скрипнув, вдруг замер и остановился весь небесный механизм, состоящий из циклопических шестеренок, шкивов и цепей.

Остался только ты с фиалкой, синим огонечком, и его запахом.

И это первый голос, который ты слышишь, еще не понимая и не в силах расплести его на голоса всех тех, кто в него влился, как вода источника в воду источника. Ты еще не знаешь, что сейчас ты заодно со всеми теми, ради которых эта фиалка пахнет так непохоже на все остальное. Ты и имени их даже не знаешь, и может случиться даже такое, что, когда потом ты их услышишь, ты сперва не поймешь, что уже с ними знаком, знаком со всеми – и с Моцартом, и с Гельдерлином, и с протопопом Аввакумом или с Батюшковым.

В этом простом запахе присутствует столько голосов всяких светлых людей, что их и не счесть, и, конечно же, они ни за что не могли бы вместиться в этот, в общем-то простенький аромат синего цветочка, если бы что-то значили или были бы сами по себе. Но они не сами по себе и не состоят не из чего сложного, но в основе их жизни – простота, доведенная ими до совершенства их песен,

музыки и добрых дел. А простота всегда входит в простоту легко и без остатка, потому что для существования ей вообще не надо места – вот она и сливается с крошечным цветком, входя в него вовнутрь и образуя с той стороны, глядящей на эту, – огромное Общество живых.

В минуту одиночества или предательства, когда тебе плохо и невыносимо жить, если ты позовешь кого-то из Общества живых, к тебе обязательно придут. Надо только звать тихо, отчаянно и не сомневаясь. И они придут. И тогда, когда к тебе придут, ты можешь попросить Моцарта поболтать с тобой, необязательно о музыке, в которой ты, допустим, ничего не понимаешь, а о самых обыкновенных вещах. Например, почему в детстве тебе было хорошо, а сегодня жить не хочется. Или почему птицы летают так, как будто свистит шелк. Или что тебе делать, чтобы сердце снова бодро забилось в груди, а не екало там досужим и тяжким грузом. Ты можешь поговорить о себе и своей боли с незнакомым тебе музыкантом, а он в ответ достанет пастушью дудочку и сыграет и споет так, что ты полетишь вместе с гусями по синему осеннему небу на юг или, наоборот, забредешь в тенистые сени с живым синим огоньком в их глубине и задохнешься от тихого его цвета и запаха. Словом, тебе не обязательно тупо глядеть в свою записную книжку или на список вбитых в телефон имен и перечитывать его, не находя ни одного живого голоса, который ты хотел бы услышать, потому что все живые голоса либо умерли, либо сейчас недоступны. Ты можешь просто сказать – помогите. И тебе помогут. И если ты скажешь искреннее, твое общение с тем, кто к тебе явится, не будет общением, склонным к нехорошим галлюцинациям, общением с шизофреническим субъектом, но превзойдет собой все твои прежние дружеские разговоры и даже, может быть, любовные слова близости.

Это потом тебе может показаться, что ты спал и тебе приснилось, как вы с Вольфгангом болтали про рыбалку, а сейчас ты чувствуешь, как лед в твоей груди постепенно тает, как блещет над синей волной ледяным серебром и марганцем вытасенный окунь и как жемчужные облачка, подгоняемые ласковым бризом, медленно кочуют над морским горизонтом, а вы с Моцартом хохочете таким заразительным смехом или грустите такой отчаянной грустью, что рыбы морские и звезды небесные тянутся разделить ваши смех и слезы.

24

– Видишь ли, Медея, – сказал Воротников, – я не могу ответить на твой вопрос так, как ты хочешь, – я имею в виду, при помощи однозначных слов, в которых, к тому же, мне всегда чудилась тоска, из них на меня глядящая.

– Вот и Савва говорит, что ничего нет, а я не верю, – сказала Медея. Они сидели рядом с деревянным мостиком через горную речку и болтали.

– Кое-что все-таки есть, – сказал профессор. – Более того, – вокруг нас есть все, что только пожелаешь. Даже смешно. Вокруг нас есть все что угодно, и даже сверх того.

– Я желаю, чтобы Савва на мне женился, – сказала Медея. – И много денег. И еще, чтобы у нас был мальчик. Я бы научила его мексиканскому танцу. Я видела фильм, где один парень танцевал мексиканский танец, а потом он сел на своего коня и ускакал, а все девушки плакали. Но я вас спросила не об этом. Савва говорит, что вы вчера разговаривали с каким-то Батюшковым, который давно умер. А я хочу знать, разве можно разговаривать с теми, кто умер.

Профессор засмеялся.

– Никто не умирал, – сказал он. – Кроме тех, кто умер еще при жизни. Но и это не навсегда.

– Я одного такого знаю, – сказала Медея, задумавшись и прикусив красивый рот, от чего тот стал страдальческим. – Сашка допился до того, что лежит, как бревно, целый день на кровати, а сожительница ему за выпивкой бегаёт. А он уже гнить начал. Я к ним как-то заходила, цветы принесла – вот же вонь у них стоит! А он толстый, белый, как тюлень, и вроде довольный даже.

– А ты хотела бы поговорить с Батюшковым? – спросил профессор Воротников, улыбаясь по-собачьи.

– Я бы лучше с Пушкиным поговорила, – сказала Медея.

– Попроси его, может он к тебе придет, – сказал профессор. – Мне кажется, он и его друзья не могут отказать в просьбе членам Клуба Элвиса Пресли.

– Боязно как-то, – передернула плечами Медея. – Еще скажет чего-нибудь непонятное. Кто я и кто он? Он же – Пушкин, его в школе учат.

– Попроси того, кого любишь, кого не боишься, – сказал профессор.

– Я вас люблю, – задумчиво сказала Медея, глядя на веер брызг под мостом. – У вас глаза добрые, и вы всех понимаете. Если бы я могла, я бы посвятила вам всю свою жизнь. Но у меня есть Савва, и поэтому я не могу разделить на двух мужчин. Я вам по секрету скажу, один раз я разделась, и потом целый год болела и даже кровью стала харкать, еле пришла в себя. А здесь хорошо. Вот бы никогда не уходить отсюда от этой речки. Ведь мы же можем тут остаться.

– Мы можем почти все, – улыбнулся профессор.

– Нет, – сказала задумчиво Медея. – Не все. Я один раз хотела, чтобы у меня была машина, белая, дорогая, а у меня до сих пор нет... А вон и Савва идет! Эй, Савва, стой!

Она вскочила на ноги и стала карабкаться вверх по склону.

Профессор посмотрел ей вслед и осторожно потрогал себя за подбородок. Он вспомнил, что Савва сегодня собрался охотиться на форель. А потом он сказал: Андрей, хорошо, что ты ее благословил в разговоре.

– Она очень красива и ничего не весит, – сказал Андрей. Он был без клобука, в каком-то завихрении то ли света, то ли мысли, и этот всплеск можно было принять и за туристический костюм, и за белый фрак – с равной уверенностью и ничуть не смущаясь от противоречивости видимого.

– Не весит?

– Да. Она легкая. У нее душа легкая и светлая, ты же сам знаешь.

– Знаю, – сказал профессор. – Андрей, – позвал он.

– Говори, – улыбнулся Рублев.

– Вот расскажи я про наш разговор, все будут думать, что я обкурился или еще чего. Но не про это я хочу поговорить.

– Глупые... великие люди.

– Нам надо подняться.

– Да, – сказал Андрей, – вам надо подняться. Рыбку половите, здесь рыбная ловля хорошая. Больше радости, брат. Не грусти.

Он подошел к Воротникову и обнял его. Тогда Воротников вздохнул и снова расширился на весь мир и за все видимые края вселенной.

– Не забывай, кто ты и зачем, – сказал Андрей.

А Воротников продолжал расширяться, хотя, казалось бы, расширяться уже было некуда, и он уже был и мужчиной, и женщиной, и собственной матерью, и собственной смертью. Звезды неслись сквозь него, потом проплыл в глазах какой-то лебедь, блаженно смеясь и запрокидываясь, и от этого сердце Воротникова тоже засмеялось. Киты плескались в море, в котельной рабочий бил жену, прозябало зерно, избы были похожи на звезды, сжатые в кулаки, все времена сошлись, как гармошка, взяли тихую ноту и пропали, и возник свет, а потом стало то, о чем он всегда знал и чем всегда был.

– Какую чепуху ты мне сказал, Андрей, – засмеялся Воротников, – бред сивой кобылы, брат!

– Научи их не ограничивать себя, – весело сказал Андрей Воротникову, словно издали. – Идите, встретьте Цсбе... – но ему уже не надо было ничего слышать, потому что пришла улыбка живого пространства, которое было везде, и затопила его вместе с тишиной и звоном, еще более тихим, чем сама тишина, и оттого оглушительно ликующим. Теперь он знал все, теперь он сам был знанием, которое шло от него в мир. Он был им теперь и был им потом, и был с самого начала, и начало это и было им. А потом все уложилось в горную речку и склоны, поросшие низкорослым кустарником и можжевельником. И Воротников стоял на берегу, и дожина бабочек вилась вокруг его головы, словно какая-то вторая воздушная и пестрая голова окружала настоящую голову профессора, и когда Савва увидел эту картинку, то начал смеяться и подпрыгивать, как на ринге.

Попрыгав, Савва спустился к речке и притаился. Он слышал шум воды и как иногда начинал петь серый дрозд в темной кроне бука. Он долго стоял в неподвижности по колено в холодной

воде, а потом занес руку с трезубцем и метнул его в реку изо всех сил с таким криком, что у Медеи, рванувшей цветы за километр отсюда, на мгновение остановилось сердце. Ее глаза расширились и, казалось, стали одним белым пятном. Она подумала, что сейчас умрет от печали и беспоконья за Савву, но в тот момент, когда она стала падать, сердце Медеи сделало новый удар, и она удержалась на ногах, только цветы высыпались на землю.

25

Профессор Воротников был человек, да человек. А это значило, что он был звук, и больше ничего. Ну, еще, может быть, он был синим колокольчиком, как, например, понимал его Савва. Но звуком профессор был не таким, каким звуком был, например, клавесин, на котором он иногда играл, или, скажем, собака, полная репьев и красного высунутого языка, потому что это все разные звуки. Даже звук Саввиного колокольчика это уже другой звук, чем звук самого профессора – чистый, неразделимый и протяжный. Человек, имеющий такой звук, определен на мучения по синему небу и по тому, что на дне этого синего неба – будь то серебряная монетка или чудное, знакомое с детства лицо. Но мучения начинаются задолго до мыслей о небе или лице.

Мучение – это когда в чистоте звука встречаются пробелы, словно как отверстия на зеленом пыльном подорожнике. Непонятно, откуда они берутся в веществе клеточек и колбочек, – кто их прогрыз или выдавил, но только они смотрят с листа сами по себе, словно чего-то листу не хватило, словно чего-то он еще не совершил, и поэтому обречен болеть и тихо кричать своей пустотой туда, куда вещество жизни еще не достигло.

Профессор, когда был маленьким, кричал во время грозových ночей так, что пугал весь дом, но сам он трепетал в ужасе и ознобе долго после того, как все успокаивались, – до тех пор, пока не проходила гроза. Но даже когда она кончалась, вместо прошедшей грозы с мальчика слетали невидимые серебряные молнии, хлопали рядом с ним ставни, барабанил в забытую на улице тарелку дождь, и чей-то голос издали кричал: вовка, вовка домой, домой!

Пробелы в мелодии задерживали в себе странные вещи и предметы – например, чью-то морду, такую, что невозможно никому сказать, чья она, эта морда, но она все равно продолжала щериться и хрипеть, вузая розовыми малоокровными деснами и сточенными зубами любого, кто отважился из любопытства подойти поближе. Или обрывок мелодии, который невозможно различить ухом, но, попав в ладонь, он словно раскрывал ей слух, и тогда мелодию было слышно, как она пела и говорила про облака, дороги и деревья – как сверкает, словно серебристой чешуей, промельк таинственного существа между ветвей бука, как Витька-киномеханик идет ранним утром в санаторий, не пригибая травы, а на бельевой веревке вослед промельку и небесному сверканью сушатся, кивая в ветре, розовые рейтузы и толстые бюстгалтеры.

Такой звук, каким был профессор Воротников, может вырасти сам по себе, как гриб из споры, а может прийти из сопредельных территорий, как это было с Моцартом или с Батюшковым, про которых сейчас, пожалуй, говорить не стоит – не время и не место.

Все, что здесь пишется, не надо, пожалуйста, понимать в прямом смысле всех этих слов и значений, потому что цель написанного в другом – вызвать к жизни однородные этим словам вибрации, которые находятся внутри читателя, словно бы вмерзшее судно где-то глубоко внутри мозга или живота, потому что это одно и то же. А слова, которые здесь произносятся, служат к тому, чтобы раскатать и отогреть это судно, чтобы читатель почувствовал его в себе, а не только одно ощущение непонятности от этих фраз и словосочетаний, – почувствовал и заинтересовался – что это такое за судно! Откуда бы ему тут, в животе, взяться? И что будет, если его немного отпустить, дать ему поплавать, порыскав носом в поисках простора. А-а!!! Так там есть еще и простор для ветра и воды, для преодоления, для броска, для незнакомых берегов, вот ведь что! И вот тогда мы начнем раскачивать и потряхивать застрявшее судно, подталкивать его и сдвигать с прикола. И когда оно сдвинется с места, дрогнув и затрепетав, – вот тогда и совпадут все эти слова с тем, что в этот самый момент вспомнится и откроется любому, кто только захочет, – и про звук человека, и про подорожник в пыли и дырках, и про профессора Воротникова.

Это только кажется, что звуков много. Много не звуков, много заблуждений и непониманий про звук, каждое из которых также является звуком, правда, лишенным чистоты, но верный звук – он один-единственный. И хоть и построен наш мир из звучания отступлений и непониманий, как муравейник из щепок, но это не значит, что кроме щепок ничего не существует.

И когда гудит паровоз, пробегая вспыхивающими по насыпи вагонами, так что на пляже то зажжется забытая кем-то бутылка из-под лимонада, то погаснет, и когда играет у порта духовой оркестр, а все равно слышно, как трепещет в ветре над музыкантами пестрый флаг – трещит и трепещет, и когда, например, ты стоишь у дверей с цветами в руках и ждешь, когда Маша откроет дверь, светясь в полумраке бледным своим лицом, а сердце твое бухает так, что ты глохнешь, – все это один и тот же звук. А наглядная разность его объясняется как раз придорожной пылью и отверстиями подорожника, которые играют, крича и страдая, в то, что это разные звуки разных жизней, ну да ладно.

Профессор был всеми этими звуками сразу, а значит он был одним звуком на весь мир, и когда ему удавалось совпасть с самим собой, в мире делалось светлее, из него начинали уходить слезы и крики, а стрекозы трещали своими целлулоидными крыльями выше и радужнее, потому что у стрекоз за спиной не хитин, а оплотневший свет, способный на радугу и дождь.

Вы думаете, я здесь о мистике? Ну, уж нет, друзья! Вот уж нет! Ибо мистика – это все вычурное и невозможное, это все нереальное, держащееся на плаву и весу силой упорной магии, все тягостное, мелкое, все значительное в своей мелочевке. Мистика это, друзья, – тот мир, в котором вы давно поселились и живете. Вот она, настоящая мистика! И кто бы в этом мире, тесном, как помещение провинциальной тюрьмы, откуда только Котовский и сбежал, кто бы в этом мире только выжил, если б не удивительная способность и выносливость иных видеть сны наяву, плотные, как хозяйственное мыло, и бесконечные, как детский бред. Но с профессором – другое, с профессором мы приближаемся к иным краям, которые я бы назвал непреднамеренными. Ибо тут, если что и есть, то лишь тот самый синий колокольчик, о котором обмолвился Савва, и больше ничего.

Про профессора рассказывали, что он пробовал разные звуки – и пел, и лаял, и кричал нехо-рошими голосами, а потом затих. Уединился, стал нелюдимым. Открыл однажды с тихим криком новый звукоряд и писал музыку в непросчитываемых тональностях. Женщины тянулись к нему, но кричали по ночам. Они уходили в одну и ту же ночь, все эти кричащие женщины, и слонялись там, мерцая, будто облака ртути или песка, до самого утра. Они были похожи на кружение парусной регаты при невидимом ветре, но тут вместо ветра веяли их внутренние чувства, над их головами летели вдаль, свистя и кивая, мощные стаи птиц, выкрикивая вместо женщин неслыханные имена и слова, а потом с женщинами что-то случилось, и после той ночи они становились сестрами. Мы и так все сестры – и мужчины женской частью своей души, и сами женщины – своей девичьей, почти что детской их половиной, понимающей птиц и имена, которые они сверху выкрикивают, но мы об этом не помним. А женщины, проблуждав всю ночь, словно бы в музыке и беспамятстве, – вспоминали.

Рассказывали, что есть такие монастыри, где живут эти серебряные прозревшие девы, но, конечно, дело тут не в профессоре Воротникове, хотя кто же побожится, что не был он в некоторые моменты своей жизни, а может, и большей частью – творящим Логосом. Однако, будь ты сам Христос или Будда, но если человеку что-то втемяшилось, например, опохмелиться одеколоном или поехать за своей женщиной в Монголию, то кто его остановит? Нет на свете такой силы ни у Христа, ни у Будды, но все может зависеть от неприглядного пустяка – скажем, не окажется одеколона в доме, потому что выкинула жена, или опоздает человек на поезд, а потом плюнет, возьмет да и не поедет.

Эрик и профессор вышли наконец из заволочшего горы тумана, в котором они проблуждали несколько часов, отбившись от своих и оказались на небольшой лужайке. Сбоку ее пересекала

грунтовая дорога, а с другой стороны стояло одноэтажное деревянное здание, вытянутое в длину и с открытыми наружу рамами, словно бы с раскрытыми поблескивающими глазами.

– Где-то я это уже видел, – сказал профессор.

– Барак какой-то, – ответил Эрик.

Он обошел здание слева и спустился немного вниз, зайдя за крыльцо. Там, прямо на улице, был водопроводный кран и умывальник из гнутой жести с забытым кем-то мокрым куском мыла, в который влипла черная мошка. Эрик наклонился и попил прямо из-под крана. Хорошая вода, – сказал он про себя. – Очень даже хорошая.

– Хорошая вода, – сказал он профессору, вернувшись. – Пойдите, попейте.

Губы Эрика были мокрыми, а глаза бегали в разные стороны, словно у сельских ходиков с избраженным на циферблате широкощеким котом.

– Не хочется, – сказал Воротников.

– Куда же все подевались, а?

– Ушли.

– Все разом ушли?

– Похоже на то.

Эрик подошел к распахнутому окошку, глядевшему прямо в веерá пальмы, и заглянул внутрь. На стене висел ковер с двумя оленями на берегу высокогорного озера, под ним кровать с никелированной спинкой, тумбочка с выщербленным и жарко от этого горящим зеркалом; над кроватью – фотографический портрет молодой женщины под вуалью, сделанный в профиль.

– Так-так, – сказал Эрик, – так-так...

Он отошел от здания подальше и стал рассматривать его, словно бы проникая мыслью сквозь дерево и время. На стенке барака висел красный пожарный щит, сколоченный из досок, с конусообразным ведром, проржавевшим внизу и забытым какой-то дрянью. Там же крепились багор с искривленным жалом и крашенный в красный цвет топорик.

Тут Эрику показалось, что воздух слегка потемнел, словно бы на них надвинулась грозная тень какого-то существа, но потом все снова просветлело и прояснилось, только стало немного глубже, чем прежде. Не то чтобы стало глубже крыльцо или окно, но все само по себе стало глубже – и балка крыльца, и кирпичная труба на крыше, и мерцание отворенного окошка. Слово только что все было нарисовано, а теперь провалилось в свою собственную глубину, которая была в каждом предмете изначально, и от этого все теперь светилось и перекликалось в тихой яви своего соответствия и торжества, словно облитое жидким стеклом.

Так бывает перед грозой, когда и бок дома с пожарным щитом, и мальчишка, избежавший на зеленую полянку, догоняя полосатый мяч, и даже летящая через ту же полянку стрекоза кажутся не только самими собой, но и кем-то еще. И, когда вспыхивает молния, они все на миг покрываются фосфорическим и веселым блеском, став плоскими и страшными из-за их внезапной красоты и от неестественных теней, выметнувшихся на миг у них из-за спины и тут же исчезнувших.

Все вы, наверное, знаете, как устроена стрекоза, но это неправильное знание. Стрекоза каждый миг устроена по-другому. И если и есть что общее между той стрекозой, которая только что была и пропала, и той, которая вместо нее только что возникла, то это та пустота, в которую первая стрекоза только что ушла и из которой вторая стрекоза, считающаяся одной и той же с первой, – в это мгновение возникла. То же самое происходит не только со стрекозами, но и с человеческими лицами, вообще, с людьми и животными. И пусть они продолжают думать, что они все еще те же самые, что и миг назад (я уж не говорю про час назад), но тех, что только что были и исчезли, вы напрасно будете разыскивать по всем дорогам и домам, потому что их больше нигде нет.

Хотел бы и я как-нибудь отправиться в путешествие, единственно с целью найти те дороги, куда уходит каждый миг живой человек.

Вот ведь, наверное, дует на тех дорогах плотный, как морская волна, ветер в лицо, то-то свистят там чудные птицы и непристойно обнаженные плечи мелькают среди ветвей в зеленом мху, свисающем до самой земли, то-то поражают там взгляд ржавые мосты через реку и заброшенные полустанки с дощатыми зданиями, где между шпал пророс твердый и зеленый дрок.

Думаю я, что такие дороги есть, надо только найти к ним дверцу, посидеть рядом с ней и потом вступить в их пространство, словно лицом вступаешь в воду, а она не впускает в себя, но все сторонится и отодвигается, эта вертикальная водяная стена, а ты все упираешь свое ненасытное плачущее лицо в ее влажную глубину и не знаешь, что делать дальше.

А профессор Воротников в детстве пошел на пляж и увидел, как тонет девушка в черном купальнике. И он всегда помнил, как она тонула в серебре зубов и пены, а он разбежался по буне, перепрыгивая через пенные волны, и прыгнул в похожую на помой воду. И как он тащил ее к берегу, обхватив за скрипучие плечи и подмышку, а она не мешала ему, погибая в пене волны и черни купальника, и он дотащил ее до мокрой гальки, задохнувшись от любви, счастья и от напряжения мышц, положил ее на песок, словно выуженную рыбу, встал и пошел обратно в море, жалея, что вернулся сюда один, а не с Таней.

А еще когда Савва пропорол себе вены оттого, что его не покидало несчастье, Воротников сидел на полу квартиры, залитой кровью, и держал Саввино запястье, замотав его полотенцем и прижимая Саввину голову к своей груди и бормоча – ну разве так можно, Савва, разве так можно? А Савва говорил, не могу больше, не могу, только это и говорил, потому что ничего другого сказать уже не хотел или не умел.

Над Саввой уже не кружили бабочки, и больше ничего над ним не кружило, кроме черной птицы беды, которая, раз привязавшись, уже от тебя не отстанет, пока не выпьет всю твою кровь. Она не отвяжется, пока не заполонит черным туманом твои легкие и глаза, – только сверкнут они, словно две монетки, и ничего не увидят, – вот тогда-то и кричишь в ночь, где ходят невидимые прекрасные женщины и где летают синие бабочки, где свищут и хлещут открытые краны детства, а какой-то вонючий бомж играет марш «Прощание славянки» на губной гармошке, прoderгивая ее сквозь неопрятную бороду и усы.

Профессор сидел и гладил Савву по голове до тех пор, пока снизу не просигналила карета скорой помощи, как сейчас вот, например, с грунтовой дороги напротив барака с окнами и пальмами просигналил джип, – в точности тот же самый звук, хоть такое совпадение и встречается редко.

Джип газанул, подъехал прямо к пожарному щиту и притормозил. Из него доносилась тихая бодрая музыка. Ну, хоть и не «Прощание славянки», но все равно неплохая вещь.

27

Из джипа можно выйти, нарушив пространство, а можно не нарушая.

И никогда это угадать невозможно, когда его нарушат, а когда нет.

Вот, допустим, – грациозная, обнаженная до колена женская нога – кадр из фильма – ступает из джипа на асфальт или землю.

А пространство начинает трястись, болтать что-то косноязычное, заболевает.

Бабочки слипаются в полете, и от этого та прозрачность, которую мы недавно описали, прокисает начисто, и все слова, блуждающие в этом воздушном колпаке, перестают что-то хорошее значить, а значат одну дребедень.

Вы спросите, при чем тут слова, и я отвечу. Потому что слова всегда живут в воздухе – прозрачные, легкие, как бабочки или воздушные шары, и в прозрачном воздухе они имеют прозрачную форму, соответствующую тому, что они означают.

Вернее, эти слова имеют в себе то самое имя, за которым пытаются угнаться поэты, из тех, что понимают.

А многие ведь и не понимают.

Т.е. слова, несущие в себе первоначальные имена вещей, звезд и людей.

Иногда на них натываются са похмелья, когда реальность сильно сдвинута, и принимают их в себя, и нечаянно выкрикивают свое настоящее имя, и тогда приходит бог Гермес с черной бородой и увидит засветившегося нездешней чешуей пьяницу за горизонт.

Это один случай.

А второй, что произошел с Саввой, это когда вся твоя жизнь начинает теперь течь по-другому. Значит не бог Гермес пришел за тобой увести тебя к твоей Эвридике, а огненный бог жизни в красном жупане или архангел Сандальфон – и тогда вместо одного глаза у тебя появляется тысяча, как у стрекозы или мухи, жизнь становится бела и невыносима, и ты видишь главное, за что окружающие вполне готовы признать тебя придурком.

Но тебе до этого уже нет дела.

Из джипа вылез худой, словно бы истомленный мужчина, похожий то ли на пианиста, то ли на теннисиста. Добавив еще пару слов, нос у него был длинный и прямой, глаза зоркие, серые, а движения точные, чуть быстрее, чем следовало бы. Звали его Петр Алексеевич, и он преподавал философию в РГУ.

Джип раскалился на солнце, и от машины приятно пахло разогретой краской.

С другой стороны, оттуда, где место водителя, выбрался, закуривая на ходу, загорелый дочерна широкоплечий и широколицый молодой человек в тренировочных штанах.

– Здравствуйте, Николай Александрович, – сказал Петр. – Вот, решил вас проведать. Заехал по адресу, который вы мне дали, а соседи говорят, они все выпили и ушли в горы. Хорошо, что вот Федор, брат моего студента, – тут Петр кивнул в сторону человека в тренировочных штанах, – согласился вас разыскать.

– Здравствуйте, Петр Алексеевич, – отозвался Воротников. – А я-то думал, нас тут никому не найти. Заблудились-таки в тумане. Не знаете, где это мы?

– Приблизительно. Когда сюда добрались, сигнал пропал. Мы за вами шли по сигналу, по вашему телефону. А здесь он пропал.

– А где Тоня?

– Не знаю, – сказал Петр.

– Знакомьтесь, это Эрик.

– Очень приятно.

Над головами срезала воздух косым зигзагом летучая мышь.

И воздуха от этого стало словно бы еще больше.

Где-то далеко лягнули ножницы и словно бы лопнул лист стекла – невнятно и тихо рассыпавшись в отдалении.

– Это вам. Соседи передали.

Петр протянул профессору конверт с надписью шариковой ручкой: «Профессору Воротникову, дяде Офелии».

Профессор вскрыл конверт и прочитал:

«Дорогой незнакомый дядя Николай! Тут много всего разного, типа стрекоз, бубенцов и всякой познавательной ерунды, например, странных явлений и животных. У меня есть маленький фонарик, но я им не пользуюсь с тех пор, как поняла, что у меня такие же в глазах, и я с ними не только читаю ночью в палатке, но и, в случае чего, освещаю дорогу. Читать тут нечего, сплошная ерунда – какие-то рассказы про сыщика, забыла фамилию, он весь такой правильный и, наверное, смешной, а по мне так тоска смертная. Я совсем перестала спать, хожу ночью по тропам, как горный козел или еще кто, свечу собственными глазами, и мне смешно. Странно, что в их фонарном свете я могу разглядеть, например, зайца на другой стороне ущелья или, например, ваше далекое лицо, которое мне кажется, на свой лад, красивей остальных мужских лиц. А смешно, потому что зайца видят только совы и я. Т.е. если б кто-то один из нас видел зайца, ну, например, только сова, то было бы не смешно. А раз мы с совой и больше никто, то это, по-моему, забавно. На самом-то деле я не сова, это же всем ясно.

Перехожу к делу, хотя, мне кажется, это никакое не дело, а полная ерунда. Меня типа похитили и хотят, чтоб родные внесли шестьдесят одну тысячу долларов, а иначе мне отрубят руку. Мне кажется, я правильно делаю, что пишу это письмо, потому что так у нас есть шанс встретиться, если меня отпустят. Я, конечно, могу убежать от этих идиотов, но они говорят, что снова меня поймают. Они полные дебилы – ни разговаривать, ни слушать не умеют. Без айфонов для них жизнь сразу

кончается. Я думаю, что у вас нет таких денег, но они говорят, чтобы я все равно вам написала, вы уж извините. Читать тут нечего, я уже говорила. Есть какой-то Джалаладдин Руми на фарси – местами забавно, а местами полный отстой. Интересно, был ли он геем? Связи здесь нет, слава богу, но они говорят, что вам позвонят.

Хорошо бы, конечно, нам встретиться. Офелия».

28

– Что, неважные новости? – поинтересовался Петр Алексеевич. – Не понимаю я вас все же...

Он вздохнул и глянул поверх головы профессора.

– Чего не понимаете?

– Зачем вам это? Все эти люди, с которыми вы тут время проводите. Мы их там, у речки встретили, они вас разыскивают. Бормочут какую-то чушь, очень возбужденные все.

– Что ж тут непонятного?

– Да как вам сказать... странные они какие-то, не в себе, что ли. – Петр Алексеевич подумал немного и добавил: – Они ж двух слов связать не могут. Долго общаться не надо, чтоб убедиться. Вы где ж это их понабрали?

– Это хорошие, одаренные люди, – сказал Воротников. – Они помогают мне разыскать племянницу, от которой пришел это письмо, – и Воротников махнул конвертом.

– А зачем им трубы?

– Двое из них – музыканты, они не могут долго без музыки.

– Они всегда так и ходят с трубами?

– Нет, не всегда.

– А что это у него за шишки по всему телу?

– Болезнь, – сказал Воротников. – Николай очень хороший музыкант. Попросите как-нибудь, чтобы он вам поиграл.

– М-м...

– Они многое видят, чего другие не могут или не хотят, – сказал Воротников. – Они друг без друга умрут, а так они живы.

– Простите, выше моего понимания, Николай Александрович. Вот вы рассуждаете, а у них ведь лица идиотов – вот-вот слюни потекут. Вы сами не видите, что ли?

– У них хорошие лица. Особенно когда их никто не пугает. Они все разные, они – это мы с вами.

– Не думаю, – сказал Петр Алексеевич, – я так не думаю.

– Чего вы не думаете?

– Что они – это мы с вами.

К ним подошел Федор.

– Знаю я этого Николая, – сказал он, сплюнув. – Его губернатор попер из своей команды за пьянство. А раньше корешами были, в одном оркестре джаз играли. И Витьку знаю – тот еще козел, три года назад деньги у меня взял до завтра – до сих пор не отдал. Да и остальные все – шваль. Один Савва, пока не спился, человеком был, а сейчас все равно ни черта не помнит – все мозги на ринге вышибли.

Задняя дверь джипа тихо хлопнула. Эрик обернулся – на траве рядом с машиной стояла Марина.

– Мальчик ты мой ненаглядный, – сказала она Эрику негромко. – Я приехала!

– Это ты! – задохнулся Эрик. – Ты! Пойдем со мной, Марина, пойдем!

– Ах! – сказала Марина. – Ах!

Она сверкала чистотой и свежестью.

– Сюда, Марина, пойдем сюда! Сейчас же, я настаиваю!

– Он настаивает! Подумать только!

Они вошли в деревянное здание с приоткрытыми, словно глаза, окнами – метнулся от сквозняка по поляне зайчик со стекла, ослепил. Федор мрачно покосился им вслед.

– Тоже брал в долг, – пробормотал он злобно. – И тоже забыл.

Сцена, да и орchestra должны быть чистыми и солнечными, даже если на них приходит вестник и говорит свои страшные слова. И даже если героиня объясняет, почему она предала земле тело своего брата, несмотря на запрет царя и смертную казнь в случае послушания, подземное солнце, полное ос и бабочек, все равно проникает сквозь каменный пол и вместе с музыкой хора приподнимает ее, Антигону, на полметра от земли, проникая в наряд и плоть. Но мы-то, мы разучились говорить и петь, мы говорим не мерно, а напротив того, выкрикиваем какие-то бессвязные мелкие слова, нестройные звуки, полные злобы и тьмы, и поэтому у солнца и амфитеатра остаются две возможности – либо исчезнуть самим, словно их и не было никогда в истории человека, либо уменьшить, а то и изгнать новых героев, забывших о людской речи.

Есть еще одна возможность, третья. Правда, она есть лишь у мирового театра, который выстроил как-то один чудак по имени Джулио Камилло в Италии, в тот период, когда думали, что людям все возможно и все по плечу. Театр Памяти Камилло был таков, что в нем можно было сориентироваться по звездам, стихиям и силам мира, и взять да и подслушать речь героев-посетителей, а значит, и свою собственную, коль уж вы в него зашли, но не прямую, а скрытную, словно бы неаявную, неслышимую, которая все же пробивается словно бы тихим посланием, спокойным иероглифом сквозь все эти бессвязные и суетливые выкрики и вопли.

Ибо и сегодня еще существует такая речь, что выпрямляет траву, громоздит скалы, вдохновляет сердца и вылечивает птиц в полете. Только вот другое дело, что без мирового театра, взятого в качестве слуховой трубки, каковую прижимал поэт, учитель и визионер Циолковский к своему старческому уху, вслушиваясь в полет инопланетных чудовищ и ангелов, тут уж никак не обойтись.

Ну что ему, с одной стороны, эта трубка, а с другой – этот полет? Сидел бы в своей Калуге, как там сидели тогда все остальные, дружили и общались друг с другом в меру своих сил и возможностей. Общались, в общем, таким, что ли, образом, что этого никто так и не запомнил, а именно, что там такое было в этой Калуге, да и наплевать, если честно. Наплевать же нам, скажем, на ту сторону Юпитера, если у него даже и есть та сторона, в чем я, однако, порой сомневаюсь. Но дело-то вовсе не в этом, да. – А в чем же? – спросите вы. – Да в трубке же! В ней одной все и дело. Ибо нехитрый этот кусок дерева, взятый в отрезке между старческим ухом и траекториями полета ангела Метатрона и космического грузовика «Прогресс», создает ту же самую возможность, что и греческая сцена или мировой театр итальянского масона. Вот только происходит это лишь в том случае, если ты действительно понял, что оглох и ни черта больше не слышишь – потому и пользуешься теперь этой самой трубкой. А если не понял и думаешь, что слышишь, ну и живи тогда в этой самой Калуге со своей Ниной Ивановной, пей чай на террасе, брани сына-гимназиста и читай газету, как и все остальные твои друзья и недруги, и ничего тебе от этого не будет – ни хорошего, ни – что, заметьте, важно! – плохого.

29

Знаете... Ну, все эти истории с отступлениями, неправдоподобностями, театром в Греции, какого, конечно же, давно на свете нет... Ведь это я не для того, чтобы затруднить чтение, не для того, чтобы выстроить какую-то там особую фактуру, но с одной целью – чтобы вы увидели, как это было *на самом деле*. Есть же вещи, которые даже сегодня продолжают происходить на самом деле, а не только в нашем, загруженном предварительными способами восприятия воображении. Если присмотреться, то дождь происходит на самом деле, и думаю, Офелия первая меня бы здесь поняла и согласилась. Еще птицы поют тоже на самом деле. Бывает такое, что и человек живет на свете – на самом деле, но это случается немного, немного реже.

Но увидеть то, что происходит *на самом деле*, довольно-таки трудно. Тут надо или час потратить, просто глядя на дерево, чтобы его неподдельность увидеть и счастливо рассмеяться, или еще что-то придумать. Вот Офелия, о которой многие думают, что она живет в мире как помешанная, как раз и обитает в нем по большей части в самом деле, и видит вещи как они есть. И хоть она и

пишет, что Руми – отстой, но будьте уверены, что она уже вошла туда, куда он приглашал, но не очень-то отметила этот момент просветления, потому что в нем почти и так все время находится.

И, чтобы ухватить про этих людей, о которых идет тут речь, – про Офелию, Воротникова и все такое прочее, так вот, чтобы ухватить суть этой истории, важно увидеть этих людей и их приключения не как в кино или как в кино, а как оно было доподлинно, учитывая, скажем, суть биения их крови и дыхания их ноздрей.

Как и что с людьми происходит *на самом деле*, знали немногие – знал греческий театр, еще японский театр самураев. Но некоторые шаманы, чудаки Доген и чудаки Хуэйнен, знал Христос и его друзья, еще с десяток поэтов, ну и несколько прозаиков, например Гриммельсгаузен с его бедолагой-простаком Симплом. Ведь *на самом деле* – это то, что не ухватить ни объективом фотоаппарата, ни кинокамерой, ни реалистическими рассказами в театре одного актера, на которые публика ведется, думая, что это про их жизнь, а это отчасти и правда про их жизнь, только разве это жизнь! Это же сплошная болезнь ума, а не жизнь.

А чтобы узнать про себя и про жизнь *на самом деле*, надо хлопнуть в ладоши и замереть. И понять, что никакого звука тут и не было, и что тебя тоже тут не было. И что ни твоей матери, ни твоего отца, ни твоих друзей – ничего этого не было. Была за всем этим лишь прослойка света, тоненькая, как волос, которую ты иногда замечал, но отмахивался, а вот греческий театр и Хуэйнен не отмахивались, а только там, внутри этого светлого волоска и жили. Звук, впрочем, может, и был, но не для твоего уха, как и все остальное настоящее – тоже не для твоего уха, пока однажды не ахнешь, пронзенный, как голубь, небывалой вестью, не сядешь на траву и не подумаешь: Батюшки, я же жизнь прожил, а *этого* не видел. Оно со всех сторон меня звало и толкало – и солнышком на закате и рыбкой в пруду, плеснувшей хвостом, и слезами да смертями людскими, а я только сейчас вот и почувствовал, к чему что было. Почувствовал и сразу забыл, как Бог прикоснулся к моему выпуклому от мысли и забот лбу. И что же мне теперь делать с этим и как жить?

И вот встает он с этой ржавой и зеленой травы, достает мобильник и начинает кому-то звонить и балаболить. И через пятнадцать минут уже ничего не помнит ни про рыбку, ни про Бога, ни про слезы людские. Такие дела!

Так вот для того-то я сейчас и громозжу все это – и греческий театр, и отступления, и разное такое прочее – в надежде, что, может быть, найдется какая-нибудь вдумчивая девочка по имени Ефросинья или Кингжао, возьмет и прочтет эти страницы до конца, а потом скажет – что-то мне тут сверкнуло за всей этой хренью, за всей этой разбитой каменоломней, за всеми этими дерьмовыми отступлениями. Понимаете, она это скажет, и не начнет никому звонить, и не побежит никуда, а просто посидит на одном месте и прислушается, что там у нее внутри, что там у нее находится за всеми этими костями, кровью и железами. Ну, что там такого есть настоящего. А потом мы с ней где-нибудь встретимся, и я ей скажу: спасибо, Кингжао. И я закажу ей какое угодно мороженое или еще чего-нибудь, клянусь! Потому что она не побежала сразу же звонить своему мальчику, у которого одна мечта – быть как все. Спасибо, что не побежала. И, даже если не встретимся и с мороженым не выйдет, все равно спасибо.

Иногда надо много чего нагромоздить, чтобы стало легко и ясно.

Потому что то, что происходит *на самом деле*, хоть и не всегда просто, но лишь прикоснешься к нему, и тебе сразу становится легко и ясно. Даже если только что тебе казалось, что ты в аду, и ты только и делаешь, что погружаешь и погружаешь в этот ад свой ум днем и ночью, как тот чудаки из Афона, и пытаешься при этом не отчаиваться. Офелия, обними меня, девочка! Ты бы меня поняла. Зевнула бы и сказала, пойдём, выпьем колы, чувак! Ты – лучший!

30

Марина лежала на спине и смотрела в крашенный потолок. Потом свела ноги и натянула юбку на колени. Краска на потолке треснула, а в голове были слышны сразу два голоса: ленивый – «Блаженство!» и будничный – «Вот и снова ничего особенного, несмотря на полный восторг».

– Эрик, – сказала она, – для чего мы живем, а?

– Для таких мигов, – сразу же отозвался Эрик, – прохладных и зыбких, как вода в графине.

– Тут и правда прохладно, – внезапно поняла Марина. – Даже странно. На улице-то припекает. Она повернулась на бок и, подперев голову ладонью, испытующе смотрела на Эрика.

– У тебя залысины намечаются.

– Это неважно, – сказал Эрик. Он сидел рядом со столом в старом кресле и курил. Пальцы его тряслись, а зубы клацали. – Мне спокойно только рядом с тобой, Марина, больше ни с кем, – добавил он. – Ни с кем, ни с кем! Ты можешь подумать, что это не так, но это правда. Ты – гений, Марина. Ты медовая, яхонтовая и еще... ты Мурка, да!

Эрик побренчал звонком велосипеда, стоявшего тут же, рядом с ним. Руль почти упирался ручьячкой ему в плечо.

– Разве мы живем, Марина? – внезапно выкрикнул Эрик высоким голосом. – Мы же с тобой не живем, а мяучим, как... как кошки. Мы собираем лоскутки, а они рассыпаются. Вот я смотрю на твое плечо в солнечном зайчике – я сейчас готов за него жизнь отдать.

– Ой ли?

– Готов, да, готов, и даже не раздумывая.

– Верю, золотце.

– Я вглядываюсь в твое плечо, Марина, как астроном в дальние миры, где он видит сегодня вечером новую звезду, которую искал и вчера и позавчера, но не находил, и третьего дня тоже не находил. Уже четыре дня он только и смотрит, что в небо, даже когда у него нет при себе телескопа, и ничего не находит. А вот сегодня он нашел свою звезду и назвал ее своим именем, как женщину.

– Ты хочешь сказать, что он назвал свою женщину-звезду Ермолай?

– Какая разница? – взвился Эрик. – Какая разница? И при чем тут Ермолай, ну, при чем тут, скажи, Ермолай, если даже имен таких нет!

Он повернулся к Марине, глядя на нее с ненавистью.

– Зачем ты мучишь меня, зачем? Неужели ты не понимаешь, что от этого я могу умереть?

– Не можешь, – сказала Марина. – У тебя сердце выносливое.

– Нет, могу, Марина. Ты просто этого еще не понимаешь. В моем сердце слишком много боли и любви, слишком много... Ты не знаешь моего сердца, – взвизгнул Эрик, – не знаешь, Марина! Оно порвано в лоскуты, как брюки моего отца, когда он приходил домой пьяный и кричал от боли и пел.

– В каком месте у твоего отца были порваны брюки?

– На зад, Марина, на зад! И нет тут ничего смешного, чтобы так колыхаться. Ты этим оскорбляешь и меня и моего отца.

– Прости, – давилась смехом Марина, – прости... просто получается, что твое сердце разорвано на зад... ой, не могу...

– Я знаю, знаю, что смешон, – вскочил с кресла Эрик, нечаянно брякнув велосипедным звонком. – Тюлень в океане тоже смешон!

– Тюлень? Почему смешон? Тюлень в океане, по-моему, вовсе не смешон.

– Нет, смешон, смешон!

– Чем же он смешон?

– Он велик и смешон. Потому что он там один, в этом самом океане. Никого там на сто верст вокруг нет, ни одной даже что ни на есть подлой твари. Ни одной заразы на тыщу километров в округе! У этого океана ни конца, ни краю нет, ни заливов, ни дорог, ни опушек, а одна только тупая... да, тупая длина во все стороны, которая тянется и тянется... как последняя сволота... Она тянется до самого пустынного космоса, Марина, в бескрайние мертвые звезды, полыхающие своими огнями, и никогда не остановится, чтобы перестать тянуться, потому что ей не на чем остановиться, не на чем! Ты понимаешь, что будет, если *такое* заложено внутри океана или все равно чего? Что там нет того, на чем можно остановиться. Вот и людям, и людям, Марина, – им просто не на чем остановиться, и они тоже расплазуются всей своей плотью в мертвые просторы и мертвые

звезды, за края небытия, за края ложинок и околиц, в пустынный вымерший мир непрерывного движения!!

– И что?

– И среди всего это ужаса и бессловесного расползания, которое неостановимо, потому что ему *не на чем* остановиться, ибо нет ничего такого, ради чего ему *стоит остановливаться* – ни любви такой, ни вещи, ни существа, которое могло бы сказать человеку, стой, вот оно я – дорогое, неповторимое, единственное! – среди всей этой бескрайней и мертвой медузы... – тут Эрик закашлялся и непроизвольно лягнул ногой, но преодолев судорогу, облизал губы и продолжил: – среди этого льдистого безмолвия – плывет тюлень. Он теплый и одинокий, у него капает с усов ледяная влага, но он не сдается, потому что он есть, Марина, да – он есть!

– Ты гений, – прошептала Марина, глядя на Эрика зачарованно, – ты вершина! – Она сползла с кровати и на коленках заковыляла к креслу. Там она уткнула свой чистый и выгнутый девством лоб в его колени. – Прости меня, золотой мой, прости меня, горбушечка моя неоплаканная, игрушечка моя елочная!

– Ну, что ты, Марина, что ты, – не надо, не говори мне этого, – плакал Эрик, перебирая святыщиеся в тени пряди ее волос, – а почему, как ты думаешь... почему эти часы на стенке до сих пор идут? Кто бы это их завел?

Марина замерла, прижавшись в груди Эрика головой, и прислушалась, но никак не могла услышать что-то одно определенное, потому что слышала «тук-тук» часов, и сразу же «бум-бум» от теплого сердца Эрика, и снова «тик-так».

– А может, эти часы – твоё сердце, Эрик, – прошептала она, – твоё бедное выносливое сердце? Когда моя мама умерла, часы остановились. Тогда, Эрик, неважно, кто их завел и почему они идут, пусть просто тикают себе, и все.

31

– Если бы я был писателем... – начал было Эрик, но тут в окошко постучали. В нем появилась и сразу же исчезла в дрожащих веерах пальмы, как будто чего-то испугавшись, голова Федора.

– Сейчас-сейчас... – крикнул в дрожащие веера Эрик, – сейчас идем!

– Так вот, если бы я был писателем, Марина, я бы никуда не торопился. То есть я бы ни за что не торопил бы своих героев.

– Сейчас слишком много писателей, – зевнула Марина, обнажив белоснежные зубы, словно скалясь на окошко.

– Это, конечно, правда. Но дело не в этом. Если бы я был даже последним и единственным писателем в мире, я бы все равно никогда бы не торопил своих героев.

– Это ты уже говорил. А, например, при пожаре?

– И при пожаре бы не торопил, и при пожаре бы не нужно им было бы торопиться. Они двигались бы неторопливо, замедленно. Они говорили и двигались бы не быстрее, чем растет дерево и замерзает вода. Они бы почти не двигались, и все равно все происходило бы стремительно, невероятно! быстрее, чем летит свет.

Так происходит в строфе стихотворения, Марина, которая никуда не двигается, а в ней пролетает свет от одного края вселенной до края. И в ней тут же летит бабочка и падает яблоко на землю. А она неподвижна, как... как череп, в котором мысли.

– Говори, – мне нравится, про череп и про бабочку это ты очень хорошо сказал. Почти как про тюленя...

– Я помог бы им обрасти хитином и панцирем, – сказал Эрик. – Они стали бы как раки или крабы. Каждое движение давалось бы им с мучительным трудом, и чтобы взять клешней-рукой цветок, им понадобилось бы несколько дней усилий, неотступных, напряженных, и... ты видишь, какое это для них блаженство, Марина – взять цветок! Тут можно просто изнеможеть от блаженства и слиться со всем блаженным, что было, есть и будет во вселенной.

– Блаженство никогда не *будет*, – сказала Марина. – Оно либо есть, либо его нет. Но я тебя поняла про клешню.

– Да, мы все были бы крабами, все – начиная от ангелов...

– Не надо больше про ангелов...

– Ладно, не буду. Но мы все – и звезды, и камни, и стрекозы – превратились бы в ракообразных по своей внутренней сути. Мы бы мучились от невозможности выговорить: я тебя люблю, Марина, потому что... она была бы отнята у нас, как и у... льда, который медленно становится льдом, или у Пизанской башни, которой не дано упасть быстро. Мы выговаривали бы «я тебя люблю» несколько недель, Марина, пропустив звук «я» и выстраивая и высвистывая, проталкивая языком и всем телом, помогая себя руками, деревьями, каменоломнями – звук «т». И нас заливал бы ужас, ужас, Марина! Ужас, переходящий в блаженство.

– Это я хорошо понимаю, – сказала Марина и достала пудреницу с зеркальцем. – У меня было так, когда я все деньги потеряла.

– Вот я говорил про твое плечо, – сказал Эрик, косясь на тубик с ярко-красной губной помадой, твое плечо...

– Вот-вот, – сказала Марина сквозь яркую гримасу, – я думала, ты забыл.

– Но не в плече дело, Марина, нет! Вот оно есть, словно клешня, и свет стоит в нем, как он стоит в стакане с цветком, словно бы не мириады стремительных фотонов, а застывшая белая колонна, которой от своей невозможности куда-либо деваться и хотя что-либо сделать хочется умереть в этой полноте и исчезнуть, чтобы стать вместе с тобой, Марина, всей тобой – тем, кем ты еще никогда не была, а только мечтала с детства, а не трупным ядом.

– Ну вот, – сказала Марина, – все испортил. Про трупный яд это уже было лишнее.

– Не лишнее, любовь моя, совсем не лишнее, – восторженно и вдохновенно подхватил Эрик. – Ибо мы либо невероятная, непревзойденная неподвижность, либо трупный яд.

Марина несколько раз быстро соединила накрашенные губы, издавая тихий звонкий звук.

– А может, и то и другое сразу?

Эрик замер, будто прислушиваясь, укусила его пчела или все-таки нет.

– Нет, – сказал он. – Нет! Там, где нет движения, или где оно бесконечно, что одно и то же, не может быть трупного яда.

Внезапно он выкрикнул: – И тогда, Марина!.. тогда!..

Марина вздрогнула.

– ...И тогда мои ракообразные, словно вмерзшие и оттаивающие к новой жизни мамонты, искали бы звук всей своей жизнью, и слово «Марина» не отличалось бы для них, оттаивающих и корявых, от самой Марины – безначальной, невероятно ракообразной, с губной этой, жуткой этой помадой, бессмертной, размерзающейся, шелестящей...

– Ой!..

– Они боялись бы лишний раз коснуться друг друга, они стали бы бережными к любой травинке, любому прикосновению. Они только поводили бы своими руками-клешнями, так долго, так мучительно долго, что у всех даже голова кружилась бы от восторга и нежности. Они ходили бы, словно по тонкому льду, а бабочка бы вмерзала в воздух и вновь оттаивала бы на каждый взмах крыла, и в двух ее крыльях стояли бы нескончаемые века и упоенные поэты, и крестьяне в навозе и в траве. И они не целовали бы друг друга, но сливались бы, как северный и южный полюса с их эскимосами и айсбергами, неподвижно и не сходя со своих мест. И все бы они, все, Марина, – с ужасом и восхищением шептал Эрик, – все бы они были одним и тем же словом и одним счастьем. Они бы только мычали и стояли бы на одном месте веками, вечно. Они бы стояли всегда прямо сейчас! С их клешней капала бы вода, застывая в воздухе и размораживаясь в бабочку, а между клешнями и муками их движений – несравнимыми, величайшими муками – носились бы зарницами рукокрылые, будто ангелы, люди и толстые женщины с серебряными лицами, переливаясь, как радуга, от полноты боли и от полноты блаженства.

– Ты же обещал, что ангелов не будет.

– А их и нет, их и нет, Марина. И все же они есть! – вскрикнул Эрик. – Да! они есть, потому что их нет! Как и нас нет, и потому мы есть. Нет, не бабочка и не ангел зреют в нас, а краб! Мучительно неподвижный ангел с клешнями вместо крыльев и с медленным выдохом без конца вместо слова...

– Пойдем, моя радость, пойдем уже, зовут, – сказала Марина. – Я все поняла про крабов. А если тебе не нравится моя помада, я ее выброшу.

– Сейчас Марина, сейчас, – словно в забытьи пробормотал Эрик, глядя на нее белыми, почти закатившимися глазами, словно он хотел заглянуть внутрь себя и найти там что-то, что он пока еще не нашел, чтобы показать Марине. Потом он упал на колени, обнимая ее ноги и прижимаясь к коленям бледным дрожащим лицом, и был теперь похож одновременно и на раскрытую зерном и перламутром наружу ракушку, и на Блудного сына Рембрандта ван Вейна, который, в сущности, тоже похож на раскрытую ракушку, правда, стоящую спиной к зрителю. Схожесть усугублялась еще и бездвижностью композиции, впрочем, с рифленным наложением света, бегущего сквозь веера пальмы.

32

– Понимаете, – говорит профессор Федору (тот сидит на сиденье джипа, ноги наружу, и курит сигарету «честерфилд»), – бывают такие моменты в жизни. Да. Идешь по деревенской, например, улице, уткнулся в забор, и еще в один, и в третий. И кажется, сейчас умрешь от досады, от тупиков этих, заборов, перегородок. Жена ушла и вообще сумасшедшая, денег нет, с работой никак, со здоровьем плохо.

– Это понятно, – говорит Федор. Он сдержанно волнуется, не хочет быть навязчивым, и от этого на лбу его вздувается синяя жила. – Про женщину понятно...

– И вот тогда выходишь случайно к колокольне, а над ней облака плывут, и дверь открыта, а за дверью темнота и каменные ступеньки. Рядом лопухи растут, от них тень падает. Вот и лезешь наверх по ступенькам, а потом по расшатанным лестницам. Лезть не хочется, потому что сил ни на что нет, и вообще непонятно, какого рожна ты туда карабкаешься. Но хватаешься за перекладины, отдуваешься и лезешь на самый верх на дрожащих ногах.

Воротников говорил бесцветно, но горло его дрожало, как будто там росла какая-то сирень или другое дерево.

– Задыхаешься, ноги слабые, и погано, что голова кружится еще с утра. Вот так и тычешься на ощупь, косишься на бетонный пол внизу, как бы не сорваться. Потом влезаешь на самый верх, думаешь, зачем лез – одни доски вокруг да голубиный помет. Потом пригибаешься, задевая рюкзаком за доску, тебя шатает, хватаешься и выходишь из барабана наружу, на леса, где птицы. И вдруг – воздух как зверь – голубой, бескрайний. Ветер под рубашку. Деревня лежит внизу, а дальше простор со сверкающими озерами и зелеными лесами с небом в тихих облаках, и это... это не объять! Внизу леса, вода, синь-серебро, легкая вата плывет на небе за край и домики, как спичечные коробочки. И птицы летают. И для них этот полет и небо – их жизнь. Это их комната – синяя безбрежность, где нет ни одного забора, ни одного тупика. И вниз глянешь и думаешь, что за чушь, какие там заборы, где ты их там видел? А ветер в грудь хлещет, ласково так, как будто он из синьки и высоты и хочет, чтобы и ты таким был.

– Я бы тоже хотел, как птица, чтоб без забора. Как рябинник или сип какой-нибудь, – говорит Федор нескладно, переставая стесняться чужого человека.

– Для них это не как для нас. Для них это обычно – летать, для них это полет-жизнь. А для нас настоящий полет всегда – полет-смерть.

Воротников прикрыл глаза и сухо пощелкал пальцами.

– Только в полете-смерти человек и может взлететь. Полет-жизнь это не то, – Воротников усмехнулся, – самолет, например, или воздушный шар.

– Не понял я что-то, – напрягался Федор. – Вы что ж, предлагаете сигануть оттудова, что ли, вместо птичек?

– А если бы и так. Это ж неважно, как именно войти в полет-смерть. Тут каждый сам... Монахи-ни прыгали со стен, когда монастырь осаждали войска турок. Чтобы чистоту сберечь.

– Эх, побились, наверное, – посочувствовал Федор. – Бедняги. Не взлетели ж они над турками.

– Может, и взлетели. В полете-смерти человек, в отличие от жука, только и может, что взлететь по-настоящему.

– Это ж как, по-настоящему? – заволновался Федор. – Натурально взлететь? Или, типа, на парaplане?

– Натурально. – Воротников усмехнулся. – Подняться еще здесь в этом веществе, где птицы и деревья, и ветер под рубашку. Душа может рвануться так, что потащит за собой тело.

– Ништяк! – воскликнул Федор. – Вот это, блин, мне подходит! – Он встал с сиденья джипа и быстро заходил туда-сюда. – А то Наташка мне все – полет души, полет души! А где его брать, этот полет души? А вот ежели за душой и тело пойдет, вот тогда, значит, получилось.

Тут он уставился на Воротникова, потому что ему померещилось, что тот качнулся и словно бы стал отделяться от травы. Впечатление было сильным – таким, что Федор почувствовал, что куда-то ушел в другое место и теперь будто бы там, отпахав по полной до обеда, перепрыгивает с баржи «Орел», на которой работал грузчиком, на моторную лодку, чтобы сгонять на берег за портвейном, но промахивается и летит мимо.

И тут что-то произошло с грудной клеткой и внутренностями Федора, потому что в них внезапно ввалился не только мировой театр Джулио Камилло, но и все небо со звездами, которые оказались теперь живыми и корявыми, и еще кто-то плакал там внизу, будто бы баба, которую Федор как-то раз в другом городе обидел, а сейчас жалел и поэтому выл вместе с ней. И от этого все, что он видел в жизни, взяло и расширилось и сузилось одновременно, а из груди Федора, которых теперь у него было отчего-то две, вылетели из одной – смех, а из другой рыдание, и непонятно как стали одним и тем же.

Потом он глянул на длинный барак с раскрытыми окнами, напротив которого стоял, и понял, что все знает про все, глядя только на один треснутый уголок в окне этого барака. Знает про себя, и про Наталью, свою жену, и про смерть и оживание людей, птиц и насекомых, для которых каждый человек в природе – это их беременная мама. И про этого Джулио, и про свое место в жизни и смерти. Тело его распечаталось для далей, и цветов, и незнакомых больших и маленьких женщин, которые теперь были ему сестры. И тогда его тело повлеклось вверх, как летняя ветка жасмина, несмотря на то, что оставалось тяжким, мозолистым и наколотым синими словами и фигурами. Тут Федор чего-то испугался, дрогнул и враз отяжелел снаружи, и его тут же вдавило пятками в землю. Он потерял равновесие и сел задницей на траву. – А! – сказал Федор и потряхнул головой. Воротников стоял рядом, и по ботинку его полз какой-то мелкий жучок. Голова Федора была как кучевое облако и все еще тянулась плыть по небу, но уже не могла.

– Только мы способны летать по-настоящему, – сказал Воротников, протирая свои темные очки носовым платком. – Птицы не способны.

Он спрятал платок в карман и протянул Федору руку.

Вот что еще остается добавить. Антигона стояла на коленях и закидывала мертвого брата-осу землей. Если делать это так, что Бог владеет тобой безраздельно, то забываешь про маску и про сцену, они сами себя сейчас помнят, и тебя они помнят тоже. Это и есть настоящий театр памяти, который придумали люди, танцующие вместе с воскресшим богом Загреем в лодке на колесах. Бог лелеет твоего мертвого брата и твои живые руки с землей, и пусть тебя зовут, допустим, Зоя, а не Антигона, а твоего мужа сейчас закапывают где-то на Колыме совсем другие, а не твои руки. – Бог все равно любит тебя и лелеет. И в этот момент, когда ты, плача, выпускаешь его в себя, то сама начинаешь оплакивать его и лелеять, потому что это единственное, что у вас осталось – вы сами: Бог, лелеемый Зоей, и Зоя, лелеемая Богом. И когда такое случается, то земля начинает помнить себя сама и деревья тоже, и даже колодцы и переулки. И слезы льются на белые Зоины ноги, а сосед по пьютке поет за стенкой «Катюшу», разрывая трофейный аккордеон напополам, и скоро опять будет к тебе ломиться, но ты ему опять не дашь. А утром так даже и пожалеешь. В сущности, хороший человек, только больной. Фронтовик, контуженый, жена бросила, пока воевал, детей нет, чего с него, бедолага, взять.

– Где же ты, Офелия, – пробормотал Воротников, – где же ты, девочка?

33

Мало кто знает про близнеца Элвиса, который погиб при родах. Погибший близнец, как правая рука или правое сердце, – фантомная боль остается на всю жизнь, одна на двоих, никто не уходит из мира касаний, не оставив по себе замены – фантома боли. Фантом боли никакой не фантом – думаю, что это мы сами и есть, но в нашем невидимом платоновском аспекте. Как бы то ни было, для невидимого близнеца Элвис был видимым фантомом. Все видимое без любви – фантом. Но если Элвис влюблялся или пел, то он переставал быть фантомом, а проводил в фантомный мир реальность своего брата-близнеца.

У каждого есть погибший брат-близнец – кого-то на войне убили, кто-то погиб при родах или в авиакатастрофе. Он-то и проводит нас в мир невидимый, где все рождается и все решается – в мир причин. И тогда мир причин вторгается в мир следствий и вносит в него удивительные вещи. Вот, например, бабочка летит – и она от этого яснее звезды или всей мировой истории, яснее и весомей. Или Элвис поет, и в сердце входит что-то такое, что потом улетает, как бабочка, а золотая пыльца, словно звезды ночью, гуляет по распахнутой окном груди и зовет тебя за собой, понимая, что ты – это фантом.

Элвис очень любил брата и перевоплощался в него, хотя брат уже мог жить на луне или в лунных джунглях, а иногда был черепахой. Однажды, переезжая Миссисипи на поезде, Элвис ясно почувствовал брата как быка. Одного из тех, на которых стоял мост. Вода огибала своим течением брата-быка, лаская, стирая его серые камни и цемент, она была серая и великая вода великой реки, в которой водились чернокожие русалки и ацтекские рыбы с глазами пророков. Пока мост дрожал и грохотал, Элвис увидел брата, на котором держался путь, и заглянул ему прямо в глаза. Вот тогда Элвис понял, что такое любить другого как себя. А раз мост держал и всех остальных пассажиров, то Элвис вспомнил тот госпел, в котором пелось о второй заповеди, и уже любил всех пассажиров, которых они с братом держали своими встретившимися и окрепшими от любви глазами.

На этом мосту Элвис приблизительно понял, как ему надо петь и жить – как будто над великой рекой течет другая невидимая река – жизни их с братом, – и непонятно, кто из них есть, а кого из них нет.

Он это понял, когда на одном концерте он пропал, и возник лишь тогда, когда ему стали аплодировать. С тех пор он стал пропадать, пока пел. Куда он пропадал, он объяснить не мог, но там он становился рекой, и братом, и чайкой над речкой, и скопой над степью. А еще домохозяйкой, готовившей ужин, как Грейс Вернон, или кукурузным початком, но даже не ими – меняющимися и текучими, а тем смутным и огромным, на фоне чего они только и могли быть и меняться.

Это как будто в грудь попадала сладкая земляника или даже птица-воробушек со сладкой и красной ягодкой в клюве, а потом вдруг расширялась сразу во все стороны, уходя за сцену, зал, зрителей, а потом за Америку и за звезды – туда, где жил его брат, который теперь был там, откуда произошел мир и пение Элвиса. Самое удивительное заключалось в том, что птица с красной ягодкой в клюве не разрушалась и не исчезала ни по дороге за край мира, ни обратно. И если б она исчезла, то душа Элвиса, вполне возможно, и не нашла бы пути назад.

А еще раз он ощутил брата как ангела с платиновыми глазами, но это только так говорится, что с платиновыми глазами. Глаза у него были, ясное дело, и платина в них тоже, но платиновых глаз – этого конкретного предмета, конечно же, не было, но как-то же надо про них сказать. И такие серебряно-платиновые глаза он увидел не от того, что глотал таблетки или, например, делал инъекции, а потому что в это время был фантомной болью умершего и ставшего новым и не выразимым обычными словами в мире причин брата.

Но он смотрел и увидел в платиновых глазах ангела-брата глаза Грейс, а вернее, тот мир, откуда они берутся, и тогда его тело не выдержало этой красоты и достоинства, его ноги свела судорога, и Элвис потом два дня не мог ходить. Так всегда бывает при встрече с великой красотой.

Элвис работал на износ, записывая по 37 дублей одной песни, чтобы добиться правильного звучания. Жаль, что с Присциллой у них так ничего и не вышло, вот если бы ей всегда было четырнадцать лет, а ему двадцать, как тогда, в Германии, где он ее увидел впервые, тогда еще могло что-то выйти, потому что Германия была братом Элвиса, а Присцилла была ему тоже братом и сестрой.

В последний год он дал 57 концертов, распластаваясь по сцене, как огромный белый тюлень, проглотивший луну, и теперь она каталась у него в животе, как ядро, и поэтому он не мог как следует оторваться от пола, и все же он танцевал. Его поддерживала целая толпа народа, таблеток, маленьких человечков и розовых дев. Их мало кто замечал, но именно их райский танец прочитывался в неожиданно изящных и завораживающих движениях расплывшего Короля рок-н-ролла и, по-прежнему, сводил зрителей с ума.

Потом Элвис стал меньше чувствовать брата, и фантомная боль перешла ему в сердце. К нему пришел ангел с лицом, похожим на черного проповедника из Мемфисской церкви, – черным с выпученными желтоватыми белками. Он сказал ему всего несколько слов: Элвис, люби маму. Она у вас на двоих одна. Мертвых и живых ничто не разделяет. Это одно и то же существо.

От Heartbreak Hotel до Love Me Tender он искал разницу, но не нашел. Смерть и жизнь не хотели разлучаться, и черный ангел с глазами навывкате повторял, что для ангелов нет ни правых, ни виноватых и ни живых, ни мертвых.

Элвис любил снег и волков. Однажды он хотел сочинить песню о волке, но у него ничего не получилось. Он попробовал заказать ее одному знакомому парню, но тот сказал: Элвис, на фига? Однако волк, поющий вместе с ним песню, был дорог Элвису, и однажды он купил волка, и тот жил у него дома. Как-то они разделись догола – Элвис, потому что разделся, а волк от лунного света, и вместе спели гимн вечности, сидя на краю плавательного бассейна, в котором плавала луна. Потом волк куда-то исчез. Элвис подумал, что это приходил его брат, потому что именно в брате все теперь исчезало и появлялось снова, но уже неузнаваемым. Например, исчезал автомобиль, а вместо него появлялась девушка в красной мини-юбке и с накладными ресницами. Или исчезал голос, а вместо него по апартаментам в «Империале» пробегала крыса.

Как-то на ярмарке попугай вытянул ему билетик, где было написано: Бог не уничтожает врагов, он уничтожает вражду.

Но все равно Элвис злился, и однажды расстрелял свой розовый кадиллак, выпустив в него всю обойму из револьвера, который носил с собой, как Маяковский, с которым у Элвиса были общие родственники и знакомые, но ни Элвис, ни Маяковский об этом не знали, потому что они были кораблями и городами.

В жаркий день августа 77 года Элвис сидел на унитазе в своей роскошной уборной и читал «Scientific Research for the Face of Jesus». Он знал, что читает о брате и вот-вот встретит его снова. Потом буквы брошюры ссыпались за лист, а сам он упал на пол. Он лежал в голубой пижаме, и голая его рука, синяя от укулов, несколько раз дернулась, словно прощаясь с девушкой с поезда, покидающего вокзал.

В тот же день Серега Чешенко разгружал в Универсаме на «Светлане» ящики с фруктами. Чувствовал он себя отлично. Вчера он слегка перебрал, но укол опия поправил дело. У него оставалось еще на две дозы. Он спрыгнул с грузовика и пошел к туалету через дорогу. Он миновал фонтан у кафе «Ромашка», обошел кучу угля, вываленную самосвалом во дворе его дома, и зашел в туалет. Там он упал на грязный пол и больше не шевелился.

Возможно, Элвис приходился братом и Сереге, а может, Сереге приходился братом брат-близнец Элвиса, в котором Серега исчез, как автомобиль или голос, чтобы появиться снова совсем в другом месте и в другом обличье. Потому что никто и ничто не пропадает без остатка, чтобы не появиться снова. И если он не появляется в том же виде и в ту же секунду, в которую исчез, то лишь потому, что ему так больше не хочется, и он готов попробовать что-то другое.

34

Лева, сказал Савва, мы давно тут ходим? Он, может, сказал бы и по-другому, но остальные слова разбежались во все стороны, пока воздух поднимался из красных Саввиных легких к горлу и там, завихряясь вокруг себя и связок, нашел только эти слова. Савва сказал так, потому что другими словами сказать не смог. Другими словами он мог бы сказать минутой раньше или минутой позже, а сейчас воздух поднялся к губам только с такими. А Савва стоял на камне посреди мелкой

горной речки, которая билась, сияла и блестела зайчиками, как сестра перед танцами, а Савва хотел из нее выпить. А когда Савва эти слова сказал, то сразу забыл их. Он стал с речкой одно и то же, когда сделал из своих ладоней и пальцев с разбитыми суставами ковш, зачерпнул им холодной воды и глотнул. Савва тут же стал речкой, а речка стала Саввой, помимо любых слов, которые он сразу же забыл, и других, которые он еще не вспомнил, потому что они еще не поднялись вместе с хрипловатой струей к Саввиным связкам, а это из-за того, что Савва стал с речкой одно.

Камушки внутри Саввы сдвинулись и заблестели, он почувствовал себя водяным, весь в репейниках, и водорослях, и утопленниках-русалках, которых видно под луной, а под солнцем они носятся, как серебряные облака по краям берегов, цепляясь за кусты, ранясь, и от этого вскрикивая. Это потому что в этот момент им кажется, что они опять девушки, и парень схватил их за рукав и хочет сделать им больно, там, внутри, где они его ждут и боятся, потому что предчувствуют свою смертную долю. Еще Савва почувствовал свежесть в глазах и голове, куда перестали подниматься слова и мысли, а была только серебряная пыль и глубокие подводные камни под зелеными бочагами с прозрачной и словно бы приподнятой водой, похожей на стекло.

Это все Савва сказал, не говоря, даже не думая, что сказал, потому что у речки мысль сосредоточена на своем имени, вложенном в уста Цсбе, и этого вполне достаточно. Как птичке достаточно быть птичкой, а камню достаточно быть камнем. Им, вообще, достаточно быть, но без Саввы они быть до конца не могли, и для того чтобы им быть, им был нужен Савва, который бы тоже начал быть. А когда у Саввы проваливалась память, то к нему в голову приходила в гости какая-то прекрасная женщина-пустота, а еще за ней шла она же опять – женщина-пустота, а потом Савва начинал быть в этой прекрасной своей женщине-пустоте, как он хотел бы быть с Медеей, и иногда получалось.

И когда Савва начинал быть с женщиной-пустотой, то все, к чему прикасался его взгляд, тоже начинало быть вместе с Саввой – и водяные крысы, и плоские, высушенные солнцем камни, и бочаги с зеленой водой, и Савва видел, как они любят его за то, что он дал им, не называя, их собственные имена, которые он ни за что бы не дал, если бы попробовал их назвать. Но он это не думал, потому что знал. Он знал сейчас про все сразу, но ему это было не в тягость, и он знал, что хоть знал все сразу, но в этом *все сразу* было еще много того, что он не знал, но мог бы узнать и узнает, когда ему будет охота. Вернее, даже не охота, а когда тот Савва, который знает то, что не знает вот этот Савва, втянет в себя Савву, который не знает, но который уже полюбил того Савву, который знает.

Но потом приходила какая-то новая мысль и становилась словом, приподнимаемым с хрипловатым свистом легких. Оно закручивалось с воздухом вокруг себя и говорило: Лева, а давно мы тут ходим?

Лева сказал: Давно, Савва, я сам сбился со счета. И мне есть хочется.

Савва почувствовал, что готов отрезать от себя любую часть тела, чтобы накормить Леву, и полез за ножиком, но потом снова подумал, что Лева, наверное, не будет есть его. Саввино, мясо, потому что Лева очень нежный и ранимый, а Савва жесткий и состоит из человечины, которой людям питаться – значит становиться людоедами. И он сложил свой ножик с черной пластмассовой ручкой, слегка отбитой у заклепки, и сунул его в карман.

А где остальные, спросил Савва, потому что эти слова поднялись и могли бы сказать: а где остальные, вот они и сказали. Но они могли бы сказать, и Савва хорошо чувствовал это, и какую-нибудь другую лишнюю вещь, например: а где остальные, спросил Савва, – и наверное, это тоже было бы хорошо, Лева бы понял, но только он бы решил, что это говорит не Савва, а кто-то еще, а Савва только повторяет, как дурачок. А кто это говорил, Савва не знал, и от этого начал сходить с ума, но он понял, что это только слова и мысли про то, что Савва начал сходить с ума, и если их повторять как слова и мысли, то никто с ума не сойдет.

Потом он увидел, как по противоположному берегу речки пробежала лиса. Она была серая со скатавшейся шерстью и держала что-то в зубах, то ли рыбу, то ли какую-то падаль. Савва вдруг захотел, чтобы лиса держала в зубах золотую монету, похожую на медаль, которую ему вручили за

победу в Лионе на закрытом чемпионате Европы, и чтобы эта монета блеснула на солнце и освещала бы все вокруг. Ему даже показалось, что где-то что-то действительно блеснуло, и он покосился в ту сторону и увидел автодорожный мост через речку примерно в километре ниже. Мост то просвечивал сквозь самшитовые деревья, то исчезал. А иногда так его было видно очень хорошо. «Лиса», – подумал Савва, – разве не достаточно одного этого слова, чтобы человеку было хорошо с самого начала и без конца, вообще хорошо. Плохо становится от того, что слов много, а лиса одна. И чем дольше Савва смотрел на лису, тем больше уходил в воздушные коридоры своего сердца, где, если и были слова, то не такие, как снаружи, когда они поднимались из слегка похрипывающих легких, а они были и воздушные, и вместе с тем ничем не отличались ни от речки, ни от лисы, но делали их такими, словно каждый из них теперь держал в зубах по золотому червонцу.

– Все куда-то разбрелись, – сказал Лева. – Мы потерялись, Савва. Тут, вроде, все знакомое, но только мы все равно каждый раз выходим в незнакомое место. Хорошо, что в некоторых местах есть магазины и автобусные остановки. Я иногда думаю, а может, все уже уехали, и мы тут с тобой одни ходим и думаем про Офелию и Цсбе. Что-то мне все хуже Савва, – тихо сказал Лева. – Все хуже и хуже. Я как начинаю думать про Кукловода, меня сразу начинает тошнить.

– Лева, я нашел мост, – сказал Савва и обернулся, чтобы сказать Лева, что он нашел мост, и для этого ему, конечно же, надо было обернуться и сказать про мост, и Савва, оборачиваясь, сказал Лева про мост, хоть, обернувшись, он и перестал мост видеть, но он словно прихватил его с собой и нес, поворачиваясь к Лева, и для того, чтобы донести мост до Левы, ему надо было повернуться и сказать, и он повернулся и сказал, но Левы не было видно.

– Лева, ты где? – позвал Савва и пошел в ту сторону, где должен был быть Лева, и он шел, приближая эту сторону, потому что Савва знал до сих пор, как приближать или удлинять стороны, это было чувство дистанции, разлитое у него по телу, и сейчас его тело пошло, приближая сторону, в которой был Лева, хоть Савва и забыл, где был Лева. Но Саввино тело не забыло про это и принесло Савву к зеленому бочагу под обрывом, в котором плавала спиной вверх Левина желтая куртка, а сам Лева был под водой головой и руками, и поэтому казалось, что на воде плавает одна Левина желтая куртка.

Савва замычал и, не успев заплакать, прыгнул в бочаг и вытащил Леву на берег.

– Ты что, Лева? Ты что? – сказал Савва. – А, Лева?

Он положил Леву на спину и стал сильно надавливать ему на грудь, и от этого голова Левы, серьезная и бледная, задергалась, как живая, но была еще мертвой, и Савва сквозь слезы это видел и понимал. – Ты как же, Лева, ты как? – говорил Савва и продолжал мять птичью Левину грудь, боясь сломать внутри ребро или что-нибудь еще. Потом Савва упал на Леву всем телом и прижался к нему изо всех сил, думая, что Лева больше не будет дышать.

– Ой! – сказал Лева, – слезь с меня, Савва, ты меня совсем придушил.

– Вот, – сказал Савва, – вот!

Он слез с Левы, сел на камень рядом с водой, сгорбился и, стесняясь, заплакал себе в мокрые ладони.

– Вот, – сказал он, – вот ведь.

– Савва, не убивайся так, – сказал Лева хрипло. Потом внезапно скрючился пополам, и его вырвало чистой горной водой, текущей откуда-то с ледника.

35

А Николай посмотрел на Витю и ответил: не знаю. Он мог бы и по-другому ответить Вите на его вопрос, да и хотел ответить по-другому, потому что Витя вопросы задавал так, что ответить на них было трудно, а Николай не любил оставлять вопросы без ответа, но Витю он любил и поэтому ответил: не знаю. Он сидел на поваленном дереве и рассматривал свою трубу, по которой полз муравей, и Николай его видел до тех пор, пока муравей не вполз в самый солнечный блеск и начал пропадать из зрения, а от блеска у Николая поплыли черные пятна в глазах, и он их прикрыл, чтоб отдохнуть.

– Джаст умер, – сказал Николай, – тока все равно его играют, – и подумал, что если бы человек умер, то про него нельзя было бы сказать, что его по-прежнему играют, потому что как же можно играть человека? Хотя, конечно, в театре можно, это когда один человек играет другого, но там он играет в художественном смысле, а вот если человек умер, то как его сыграть. Допустим, думал Николай, воодушевляясь, потому что такие темы всегда воодушевляли его больше, чем могли воодушевить жена или рыбалка, допустим, думал он, воодушевляясь все больше, что человек умер и я хочу его сыграть, это как? Да, как? Как я могу этого человека сыграть? Ну, например, он состоит из музыки, ну, пускай из звуков – глаза это чао бамбино сорри, губы, к примеру, бесаме мучо, а белая полная грудь с сосками, как у Венеры Милосской, глядящими немного вверх, но не сильно, это ай джаст колл ту сей а лав ю. Если такой человек умер, то для того чтобы оживить глаза, надо сыграть чао бамбино сорри, а чтобы оживить грудь, надо сыграть ай джаст колл ту сей а лав ю. Но человека по частям не воскрешают, не может, как у лягушки, у него одна нога ожить и дергаться, а все остальное не ожить. Если одна нога оживет, то кому такой человек нужен? Но тут Николай задумался и потом решил, что если Маша, не дай бог, умрет, и после этого оживет только одна ее белая нога, то он все равно согласен ее любить и даже засыпать с ней, целуя ее и любя, словно она и есть вся Маша, словно вся Маша находится прямо здесь, в этой своей ноге.

Конечно, сейчас могут поддерживать жизнь в отдельных органах – в сердце, например, или, например, в почках, но для оживления всего человека этого все равно недостаточно, тут надо сыграть всю музыку сразу – музыку надо играть сразу и для печени, и для почек, и для глаз чао бамбино сорри. Но если бы он сыграл музыку всей Маши для ее одной ноги, с которой он засыпает, то тогда бы из фантомной боли утраченного Машиного тела появилась бы сама Маша с руками, носом и сладким влажным языком, от которого Николай сходил с ума, что она им и говорила и делала все другие вещи, про которые он никому не скажет.

Разве фантомная боль не энергия? – думал Николай. – Еще какая энергия.

– Витя, – сказал Николай, – как ты думаешь, фантомная боль это энергия?

– Ты мне на вопрос не ответил, – рассердился Витя.

– Не знаю я про Нинку, – сказал Николай. – Похоже, что у нее никого нет. Зачем ей кто-то? У нее есть ты. А раз ей никого не надо, и у нее есть ты, то как у нее может быть кто-то другой.

– Это правильно, – сказал Витя. – Мысль правильная, только если у нее все равно кто-то есть, то твоя мысль ничего не стоит, и она просто говно, а не мысль.

– Ничего не говно, – сказал Николай. Он хотел было добавить что-то еще, но у него не нашлось идей.

– А где все остальные? – спросил он Витю. – Куда они подевались. То вместе все шли, а то никого нет.

– Мне кажется, что мы с тобой и есть все остальные, – сказал Витя.

– Но еще были же люди, – сказал Николай. – Воротников был, Медея, Савва.

– Я давно ничего не пил, – сказал Витя, – смотри, у меня живот впал. – Он закатал рубашку и показал бледный живот с провалившимся пупком.

– А ты хорошо сложен, Витя. Для саксофониста в самый раз. Знаешь, я думаю, что если сразу сыграть ай джаст колл и чао бамбино сорри, то оживление начнется. Знаешь, брат, что мы с тобой тут открыли, пока блуждали по этим горам? Мы открыли, как людям не умирать. Только играть надо так, что как будто в музыке все и дело, а раз это действительно так, кто б тут сомневался, то мы будем друг друга оживлять. Либо ты меня, либо я тебя.

– А ежели мы вместе дуба дадим? – мрачно сказал Витя.

– Как это?

– А вот так. Возьмем и померем разом, как Минин и Пожарский. Не, чего-то ты, Николай, не додумал.

– Как это разом, как это разом? – рассердился Николай. – Мы что с тобой, в одном танке, что ли, едем? Мы же свободные люди! И Пожарский не помер, учти.

– Бессмертный, что ли?

- Я не про это. А про то, что он потом уже умер, после Минина.
- Утешил. И что тогда?
- Ничего, – сказал Николай, – ничего. Такие, как ты, всегда подрезают идею на корню. Смотри, сказал Витя и ткнул пальцем.

Между деревьев, разошедшихся в стороны из-за дороги в булыжниках, высилась белая гора, которую Витя сначала принял за облако, но потом понял, что это не облако, а снежная вершина, белая от нетающего снега, потому что на такой высоте снег всегда остается белым и никогда не тает, раз он на такой высоте.

Когда Витя ее увидел, то обрадовался, будто бы все сразу стало хорошо и с Ниной, и с ним, и с Николаем. Белая вершина на синем небе смотрела на Витю издалека, а он думал, что она смотрит на него вблизи, и как это хорошо, когда ломишься через какой-то орешник или чертополох, за шиворот сыплются клещи и всякая сволочь, ты всех потерял, тебе никто не может ответить на твой вопрос, ты устал и в это время еще даже не заметил, как на тебя смотрит огромная снежная гора, а она *уже смотрит*.

Глянь, Коля, сказал Витя. И Николай тоже увидел белую гору. И они сели на самом краю поляны и свесили ноги вниз, туда, где на триста метров ниже, под ними, текла речка, и шум ее раздавался в ушах, а зайчики так долетали до самых рубашек и лиц и играли на них.

- Ты только держись за что-нибудь, Витя, – сказал Николай. – Не забывай про наше открытие.
- Ты сам держись, – сказал Витя. – Тут если сорваться – мокрого места не останется. Тут уже Осетия недалеко. И Чечня тоже, – сказал Витя. – Они сюда некоторые забредают. Сам встречал.

Они сидели и смотрели на гору. Николай вцепился одной рукой в ствол дерева, а другой незаметно придерживал Витю за штаны, потому что Витя был забывчивый. Потом гора незаметно стала розовой, потом синей, а после зеленоватой. И тогда из-за нее выкатилась луна.

36

Дороги в горах идут не так, как дороги в полях или в лесу. Вообще-то, это немного смешно, потому что, если вдуматься, то дорога это не самостоятельная вещь, а пустое место, вдвинутое в ландшафт, чтобы он тебя обступал по бокам, а не принимал прямо себе вовнутрь. Дорога располагает к обзору, и поэтому она близка к музею и его развешанным вокруг картинам.

Став частью ландшафта, ты его не воспримешь, это раз, и никуда не доберешься, это два. Не доберешься, потому что ландшафту никуда добираться и не надо, а раз ты им стал, то не надо и тебе. Но человек отличается от ландшафта тем, что ему все время куда-то надо, даже если он еще и не решил, куда именно. Поэтому он отъединяется от ландшафта сначала мысленно, а потом при помощи дороги. Дорога всегда приклеится к ногам человека и разъединит любой ландшафт – пустыню, степь, лесостепь, джунгли, ну и все остальное тоже, включая вечную мерзлоту с ее кустиками.

Я бы сказал, что и в постель человек тащит с собой дорогу, как бы ее серпантинный разворот, совершаемый в беспмятном сновидческом состоянии, которое кончается утром. Про развороты – особый разговор. Они могут совершаться по-настоящему тогда, когда меняется цель или ты сам впадаешь в измененку. То есть когда сильно пьян или вдохновлен, или ты влюбился так, как никогда до этого. И чем сильнее разворот, тем больше ты меняешься на выходе из него, и тем неотвратимее ты оказываешься на другом этаже.

Когда просыпаешься, то ты всегда пришел оттуда, где тебя не было. Может, оттого сон часто сравнивают со смертью, что, похоже, наутро из постели вылезает не ты, а кто-то хоть немного, но другой.

Но Медя сейчас размышляла об измененных состояниях, связанных, в основном, с ее общением с мужчинами. У нее была большая грудь и лунное тело по ночам. А днем у нее было солнечное тело. Она это знала, и знала, что мужчин к этому влекло, причем одних мужчин влекло ее лунное тело с чуть ртутным отсветом кожи на плечах, губах и на животе, а других – солнечное. Это когда ты делаешься выше ростом даже без каблучков, и смех твой становится как будто у тебя

в груди раскачали небольшой такой колокол, зазывный и мелодичный. И тогда все думают, что ты богатая, и не только из-за денег, но сама по себе, и любой несчастный мужчина (а в каждом из них с детства живет несчастье) спешит укрыться в твоей солнечной тени.

Но так было сначала. А потом лунное тело стало появляться днем, а солнечное ночью. И многих это пугало, но не Савву.

Медя разбила себе ноги на горных тропках и устала. Сейчас она брела вдоль тропинки под нависающей скалой, потому что услышала шум речки, а скала нависала над ней вместе с растущими из нее деревьями и кустарниками. Какая-то птичка бежала перед Медеей по тропинке и оглядывалась на нее.

Днем она вышла было на шоссе и тормознула машину. Там сидел какой-то козел и курил сигару. «Откуда, говорит, такие чудеса берутся в горах? Садись, незнакомка». – Сам ты козел, – сказала Медя и не села. Знает она такие разговоры и все эти вонючие сигары. Вообще-то она потом решила, что этот тип, может, был и не козел, а просто сигара у него была не очень удачная, а сам он мог козлом и не оказаться. Но если бы он оказался козлом, да еще и с этой вонючей сигарой, то он был бы таким же, как и все остальные, которые говорили про чудеса в горах или еще где при первой встрече. Она ему не чудеса, он даже не знает, как ее зовут, а думает, что сейчас у них начнется. Он ничего не знает ни про солнечную ее кожу, ни про лунную, и не знает таких слов, как Савва, потому что таких слов вообще больше никто не знает. Если б он еще был без этой вонючей сигары, то она, может быть, еще и села бы, но он дымил, как паровоз в старых фильмах. Нет, он, конечно, не был старым, он был очень даже ничего, если уж говорить честно, и, если бы не сигара, она бы, наверное, и села, но с сигарой он вполне мог оказаться козлом. Ее отчим все время курил эти тонкие сигары, и был он большим козлом, это она точно знала, да уж, имела возможность убедиться.

Она вышла к берегу речки и пошла по мосту. Речка была широкая и мелководная. Она бежала через гальку тысячами быстрых ручейков, блестящих, как шоколадная фольга, под солнцем. Когда Медя ее переходила, то почувствовала свежий холод воды, и настроение у нее поднялось.

На том берегу стояло какое-то кафе, и Медя обрадовалась, потому что проголодалась. Но кафе оказалось то ли заброшенным, то ли закрытым. Лампочки на вывеске с надписью «Пацка Ачишко» были частично выбиты, а на дверях висел замок. Медя обошла здание сзади. Там, на цементной площадке, под тенью каштана стояли два столика. Дверь в здание была приоткрыта, а за одним из столиков сидел мужчина в шортах и что-то пил из бокала. На безымянном пальце у него было кольцо с красным камнем, руки сухие и породистые. Медя всегда смотрела сначала на руки, а потом уже на все остальное. Иногда она на все остальное уже не смотрела, потому что, оценив руки, теряла ко всему остальному интерес. У рук ведь есть лица, да. И Медя умела их считать. Но на этого мужчину она посмотрела внимательно и села за соседний столик.

– Самообслуживание, – сказал мужчина. – Там, – он кивнул на дверь, – в холодильнике есть напитки.

Медя встала, вошла в дверь, ведущую на кухню, и в полумраке пошла на шум холодильника. Она взяла из него бутылку с вином и банку с кофе, из тех, что сами разогреваются, если сорвать кольцо, и захлопнула дверцу. Холодильник затрясся и заурчал. Медя прихватила с мойки стакан. Вернувшись за стол, она расположилась так, чтобы можно было видеть своего соседа. Налила в стакан вина и сделала глоток. Вино было горьковатое, красное, немного терпкое, то, что надо.

Дальше вот в чем суть, если уйти от стандартного повествования, которое, уверен, всем давным-давно набило оскомину. «Он встал», «она сказала», «у нее были пышные волнистые волосы» – знаете, вы, конечно, можете считать, что это и есть настоящая писанина, а по мне так все это лишнее, неприличное даже, как разбавленное пиво, от которого тошнит. Я думаю, что когда хочется блевать от литературы, то наступает миг пробуждения. Вам, может, не нравится, что я так говорю, но это мое личное дело, я вам свою точку зрения не навязываю. В общем, смотрите, как там было на самом деле.

«Сейчас она посмотрит на меня», – это думает тот тип в шортах.

Медя смотрит на него.

«И скажет».

Медея раскрывает рот.

«Хорошее вино».

– Хорошее вино, – говорит Медея, слегка улыбаясь.

«Господи, – думает тип. – Сейчас спросит, где».

– Где это мы? – говорит Медея.

«В какой».

– В какой стране, в каком районе?

«А я отвечу: безымянная река, безымянный сад. Она скажет, ну вот».

– Ну, вот еще, – говорит Медея.

«И вы тоже?»

– И вы тоже безымянный сад?

«А скажу-ка я ей в кои-то веки правду, – думает тип в шортах. – Все равно ведь им чем больше говоришь правды, тем меньше они хоть что-то понимают. Им можно выложить всю правду про них, а они даже ухом не поведут, просто не заметят».

– Нет. У меня есть имя.

«Какое...»

– Какое?

– Оно вам ничего не скажет.

«Ну, все таки...»

– Ну, все-таки, удобней будет общаться, – говорит Медея.

– Ладно. Меня зовут Кукольник, – говорит Кукольник.

– А меня Медея, – говорит Медея.

«Где-то...»

– Где-то я про вас слышала.

– Вряд ли.

«А! я вспомнила...»

– А! я вспомнила, – говорит Медея. – Мне про Кукольника рассказывал Эрик. У меня есть знакомый такой. Он говорил, что мы все куклы, а нами правит Кукольник, а кто правит Кукольником, неизвестно.

– Ваш друг прекрасно все понял, – смеется тип в шортах.

«А я думаю...»

– А я думаю, нами никто не правит, – говорит Медея, – я думаю, мы сами по себе свободные люди.

Ладно. Притормозим. Этот тип в шортах, понимаете, он вовсе не тип в шортах, хотя, конечно, вполне является и типом в шортах, но только, как бы это сказать... Офелия, например, выразилась бы в том смысле, что это хрен моржовый, отстой, и закончила бы на этом разговор. И, может быть, была бы в чем-то права. Но ведь я-то Офелию пойму, а вы можете и не понять, потому что мало с ней пока что знакомы. Но даже если и называть его хреном моржовым, то он все равно останется типом в шортах. А если сказать, что он Кукольник, напустив тут мистического тумана, вроде как намекнув, уж не с чертом ли мы имеем дело, то все это тоже будет абсолютным *не про то*, потому что, думаю, о чертах мы с вами знаем не напрямую, а, в основном, из книг, от которых меня, как я уже сказал, тошнит, чего и вам желаю.

В общем, вот что я вам скажу: этот тип в шортах – он и есть тип в шортах, который есть одновременно и Кукольник, про которого я здесь не берусь рассуждать логически. И он же, вместе взятый, этот тип в шортах плюс Кукольник, – он же есть вдобавок и хрен моржовый, который и есть, сам по себе, именно что хрен моржовый. И все это нераздельно и неслиянно, и если вам не нравится моя манера изложения, то наплюйте и не читайте дальше, буду вам признателен – одной книжкой в нашей с вами жизни будет меньше, и слава богу.

37

Понимаете, вот если, например, смотреть на лицо какой-нибудь красивой девушки или не очень красивой, как это любил Ван Гог... Если смотреть на такое лицо, тут первая опасность – застрять на подробностях. Поэтому мы обычно не разглядываем самые мелкие детали, поры, отверстия сальных желез, красноватые пятнышки, волоски, и правильно делаем – там мы лица не увидим. Нам же не поры нужны, а лицо. Одно, заметьте, в единственном числе.

И поэтому мы начинаем разглядывать губы, цвет глаз (тоже пригасив слишком сильный увеличительный эффект, чтобы не мешали красные жилки или рельеф нижнего века), лоб, щеки. Но пока что мы все равно не видим лица. Мы рассматриваем его части, пытаюсь из их совокупности создать лицо. Но дело как раз в том, что лицо не создается из совокупности – лицо создается из того единого, что предшествует этой совокупности, что опережает ее. Можно даже сказать, что то, что опередило эту совокупность черт лица, то ее и создало.

На что же нам следует смотреть, чтобы увидеть лицо? Ну, не на пигментацию, это мы уже поняли. Но и не на рот, нос, брови и т. д. тоже. Хорошо, тогда на что же? Может быть, на овал, включая пряди по ветру и движение губ, выговаривающих, как они вас любят или любят кого-то другого, кого вы не знаете... может, на овал, губы, волосы?

Конечно, можно и на овал, губы, волосы – многие, насмотревшись голливудских фильмов, так и делают, только вряд ли они видят лицо. Они, эти чудачки, думают, что они видят лицо, а на самом деле видят фигу. Все равно они видят сумму красивых скул, красивых глаз и красивых зубов, а не лицо. Лицо – одно. Оно не разлагается на сумму. И его нельзя увидеть, его можно только угадать. И вот, ежели угадаешь правильно, то оно тебе и засияет. И прав окажется Ван Гог – не бывает некрасивых лиц, если ты эти лица угадываешь. Если ты лицо *угадал* – оно всегда прекрасно. Больше того, оно каким-то образом есть и твое лицо тоже, хотя тоже нераздельно и неслиянно.

Одним словом, приходится заключить, что в основное наглядное лицо – совокупность губ, глаз, рта, вложено лицо невидимое, оно-то и есть главное. Знаете, как в дирижабль вложен воздух или гелий – вы его ни за что не увидите. Но вот эти самые черты лица, эта их совокупность и дает возможность нащупать это внутреннее невидимое лицо, соприкоснуться с ним, объять глазами. И если это у вас получится, то вы увидите, что у такого лица, у лица как такового, не может быть рождения и смерти, что оно было всегда. И когда вы от души говорите своей любимой «ненаглядная», вы об этом на миг догадываетесь и даже иногда пытаетесь это выговорить, но слава богу, что не получается ничего, кроме жалкого бормотанья и телячьего мычания. И вот в этот момент вы чувствуете такое родство, что даже почти понимаете, что ваше лицо и ее лицо это одно и то же лицо.

И вам так хочется сблизиться дальше, что вы начинаете обычный и прекрасный процесс разоблачения любимой от всего лишнего и слияния с ней всем смертям назло. И вот тут-то вы и допускаете самую распространенную ошибку. Вы пошли по ложному пути. Вы сходили к проститутке в поисках бога, а не соединились с любимой. А секс дан на то, чтобы подвести вас не к проститутке, а к самому глубокому слиянию ваших лиц и ваших тел и ваших жизней, к тому самому, от которого вы откололись, когда решили сюда придти. Сюда, я имею в виду – сюда, на Землю.

И вот, чтобы зритель не видел совокупности, а видел и угадывал невидимое лицо, настоящий театр надевает на актера маску. И тогда, акт за актом, через пароды, коммасы и строфы, вы идете вместе с Антигоной – не к ее совокупности черт, а к ее невидимому лицу, в котором вдруг узнаете ваше собственное. Этот момент принято называть катарсисом, и это соответствует истине, несмотря на то, что Аристотель объясняет это слово по-другому, ну, да мы за него не в ответе.

Вы спросите, для чего я здесь все это пишу в то время, пока Медя сидит за столиком с Кукольниковом, и хорошо бы сосредоточиться сейчас именно на них. Уж не воображаю ли я, что создаю тут какой-то новый вид литературы, замешанный на отступлениях и болтовне? И я вам отвечу, да, именно так и обстоят дела. Уточню детали. Во-первых, с литературой я имею дело лишь по необходимости и не всерьез, а когда от нее куда-то деться, как, например, имели с ней дело авторы японских пьес Но. Там она не была главной частью события, а служила одной из составляющей общей «совокупности», наряду с музыкой, танцем, ритмом, пением, декорацией, темпом внутри

основного темпа, сообразно со временем дня – иньского или янского, в котором шло представление, и так далее.

И все это – музыка, танец, маска, слова, костюмы – было, как я уже говорил, оболочкой дирижабля, обозначающей внутренний воздух. И если вы теперь представите, что на всей планете воздух только и остался, что внутри этого дирижабля, а вам просто необходимо вдохнуть следующую порцию, чтобы выжить, и вы начинаете понимать, где она находится, потому что оболочка выдает ее присутствие, – вот лишь тогда-то вы и почувствуете, что такое спектакль. Но и что такое ваше внутренне лицо. И то, что вы тогда почувствуете, не будет литературой, факт.

Можно сказать, что то, что я здесь пишу, сочиняю, уродую и бормочу – это повесть о моем и вашем внутреннем лице, если, конечно, вам до него есть хоть какое-то дело. Мне – пока что есть. Потому я и продолжу. И если средства к его обнаружению покажутся вам неформатными и утомительными, я не буду на вас в обиде. Я-то хорошо знаю эти средства, я, можно сказать, с ними сжил-ся, и поэтому скажу, что дело не только в них, но все ж без распорок дирижаблю не летать. Знаете, главное из них – юмор. Не реготанье шашлычников и их полнотелых, как правило, подружек над неведомо чем, а юмор, поймите меня правильно. Об остальных средствах я здесь говорить не буду, к тому же это тайна.

А что касается вставок, дополнительных историй, песенок и скучных отступлений (лучших на свете!), то здесь я могу не без некоторой гордости вспомнить такие не книги, послужившие мне образцами, как «Дон Кихот», «Моби Дик» и «Мертвые души».

Не знаю, как вам, а мне они помогли почувствовать присутствие не только их внутреннего лица, но и своего собственного тоже. И это было как раз в то время, когда на всей планете Земля кислород для меня остался лишь внутри оболочки дирижабля, и больше его не было нигде. Я все обыскал, что было возможно. Я искал даже там, где искать не стоило. Но я ничего не нашел. Абсолютно ничего. Впрочем, это детали.

38

– Одна эпоха не помнит про другую, – сказал Кукольник.

«Как мой Савва, – подумала Медея. – Надо сказать ему, что он эпоха».

Они сидели за одним столиком, было слышно, как у моста шумит вода, и еще иногда трещали, подлетая к веранде, большие стрекозы, будто один жесткий целлофановый пакет быстро-быстро терли о другой, а потом выбрасывали. Медея смотрела на свои облупившиеся ногти и жалела, что их нечем исправить, и еще думала, что от нее пахнет костром из-за ночевки в лесу. Ей нравился незнакомец, и она сказала:

– Я тоже стараюсь много чего не помнить. А зачем?

Она так сказала, а от стрекозы пошла краткая радуга, похожая на рисунок бензина в луже, когда та пронеслась, треща крыльями, сбоку от столика, в солнечном луче, огибая увитый плющом столб, – как вспыхнула.

– Между тем, – сказал незнакомец, – совсем недавно закончилась целая эпоха, о которой вы даже не подозреваете.

– Почему же не подозреваем? Мы подозреваем, – сказала Медея. – Всегда и всех. – Она улыбнулась. – Что за эпоха?

– Я бы назвал ее так, как в учебниках никто не называет. Я бы назвал ее *сентиментальная эпоха*, – ответил незнакомец, глядя на лоб Медеи с улыбкой.

– Я знаю, – сказала Медея. – «Унесенные ветром» я смотрела. Мне один парень показывал по компу. Завлекательная история.

Она опять посмотрела на ногти и вздохнула.

– Там все про любовь. Непонятно, чего они мучаются два часа подряд...

– *Сентиментальная эпоха* началась давно, – продолжил незнакомец, – и достигла расцвета в XX веке. В нем же она и закончилась. Ее суть, в двух словах, заключалась в том, что в жизни людей было что-то большее, чем их собственные жизнь и смерть. Как бы это сказать на романтический манер – за один ваш взгляд я готов отдать жизнь.

- Мне тоже такое говорили.
- Но тогда такое говорили всерьез.
- Мне тоже говорили всерьез, – обиделась Медея.
- И что? Отдавали? – полюбопытствовал молодой человек.
- Мне их жизни ни к чему, – сказала Медея. – Зачем мне их жизни?
- И то правда, – согласился незнакомец. – Куда их девать-то. Продолжим. Началось все это в Европе. Про Рюделя слыхала?
- Дольче Габбана, правильно?
- Нет, раньше, – незнакомец мягко улыбнулся. – Рюдель был трубадуром. Писал песни. Давно, лет семьсот назад.
- Ох ты! – сказала Медея. Ей нравился собеседник – вежливый такой, никуда не торопится, вина не подливает. – Семьсот лет назад, надо же!
- Он влюбился в одну девушку по портрету. Она жила в другой стране – в Африке, в Марокко. Послал ей письмо со стихами. Письмо дошло. И она его полюбила тоже.
- По портрету, что ли? Как на сайте знакомств? А чего сам к ней не поехал?
- Знаешь, ему сначала не очень-то и надо было. Он с ней общался – как бы это выразиться попроще? – в сердце. Писал ей стихи, и от этого становился выше и блаженней, особенно когда совсем забывал про себя и думал только о том, как прекрасна его возлюбленная. Он был готов отдать жизнь за один ее взгляд. И отдал.
- Без шуток, что ли?
- В прямом смысле! Сел однажды на корабль и поплыл в Марокко. По тем временам – путь неблизкий. Во время плавания сильно заболел то ли холерой, то ли лихорадкой. На берег его вынесли, когда уже был в агонии. Она его встречала на пристани, и он увидел ее, как мечтал, поцеловал край платья и умер в блаженстве. А она ушла после его смерти в монастырь.
- Ну почему, почему? – расстроилась Медея. – Нашелся один приличный человек, и тот помер от холеры. Болезнь-то поганая, это когда умирают в собственном поносе с кровью, я знаю, читала, когда санитаркой работала. Вот ведь не повезло мальчику...
- В том-то и дело, что сам он считал, что повезло.
- Незнакомец помолчал, побарабанил ногтями по столу и отпил глоток вина.
- Ему, с тогдашней поэтической точки зрения, удалось, наверное, главное, – продолжил он, разглядывая вино на просвет, – соединиться с любимой, как говорится, в духе. Тело пошло на корабль, повинуюсь духовному зову, как такса за хозяином, но главное было не в теле, главное было за его, если можно так выразиться, пределами. Он полюбил. Полюбил не видя, полюбил по портрету. Он увидел ее глазами сердца – подлинную, простую и прекрасную, так сказать, вне пространства и времени, окутанную пламенем вечности. Тогда это умели. Не все, конечно, но случаи были. Скажем так – у него получилось пройти туда, где возможна встреча с подлинником – подлинником ее и себя.
- Когда меня любят, – сказала Медея, глядя от сильного чувства в сторону, – я тоже встречаюсь с подлинником.
- Она вспомнила, как ее любил Савва на морской гальке, и в мужском туалете, и в сквере рядом с рестораном «Волна», и в душевой санатория «Чайка», и как это было прекрасно, и как она кричала из самой глубокой глубины души и тела
- Да, – сказала она, – я знаю, про что вы говорите. Просто сейчас все немного по-другому.
- *Сентиментальная эпоха*, установка которой была на наличие ценности, превышающей твою жизнь, привела к созданию великой культуры и к мировым войнам, в которых погибло, в общем и целом, не менее ста миллионов человек в одном только XX веке.
- Ох! – сказала Медея. – Ох!
- М-да, – сказал Кукольник и продолжил: – *Сентиментальная эпоха* ценила не столько сам результат действий, а то воодушевление, которое испытывал ищущий этого результата. Поэтому у Жофре Рюделя не было цели обладать возлюбленной, у него уже было все, что он хотел – чистое

состояние возвышенной свободы, сопутствующее такому бескорыстному стремлению. А это и есть настоящая свобода. Любить, а не быть любимым, понимать, а не быть понятым, утешать, а не быть утешаемым.

– Это кто сказал? – Медея почувствовала, что волнуется, но не смогла понять, отчего. Она достала расческу из кармана, покрутила в руках и сунула обратно.

– Франциск из Ассизи.

– Как это не быть любимым? Не хотеть, что ли, чтобы тебя любили? Как это?.. Пусть тебя никто не любит, что ли, а ты, давай, всех люби, что ли? Под всех ложись, что ли? Это неправильно.

– Некоторые считают, что это формула свободы. Но зачем тебе свобода, Медея? Ты ведь даже не знаешь, что несвободна. В этом твоя свобода. И, пожалуйста, забудь все, что я тебе сказал.

– Я свободна, – сказала Медея. – Да, свободна.

– Конечно, – сказал Кукольник, – кто бы сомневался. Конечно, ты свободна, Медея.

– Еще бы!

Они помолчали.

– Принести еще вина? – спросил Кукольник. – Вино хорошее, саперави – сто такого лет не пил.

– Неси, – сказала Медея. Она не шевелилась. Зайчики с речки гуляли по ее блузке.

– Постой! – сказала она. – Постой! Я вот что думаю. Я когда люблю Савву, то мне и вправду хорошо. А когда меня любят, например, придурки с сигарами, мне от этого тоска. Значит, есть тут правда, согласна. Кто это сказал, напомни?

– Один итальянец. Франциск.

– Когда я люблю, – заволновалась вдруг Медея, – то как будто наступает праздник, и мне всех хочется сделать счастливыми, да. И даже того лузера в машине, только бы он свою вонючую сигару выплюнул. А если, наоборот, я жду, что меня полубоят, а меня не любят, то мне тогда жить, вообще, неохота. Есть тут правда, однако, если вдуматься.

– Ага, – сказал Кукольник. – Напала на след. Одной несчастной стало больше.

– Я не несчастная, – сказала Медея. – Когда-то была, а сейчас нет. У меня вон сколько всего.

Она повернулась на стуле и стала смотреть на речку, мерцающую, как фольга, в шевелящихся ветках тиса.

39

Сентиментальная эпоха это мысль, и, как все мысли, она не есть сама эпоха, но лишь мысль о сентиментальной эпохе. Но есть мысли и мысли. Есть мысли о чем-то, а есть мысли *чего-то*. Мысли *чего-то* являются в одно и то же время и этим чем-то и мыслью, как, впрочем, и слова. Слова тоже могут быть *о чем-то*, а могут быть *чем-то*. И это разные по природе слова. И если мысль *чего-то* думать долго или даже не долго, но проникновенно и глубоко, то появится не сама мысль, а то, чем она является, помимо того, что она является мыслью. Можно сказать и так, что любая мысль является молитвой, стремящейся исполниться, но мысль *чего-то* всегда исполняется, причем довольно-таки быстро. Человек, владеющий мыслью *чего-то* (а она включает в себя тождество мысли и этого *чего-то* в полной простоте и уверенности), становится магом и чудодеем. Поэтому мысль, например, о Лазаре, что он не мертв, а жив, обращенная к Началу всего и с Ним слитая, приводит к тому, что мертвое становится живым – Лазарь восстает из смрада и праха и выходит из гробницы, как цыпленок из яйца.

Кукольник это и есть Кукольник, который есть мысль *меня*. Поэтому, можно сказать, что Кукольник, думающий в тексте обо мне, а вернее, *меня*, становится мной и, кажется, мне это не очень нравится, ибо Кукольник персонаж не особо приятный, что-то вроде олицетворения Рока, Ананке, Фатума, Необходимости и т.д. Поэтому его мысль *меня* творит меня причастным к фатуму, року и необходимости. И если я не найду выхода из этой ситуации, то я, скорее всего, напишу еще одну книжку, про которую кто-то, в лучшем случае, скажет, что она ни в п..., ни в красную армию, а я так и буду ходить по этой книжке, несвободный и predetermined, замыкая в ней круг за кругом. Не знаю, как вам это лучше объяснить, но я чувствую, что это просто так и есть, и в объяснениях не нуждается.

Можно, конечно, полубопытствовать, с чего бы это Кукольнику думать мысль *меня*, откуда он про меня вообще знает? Знает! И про вас он тоже знает, потому что он таким был задуман – знать про всех, кто несвободен, про всех, кто ходит по кругу, даже если об этом и не подозревает. К тому же, кто я, как не Кукольник по отношению к действующим в этой истории людям. Ведь это именно я вкладываю им слова в уста, и действия в тело. Вот только интересно, кто их вкладывает в меня для того, чтобы я вложил в них? Обещаю вернуться к этой мысли, потому что в ней лежит возможность освобождения и выхода из страшных кругов страшной Ананке-Необходимости, которой подвластны боги и числа. Но об этом немного погоды. Итак, мои герои...

Вот они-то про меня могут знать только опосредованно, различая меня в образе Кукольника, а тот-то уж знает меня напрямую, а почему, я уже объяснил. Писанина – действие не столь однозначное, как думают, и китайцы, не выбрасывающие на помойку, а сжигающие любой отработавший свое иероглиф в специальных бочках вплоть до начала XX века, знали, что делают, предавая действие уже ненужного слова огню, стихии, из которой оно вышло.

Итак, сентиментальная эпоха есть мысль, как мысль есть дерево, Медея, Кукольник, мы с вами и даже Вселенная, по утверждению некоторых, осознавших этот факт физиков. Но мысль может иметь несколько выражений, даже воплощений, и одно из них – материя, вещество, причем вещество волшебное – то сияющее, как лицо Медеи, то плотное и мускулистое, как загорелые икры Кукольника.

Медея сидит за столиком кафе и флуктуирует. И Кукольник сидит напротив Медеи и мерцает. Медея выходит к поверхности своего тела из Медеи, которая на большей глубине выходит к поверхности своего тела из Медеи, находящейся еще глубже, и так далее, и тому подобное – такой, что ли, фонтан и зарезанная голубка. Но Медея не фонтан, хотя абрис прически мог бы навести на мысли о схожести силуэта. Скорее Медея голубка, а не фонтан, и все же она голубка, расположенная еще глубже в себе, чем фонтан. Хотя чем глубже, тем сильнее.

Мы думаем, что глубина это что-то далекое от нас и до нас не достигающее, а все дело в степени глубины. И если голубка находится в предельной твоей глубине, в самой, что ли, глуби глубин, то ты сразу же становишься голубкой, как только почувствуешь голубку в своей глубине. И ты становишься голубкой, всецело, бескомпромиссно и неотменяемо. Влюбленные знают, что делают, когда подбирают друг для друга ласковые имена, нелепые на всякий трезвый слух, но вызывающие к жизни целый мир щекотных метаморфоз, без которых никакому союзу не уцелеть.

Медея это голубка, а Кукольник сидит за столиком, за которым с другой стороны сидит Медея. И река течет, блестя сквозь ветки тиса, как фольга на солнце. А в глазах Медеи плавают звезды, которых днем не различить, но и Медея, и голубка ткуются отчасти их энергией и втайне это знают. Серебряным облаком, облачной пудрой – миры, Медея, миры. Не зря любит тебя Савва, ничего на свете не происходит зря. А если так и может кому-то показаться, то не верьте ему – вы ведь сами лучше знаете, из чего вы состоите и чем живы.

Медея, голубка, Медея. Сентиментальная эпоха. Сейчас вы поймете, про что это. Или не поймете, я еще не знаю. Интересно бы все же выяснить, кто тут будет это решать?

40

В том году Мзымта обмелела к июлю. Форель ушла в глубокие места, а на распадках поток сверкающей и легкой воды разбивался на множество отдельных ручейков, обходя галечные островки и неторопливо спеша к более узким местам. Там течение опять набирало силу и мощь, вода темнела, приобретала зеленый оттенок и ровно сверкала вниз между двух отвесных каменных скал. Ибо. Ибо глубокая зеленая вода тяжелее, чем сверкающая, потому что у нее есть тело и воля, которой она смотрит вперед вместо глаз. Если человеку удается смотреть волей, вместо глаз, вперед, то и реке такое иногда возможно, потому что – что есть вода, как не продолжение человека, как, впрочем, и камень, и солнце-сердце, и прочие другие, простые невозможные вещи.

– Сентиментальная эпоха может быть религиозной или безрелигиозной, но она все равно замешана на вере, – сказал Кукольник.

Он прикрыл смуглые веки и стал пересказывать содержание тех картин, которые пестрыми и миражными облаками плавали у него в отрешенных глазах.

– Кончалась она после великой победы. Военных тогда любили. Особенно офицеров. Это была народная, не рассуждающая любовь, когда ничего никому не надо объяснять, когда все были – одно, и про военных тоже всем всё было ясно – и мужчинам и женщинам. Офицер был особенным человеком – добрым и заведомо благородным. Он был тем, кто выиграл страшную войну ценой своей крови. Самое смешное, что по большей части это некоторое время, действительно, соответствовало истине.

– Там в холодильнике есть еще лед, хотите, я принесу? – преданно глядя на дрожащие веки рассказчика, спросила Медя. – Вы говорите, говорите, я потом принесу, – спохватившись, оборвала она себя.

– Конец сентиментальной эпохи – это нарядные женщины на танцах в приталенных пестрых платьях, в туфлях на толстых высоких каблуках, в чулках со швом, это духовой оркестр на эстраде, это мужчины в пиджаках с приколотым к лацкану ромбиком значка, говорящего о высшем образовании. Коробки дорогих папирос и пачки сигарет без фильтра: «Казбек», «Памир», «Звезда», «Прима». В квартирах служащих стали появляться телефоны. Коробка шоколадных конфет была серьезным и элегантным подарком. В ресторанах пили густое сладкое вино, смеялись. Но самое главное – это вера в то, что в мире есть бесценные вещи, за которые можно отдать жизнь. Любовь к женщине, например. Или дружба с мужчиной. Или стихотворение. Много читали. Все были словно бы немного гусары, сами об этом не ведая. Все стали на время аристократами, конечно, на свой, особый манер, но что-то такое в них сверкало.

Конечно, это, так сказать, парадная сторона конца сентиментальной эпохи, были еще и другие. Тяжкий труд на заводах и в деревнях, партийные суды, организованные процессы, страх, который никуда не уходил, но, как день у Тютчева, был прикрыт от бездны радужной и пестрой пленкой света.

Кукольник открыл невидящие глаза и снова их закрыл.

– На улицах появились новые автомобили – победы, ЗИМы, москвичи – обтекаемые, словно собранные из эллипсов, беспричинно сигналившие, не переставая; некоторые из них, ЗИМ и ЗИС-110, например, были отделаны внутри никелем и дорогим полированным деревом. Но самое главное – на улицах встречалось много инвалидов. Это были люди или без руки, с закатанным и пришпиленным рукавом, или без обеих ног, путешествующие на доске с шарикоподшипниками, издающими зловещий гул на разгоне, люди с блестящими розовыми, в рубцах, лицами – это из тех, кто горел, – в основном, танкисты или летчики, и, конечно же, тут были слепые, стучащие палочками о тротуар или играющие на аккордеоне где-нибудь в переулке, рядом с портом, в соседстве с серой собакой в ошейнике и с поводком, лежащей рядом с табуретом, на котором разместился слепой музыкант. Большинство из них были в гимнастерках или в старых гражданских пиджаках с приколотыми орденскими планками, но, несмотря на это и на ауру героизма, стремительно выцветающую, они, все же, были больше похожи на свои ампутированные конечности, чем на то, что осталось – на самих себя. К вечеру многие из них напивались, пели песни и дрались с родственниками, если таковые имелись. Их жалели, хоть и стремились почему-то побыстрее миновать. Но получалось не всегда. Их было много. Они были продолжением времени, как дерево, кинотеатр или плакат с изображением Сталина. Все понимали, откуда они вышли и кто их обглодал – да, не повезло человеку... их безразлично жалели. Но в инвалиде была своя святость, своя невинность, свое эдипово мученичество, благословляющее родное им племя, своя, как сейчас сказали бы, смысловая тяжесть. Они были тяжелее обычных людей, они были нагружены войной, запахом железа и пороха. Их обрубленные закатанным рукавом руки были тяжелее любой здоровой, а культы весили больше, чем весь обычный человек. От них пахло потом, табачным перегаром и вином. От них пахло железом. Поверьте, Медя, как только с улицы исчезают инвалиды, люди деградируют. Они больше не стремятся отдать жизнь за женщину или друга. Они больше не помнят, что в жизни есть то, что ее превышает. Инвалиды уходят, как крысы с корабля. Пока они были с кораблем – это

была одна эпоха, когда ушли – другая. Только когда корабль тонет, это видно. А когда тонет весь мир, этого почти никто не замечает.

– Как вы хорошо говорите, – сказала Медея. – Но мир не может утонуть, люди же умные. Ну, не все, конечно, – добавила она, подумав.

– О состоянии мира говорят преступления. Во время сентиментальной эпохи, до войны и после нее возможны были преступления на почве любовной страсти. Сейчас таких нет. Сейчас практически все преступления совершаются из-за денег и власти.

– Откуда вы это знаете? – спросила Медея.

– Изучал историю вопроса, – улыбнулся Кукольник. – Вникал.

Река бежала вниз, потому что она бежала туда, где располагался низ. И рукава ее зеленого цвета напоминали рукава зеленого цвета, а иногда – цвета хаки. И если в узких местах она казалась тяжелее, то потому что эти места были действительно узкими. Они, точно, были тяжелее, чем широкие места. Точно. Лица инвалидов часто были бледными и без зубов, и это тоже точно, а остальные чаще вставляли железные и реже золотые зубы. Это до начала 80-х. Странно, какими бледными были инвалиды среди загорелых курортников. Одежда их тоже была выцветшей, бледной. Почти все они были в кепках. Курортники были сначала в пижамах, потом в белых широких брюках и пиджаках. Но обрубки были тяжелее. Обрубки рук и ног. Они были тяжелее по смыслу и весу. Почти все в кепках. Да. Они были.

Одну часть пространства организовывали удлинёнными воздушными вбросами эллипсы новых автомобилей, другую – обрубки рук и ног. Также делая свой вброс. И они были венерами медийскими и афродитами каллипигийскими. Они были мраморным торсом Аполлона из Ватикана, перед которым ползал, сам как обрубок, Микеланджело, а Рильке писал про этот торс, что его мрамор видит всей поверхностью, словно глазом. Пространство вбрасывалось вовне не простором и площадью, как выходя из собора Петра, втягиваясь им и вытягиваясь на манер капроновых чулок, а эллипсами. Часть живых невидимых эллипсов от обрубков уходила в платаны и пляжи, а часть лакированных и словно подмороженных светом шла на мосты и вокзалы – от автомобилей. Такие странные прозрачные фрагменты воздуха и объема достигали квартир, летних кинозалов и уходили в легкие вместе с дымом папирос «Прибой». Там они жили. Вместе с кровью и словами. Вместе с мокротой и лимфой. Слова говорились разные, и слова пахли никотином и чадом. Еще тюрьмой и наколками. Почти никто не молчал. У каждого было свое слово. Благодаря ему. Зимой топили углем. От подушки пахло мамой, а с крыш в июле капала расплавленная смола, которой латали толь. Из кустов лавра вставали млечные колонны и били фонтаны с фавнами и голыми дриадами для шахтеров. Снег выпадал днем и на следующий день таял. Господи, как же пахло соеной хвоей!

41

Кукольник – это слово кукольник и еще что-то. Все дело не в слове кукольник, а в этом еще что-то. Кукольник этим что-то может знать, а может нет. Кукольник может знать, а может нет. Кукольник, который не знает, это все вместе – Лидия Григорьевна, Юрка Сильченко, Сашка Климов, тренер Чаплыгин, поэт Некрасов, фрезеровщик Николай Васильевич и киномеханик Кикоша. Не считая остальных многих миллиардов людей, чьих имен и занятий я не знаю так подробно, как в случае имен вышеперечисленных. Кукольник, который не знает, что он кукольник, но все равно является кукольником, делая свое управляющее людьми дело в анонимном соавторстве с каждым из них – это бессознательный Кукольник. Но тот, что общается с Медеей и пьет саперави, это осознавший себя Кукольник. Он один и тот же с тем кукольником, который не осознает, просто в случае с Медеей он себя осознает, а в случае с Хабой ему не открывается. В Медее есть что-то. Видимо, глаза. А может, какие-то эротические обертоны. А может, просто ветер в прическе. Что-то. На это что-то Кукольник отзывается самоосознанием и самораскрытием. Он мог бы. Да. Он мог бы раскрыться и как Медея. Она могла бы сказать кому-то, что кукольник это она. Но что-то, наверное. Наверное, что-то произошло с Медеей, что она не стала и стала невозможной для. Того, чтобы

стать Кукольников. Видимо, в ней было что-то, что Кукольнику было не по зубам. Таким образом ему было в ней не по зубам, что он не мог действовать через нее вполне. И это ему мешало. Сначала он думал, что может, а потом понял, что не может. И дело было не в саперави, или речке, или стрекозах, а в том, что было в самой Медее, и это было ему не по зубам, а что это было такое, Кукольник знал и никогда не любил.

«Что-то еще» Кукольника – это Рок. Можно сказать, предопределенность. Видели. Мы видели, как он угадывал. Даже я не могу так угадывать, что скажет Медее, а он может, потому что он Рок. Он может. Мы думаем, что рок это котурны и Эсхил, а это зубная паста и лифт. Но мы все равно думаем. Рок это пыль на полировке и фейсбук. И очередь на оформление багажа. И как шипит банка с пивом.

– Один мастер сказал, – говорит Воротников Савве (отмотаем неделю назад): – Мириады снежинок падают на землю во время снегопада. И каждая ложится на свое место.

Они взяли вина и меда в частном придорожном магазинчике у дороги к Воронцовским пещерам и теперь сидят на лавочке, закусьвая наскоро.

– Как это? – говорит Савва. – Как это на свое? Она что, знала, пока летела, что ее ждет особое место? Она что, на другое не упадет?

– Нет, не упадет, – говорит Воротников. – Она упадет туда, куда ее приведут все эти миллиарды последовательных событий во вселенной, начиная от первой вспышки, образовавшей начало мира. Она не может упасть не на свое место. Когда земля была еще газообразным облаком, эта снежинка уже упала на свое место.

Вино они не пьют. Ждут Витю. Савва не пьет вино, потому что он алкоголик и ходит в программу «12 шагов», а Воротников просто не пьет. Вокруг магазина, который больше похож на нижнюю часть голубятни с окошечком для вылета голубей в вольер, раскидано битое черное стекло, по форме напоминающее сабли. Так и валяется – сабля к сабле, кривые и острые, – во, кто-то долбанулся! – говорит Савва.

– И мы что, как снежинки? – спрашивает Савва через минуту. – Каждый – на свое место? Упал, прежде чем родился. – Он задумывается. – Я вообще-то снег люблю, – говорит Савва. – Особенно на пальмах и на автобусных остановках. Я даже девственность на снегу потерял, можно сказать. Приехали с друзьями на дачу, одна половина теплая, а вторая холодная. Все собрались на теплой, топят печку. Тесно. Ну, мы плюнули и пошли с Вероникой на участок. Снегу по колено, мокрый, скрипит. Я думаю, что с тех пор у меня некоторые особенности сексуальной жизни связаны с тем снегом, – говорит Савва. – Там было холодно, и у нас ничего не получилось. А потом получилось, но не так, как мы ждали. У меня теперь, когда я с женщиной, в глазах снег летит, каждая снежинка на свое место. А когда последняя ляжет на свое место, я тогда понимаю, что женщина это память и что ее надо удержать через непрекращающийся крик и вечный разрыв сердца. И я тогда кричу, потому что знаю, что сейчас не только вспомню, кто я есть, а сейчас я вспомню, кто есть каждый из нас, и даже кто есть птицы и рыбы. И про могилы я тоже вспомню, почему они такие пустые и темные, когда их выкоют, и вспомню, что оттуда вынуто, прежде чем их начинают рыть. Потому что если *это* оттуда заранее не вынуто и не ушло, то ничего вырыть в этом месте невозможно. И в других также. И это не только могил касается, но и мужчин и женщин и снега тоже. Это, можно сказать, касается каждой снежинки, если говорить подробно.

– Я понял тебя, Савва, и согласен, – говорит Воротников. – Но у некоторых людей не так, как у снежинок, хотя у большинства именно так. Так же, как у снежинок.

– А в чем фишка? – спрашивает Савва. Он любит снег и потерял на нем девственность. Однажды он растопил снег ипил его воду, и она была легкой. А еще как-то он катался на горных лыжах и развил такую скорость, что чуть было не улетел в пропасть, но не улетел. Снег очень красивый, особенно здесь, на юге, когда налипнет на фонари, на бордюры фонтанов и отражается в зеленой воде вместе с облаками, или ночью выйдешь на балкон покурить, а там все белое. Никак к этому нельзя привыкнуть. Вчера там была глухомань и сплошная безнадежная чернота, в которой играло попу невидимое радио. А тут выйдешь покурить точно так же, как и вчера, – а там все белое и все видно.

– Фишка в самом человеке, – говорит Воротников, а Савва слышит его и одновременно курит и смотрит на белый снег под балконом, и на крышах, и на склоне горы, и соснах.

И тут с ним что-то делается. Словно в сердце ему падает метеорит, и мозг его разошелся во все стороны, и ничего не осталось, кроме света, понимания и бесконечности. Как это все сложилось и произошло от воспоминаний о снеге, ему не ведомо, да и не хочется знать. Снег, а вернее память о снеге, и все же, да, снег его поднял и опустил. И поднял он одного Савву, а опустил другого. И ему от этого стало одиноко и торжественно, и даже страшно. И теперь ему надо сказать слово, и он его говорит. Ты Бог? – спрашивает сам себя Савва, себя такого, в котором нет уже прежнего Саввы, а появилось то, у чего не бывает ни имени, ни названия. И сам себе отвечает, лязгнув зубами, – да.

42

Блестит битое стекло, похожее на черные сабли, и на нем лежит ослабевший Савва, я все вспомнил, говорит он, и сразу опять забыл.

– Что ты вспомнил, Савва? – говорит профессор и держит Савву за руку.

– Я вспомнил, отчего снег летит и речка бежит, – говорит Савва. – И кто я такой тоже. Только мне, чтобы понять, кто я такой, надо исчезнуть. Это я помню. А остальное забыл. Как меня зовут?

– Савва, – говорит Воротников. – Тебя зовут Савва. Хочешь еще полежать, или пойдем дальше?

– Еще полежу, – говорит Савва, – подумаю. – Он лежит прямо на кривых блестящих саблях и смотрит в небо. Там бегут белые облака, и неба от этого становится словно все больше.

Потом он встает, и они идут разыскивать Витю.

Савву пошатывает, но он хочет еще про снег. Еще про снег и еще. Многие хотят еще. Но Савва хочет про снег и свободу снежинок, которая может оказаться несвободой, если станет человеком или даже им самим, Саввой.

– Рок существует и не существует, – говорит Воротников. – Для человека он может существовать, а может не существовать.

– Мне это трудно понять, – говорит Савва.

Они останавливаются на шатком мостике из деревянных стволов, перекинутых через узкий бурный поток, весь в пене. Савва не хочет смотреть на поток, у него от пены кружится голова. Кажется, что сейчас ноги уйдут в сторону и станут выше его самого. Он хватается за палку в коре и закрывает глаза. Он закрывает глаза и хватается. Савва чувствует шершавую кору в захвате ладони, и захват ладони захватывает головокружение, и оно останавливается.

– Куда же он девается от человека? – спрашивает он Воротникова.

– Для того чтобы существовать, Року нужно время, – говорит профессор, тоже остановившись на мостике и придерживая Савву за предплечье. – Это среда его обитания, это его еда и питье – Время. Это как для грача гусеницы, а для коровы сено.

– В корове живет время, я видел, – говорит Савва, – это мне понятно. А из человека оно иногда уходит.

– Правильно, – говорит Воротников. – Предопределению в человеке всегда нужна жизненная история. Чтобы было то, что предшествует, и то, что следует потом. Сначала стихи про смерть, потом дуэль и смерть, например, как у Лермонтова. Как шестеренки – чтоб одна цеплялась за другую. Одним словом, сюжет, расположенный во времени. А если времени нет, то предопределению просто негде расположиться. Ему не втиснуться туда, где времени нет. Ему недоступно это пространство.

– Я знаю, где времени нет, – говорит Савва. – Когда Медея кричит, время останавливается.

– Время останавливается в жизни любого человека, – говорит Воротников. – Оно останавливается в минуты сострадания, любви и опасности. Но больше всего его нет в минуты молитвы и созерцания. Сюда предопределению не войти. Такой человек ему неподвластен.

– Мне кто-то рассказывал, – вспоминает Савва, – про одну женщину. Ее звали Мария Орсич, очень красивая сербка, член тайного общества Врил, и она построила летающую тарелку в гитлеровской Германии. Для того чтобы улететь на Альдебаран, что она потом и сделала вместе с друзьями в мае 1945 года, им надо было лететь по вневременному каналу. А для этого управлять тарелкой должна женщина, находящаяся в состоянии непрекращающегося оргазма. Я вот так все понял.

– Человек, находящийся вне времени, в области здесь и сейчас, – недоступен для предопределения. Потому что вечность, в которую он попал, это не бесконечность времени, а его отсутствие. И даже тело такого человека становится все менее и менее доступно для времени. И если б оно полностью подчинилось духу такого человека, он бы никогда не умер. Такие люди, как Чжуан-цзы или Иисус, не были подвластны предопределению. Их снежинка вообще не падала на землю.

– Я понял, – говорит Савва. – Понял. Значит, из судьбы можно выпрыгнуть. Вот я и говорю, что нужно это сделать, потому что иначе все очень плохо кончится. Все меньше в городе живого, все больше мертвого. Море отравлено. Люди не любят друг друга. Женщины сначала умирают, а потом уже взрослеют, и так и остаются мертвыми душой. А помните, какая кефаль была в море? А горы? Теперь они застраиваются гаражами, и все живое оттуда уходит. Я помню перепелок на их склонах и как груши цвели. Куда все уходит? И все говорят, что надо что-то делать, но никто ничего делать не может. Ни президенты, ни официанты. Может, они знают, что делать, но, по-моему, ни у кого на это нет сил, потому что они как женщины. Тоже наполовину мертвые. Кто их оживит?

Внезапно Савва умолкает и смотрит в пенящийся поток. Его губы шевелятся, но никаких слов не говорят.

– Надо же, – говорит он наконец, – надо же! Как это я про сербку вспомнил? Про полет на Альдебаран. Еще помню, что эти девушки были очень красивые и ходили с длинными распущенными волосами – говорили, что их волосы собирают космическую энергию, как антенна. Ее подругу звали Траут, помню, надо же... Я все помню, профессор. Сейчас, конечно, забуду, но пока что помню.

Савва выпускает из рук опору и стоит на мостике, покачиваясь на пятках. Он улыбается. Чувство дистанции и танца возвращается к нему. Он даже слегка подпрыгивает на бревнах, приняв боксерскую стойку и улыбаясь. – Порхать как бабочка и жалить как оса, – бормочет Савва, – посылая короткие свинги в воздух. Белый поток пролетает под ним. Он легок, как лимонница. Он ничего не весит. Он как сачок с ветром.

Мы отмотали на неделю назад. Возвращаемся.

43

– А где Петр Васильевич, – спрашивает Воротников у Федора.

– В сортир пошел, – кивает Федор на желтое деревянное здание, покрытое неровным слоем облупившейся краски.

– Хорошо, – говорит Воротников и смотрит в сторону желтого здания. За зданием, в овраге, растут кедры с зелеными шишками, а под кедрами расположились огромные цилиндры цистерн с соляной и бензином. Через овраг идет труба, прямо как мост, исчезая в кроне дикой алычи и снова появляясь уже на другой стороне. На одном из кедров сидит темно-бурая белка. Маленькая, без подбородка.

Воротников идет к деревянному крыльцу длинного барака с раскрытыми, как глаза, окнами и входит внутрь. Он заходит в первую попавшуюся комнату с приоткрытой дверью, видит кресло у раскрытого окна, спинкой к подоконнику, и с удовольствием садится в него. Ветерок с улицы холодит шею. На тумбочке, рядом с другим окном, стоит зеркало с отбитым краем, в котором задержалась сине-розовая радуга. В тумбочке, прикрытой занавеской, стоят книги. Когда по невидимому отсюда небу проходящее невидимое облако, радуга потухает, а потом снова разгорается, медленно, словно лампа накаливания с реостатом. И предметы, кажется, что движутся. Воротников это видит через прищуренные веки. Как движется велосипед с рулем, почти уткнувшимся ему в плечо, движутся два оленя на коврике, все остальное тоже.

Все остальное тоже, потому что предметы. Предметы не могут двигаться или не двигаться сами. Если хоть один двинулся, то и другие. Трудно предугадать, как именно и куда, и в каком направлении, но дело не в свете и тени, а в общем. Письмо от Офелии его встревожило, но сейчас он успокоился. Он знал, что будет делать. Предметы двигались, перешептываясь на своем языке, который собаки слышат, а человек нет. В предметах время может течь сразу в двух направлениях, это зависит. От того это зависит, кто за ними наблюдает. Неправда, что в предметах только одна река и только в одну сторону. Лева любит говорить о предметах в связи с «Божественной комеди-

ей» Данте. Мы его еще услышим. Я так думаю. А то, что здесь есть, я не думаю. Я редко не думаю, но то, что здесь присутствует в комнате, я не думаю. Комната эта есть не в мысли, а она есть сама по себе и даже без слов. Как и профессор, и та молодая женщина, что вошла в двери. Она в голубом ситцевом платье, у нее голубые глаза и красивый рот. Длинные ресницы. Пальма шелестит за окном, и створка окна вздрагивает. По лицу женщины мелькает зайчик. Волосы забраны вверх, белая шея, серьги.

Воротников подходит к ней и обнимает за ноги.

– Что тебе, Коленька? – говорит женщина. Воротников хочет прижаться к ней сильнее, как бы хорошо было! Хочет слиться со всем ее телом – ногами, платьем, запахом, блеском сережки. Как хорошо было бы даже стать ей, и он продолжает ее обнимать и что-то бормочет, что сам не может понять. Она гладит его по голове. Мы сейчас. Мы сейчас, говорит она, поедем. Автобус скоро. Воротников утыкается лицом ей в живот, стараясь, чтобы ему на голову. Автобус скоро придет, а нам еще добираться. Чтобы ему на голову опустились эти прохладные пальцы, в которых он уже. Ничего не забыла, ну что ты. В которых он уже есть и есть. И есть в ситце, и шее, и запахе. Ему не по себя, что эта женщина его принимает. Она его, а вы думаете, что слова. Он мучительно хочет. Как глотка воды потом на баскетбольной площадке с нестерпимым солнцем, и потом, и когда, наконец, кран прямо здесь, у беговой дорожки, открылся со скрипом, он пил, пил, и никак не мог остановиться. Она была в другой комнате. К ней подошел тот человек. И стал. Сначала пуговицы на платье, потом чулки. Легкое-легкое, как перепелка, платье. И тени, как от пера. Да. Как от перепелки. Бледное голое бедро. Подошел и стал раздевать, а она улыбалась. Вот уже грудь голая и руки голые. А за окошком толь на козырьке над входом в котельную, и по ней бежит трясогузка. Похоже, что едет на. Что едет. Да, что едет на велосипеде, так быстро мелькают ее ножки. Бежит по козырьку. Как будто молоко, да. Молоко и прозрачный ситец на школьной парте. Она не кричала, у нее просто. Он потом встал и сказал. С нее. У нее просто остановилось дыхание. А он сидит здесь в кресле, и она пришла оттуда. А тот остался, потому что. А он сидит в кресле, и она входит, а он не видит. Он встает. Она говорит. Встает и подбегает, уткнувшись ей в живот головой и обнимая ее ноги. И он говорит. Она говорит: Коленька. Он говорит: мама! Ему неловко, что она принимает его за маленького мальчика, но он ничего. Она берет лакированную сумочку, щелкает застежкой. Ничего ей не скажет. Дмитрий, зовет она, я го. У нее там своя жизнь, и он не будет вмешиваться. Я готова, поехали. Он говорит, купи мне ножичек, ты обещала. Потом с трудом отрывается от нее и возвращается в кресло. У нее на щеках румянец.

В некоторых предметах время может течь сразу в две стороны – в молочную и каменную. И в том времени, которое течет в каменную сторону, предмет застывает и стареет. А в том, которое течет в молочную сторону, он становится сразу всем – и мужчиной, и мальчиком, и даже грудным предметом, который еще не научился говорить. И поэтому он только блаженно моргает глазами, видя ангелов и искорки, и если к такому предмету притронуться, то за окном обязательно крикнет птичка, и кто-то включит водопроводный кран. Солдата убивает не пуля, а то странное существо, похожее на густые корни высокой травы, которое, прежде чем осколок раздерет кость и вырвет оттуда мозг, опутывает гимнастерку, и кажется, что это было накануне ночью, или даже за месяц до того, но это было и накануне и прямо сейчас, в миг выстрела из танка. И в момент смерти он понимает, что это потому, что время течет в любом предмете в две стороны – в молочную и каменную. И если он понимает это глубоко и ясно, он также видит, что времени нет, и тогда снежинки перестают долетать до земли.

44

Дверь туалета хлопает, на улицу выходит Петр. Идет к умывальнику, моет там. На улицу, идет к умывальнику, моет там, не поймешь, что раньше. Белка смотрит с кедра, зверь без подборodka, моет руки, дверь туалета хлопает. Как в тумане. В тумане все одновременно – расплывчатый свет фонаря, плеск волн, твоя походка. И наоборот. Кто выдумал время, думает Воротников. Кто думает, тот и выдумал, отвечает он сам себе и улыбается. Петр машет ему рукой, озирается, достает носовой платок из кармана брюк, вытирает насуху.

- Странное место, – говорит он. – Где же люди?
- Может, ушли, – говорит Федор.
- Куда?

Джип жарится на солнце, открытые, как глаза, окна дома поблескивают. Марина и Эрик сидят на крыльце и едят черешню. Петр подходит к Воротникову, прячет платок в карман.

- Никогда не забуду, Николай Александрович, вашу лекцию, когда вы рассказывали про мосты.

Воротников не помнит. Поглядев в светлые и даже взволнованные глаза, говорит, что не помнит лекцию о мостах. А Петр говорит – та, где прощание с мостами в японском квартале. Из пьесы «Двойное самоубийство влюбленных на Острове Небесных Сетей».

- Прекрасная пьеса, – говорит Воротников, – прекрасная, Петр Васильевич.

– Вы тогда говорили, почему так важно проститься. Вы говорили, что проститься это значит дать тому, с чем прощаешься, вечно жить. Что прощание это, на самом деле, миг вечности, его актуализация.

– Отчасти так оно и есть, – говорит Воротников. – Как и приветствие. Прощание это просто еще более интенсивное приветствие. Предсмертные записки отрицают смерть. Франсуа Вийон это знал и написал два завещания. В миг завещания или прощания смерть не входит, не может. А пока они их пишут, многие догадываются, что смерть это не то, что они думали. Что жизнь – это открытое окно с пейзажем, а смерть это открытое окно без пейзажа. Одно и то же окно. Сразу *со всем*. Многие не догадываются. Но все равно чувствуют, что такое письмо или стихотворение дают облегчение. Когда умру, схороните меня с гитарой. Товарищ правительство. Не грусти и не печаль бровей. Великое «может быть».

- Пойду-ка я тоже, на дорожку схожу, – говорит Федор. – Ехать пора.

Он исчезает в деревянном здании, хлопает дверь. Белка на ветке, журчит вода, запах хлорки. Нечего слушать всякую чушь. Бла-бла-бла не для Федора – он человек конкретный.

Петр Васильевич полюбил Воротникова. Ему хочется прижать его к груди, но он почему-то не смеет, а почему, знает. Так и с женщиной, так и с вещами, и с чем угодно. Да, с чем угодно, даже в воображении.

Петру Васильевичу хорошо, как никогда, ему даже Наташа сейчас не нужна, а она ждет. На пляже сейчас далеко заплывает. А когда смеется, губы обнажают оскал, от которого делается страшно и жутко, и хочется скорее вжать ее в постель, хоть и понятно, что все это кукольная мимика, кабуки, пионовый фонарь, дом терпимости.

– Удачи вам, дорогой мой! – говорит Воротников. – Спасибо за письмо, как же рад был с вами повидаться! – говорит Воротников. Чудак, действительно рад, и Петр Васильевич почему-то чувствует, что это правда, и как будто они тут не час времени провели, а словно бы неделю или даже больше. Ему радостно и легко, и он не хочет уезжать.

– Я... мне... – говорит он Воротникову, но фраза не складывается, и ее тоже почему-то нельзя закончить и сложить, как и обнять Воротникова. – Мне бы... я бы... Эх!

Тут Петр Васильевич молодецки машет рукой и идет к джипу. Ему и радостно и обидно, он думал, что разговор получится душевный и неторопливый, глубокий такой разговор, о котором он давно мечтал, и только сейчас про эту мечту понял, а его словно бы взяли и вежливо выпроводили. Впрочем, конечно же, его никто не выпроваживал, он это понимает, но все равно осадок остался. А вот о чем он хотел спросить Воротникова, о чем поговорить? Да, наверное, о самом важном для человека, о том, о чем он и себе боится сознаться.

Впрочем, иногда все происходит само собой. Да, само собой, думает Петр Васильевич и успокаивается. Вот в чем дело, вот оно – все происходит само собой, как в японском театре Кабуки, где действием руководит карма, а актерами – озарение.

Дверь хлопает, джип трогается, звонко хрустит гравий под колесами, и они медленно вырывают на грунтовую дорогу.

Воротников стоит на поляне. Ему надо побыть одному. Уйти и побыть одному. Ему надо под землю и на небо. Ему хочется дерева и рыб. Но еще больше того, откуда они пришли. Того, откуда

да дерево, рыбы, бабочка, Офелия и весь остальной мир. Откуда умывальник, и белка, и толь на крыше. Откуда мосты и речки с отмелями под ними. Откуда левиафан, и шакал, и холм. Ему нужно окно.

С мостами он прощался с набеленным лицом, с красными губами, иногда в слезах, но редко. Прощайте!

Верещагинский мост (Театральный), рядом с которым, со стороны «Светланы», он спал на железной койке в бамбуковой роще, и по вечерам к нему приходил брат. Рассказывал, как весной компанией они ходят с обрезом, залезая в горные дачи – выстрел в замок, металл разлетается, музыка, вино, мебель, неумелые сексуальные игры. Сидели на койке, пили портвейн из одного стакана. Через год погиб от наркоты. Просто упал и умер. А бамбук шумел по утрам, и сейчас его можно расслышать тоже. Слышен первый утренний автомобиль. Свет сквозь ресницы. Прощай, мост.

Мост в Джубге, где хотели ставить палатку во время дождя. Поставим под ним, сказал его друг, прямо на берегу. Но почему-то не стали. На следующий день шли в магазин – внизу, под мостом, бурлил поток из-за ливней в горах, и ты подумал, что бы было с вами, спящими в палатке, когда хлынула вода.

Мацестинский мост с поворотом к Агурским водопадам и загородным кафе, где ты сидел и пил коньяк, ты был загорелый и легкий в то лето, а потом заиграла такая музыка, какой ты больше никогда не слышал. И ты пошел к музыкантам, как зачарованный, бросив подружку одну за стойкой.

Ривьерский. Ты вернулся тогда на родину после 10 лет отсутствия, и вы с другом шли через белый и длинный, спустились вниз по каменной лестнице, и там цвели акации, а на море был шторм, и вода на языке была опять соленая. Прощай.

Хостинский, где внизу здание железнодорожного вокзала, а подальше, между опорами, выгороженные и забранные железной сеткой теннисные площадки. Ближе к вокзалу кафе со столиками, прямо под мостом, в виду железнодорожных рельс. Ты там сидел с очень красивой девушкой, совсем молодой музыканткой и пил кофе, рассказывая ей истории, которые она перескажет тебе через двадцать лет. Слово в слово. Всякую чепуху. А когда по мосту сверху шел грузовик, то шум был, как от большой штормовой волны. Блестели рельсы под солнцем, и отсвечивала белая табличка на вагоне – «Днепропетровск – Adler».

Железнодорожный мост через Сочинку выше по течению – вы шли по нему с женой, ты искал последнего родственника в этом городе, держа записку с адресом в руках. Но адрес оказался старым, вы никого не нашли, а мост со стороны походил на ржавого динозавра. Низкий автомобильный мостик над Хостой, в районе Воронцовки, в горах. Вы стояли на нем, соображая, куда пойти, и пошли вниз по течению, по правому берегу, пока не вошли в тисовую рощу со свисающим с ветвей до земли зеленым мхом. Сырое дерево, полумрак, зеленые, одетые в мох стволы. Река, блестя сквозь ветки, делала тут поворот и рядом с обрывистом берегом в бочаге стояла глубокая зеленая вода. И ты скинул с себя все, что было, и бросился в нее, едва выдерживая оглушительную ледниковую свежесть.

И на парапете или поручне каждого из мостов сидит ледяная бабочка. Вполне живая. Вполне может вспорхнуть. Морда твоя размалевана, и губы красные. Глаза тоже.

Прощайте, мосты.

Мы идем. Держась за руки и бормоча куплеты. Кохару, Дзихэй. Оборачиваясь на мосты освещенные, отраженные. Освещенные бумажными фонарями, на Остров Небесных Сетей. Вместе с этим воякой идем, как его, Клейстом. С поэтом и фройляйн. Двойное самоубийство, захватывающая форма чего? Близости? Но нет – разделения. На то и небесные сети – задержать осколки. Не дать потеряться. Ни мостам не дать потеряться, ни островам. Ни тем, кто на них – живой или мертвый. Один или с подругой, удушенный или зарезанный.

Мост рядом с Лоо, где в устье стоят катера, и кто-то выловил на уду Левиафана, а тот светился целую ночь, пяля глаза и пророчествуя, а наутро издох.

Поезд стоит, ты просыпаешься, в купе ничего не видно. Но ты знаешь – оно там, за окном. Отдергиваешь занавеску. В сумерках стоит море. Как смутное зеркало, только живое.

*

Ты помнишь, сколько мы тут? говорит Эрик. Я не помню.

К чему тебе, говорит Марина. День за днем.

А где Воротников, говорит Эрик.

Ушел, говорит Марина, но он придет.

У Марины, когда она смотрит в окно с веером пальмы, фиалковые глаза.

Если фиалковые глаза, значит снег белый. Значит, что он растает к марту или даже вообще не выпадет. Каждый раз со снегом не угадаешь. Он может значить одно или значить другое, он может даже ничего не значить, а может быть, и снега-то никакого не было. Но глаза у Марины при этом остаются фиалковыми, это факт.

45

– Какой человек, – говорит Петр Федору. – Умница! Окружил себя дебилами. Карьера, лучшие девки по нем сохнут! А эти – гы-гы! И откуда он этих бомжей берет? Главное, что за интерес? Тупые, неразвитые, не моются. От них воняет.

– Ничего не воняет, – говорит Федор.

– Воняет, – говорит Петр, – я до сих пор запах чувствую.

Это все равно, куда они едут, потому что через час они приедут туда, куда хотели. Петр будет целовать белые колени Наташи, слегка обожженные солнцем, а Федор пить пиво с друзьями-качками за домом, под шелковицей.

Через семь лет шелковица упадет и с асфальта двора исчезнет черное пятно от ягод, которое начинало шириться в конце июля, достигало максимума к 10-м числам августа и постепенно выцветало к концу лета. Как будто дышал фиолетовый негр с огромной грудью и живущий не во времени людей, а во времени деревьев, где все медленнее.

У деревьев тоже несколько времен и даже несколько пространств. Есть такие деревья, из которых рождаются боги, и их ветки растут больше вовнутрь, чем наружу. А есть такие, которые прорастают внутрь так далеко, что их боги могут сделать на земле, что хотят – надо только наступить в такое черное пятно от раздавленных ягод лунной ночью и пробормотать заклинание. Заклинанием может быть все равно что – любое слово, даже матерное. Вот почему у друзей Федора все складывалось, пока шелковица росла, а когда упала, перестало складываться. Все думают, что просто время стало хуже, но время всегда не очень хорошее, но пронизано лучами счастья, а вот то, что это произошло от богов, никому не пришло в голову. И еще. Бог это не то, что вы думаете. Потому что, как только вы начинаете думать, Бог исчезает. Так что либо вы думаете и вы сами с усами, либо вы не думаете, но такого я не видел в последнее время. Есть находки, и есть ошибки. Есть открытия, и есть заблуждения. Есть истины, и есть ложь. Одна из истин, остающаяся истиной вне зависимости от перемен всего остального, звучит поэтому так – бог это не то, что вы думаете. НЕ ТО. ЧТО. ВЫ ДУМАЕТЕ. Да. Теперь правильно.

– Ничего не воняет, – сказал Федор, отпивая пиво. – Хотя, конечно, народ дебилный, слабосильный народ, химеричный, кроме этой девчонки с круглой попкой, Марины. Надо было спросить у нее телефон. Ладно, дом ее я запомнил.

46

– Дай послушать, – говорит Витя. Николай передает Вите наушники и тот втыкает в уши рок-н-ролл. Узкая тропинка сбегает вниз, они идут по ней в сумерках, один за другим.

– Знаешь, Николай, – говорит Витя, – не надо было Элвису соул петь, ну, все эти медляки.

– Факт, – говорит человек-лось. Он стал еще корявей, развесистей и мощнее. В небе зажглись звезды, зыбкие, как желе. Звезды светятся в его прозрачных наростах, как дно в медузе. – На медляках он себя терял, точно.

– Он себя от жратвы потерял, – сказал Витя. – Ему худеть надо было.

– Может, и надо, – говорит Николай. – Ему кодеин не надо было жрать.

– А он кодеин жрал? – спрашивает Витя.
– Жрал, – говорит человек-лось.
– Откуда ты знаешь? – сомневается Витя. – Я кодеин тоже жрал, ничего особенного.
– Ты не так его жрал, как надо, – говорит Николай.
– А он, значит, жрал, как надо?
– А он жрал, как надо, – ставит точку Николай. – Но медляки он мог бы и не пить.
– Да, медляки у него беспонтовые, говорит Витя. – Смотри, что за дом? Одно окно горит. Знакомый какой-то дом...

47

Когда собираются вместе – это значит пир. Это значит радостная встреча, слово пир. Все собираются и радуются, потому что встреча во время пира радует, и иногда пир даже предшествует встрече, на которой он и проявится как настоящий пир. Иногда пир уже есть, хоть ты и не знаешь, с кем именно он проявится – с философом Померанцем или с блондинкой, похожей на Марию Орсич, но тогда, когда ты встретишься с кем-то из них, тебе будет очень хорошо, будто внутри тебя заиграла музыка. Вроде той, из-за которой Перикл узнал Марину, но это я пишу не для всех, потому что тут надо знать коллизию.

В общем, про Марину – это необязательно. Про пир тоже необязательно, и вообще ничего не обязательно. Все зависит, что для тебя главнее. Если читать Шекспира, то и тогда Перикл обязательно, и если хочешь знать про музыку, то тоже. Считается, что многие вещи обязательны, но они не самые главные. Например, образование, профессия, деньги. Все это вранье. Самые лучшие вещи – необязательные. Лечь на берегу озера и смотреть в небо. Или ехать ночью с крутой и длинной горы Бытха на велосипеде пьяным и дать себе слово, что ни разу не нажмешь на тормоз. И так и сделать. Или идти с другом по шпалам до станции Лоо, где есть магазин с вином, а потом вернуться на станцию Лесная, где вас ждет Хаба, а рядом с ним на гальке пляжа жарятся под солнцем подводное ружье и ласты. Выпить вина с друзьями, а потом надеть маску и нырнуть в волшебное небо-щесее стекло, расступающееся перед тобой медузами, зеленухами и рапанами.

В доме с окнами собрались вместе на пир. Как в Театре Памяти, о котором я еще расскажу. Пир был немного печальный, вот почему. Сначала в дом пришли Николай и Витя, а через час Савва с Левой. И, что интересно, вышли к дому тоже случайно, решая, был ли Элвис инопланетянином, и споря о том, где он похоронен. Потом откуда-то появилась Медея. А еще через час, уже под утро, хлопнула дверь и в коридоре появилась Офелия с профессором Воротниковым. Она была грязная, в изодранной рубашке, со спутанными волосами. Но еще плачевнее выглядел профессор. Казалось, он был не в себе, и то ли был сильно пьяным, то ли избитым. Рубашка его была в бурых пятнах засохшей крови, и лицо тоже. А изо рта и носа кровь еще текла, и остановить ее у Офелии не хватало сил. В коридоре она прислонилась к стенке и дальше не пошла, но бессильно сползла вместе с Воротниковым на пол.

– Хорош, пришли, – хрипло сказала Офелия. – Эй, кто-нибудь там, люди!

Эрик выскочил первый, охнул, захлопотал, позвал Марину. Профессора перенесли в одну из комнат и уложили на кровать.

– Его бы вымыть, – сказала Марина.

– Кто это его так? – спросил Савва у Офелии.

– Не знаю, Савва, таким нашла. Наткнулась над поселком, где лечебница. Высоко. На опушке лежал.

– А он живой? – спросил Лева. – А то я не уверен.

Марина принесла таз с водой и вытирала профессору лицо мокрым полотенцем.

– Кровь надо остановить, – сказал Витя. – У кого есть вата? Если засунуть вату в ноздри, то кровь перестанет.

– Ну-ка поднимите его... Не смотри, Лева.

Но Лева смотрел не на профессора, а на Офелию.

– Ты Офелия? – спросил он. – Которую мы ищем?

Леве, действительно, смотреть на грудь профессора, с которого Марина стянула рубашку в за-
пахшей крови, не стоило. Никому не стоило. Марина, закусив губу, промокнула кожу и прикрыла
профессора пледом. Тот открыл глаза. И снова закрыл.

– Блин, не узнает, – сказал Витя. – А ты как там оказалась, сбежала от них, что ли, – спросил
он Офелию.

– Сбежала, угадал, – сказала Офелия и стала гудеть.

– Ты чего гудишь, Офелия? – сказал Витя.

Офелия не стала отвечать. Все они, чудачки, мало что понимают. Им бы только вопросы за-
давать, к делу не имеющие отношения. А Офелия была раковиной, и не так, чтобы взяла и пре-
вратилась в раковину, а даже наоборот – раковина превратилась в Офелию, не теряя при этом ее
очертаний, но скрыв на время свои. И когда Офелия почувствовала, что раковина превратилась в
нее, то она поняла, что самое главное сейчас – открыть рот. И она открыла рот, и туда вошло гу-
дение, а потом вышло оттуда снова. И если оно вошло туда сдержанным и неслышным, то вышло
так, словно раковина стала огромной, способной вместить всех людей, но уже неживой, потому что
живые раковины копят гул, но гудеть начинают только после смерти. А Офелия зато была живой,
правда, думала, что сейчас умрет от гудения, которое сначала было нестерпимым, и было слышно,
как запричитали в истерике шакалы в темноте ущелья, а потом залаяли собаки, и в окно удари-
лась летучая мышь, потерявшая ориентацию от этого гула, – но потом стало мягче, бархатистее.
Офелия стояла и гудела, как иногда завывает ветер в щели, и сама она чувствовала себя сплошной
прорехой и щелью и ждала, когда дверь сорвет с петель, но, кажется, профессору это стало помо-
гать. Лицо его из синего стало светлым и даже начало розоветь. Дыхание перестало быть хриплым
и выровнялось. Тогда Офелия перестала гудеть и выбежала на крыльцо. Она перегнулась через
перила и ее вырвало прямо в темноту.

– Тебе помочь, Офелия? – спросил Лева, выбежавший вослед. – Ты правда Офелия?

– Я турецкая княжна, родственница поэта Жуковского, – сказала Офелия.

– Тебе, наверное, плохо, – сказал Лева.

– Мне хорошо, – сказала Офелия. – А где тут кран с водой?

48

Савва протянул руку, а она не двигалась, а он еще раз ее протянул, нагоняя кровь внутри би-
цепса, как поршень, чтобы она стала двигаться. И она стала двигаться, когда он решил, что уже
никогда ничего не двинется, если это рука.

Он понял, что рука будет двигаться, если только мысли будут ее не обгонять, а если они будут
бежать так быстро, как до сих пор, то сколько бы он ни думал, но рука от этого все равно не дви-
нется.

Или двинется, а мыслям все равно будет казаться, что она не двигается, и прав Лева. Хорошо,
сказал Савва, надо, чтобы рука и мысли двигались с одной скоростью.

Потому что если мысли будут идти слишком медленно, то рука начнет двигаться все быстрее и
быстрее, как у бабочки или великого Али.

Но тогда будет не мучительно, а просто работа. Даже если танец. А если мучительно, то невоз-
можно, чтобы это не стало блаженством, когда остановится.

Савва знал про это, но не знал, почему.

Я хочу обнять тебя, Николай, – хотел сказать Савва. – Я хочу вытянуть к тебе руки от всей
своей души и всего сердца, и пусть это мучительная работа для моей души, но от этого словно бы я
кручу тяжелое колесо, и зажигается свет, а колесо становится легче.

Но он не смог этого сказать, а просто медленно помурлыкал и даже совсем ничего не сказал.
Первое же слово Я стало развиваться, как падающий метеорит – сначала он долго летел между
других планет, озираясь на бесконечные просторы, среди которых его, считай, что и не было, но
никогда не надо сравнивать.

А потом он вошел в стратосферу Земли и стал пронизывать всю толщу воздуха, азота и углекислого газа, светясь и раскаляясь все больше и больше. Наконец он стал одним сиянием и воткнулся в землю, разорвавшись на свет и камни.

Камни лежат на земле долго. Некоторые погружаются в землю, а некоторые всплывают на поверхность. За это время сменяются цари, империи, леса, климаты и президенты.

Пока Савва произносил Я, оно летело, не ведая себя, потом загорелось, упало и разорвалось на свет и камень, и стали сменяться климаты и президенты, а Я все еще длилось йотом и звуком А.

Савва понял, что этого достаточно для того, чтобы Николай понял, что Савва его любит, и оставил звук идти так, как тому хотелось.

К этому времени мысли его стали намного медленнее, потому что пошли по кругу, а точнее, по кругам с одним центром. Но часть прозрачных мыслей вошла в Саввину руку, и он подумал, что рука больше похожа на клешню или крыло большой птицы в полете, и как он этого раньше не понял.

Я-я-я-я, – говорил Савва, словно мычал, словно недавно Офелия, но не пел, а мычал. Его руки стали больше, чем раньше, а потом еще больше, и теперь они были словно из живого стекла.

Савва думал, что это ему не снится, но, наверное, его кто-то так видит – тот, от которого Савва принял когда-то жизнь, и Саввины родители тоже приняли от него жизнь, и Саввины друзья тоже.

Саввино тело теперь было из горячего живого стекла, и ему никуда не нужно было торопиться, как, например, дубу или снегу в поле тоже не нужно торопиться.

Савва подумал рукой, что ей не надо дотрагиваться до Николая, чтобы его обнять, потому что это будет перебор движения и излишка, а вот, думал Савва рукой, я только тронусь в путь для объятья, а оно уже совершится, потому что недообъятье всегда полней самого полного объятья. И рука, застеснявшись своего движения, лишь прикоснулась к плечам Николая и застыла в воздухе, немного отойдя от них, словно Николай был сделан из такого же хрупкого и небьющегося стекла, что и рука Саввы, а он и был сделан.

И тогда Николай тоже протянул к Савве руку навстречу и так и застыл в своем медленном движении, плача и светясь от счастья, но так, чтобы ни другие, ни сам он на это не отвлеклись, а жили своим разумом, который теперь совпал с их телами.

Все они стали ангелами и раками из стекла и кружились в хороводе.

Такой хоровод, что про него сказать?

Про него нельзя ничего сказать, потому что такой хоровод противоречит законам грамматики. Законы грамматики и весь другой мир с его беготней, кожистыми телами, едким парфюмом, деньгами и вонью подмышек из-за дезодорантов разных стран и производителей двигались в одном пространстве и сопологании предметов друг с другом, а такой хоровод – это же совсем другие вещества, плотность и время. Потому что в хороводе времени не бывает, какой же там конец или продолжение может быть.

Хоровод – хоровод и есть.

И все вещи в хороводе, те, которые туда вошли, вещи и есть. Например, в хороводе Лева это Лева, а бабочка это бабочка. Но тот, кто смотрит на них со стороны, понимает, что они теперь стали другими, и их современный модус уже старым обличем и скуластым лицом не выразить, хотя бы и самым прекрасным.

И поэтому он видит их так, как не может их видеть грамматика, потому что эхо ей противоречит. А чтобы за грамматику хоть как-то зацепиться, да, чтобы указать на слова, а слова указали бы на хоровод, тот, кто им дал жизнь, видит их так же, как они сейчас видят сами себя.

А Марина видит себя расширенными клешнями из стекла, которые больше крылья птицы, чем клешни, или как их рисуют на стенах – архангелов Михаила или Рафаила.

Живое стекло дышит в ее груди, и она чувствует себя словно птица жаворонок, которая, взлетев к синему живому стеклу, изнывает там от блаженства, рождая стеклянные трели. Так и Марина.

Они сидят вокруг стола в бараке – прекрасные, невиданные. Живые искры или даже светлячки просверкивают теплыми точками в их жарком стеклянном составе, который уходит так глубоко

внутри каждого тела, что нет ему там конца. И если пойти вослед за составом плеча Марины или бицепса Саввы, то пройдешь в самое синее небо, а потом еще в одно – Луны, а потом в зеленоватое с золотом небо Венеры и дальше, и дальше. До самых тех мест, которые попробовал когда-то описать Данте, и еще дальше.

И там Марина остается все той же Мариной, и там ей так же, как и здесь сейчас, рядом с Офелией и Эриком, нет никакого отличия, потому что отличия могут быть, а их может и не быть. Тут каждый сам для себя решает. Потому что все они одно. И даже со звездами и друг другом.

Савва знает, что отличие, как слово, можно сказать, и оно проявится, а можно промолчать, и тогда они будут одним живым стеклом на свете, и если это Бог, то Бог. А если это крыша барака, то она тоже из живого стекла, но они из живого стекла больше, потому что в них все равно течет обшая алая кровь и движется дыхание. И ради них по всем звездам и мирам течет одна и та же алая кровь и движается их общее с каждым солнцем дыхание.

И Витя начинает говорить слово про Элвиса, и оно переливается в стекле, и Витя знает, что оно началось еще до Вити и Элвиса, и все равно его может сказать только сам Витя. И тогда получится разговор и дружба.

А если смотрит тот, кто им не близок, то может увидеть их как компанию, которая сидит за столом, усталые люди в выцветших тряпках, а чему-то радуются. Но им близки все, и поэтому они могут выглядеть, как хочешь. Так ведь и везде случается и устроено.

Кто-то ангела видит с когтем, как Леонардо, например, а кто-то с крыльями, а кто-то говорит, что сказки.

Если пойти в магазин промтоваров, что напротив мясного, там тоже много стекла, но не такого. Различия есть, но их устраиваем мы сами. Например, один и тот же человек может сделать стекло живым или мертвым. И не только стекло, но и даже себя самого. И не только себя самого, но и другого тоже, как, например, киллер Василий Симон, который, выйдя из тюрьмы, уже через 40 минут убил человека.

Но потом он понял, что к чему, и тогда потянулся к живому. Дыхание его разума стало более глубоким и чистым, он смотрит на звезды, и если смотрит долго, то и те начинают оживать и проносить свой первый нескончаемый звук первого слова, в котором скрыты все остальные слова всех народов людей и животных и даже рыб, вот только бы его разобрать. Иногда он думает, что разберет, а иногда отчаивается и идет покупать женщин. Но потом каждый раз он возвращается сам к себе и к тому живому, что в нем все равно растет навстречу небу и земле.

– Й-й-й! – говорит Савва. – Й-й-й-й! – И рыба в зеленом бочаге двигает жабрами, а Серега Сидоров заряжает подводное ружье. Там сразу три пары резинок для дальнего боя. Все разом не натянуть. Сначала одну, потом вторую, потом – третью. Вот теперь можно нырять.

48а

Поскольку в этом году я родился. Дело, конечно, обычное, и не заслуживает большого внимания. Внимания заслуживает другое. Внимания заслуживает одна упускаемая из виду вещь, Крис. Рождаешься ведь все время – каждый момент, что ли. Момент это одна миллиардная секунды. Вот мы и рождаемся заново, а потом снова ухаем в область между этой и следующей одномиллиардной секунды. Хорошо бы знать название этой области, я тогда смог бы более доходчиво объяснить тебе идею. Но я не знаю. Потому что на всех языках оно разное. Давай прибежем к слову Бытие. Внеформенное бытие, соответствующее сфере Бина Древа Сефирот, что ли. А точнее, – Айн Софу, но прикоснуться к этой области дано лишь великим прозорливцам, я не претендую.

Все творение с его лесами, горами, утками, рыбами и волками – мерцает. Оно есть, и его нет. Более того, чтобы быть дальше, ему, творению, нужно каждый миг (одну миллиардную секунды) омыться в живой воде (Не)Бытия. Если оно не омоется, то загрязнится и начнет болеть. Иногда мне кажется, что несколько раз такое уже случалось, но выравнивалось.

Интересно, что почувствовал Авраам, который туда заглядывал? Вот он заглянул, а теперь стоит у себя в Мамре и видит, как мерцает. То он есть, и в тот же момент его нет. Тут он понимает, что в

нем должно быть что-то такое, что не мерцает. Что тело, и руки, и губы, и ребра его могут мерцать, исчезать, быть и не быть одновременно. И волосы, и зубы, и красная печень, и детородный орган, и старческие икры. И есть, и нет.

Но он видит и то, что есть всегда, не мерцающая, а наоборот, расширяясь. Он не знает, как это называть, это потом придумали, что у еврея три души – звериная, человеческая и божественная. А он пока не знал. Но те, кто знают, часто не видели, а он видел.

Он видит это и говорит, скажи мне твое Имя, а в ответ тишина. И тогда он настаивает и снова спрашивает, скажи, мне свое Имя. Он еще не понимает, что спрашивает себя самого, но уже почти понял. И тут вспыхивает снова черный свет, в котором он все видит и слышит заново. И сам себе Авраам отвечает – Я есмь Тот, Кто есмь.

А Савва стоит как-то на берегу озера и смотрит в бинокль на стаю незнакомых птиц, похожих на соколов или ястребов. Но те стаями не летают. А увидеть, как следует, ему мешает встречный свет. А птицы летят все выше и выше, удаляясь от Саввы, делая короткие мощные взмахи черными крыльями, потому что летят против света. Семь или восемь птиц летят рядом. Взмахивая почти в такт.

Савва долго смотрит на них в бинокль и ждет, когда они соприкоснутся с линией горизонта или сядут. Но они не садятся, а просто уменьшаются. Мощные, с волчьими мышцами птицы, едва двигая крыльями – становятся все меньше и меньше, но не пропадают, уходя и погружаясь в синеву.

И Савва понял, они не сядут и, скорей всего, не сядут никогда. Потому что садятся птицы с именами, а это птицы без имени, и куда они летят, никто не знает. Соль, например, растворяется в воде, а они становятся небом, потому что не сядут, становятся синевой, не растворяясь.

Так и смотрел, пока рука не устала, и он переменял позицию, а когда поднял бинокль снова, то больше птиц не увидел.

Он посмотрел в бинокль на синие и серебряные волны, казавшиеся рифлеными при сильном увеличении, поймал в фокус чайку над тем берегом, гребущую против ветра, сложив крылья с черными концами почти под острым углом, но это было не то.

А те птицы ушли.

Когда вспоминаешь что-то по имени, Крис, то оно подстраивается под свое имя. Может, и нехота, но подстраивается. И все это привычно и благодушно. Или опасно, но понятно. Или громко и тупо. Или шепотом, но зазывно. Все равно подстраивается.

А те птицы были без имени. Некому было их уловить. Вот они и пошли вверх без посадки. Нельзя сказать, что исчезли, потому что сейчас одновременно с Саввой они ищут своей тишиной прикоснуться к его тишине. И Савва это понимает, что так вот бог ищет прикоснуться к самому себе. Еще не выговаривая имя этого прикосновения, разошедшееся потом на Савву и птиц без названия.

49

– Савва, поди сюда, – говорит Офелия. – Дело есть.

Они выходят с Саввой из дома с открытыми окнами в ночь, под звезды, которые похожи то ли на стадо овец, то ли на блох внутри их темного и глубокого руна.

Офелия смотрит на Савву, отражая его, как колодец небо, только если у колодца есть дно, то у Офелии в глазах дна нет, а лишь сплошное сумрачное пламя ходит туда-сюда. Савва видит. Они стоят под фонарем, и Савва видит смуглое лицо Офелии, шею с наколкой в виде бритвы и непутевую синеву в глазах.

– Он говорит, что сам поранился, но он не сам поранился, – говорит Офелия, – я видела.

– Кто это его? – спрашивает Савва, и мышцы его напрягаются.

– Слушай, я сейчас тебе все расскажу, Савва. Только ты сразу все забудь, хорошо? Тебе ж пофигу, помнишь ты или нет, а мне рассказать все равно надо, а не то сгину. Чего-то трясет меня, Савва, смотри.

Савва смотрит и видит, как ее колотит, он уже давно заметил.

– Говори, – отвечает Савва.

– В общем...

Офелия смотрит на Савву, что-то мычит себе под нос.

– Не могу...

– А ты продолжай, – говорит Савва и глядит на нее пусто и светло, как в той встрече, когда он нокаутировал Кита Холмса в первом раунде.

– Черт, черт!

– Говори!

– Ладно. Никто меня не похищал, Савва. Я пожила немного в горах у знакомого мальчика-чечена. Тачку хотели с ним купить, в Париж съездить на тачке, у меня там родственница. Мне очень жаль, Савва. Вот так, в общем.

– И что? – говорит Савва и смотрит на нее все так же пусто.

– Что – что?

Офелия отрывисто свистит, как ночная птица, и замолкает. Невидимая птица отзывается с горы, говоря: Иак! Иак! Иак!, и Офелия снова свистит, а потом продолжает:

– Я написала письмо, что меня надо выкупить, и отослала. Потом мне от этого стало погано, и я ушла. Думаю, приду, расскажу, дядя простит. На хрена мне тачка, Савва? Ты сам-то подумай головой! Ее ж заправлять надо, чего-то там мыть, менять – на хрена мне эта история? Мне это даром не надо, Савва! К тому ж у меня права просрочены. Тимур этот тупой оказался, все бентли да бентли. Я говорю, покажи мне зимородка, Тимур. А он говорит, а чито этта такое? Бентли, хочишь, завтра покажу? Не с тем я связалась. Как ты думаешь?

– Не с тем, – говорит Савва жестко. – Продолжай.

Офелия лезет в карман, распечатывает жвачку, сует резинку в рот.

– Тьфу, – говорит она, – слюны у меня нет. Короче, спускаюсь по темноте, ногу подвернула, кроссовку разодрала, черт! У поляны возле здания шум, смотрю, бьют кого-то ногами. Я одного узнала, он тут в наркоманском центре отлеживается, на реабилитации.

Офелия полезла в карман.

– Смотри, что у меня есть, – говорит она Савве. – Хочешь, дуну? Это судейский свисток. Мне подружка подарила – носи, говорит, с собой, чтоб не изнасиловали. А когда изнасиловуют, свисти. Это она шутит, дура. А кто меня изнасиловал, Савва? Ты, что ли? Но я все равно взяла. Видишь, пригодился. Их как ветром сдуло, а бедолага, которого били, пытается на ноги встать. Я говорю, ты кто? Живой? А он говорит – девочка, посиди, вон под тем деревом. Я пошла и села, послушалась. Черт, черт, черт!

Савва смотрит на нее и включает внутреннее зрение. Иногда оно у него включается само по себе, а иногда по желанию. На ринге оно включалось само, и тогда Савва видел на секунду раньше то, что должен был сделать противник, а потом, когда он это делал, Савва уже доставал его прямым или крюком левой. Сейчас он идет за словами и видит, как избитый Воротников, покачиваясь, идет к большому камню с краю поляны и там садится и начинает что-то бормотать. Савва видит, как ему делается все хуже и хуже, как изо рта и ушей течет кровь, и как со лба тоже течет кровь и заливает ему разбитый глаз. Держись, хрипло говорит ему Савва, не падай, стой – еще есть шанс выиграть. Оботрись и вставай.

– Чего ты там мычишь, Савва? – говорит Офелия.

– Это я не тебе, – холодно отвечает Савва, – продолжай, не останавливайся.

И Офелия рассказывает дальше. А Савва, словно двигаясь по рингу, видит боковым зрением какую-то пакость за спиной у профессора, огромную, черно-серую, и она растет так быстро, что не понятно, кто она и где закреплены ее очертания. У самого Саввы такая пакость однажды была, хотела забрать жизнь, когда он сильно напился и лежал один, а она за ним приходила, но Савва начал молиться, и она ушла. Савва молился редко, но тут почувствовал, что его душа под взором пакости отрывается от лопаток с мясом, и что он больше не он, и стал молиться. Потом закричал и потерял сознание.

А сейчас пакость росла, как дерево, за спиной у профессора – словно огромная, неимоверная пиявка, достающая головой до луны, а другим концом до нижних солнц и лун, которые от нее гасли. Странное и дебелое тело чудовища было понятно Савве и страшно – оно состояло из всего плохого, что когда-либо сделали люди – из убийств, предательств, кровавой блевотины, изнасилований, смертного ужаса и обмана. Саввина доля там тоже была – он видел.

Девочка не видела пиявку, а Савва видел, он хорошо знал, что это за пакость, потому что она к нему уже приходила, но он тогда отключился, не успев ее разглядеть. А теперь он ясно видел ее беспредельную мощь и силу, наводящую ужас и оцепенение на душу, и это при том, что ничего своего у нее не было – все ее тело ей дали и продолжали давать люди при помощи своей подлости и изворотливой податливости на подлость и чужую боль и кровь.

Огромная, великая, разрушающая все живое дебелая туша, убивающая невидимым серым взглядом и вынимающая жизнь и волю из сердца... это люди кормили и растили ее.

Савва знал, что голос его рядом с пакостью не громче, чем писк комара, а жизнь – невидимка и пух. Было понятно, что профессор почуял чудовище. Он развернулся и уставился на исполинскую тварь, окутанную мощью и ужасом, похожую на фальшивый мужской член, не переставая чего-то бормотать. Из пор на лице у него сочилась кровь, но он не отводил взгляда. Он все бормотал и бормотал разбитыми губами, перебарывая конвульсию, сотрясающую тело.

– Держись, брат, – хрипел Савва, – держись. Главное, не отворачивайся, друг, смотри на нее!

Сам Савва глаза давно уже закрыл, потому что людям не дано выдерживать нестерпимый ужас. Потому что ужас бывает разный. Есть ужас, который человеку можно выдерживать, и такой, который выдержать не сможет никто. Савва снова попытался открыть глаза, но у него ничего не вышло, словно их склеили скотчем или его вырубил на ринге так, что он уже больше ничего и никогда не мог. Из рта у него потекла пена. Он пытался лягнуть ногой, но ног у него тоже не было. Он понимал, что все же мог бы попробовать еще раз открыть глаза и попытаться помочь профессору, но не стал, потому что не смог.

А когда он открыл глаза, а Офелия продолжала рассказывать про все, что там было, он опять увидел профессора. Тот лежал в позе бегуна, согнув колено, у камня с выемкой, словно для стока жидкости, и здесь Савва вспомнил, что Витя недавно что-то рассказывал про этот камень и про пиявку. Лицо у профессора было серым, рубашка в крови, а ноги подергивались, но глаза были открыты. А пакость исчезла.

А Савва теперь понял про себя главное – что он трус, и, когда надо было биться до конца, чтобы спасти друга, он сломался, выкинул полотенце и остался в безопасном углу, как предатель, и даже девочка помогла профессору больше – подперла и дотащила сюда на себе. И тут гудела и помогла ему не умирать и жить дальше.

А профессор глаз не отвел, а значит вошел в самое тело пиявки и был там три дня среди криков, сияний черного огня, отчаяния людей и их слепых хрипов. Среди всего дерьма мира, которое эта тварь хранила в себе, потому что оно было ее жизнью. Вошел, а потом вышел. А мог бы и не выйти.

Ведь ты был там, Савва, пока она рассказывала, каким-то дивом был там с ним взаправду, хоть и трудно понять, как такое могло случиться, но в том-то и штука, что оно случилось. Ты был там, друг, и ты мог бы помочь. Но ты не помог.

– А что он там такое бормотал? – спрашивает Савва у девочки.

– Имена.

– Какие имена?

– Не знаю. Имена. Твое там тоже было.

– Мое?

– Да. И мое тоже. Много имен, очень много...

Савва думает. Потом говорит:

– А как ты узнала, кто он такой?

– У него паспорт был, говорит Офелия, – в рубашке, в нагрудном кармане.

Савва смотрит вокруг себя, и все ему кажется каким-то смазанным. Он вообще-то редко в жиз-

ни плакал, считай, что и не плакал вовсе. А тут вроде бы и заплакал, но не обратил на это внимание. Просто ту поляну он видел, считай, что отчетливо, а тут все смазлось, небо, и деревья, и лицо Офелии, и фонарь.

– Ладно. Ладно, – говорит он, – идем в дом.

И берет Офелию за руку.

– Ты только забудь, Савва. Забудь, блин, все, что я тебе тут рассказала! Ты обещал, учти!

– Конечно, забуду, – говорит Савва. – Я всегда все забываю. Не сомневайся.

Ему хочется пить, он спускается к ручейку под сосны, пьет из-под крана, потом сует голову под струю воды и садится на землю. С волос течет за шиворот, и Савве это приятно. В тени дерева его словно бы и нет. Он сидит и слушает, как разоряются цикады из оврага. Красивое пение, думает Савва, очень даже. Хорошо бы профессор поправился. Струя воды, которую Савва забыл завернуть, бьет в жестяное дно умывальника. Савва вытягивает ноги. Так ему удобней. Так ему почти что хорошо.

50

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ СОЧИ

Номер	Станция отправления	Время отправления	Станция прибытия	Время прибытия	Примечания
Автопаром Сочи- Трабзон	Сочи	00:00	Трабзон, Турция	00:00	Рейсы выполняют турецкие автопаромы. Касса «СВС Шиппинг»: (8622) 609-617, касса «Кивитур»: (8622) 609-702 Время в пути – 12 часов. Средняя стоимость проезда от 1500 до 3000 рублей
Комета Сочи- Батуми	Сочи	12:00:00	Батуми	18:00:00	Отправление: среда, суббота. Начало посадки: 10:00-11:00 Телефон кассы: 609-622 Бронирование билетов: 8-918-409-12-96 МПК «Экспресс-Батуми» Время в пути – 5-6 часов. Справка (8622) 609-603
Комета Сочи- Ново- российск	Сочи	17:00:00	Ново- российск	20:30:00	Отправление ежедневно (кроме четверга) из Новороссийска в 08:00, из Сочи в 17:00 Время в пути – 3,5 часа. телефон кассы: (8622) 609-622

Клуб Элвиса Пресли

Комета Сочи- Трабзон	Сочи	14:00:00	Трабзон, Турция	19:00:00	Отправление понедельник, среда, пятница. Начало посадки: 12-30-13-00 Отправление в 14-00 Время в пути – 4 часа 30 минут. Отправление с причала №1 Телефон кассы: (8622) 609-865
Морские прогулки на катамаране «Дагомыс»	Сочи	11:00, 12:30, 14:30, 16:00, 17:30, 19:30	Сочи		Время прогулки – 1 час (с 11-00 до 17-30). Стоимость билета – 300 рублей. Дети с 3-х до 12-ти лет – 150 рублей. Вечерняя прогулка 2 часа (19- 30). Стоимость билета – 450 рублей. Дети с 3-х до 12-ти лет – 250 рублей
Морские прогулки на т/х "Гагра"	Сочи	начало рейсов 10:30:00	Сочи	окончание рейсов 22:20:00	Время прогулки – 1 час (с 10-30 до 22-20). Отправление от мелководного причала. Билеты в кассе №6
Теплоход Сочи- Батуми	Сочи	12:00:00	Батуми	18:00:00	Отправление по средам и субботам, время в пути 12 часов. Отход из Сочи в 12-00, начало посадки в 10-00 на причале №1 Теплоход «Экспресс- Батуми». Время в пути – 5-6 часов Справка: (8622) 609-603

Порт это порт, когда зайчики отсвечивают с воды и бегут по лицам, чайки горлопанят, и понимаешь, что всегда можно уехать. Можно уехать в Батуми, а можно в Трабзон. Бывает, что очень устанешь, и тогда хочется сделать что-то необычное – либо выпить, либо уехать. Лева один раз чуть не уехал, но все же не смог. Он спустился сюда и ходил вдоль ошвартованных катеров и буксиров, и ему было здесь хорошо. Ему всегда нравились девушки в шортах с загорелыми ногами, но не очень сильно. Он как будто приносил сюда свою ночь и менял ее здесь на день и запах арбузной корки, которая и была настоящим Трабзоном. Т.е. Трабзон это не обязательно Трабзон, а он еще и арбузная корка, и Левино детство, когда он приходил сюда с мамой. Лева пошлялся по причалу, пиная ногой причальные канаты, а потом влез на буксир, где работал матросом его друг по школе. Корма буксира качалась, и по лицу друга бежали зайчики. Лева не стал тогда уезжать, но Трабзон

сохранил у сердца, и теперь тот рос и грел его, как купленный билет на теплоход, отплывающий в самое настоящее путешествие, в которое можно уплыть сразу, как только Лева того захочет. Но он никому про это не рассказывал. Порт у каждого – свой, как и дорога в платанах, или заветное слово, или башмаки.

51

Профессор выздоравливал две недели. Это еще до Батюшкова. До ночи, в которой он встретился с Батюшковым в Обществе живых. В общем, он выздоравливал две недели, но из этих двух недель он выздоравливал не все дни, потому что в некоторые из них ему становилось хуже. В эти дни память Саввы совсем уходила, как все те женщины, которые и были памятью Саввы, но не задерживались около него, а рано или поздно исчезали из его жизни. И когда они уходили, Савва оставался один и совсем без памяти. Профессор тоже оставался без памяти несколько дней, но потом снова ее находил и снова терял.

Однажды в комнату пробралась собака и стала слизывать кровь с кожи профессора, которая все сочилась из пор и никак не могла остановиться. Вошла Офелия, закричала страшным голосом, и собака, раздирая занавеску, выскочила от ужаса в окно. Офелия села рядом с профессором на кровать и посмотрела на его бледное лицо с полумертвыми глазами. Потом она посмотрела на его руки и плечи, наклонилась к нему и стала слизывать кровь, вместо собаки. Вошел Лева и спросил, что ты делаешь, Офелия. Она сказала – Лева, собака не дура. Она знала, что делала. И Лева понял и сказал, ты молодец Офелия. Ты лучше, чем собака, и я тебя люблю. И с того дня Офелия часами сидела у постели профессора и слизывала кровь, выступающую у него из пор. Она была соленая и горькая. Офелия ее сплевывала, потому что знала, что там яд. Через десять дней кровь остановилась.

А на одиннадцатый день Батюшков, проходя по Невскому после посещения знакомых, у которых в воспитанницах жила А.Ф., девица чрезвычайных достоинств, увидел, как навстречу ему идет профессор Воротников и смотрит на проспект с редкими экипажами сосредоточенно.

– Вы меня звали, Николай Александрович? – спросил Батюшков.

– Господи, господи! Как же я рад вам, если бы вы только знали! – воскликнул Воротников. – Как же вы кстати, ей богу! Как же вы...

Тут Воротников сбился, потому что давно хотел встретиться с поэтом и задать ему несколько вопросов, но не для того, чтобы получить правильные ответы, которые все равно не могли быть правильными, как и все ответы, данные тебе в словах, а по другой причине. Он хотел спросить Батюшкова так, чтобы вместе с ответами на словах ему отвечали не только слова Батюшкова, но и сам Батюшков как человек, не отличный от Луны, кузнечиков и Бога. И чтобы под словами Константина Николаевича слышалась речь самих предметов и животных, которые бы обнаруживались не сами по себе, а как всеобщая связь всех остальных, мыслимых и немислимых миров, звезд и кораллов, какие только можно себе вообразить, и даже тех, которые вообразить, в общем-то, нельзя. Потому что Воротников верил, что Батюшков и есть ответ на его вопросы. Потому что только человек, написавший про Мельхиседека с ошибкой, а про Гальциону с непонятной путаницей, а про дом Вяземского, который в буре бед исчез, написавший столь безупречно, – только он мог быть таким ответом.

– Константин Николаевич, – сказал Воротников, – ваши стихи и есть моя жизнь, как птичка на заборе. Мне их читала прабабушка, которая выучила их наизусть в царской гимназии.

– Знаете что, – я преклоняюсь перед вами, профессор, – сказал Батюшков. – В вашей жизни, как в крике петуха, нет уже ни одного отдельного звука. Вы постигли, постигли то, что многие ошибочно интерпретируют как безумие. Знаете ли вы, а вы, конечно же, знаете, что Минотавр и Афина – одно и то же? Что ужас жизни и зияние смерти одно и то же лицо ликующего божества?

– Я знаю, – сказал Воротников. – Но когда-то я думал, что этого достаточно.

– А вот и нет, милый друг! – вскричал Батюшков и подпрыгнул на одной ноге. – Вы думали, а думать недостаточно. Надо делать, да, делать, вот в чем секрет! Надо плевать и кусаться, влю-

бляться и сходить с ума, – подпрыгивая на каждом слове, словно играя в классики, декламировал поэт. – Влюбляться и кусаться, плевать и брыкаться... И умирать от неразделенной любви, и опрокидывать ночной горшок, и ронять пищу мимо рта, и распускать слюни до пола – и быть жалким и строгим! Жалким и строгим!

Здесь поэт остановился и угрюмо посмотрел на Воротникова. Но тут же беззаботно рассмеялся и продолжил считалочку:

– И плакать из-за юбки, и плакать из-за юбки! И в убогих словах, и в убогих правах, во всхлипах картечи расслышать священные речи. И больше не лопать картошку, не гнуть поварешку, а спятить не понарошку! Да, спятить не понарошку, но ради! Спяченный человек гуттаперчив вовек, и не ради б..., а ради тетради!

Теперь он не смотрел на Воротникова. Он подпрыгивал, как кузнечик, и напевал свою считалочку. Его стройная фигурка в цилиндре с каждым подскоком удалялась от Воротникова, двигаясь между фонарей бесконечного Проспекта, перспектива которого в конце концов сливалась с мошкаррой звезд. Перед тем как исчезнуть, он оглянулся и посмотрел на Вороникова серьезно и строго.

– Вы же, профессор, больше я, Батюшков, чем я сам, – сказал он ему. – И сами это знаете. Или хотя бы догадываетесь. И даже в божественной игре в перевертыши от меня не укроется главный игрок и изобретатель самой игры. – Тут поэт счастливо расхохотался и запрыгал на одной ножке дальше, напевая про тетрадь и юбку, покуда не исчез, растворившись вместе с концом проспекта среди звездной путаницы, а Воротников очнулся и сел на постели.

Потом он спустил ноги с кровати. Он улыбался. Гальциона вилась за кораблем, зимородок срывался с утеса, а морские чайки кричали в Сочинском порту. Если кому непонятно про Гальциону и чаек, я могу объяснить.

Чайка, когда летит вперед, то летит назад. Это не философия Гераклита Темного, а потому что, когда вы смотрите на нее в окуляры бинокля при сильном увеличении, а ваши руки слегка дрожат, то она там так и прыгает – то вперед, то назад, едва удерживаясь крупным телом в поле зрения. Так всегда бывает, когда смотришь на чайку в бинокль.

Косой дождь идет по пирсу, длинными ногами соскальзывая в море, а короткими барабана по плитке причала.

Такие дела.

И с белизной и с сажей.

52

Два дня они поднимались по горным тропинкам, переходя на узкие грунтовые дороги, осененные деревьями с гнездами омов в ветвях. Потом спускались по таким же дорогам, чтобы перейти ручеек или речку покрупнее, и Савва залезал в каждую из них, не раздеваясь, чтобы смыть пот и усталость. Медея прыгала в ледяные струи, раздевшись до трусиков, и поэтому Лева и Витя отворачивались, а остальные привыкли.

– Офелия, что вы на него надели? – спросил Николай, продувая клапаны трубы и косясь на Воротникова, одетого непривычно ярко. Остальные смотрели, как Савва плещется на ледяном мелководье.

– Классная рубашка?

– Где взяли?

– У Эрика в рюкзаке была. Ему из Англии прислали. И штаны тоже.

Николай снова глянул на Воротникова, стоящего на берегу в оранжевой рубашке и красных брюках, будто бы неподвижный костер.

– А чего прайсы не срезали?

Когда налетел ветер, многочисленные картонки и ценники, висящие на одежде, трепыхались в его порывах, делая профессора Воротникова похожим на дерево.

– Забыла.

– Надо бы срезать, – сказал Николай.

Когда они с Витей блуждали в этих местах, то сделали открытие. Не только то, как воскрешать людей при помощи музыки, но и про Савву. Они тогда наткнулись на одно особое место и одного особого человека, и Витя понял, что Савве вернуть память женщины все равно не смогут, хоть он и продолжает в это верить.. Но Савве можно вернуть память таким образом, что ему не придется каждый раз ее терять, когда от него будет уходить его подруга, и потом из-за этого искать новую. Потому что такие приходы-уходы, даже без проблемы с памятью, запросто способны превратить человека в дебила, а Витя не хотел, чтобы Савва страдал. И поэтому теперь он вел народ к тому месту, на которое они с Николаем набрали две недели назад и где Вите открылось, как помочь другу.

Пещера – это углубление в горе. Чтобы была пещера, нужна гора. Углубление вперед – это ущелье, углубление вниз – это пропасть или канализационный люк, может, балкон с края. Углубление внутрь – пещера. А углубление внутрь внутренности – яма в яме или Бог.

Пещер на свете мало, а углублений много. Если бы не было углублений, не было бы ни кошек, ни собак, ни ракушек. Все думают, что углубление это выемка, отсутствие чего-то, а Витя точно знает, что углубление это присутствие простора в тесноте, вокруг которого теснота начинает оплотнеть, превращаясь в ракушку рапаны или в гору вокруг пещеры. Витя даже иногда думал, что как труба закручена вокруг пустоты и из этой пустоты вырастает, так и человек. Человек тоже растет из точно такой же пустоты, из которой растет блестящая матово труба с тремя клапанами. Дальше Витя думать не хотел, потому что боялся свихнуться.

– Нашел, – крикнул Витя, оглядываясь назад. – Сюда!

После крутого спуска по склону горы им открылась усыпанная хвойными иголками поляна, поросшая редкими лиственницами, на которой высился небольшой сарайчик, а за ним тропинка уходила словно бы прямо в разлом в скалистой породе, смотрящий на них своей черной глубиной.

– Вот они, пещеры, – сказал Витя. – Пришли.

Он подошел к сарайчику с выцветшим и обвисшим зеленым флагом над ним и постучал в дверь. Дверь отворилась, и на порог вышел бледный гигант.

Ну, ладно, еще пару слов.

Люди бывают слоны и шерстистые. Еще по категориям – длинноглазые и плоскозрячие, но это потом. И вообще не про глаза. Шерстистые – это хорьки и кабаны – мощные и пронырливые, внутри ргутные, на поверку туповатые. Не сами, конечно, хорьки, а люди, которым они соответствуют. Среди них много достойных. Прекрасные любовники, чуткие торгаши, успешные менеджеры и сенаторы. А еще есть люди-слоны. Маленькие и большие. В них есть мудрость, вот смотрите.

Слон с розовыми глазами. Из него, как и из горы, растут невидимые в его случае деревья и свешиваются блуждающие корни. Его можно принять и за гору при теплом освещении, и за человека. Он инерционен и медлен телом, но мгновенен внутренними прозрениями от края одного космоса до края другого, словно молния, капающая бертолетовой огненной солью, и синими взрывами валящая деревья с ног. Среди них, слонов, сенаторов и торгашей не бывает – неподходящая порода. Таких людей долго не замечают женщины, а когда заметят, то это уже навеки, и тогда они даже после смерти тоже идут за ними в поисках медленного вечного тела и ослепительного огня.

Но Федор еще не знал, кто он такой и про слона тоже. У него одно стекло в очках было с трещиной, и от этого глаз казался перерезанным, как в кино. Он сказал, здравствуйте, вот тут можно сесть.

Напротив сарайчика была сколочена длинная скамейка вдоль длинного, серого от времени стола.

– Я картошку варю, – сказал Федор и ушел в сарайчик. Потом появился оттуда с кастрюлей, из которой шел пар. Кастрюля была тяжелой и полной, Федор поставил ее на стол. Из кармана брезентовых брюк Федор вынул пачку соли, а из другого зелень. Витя накидал на стол пластмассовых тарелок. – Угощайтесь, – сказал Федор.

Про угощайтесь вы все знаете сами, мне тут нечего добавить. Вспомните запах пара над картошкой и как иголка падает вам в тарелку, а вы вынимаете ее руками, и пойдем дальше. Дальше

сказано по привычке, потому что никаких «дальше» или «перед» на самом деле нет. А вот иголки есть. Еще есть пещеры, птицы, и банка блестит на солнце. Еще Федор стоит в отдалении от обедающих и переговаривается с Витей. А Витя тычет пальцем в сторону Саввы, сгорбившегося в мокрой одежде над пластмассовой тарелочкой. Он ничего не ест, все что-то пытается припомнить, и от этого похож на идиота. Федор тоже смотрит на Савву и что-то такое про себя прикидывает, словно отчасти сомневаясь. А потом говорит: ладно. И кивает головой.

– Ладно, – говорит он, Федор, снова, – можно попробовать, пусть идет.

– Я тоже с вами, – говорит Офелия.

53

– Россия живая жидкость, – сказал Николай туристу, приехавшему только что на джипе. Они сидели за деревянным столом и ели картошку, а на туристе была красная бейсболка с прозрачным козырьком и рубашка цвета хаки. Джип он оставил сверху, на дороге, красный борт его просвечивал через ветки.

– Простите, не понял, – сказал турист.

– Живая жидкость. Она пульсирует, расширяется и сужается. Она заливается в ямки и углубления, в Сибирь, Аляску и Среднюю Азию, и там тоже пульсирует. Как живая ртуть.

– В Средней Азии уже никто не пульсирует, – сказал Витя. – Там уже нет России. Там Америка пульсирует пополам с джихадом.

Он достал сигарету, встал из-за стола и отошел покурить.

– Она заливается, как речка по наклону. А потом там лужи. Они или высыхают, или объединяются в Сибирь. Или в Крым. Или в Кавказ. Европа – это всегда усилие вверх, покорение вершин. Гитлер там, или Наполеон. А Россия – она разливается.

– А ты помнишь, как на керосинках готовили? – спросил Витя. Он опять подошел к столу.

– У меня есть керосинка, – сказала Марина. – На всякий случай. Иногда на три дня электричество отключают. Еще у меня утюг есть чугунный. В него можно наложить раскаленных углей и гладить. Ох, и тяжелый!

– Правильно, – сказал Николай. – Есть медленные вещи, а есть быстрые. Утюг из чугуна это медленная вещь, как звезды двигаются или растение растет. В медленных вещах еще остался эликсир жизни, а в быстрых – одна имитация. В быстрых ничего нет – одна скорлупа, что в еде, что в сексе. Фаст-фуд.

– Какие же вещи, по-твоему, быстрые? – спрашивает Эрик. – Он порозовел, похорошел, глаза у него блестят.

– Короткие мысли, – говорит Николай.

– Короткие мысли? – говорит турист. Он, что называется, не въезжает, хоть ему и очень хочется быть тут своим.

– Ага. Короткие мысли, которые не достают до неба. Типа дурак – сам дурак. Или у всех деньги, и у меня будут. Или – моя жена сука.

– Про жену это интересно, – замечает Эрик.

– Ага. Короткие мысли – это такие мысли, что ткнут ковер вымышленной жизни. И короткие вещи им подыгрывают. Усилитель вкуса, усилитель скорости, усилитель оргазма, усилитель скорости чтения. Автомобили с электроникой, самолеты, кока-кола, презервативы со вкусом клубники, телевизор в маршрутке, хот-доги, биг-маки.

– А помнишь, фонари были круглые на мосту? – спрашивает Витя. – В них еще мошкарка набивалась. Вот, вообще!

– Что ж, самолеты плохо, что ли? – говорит турист. – А что за длинные мысли? – спрашивает он, перебивая себя и не дожидаясь ответа.

– Про самолеты потом, – говорит человек-лось. – Но, в основном, самолет это короткая мысль, а не длинная. Длинных мыслей почти не осталось.

Витя смотрит куда-то над бейсболкой туриста, шевелит полными губами и продолжает.

– А короткие – это нахамил тебе чувак, и хочется сразу дать ему по морде. А ты не даешь ему сразу в лоб, а думаешь. Потому что дать в морду сразу – это уже много раз было, и жизнь от этого не становилась лучше.

Он тоже лезет за сигаретами, с трудом протискивая руки в белых буграх в карманы.

– О чем же думаешь-то? – нетерпеливо интересуется турист.

– О том, что возлюбил своего врага, – мрачно отвечает Николай. – И эта длинная мысль тебе не нравится, потому что короткая мысль всегда сильнее по видимости. Но только я знаю – черепаха растет 300 лет, а убить ее секунда. Так и с деревьями и с людьми. Жизнь медленна, а смерть – быстрая штука. И тогда я думаю, что сейчас попытаюсь его полюбить. Как черепаху. Или дерево.

– Ты, Николай, осторожно с любовью, – говорит Медея. – Никто не знает, что это такое. Все говорят, а никто не знает. Может, любовь это подводная лодка или какой-нибудь камень? А может, она вообще шлепанец.

– Любовь, – говорит Николай, – это самая длинная мысль, потому что она не реактивная. И она даже не мысль вообще. А весь остальной мир – реактивный. Вот, например: один говорит другому: Козел! – А тот ему отвечает: Сам козел! Или мужик говорит: Трахнемся? – а ему говорят: Пошел в ж...! Или он говорит: Трахнемся? – А ему говорят: Трахнемся! Но все это не имеет значения.

– Чего это ты все про трахнемся? – замечает Витя. – Мало ли кто с кем трахается или не трахается. Вообще! Расскажи лучше про длинную мысль дальше.

– А кто кому говорит, не понял, – встревает Лева. – мало ли что они говорят. Мало ли что человек скажет. Может, он не так все понял. – Лева волнуется, и ноги его под столом трясутся.

– Длинная мысль достает до Бога. – говорит Николай. – И через нее Бог достает до тебя. И тогда все дерьмо уходит, и ты играешь музыку. Причем играешь, как будто с закрытыми глазами муху на лету ловишь, только не один раз поймал, а раз за разом ловишь, на каждый такт, понял? А чуваки потом балдеют и не понимают, чего это с ними тут только что было. Говорят, чего это было, Николай? А ничего не было! Николай тут не при чем, потому что нету тут никакого Николая, в том-то и фишка. Ни Вани, ни Пети нету, ни Виктора Петровича – без вариантов, бэби! Одна только музыка без фигур. А чао бамбино сорри уже не прокатывает, забудь!

Витя берет две ложки и начинает барабанить по столу. У него хорошо получается. Он увлекается и вводит сразу два ритма, один идет метрономом, а второй рифами. Всем делается хорошо. Мне тоже делается хорошо, Крис, когда Витя играет. Я думаю, что хорошо это не главная часть жизни, но интересная. Рыбам не бывает, например, хорошо или плохо. Им всегда – так. Вот и мне тоже бывает так, когда Витя барабанит по какой-нибудь коробке ложками или пальцами. Потому что Витя может постепенно весь перейти в пальцы и там жить, как будто кроме пальцев и коробки от него ничего не осталось, а так оно и есть. А вот еще, Крис, про трахаться. Когда от людей ничего не остается, и они перешли в прозрачный воздух, как будто по сходим на парохода на берег, тогда трахаться не бывает, а бывает шлепанец, или камень, или подводная лодка, как догадалась Медея. Они входят в ряд довольно-таки интересных и медленных отношений, порождая мягко вспыхивающие волнообразные и ароматоподобные смыслы. То жестче, то более и более нежно. Они давно уже стали прозрачными, а вернее, ни шлепанца, ни подводной лодки больше не стало, а стали отношения, в которые они могут войти, как, например, Меркурий с Нептуном или первая четверть луны с черепахой на Мадагаскаре, или расстояние между обнаженными бедрами при их полном исчезновении, – вот видишь!

Когда от человека остается главное, то его вообще не видно. Ни ему самому, ни окружающим. Может остаться ритм ложек, барабанищих по коробке, и немного пальцы. А может ничего не остаться. И когда ничего начинает проявлять себя в мире, то понимаешь, что это и есть твое основное тело, про которое ты забыл, а оно как изгородь в росе или утро с пивом на мраморном столике, когда виден мост. Я это к тому, что в твоём невидимом теле есть все, что хочешь. Только фишка состоит в том, Крис, что, войдя в него, тебе уже не захочется какой-нибудь короткой дряни, а захочется самого лучшего, например, луны в окошко и бутылки «Гамзы» на полу, когда рядом с тобой светится женщина отраженным лунным светом и своим собственным внутренним, и вы молоды и беспечны, и в комнате пахнет масляной краской от подаренного холста.

Вот что, Крис. Я, пожалуй, сболтну тебе сгоряча одну штуку. Штука, Крис, в том, что вся боль и страх, которые нам сопутствуют по жизни, и иногда даже по жизни вполне удовлетворительной, – не более чем фантомная боль от этого ампутированного короткими мыслями невидимого тела нашей жизни.

– А помнишь табачный павильон на спуске? – говорит Витя. – Помнишь, как там пахло? Вот это запах, вообще!

54

Слушайте, хотите, я вам опишу льва или сочинский порт. (Похоже, что это Эрик писал. Или профессор.) Или как девушка входит в холодную воду озера и останавливается, и ей кажется, что на нее надели холодные чулки. А лев, он сам из себя, тесного, освобождается, выйдя наружу нервным клубом головы, а огонь горит в узких чреслах.

А в сочинском порту вообще описывать больше нечего. Разве что как флаг в ветре трещит и кто-то далеко отсюда крикнул, а ты слышишь. Был тут однажды снегопад, и сухая сигарета, и снег летел в фужер с рислингом, он там до сих пор так и стоит, стоит и держится сыплющимися снежинками вместе с фонтаном и шпилем, как пейзаж сквозь расколотое окно, и странно, что не распался.

Я бы о многом рассказал – например, о трех пустых раковинах в горле при полнолунии и всего одной, но гудящей, – когда теряешь любимую женщину.

Или об ипподроме, когда кони состоят из больших букв, которые просвечивают сквозь кожу, словно мышцы, а изо рта идет пар, и пахнет навозом и весной. А на финише буквы мышц сливаются в одно внятное слово, которое выговаривает рысак, а нам с вами – никогда.

Или о том, что есть имена вечно приближающиеся, и их еще можно выговорить: Навуходоносор, змея, Габи Хадинек, любовь моя девочка, озеро, прачечная, сигареты «Прима». А есть имена вечно удаляющиеся, например: змея, Навуходоносор, Габи Хадинек, любовь моя девочка, озеро, прачечная, сигареты «Прима», и их выговорить невозможно. И если вам удастся схватить каждое из имен одновременно в приближении его и в удалении, то вы потеряете язык и обретете новый. И еще, вы родите мир заново. Правда, этого никто не заметит, потому что нас с вами несколько раз рожали заново, и мы лишь потому до сих пор все еще живы, что нас не перестают рожать, но ведь вы же этого даже и не заметили, и я тоже. Это оттого, что главные слова бесшумны, а главные события одновременно и удаляются и приближаются, и поэтому их невозможно разглядеть..

55

Федор кивает Офелии, поворачивается огромным мерцающим телом и идет дальше к пещерам.

– Савва, – зовет Витя, – Савва, – поди сюда.

Савва послушно выбирается из-за стола и подходит. Витя берет его за руку, и они начинают спускаться в разлом. Ступеньки тут не очень удобные, но есть поручень. Потом перила кончаются, а ступеньки становятся стертými и случайными. Федор раздает на ходу маленькие фонарики, доставая их из огромных карманов. В руке у него тоже зажигается фонарик и разрезает вечную ночь впадин, залов и утроб. Они сверкают. На некоторых повисли неопрятные комочки летучих мышей, словно бы свалывшаяся пыль. Пещера растет вокруг выемками и безобразными разветвлениями, и через некоторое время начинает казаться, что растет она из твоего тела, а ты здесь не при чем.

Витя отстает от них, стоит, оглядывается.

Он специально отстал, думает, что тут никто никогда не играл на саксофоне. Что тут прошли миллионы лет, и что вокруг него только неподвижный камень и сверху миллионы тонн камня, и темнота и тишина. И что так было века, и тысячелетия, и всегда. А он, Витя, со своей музыкой в душе тут не при чем. Что для исполинской пещеры его, считай, что и нет. Вон какие глыбы вокруг, сталактиты и тишина. Наверх километр камня и вниз. И кто он, Витя, вот тут и есть, что никто. Земля со всех сторон сошлась к себе самой, без учета тебя, но не дошла, застыла. И молчит всем безразличным холодным и полным тяжести телом. И ты тут меньше искорки от свечи. Вообще никто. Никакая музыка отсюда не уйдет, потому что музыка это дыхание. А дыхание длится двадцать

секунд на одну сторону, не больше. И секунду на вдох. А у горы миллиарды лет, и твоего дыхания в этой черноте нет. Смешно говорить, что тут что-то вообще есть.

Вите становится страшно. Он трясется, но не уходит. Он не знает, почему он тут стоит, готовый к бегству. Наверно, от ужаса, что его жизнь и так была ничто, просто не было такого места, где это видно, а теперь такое место есть. Ног он не чувствует и рук тоже. Он чувствует исполинские пласты безразличной каменной черноты и страх. Витя и раньше догадывался, что он ничто, и готов согласиться с этим. Но что-то ему мешает согласиться до конца. Когда ты совсем беззащитен, как мошка, и понимаешь, что проиграл самого себя, то что-то мешает тебе проиграть окончательно.

Чего ты стоишь и трясешься, Витя? Вали отсюда, пока не поздно, расскажи друзьям шутку, хочотни несерьезно, сразу отпустит, и все пойдет, как раньше.

Но Витя стоит и трясется в ужасе среди не сошедшей до конца земли. Он представляет, что так и будет здесь стоять без выхода вечно, пока земля не сомкнется.

Но он не уходит. Он уже ничего не понимает от страха.

Щекотанье тербит ему грудь изнутри. Как будто туда забрался мотылек и отвлекает Витю от ужаса. Витя нечаянно начинает прислушиваться к мотыльку, а потом совсем отвлекается от нестерпимой тишины и понимает, что мотылек, который щекочет его внутри, очень быстрый. Он даже быстрее секунды, когда надо набрать воздух. Он такой быстрый, что в него вмещается все, потому что он быстрее времени. Потому что он был тогда, когда пещеры еще не было, и ничего вообще не было, и он будет всегда, потому что он есть прямо сейчас, а пещера была и тоже пройдет. А он не пройдет никогда, и Витя улавливает, что хоть мотылек и внутри него, но сам он вышел из этого мотылька и выходит каждый миг, чтобы – быть. И Витя вдруг постигает, кто тут мама, а кто сын, и чувствует тепло в душе и радость. Земля перестает сдвигаться со всех сторон и делается почти что теплой на взгляд, хотя и все равно не очень приятной. Но ее кокон лопнул вместе с ужасом, и Витя задышал.

– Ну, вообще, – бормочет он и бежит догонять ребят.

*

Вот вдвигается болид своим невыразимым, но – в слова. Или кашалот. Раздвигает, раздвигая. Если небо не слово, то он раздвигает правильно, но если оно не слово, то не может быть правильно или неправильно. Но неправильно совсем и правильно совсем тоже не может быть. Значит небо – отчасти слово и отчасти не слово. Иначе оно не было бы небом. Что ж, остается понять, это поражение или победа. Только молча, только без самозванных слов.

56

– Вот, – говорит Федор. – Вот!

– Оно? – спрашивает Витя.

– Ну! – говорит Федор. –

Они только что вышли из пещеры наружу – в небольшую каменную впадину. Наверху видно небо. На полянке, словно на дне огромного стакана, стоит сарай. Медяя идет к сараю и осторожно трогает дверь. Вверху ветер шелестит ветками кустарника. Видно белое облако, осторожно идущее по синеве.

Федор распахивает дверь, и они заходят внутрь. Федор щелкает выключателем, лампочка освещает предбанник.

– Сейчас, – говорит Федор. – Сейчас. Врублю генератор, а потом зайдем внутрь.

Савва смотрит на него вопросительно, а потом задирает голову и смотрит на белое облачко, кочующее в синеве. Федор понимает, что Савве нужно объяснить, где они оказались и как все было.

– Я пять лет собирал этот театр, – говорит Федор.

– Этот сарай? – спрашивает Офелия.

– Это не сарай, – поясняет Федор. – Это Театр Памяти по проекту Джулио Камилло. Он, можно сказать, собран вручную по уцелевшим с XVII века чертежам, а откуда их взял, не скажу. Скажу, что ни у кого таких нет. Те, что в интернете – фуфло, не работают.

– Нон каписко, – говорит Офелия. – Почему ж фуфло? Клевые чертежи.

– Потому что фуфло, – говорит Федор. – Фуфло на то и фуфло, что сразу не разберешь, что оно такое, фуфло или не фуфло – вроде начинаешь делать, что-то получается, а закончишь – понимаешь, что фуфло оно и есть фуфло.

– Точно, – говорит Савва. – У каждой женщины есть впадина, как и в той, что мы прошли. И от этой впадины вся ее красота.

– Это он про пещеру, – говорит Витя. – Ты про пещеру, Савва?

– Но больше половины из женщин фуфло, хотя сразу никогда не разобрать.

– В женщине главное внутренняя волна, – говорит Офелия. – Это и есть ее впадина.

– Точно! – говорит Савва. – Ты меня понимаешь, Офелия, девочка.

– Когда зайдем в театр, молчим, – говорит Федор. – Там боги, звери и числа. Там также амфитеатр и проходы. Еще там есть уровни, древо Сефирот и Аполлон. И еще в отдельных коробках высказывания Цицерона по любому предмету.

Федор начинает волноваться, щеки его краснеют.

– Там... – говорит он и сбивается. Он стоит, дыша, как гора, бледный, огромный. В трещине очков сияет двойная радужка от лампочки. – Идея этого театра перешла потом в «Глобус», – говорит Федя. – «Глобус» это театр, где сэр Уильям Шекспир играл. Там каждый мог вспомнить про себя – все.

– Как это все? – спрашивает Витя.

– Сразу все, Витя, – говорит Офелия. – Правильно?

– Правильно, – говорит Федор. – Сразу все. Сначала искусство памяти изобретало для себя обыкновенные мнемонические машины, ну, вроде флешек, только где флешка, ты – сам. Но безразмерных флешек все равно не бывает. Всего в себя все равно не впишнуть. А потом произошло нечаянное открытие. Джулио вот что понял, – горячится Федор. – Он понял, что статуи греков прекрасны не потому, что гармоничны. Сам по себе статуя не владела красотой, еще не была ей окутана. Откуда ж она потом бралась, красота, живая аура? Кто-то однажды задал себе этот вопрос. А дело вот в чем. Греки вкладывали в скульптуру математическую гармонию, действующую во всем космосе, в звездах, пляжах и деревьях, и тем самым создавали мостик понимания между скульптурой и миром, общую их вибрацию. Можно сказать, они создавали один вибрационный язык для всего мира и своей статуи. И тогда красота и аура космоса по этому мостику переходили в саму, теперь им родную, скульптуру. Можно сказать, что бог приглядывался к ней, к новой скульптуре, и когда видел, что она открыта для общей речи, входил в нее, и от этого камень окутывался жизнью и свечением. И еще один момент. Бог не войдет, если не позовет художник. Так что одной математики мало.

Федор задумался. Глаза его перестали видеть окружение и смотрели на что-то другое.

– Это хорошо, – сказал Савва. – Я тоже понял, что математики мало. Когда один раз из нокдауна вставал. Так вот, между один и два было одно время, между шесть и семь гулял попугай, синяя кошка и какие-то маленькие тряслись. Там можно было с ними гулять сколько хочешь. Или трястись. Я погулял с ними и набрался сил. И на счет «восемь» встал на ноги с карачек.

– Ты, Савва, молодец, – сказала Офелия. – Я тоже попугаев люблю. А что за маленькие?

– Этого так сразу не объяснить, – опечалился Савва, – маленькие, они и есть маленькие.

– Джулио создал театр, в котором мир и человек вибрируют одинаково, причем на всех этажах, включая Айн Соф, – продолжал Федор, все так же переживая от того, что он видел помимо окружения.

– Беспредельное отсутствие, – сказала Офелия, – обновляющее формы мира.

Глаза ее позеленели, и она сказала, мне это нравится. Это не фуфло, Савва, это круто! Ты сейчас все вспомнишь, Савва, клянусь богом. Ты, Савва, сейчас восстанешь из праха, блин, и никто тебя больше не пошлет в нокаут, потому что в тебя войдет бог, как в Одиссея Мнемозина, богиня памяти посреди винноцветного моря.

– Можете глянуть все, но зайдет и останется до конца один Савва, – сказал Федор. – Он вынул из кармана летучую мышь, неопрятный комок, поцеловал ее в голый в кожаных складках нос,

открыл дверь в амфитеатр и бросил ее туда. Мышь метнулась зигзагом, ушла по косой за статую Пана и пропала.

– Заходим.

*

Бабочка над поляной. Стоит в ветре качается. Скажи в одно слово. Про все, что было, есть и будет. Как она.

57

Он сказал, что память располагается в пространстве и потому есть одновременно, и так оно и было. Что память вырывает тебя из последовательности, потому что пространство одновременно, а не последовательно, и когда попил чай или прочел книгу, то помнишь не по частям, а все сразу. В общем, свобода, он сказал – в общем, поэтому память свобода, и они вошли.

И тут было то, что было мы, когда мы хотим найти то, что потеряли из себя, и нашли. Тут стояла статуя Аполлона, и еще ступени амфитеатра, а свет был тоже. Другие боги стояли тоже, и под каждым ящик с текстами, но это неважно. И проходы, как на стадионе. Планеты вибрировали в разных красках – Марс, воитель, красный; Венера, Нецах, влечение, зеленая. Небо звезд под куполом, где заблудился Данте. Сфинкс и Малхут – цвета земли с длинным деревянным зданием. Окна открыты наружу, и когда ветер, по стеклу едет отражение горы в цветущих грушах – пальмы трещат веерами внутрь окон.

Боги – белые и белые, да белые. И звери, которые есть звери, хоть разные, а понимают. Они язык, думаешь, что не твой, а в твоём они и живут. На разных ярусах.

В груди у тебя Солнце Солнце, которое сердце сердце, а чтоб понять, нужно расстояние непонимания, что их разделило, и так во всем остальном.

Пространства нет.

Это расстояние непонимания. Чтоб ты усилился понять и понял. Не усилишься – не поймешь.

Его вытесняет память, а потом она сама схлопывается у тебя на лбу и в животе.

Расстояние непонимания это где мы живем и убиваем друг друга, а чтоб совсем не убили, нужны боги. А потом боги стали не нужны, и мы себя убили совсем. В понимании, что человек это то, что мы думаем, мы его взяли и убили. Но человек не то, что мы думаем, а место воскресения, если вспомнить.

А для этого, чтобы вспомнить, нужна большая боль, которая убивает расстояния до звезд и вообще все остальные. И расстояние непонимания тоже. Вот почему. Почему – что? Почему боль. Вот почему боль намного важнее, чем удобства, хотя слово важное это лишнее слово. Вообще все слова лишние, потому что боль говорит А! Или еще Ы! И тогда солнце есть сердце, а ты есть ты. Без отличий. Тебя видно, но ты есть Юпитер, или вы – боги. И ты есть дом с открытым окном и купальник Людки-пловчихи, что сушится на бельевой веревке, и звезда в ночи, и кошка под дождем.

А Савва стоит посреди арены, где зритель есть хор и актер, и смотрит.

А еще видит, как его пеленают лазурные волны от богов и ящиков, и становится будто радуга или фасоль со светом. И в этой фасоли он видит себя, спеленутого в родильном доме. И как в алмазных вихрях прессуются без времени звезды и остывают в планеты, и кошка мурлычет у него в ногах. А еще прозябает зерно из грязи и земли, и бежит наверх ростком к солнцу и синеве, вот листок появился. Вот Савва разверзает утробу матери, вот потом он с другой стороны разверзает утробу Медеи, разверзает зерном сам себя и побегом.

Савва видит многое, сразу все. Он видит отдельно, а на самом деле едино. Он давно не видел так, что каждая вещь теперь полна свежести, точно только что распутившийся бутон цветка. Он видит, как кочуют стаи фламинго над дельтой, отсвечивая в воздухе неуловимым красным с пылью, и как следит за ними рыбак с моторки в камышах, и еще Савва видит сердце рыбака в моторке, и как оно зарождалось, когда формировалось в утробе матери его тело. Он видит яйцо, из которого вылупился птенец фламинго, и как сокращается сердце рыбака, и как сокращается сердце его отца, когда он говорит слова будущей Саввиной матери. Он видит траву и бабочек на ней, и видит, как

бабочка словно волна в океане. И если выдернуть волну из океана, то перестанут быть остальные волны, которые идут через волну и без нее не пройдут – так и бабочка. Потому что все живое и все люди и звери идут через эту бабочку, как волны через волну, и если ее вынуть из обихода, то и живого не будет, потому что все мы мосты, висящие над бездной, через которые проходит все остальное живое, вся остальная жизнь. Мы каждый для каждого – мост над бездной. И для утки, и для камня, и для друга, и для врага. И наш враг это наш мост над бездной тоже, и если он рухнет, то не пройдет дальше ни наша, ни вся остальная жизнь, и тоже рухнет в бездну и остановится.

Савва видит Медею, и как и откуда она пришла – сразу весь мир, который должен быть и идти для того, чтобы она была – должны быть не только ее родители и родители ее родителей, но и черви в земле, и облака в небе, и открытое окно, и закон гравитации, и взрывы на солнце, и плач обманутой мещанки Варвары, и каждая звезда, горящая близко, и каждая звезда, горящая так далеко, что до нее не добраться ни взгляду телескопа, ни воображению человека. И еще гарпун в спине кашалота, и подлый говорок за спиной друга, и танк, который плющит солдата в донской степи до плоскости папиросной бумаги, и тот так и светится, словно пыльная бумага под луной в ковылях. И все это – Медея. Боги это когда мы понимаем, что такое человек и из чего он состоит, ощущает Савва с холодком по спине.

Потом он видит, как тонет субмарина и как в темноте и удушье погибают в ней люди, и как ребенок в чаще находит свой первый подснежник, и конвульсии бесплодных любовников, и объятья плодоносящих влюбленных. И как чернь беснуется в Колизее, и как поэт Катулл бесится от тоски и одиночества. Он видит одновременно свою маму, Колумба, муху на стене австралийской хижины и водомерку, бегущую по озеру на Валдае. Он видит все остальное, которое есть все сразу и еще раз все сразу. Он видит всё всего. Он и есть это всё всего, но не только. Он есть одно всего.

Тут Савва испытывает покой и блаженство, которых никогда не испытывал до этого. Даже когда находил свою память в миг оргазма в любимой женщине, или когда попадал на героин или другую смесь. Блаженство настолько нестерпимо, что Савва возвращается в мир отдельных вещей, чтобы привыкнуть и не исчезнуть вовсе. Теперь он вглядывается в каждую так, словно она сгусток света, и видит ее, как будто собственное лицо в зеркале, которое он еще никогда не видел.

*

Он греб веслами, а она сидела на корме в белой блузке и серой юбке. И когда он откидывался в гребке, между ними пролетал невидимый стриж, а когда наклонялся, видел ее колени с поползшим швом чулка и знал, что стриж так и будет летать между ними, пока он гребет, потому что он – это их ребенок, рожденный без усилий сойтья.

58

И Савва вглядывается в сгустки света, которыми стали все вещи, и видит, что все вещи это сгустки света, облачка вибраций. Вот собрались облака, и пошел дождь. Хлопнуло окно, зашумели капли по траве и листьям. Однообразный шелест по траве, дробный – по крыше, в одном ритме, и только какая-то отдельная звонкая капля все время бьет не в склад не в лад в крышку ведра, забьютую у террасы. Июньский ливень крепнет, вот падают и отскакивают градины, покрывая траву белым слоем.

Савва смотрит на градину как на состав мира, как на живой предмет, как на лицо в зеркале. Он видит, что это не градина, а существо, похожее на человека и кузнечика одновременно – с добрым, слегка дураковатым лицом, словно он бежит куда-то, но от радости забыл, куда именно. И Савва думает, как это так, ведь это градина, а не человек с лицом, а потом понимает. Даже слово град для кого-то значит ледышку с неба, а для кого-то город, где живут люди. И это не просто так, а подсказка про то, что облачка сияний, из которых состоит мир, могут разными существами раскрываться по-разному, как и слова, которые располагаются на поверхности облачков.

Если один в слове град видит ледышку, а другой видит старую Москву с лотками и башнями, с купцами и дружиной, а еще другой – град Петров, который красуется и стоит всем на диво, – то и с облачками вибраций все было точно так же. Кто-то в изначальном сияющем облачке видит

ледышку, а кто-то придурочного человечка, похожего на кузнечика. А суть в том, что и то и другое – правда.

Точно так же обстоят дела и со всеми остальными предметами. Кто-то видит в камне булыжник, а кто-то видит такое, что на Саввином языке и в его мыслях даже не может быть выражено. И однако, иногда Савва все же может увидеть в булыжнике вот это невыразимое на его языке и в его мыслях – увидеть и понять.

В каждом облачке вибраций, сгустке света скрыто бесчисленное количество вещей, которые могут быть в них обнаружены при перестройке системы рецепторов у того чудака, который на них смотрит. То облачко, которое иными воспринимается как пустота, другой видит как ангела-хранителя, а третий как озеро, а четвертый видит там такое, что опять-таки Савва даже не берется называть, что это за вещь или животное. Как однажды его подружка принесла в гостиницу в Брюсселе, где они жили, скалку для белья и оставила. А Савва проснулся немного с похмелья и никак не мог понять, что это за предмет и какое он имеет отношение к другим вещам в номере – к мини-бару, раскрытому чемодану с красными трусиками, висящими на ручке, и к работающему без звука телевизору.

Теперь он видел, что каждая вещь-облачко – бесконечна, а имена – это тот ковш, при помощи которого Савва и извлекает из облачка чемодан, сказав «чемодан», или Медею, сказав «Медея».

Но в каждом облачке есть то, что он извлечь не может, зато другие существа могут. И то, что они извлекают из вещей, образует новые системы связей и новые миры, вложенные в те же самые вещи – в чемодан и Медею. Только ведь это для Саввы и других, таких, как он, они – чемодан и Медея, а для тех, у которых иное восприятие, это может быть бог знает что, а не чемодан и Медея, и Савва постигал, как образуется бесконечное количество миров, мерцающих сквозь знакомый ему мир, и как они уходят все дальше, ветвясь, расходясь и умножаясь в количествах и смыслах.

– Ой, мама, – сказал Савва в ужасе и отчаянии, и почувствовал, как страх стал из него уходить. Он подумал, что, наверное, мама на всех языках и во всех мирах значит что-то близкое, а может быть, даже очень похожее, и от этого ему сделалось легко и тепло.

А под конец Савва увидел в Театре Памяти, среди статуй, звезд и чучел животных, проеденных молью, вот что.

Он увидел, что все эти миры и мерцания сущностей, вхожих одна в другую, как сквозняк в квартиру, в каждом сгустке-сфире, в каждой планете-боге, в каждом смысловом узле божественных сил связаны, словно бы в отдельную паутину, расходящуюся концентрическими кругами и пересекающимися их радиусами-нитями. И каждой паутиной они уловлены.

Но такая паутина не отдельна, а всегда связана с другой расходящейся паутиной, в которой происходит то же самое, только ее нити немного другого цвета. И каждая паутина с паучком в своем центре, содержит в себе все остальные паутины со всеми остальными паучками, и ту, что рядом, с которой она сейчас соприкасается, и те, что находятся от нее в немислимом отдалении.

Да, в каждой такой паутине, вбирающей миры, острова, озера, звезды, формулы, числа, путешествия Одиссея, погребальные песни и гимны Солнцу, имена неведомых никому сущностей, запах разлагающейся плоти и звезду рождества – в каждой радиальной сетке, держащей в своих нитях рождения и смерти, Иерусалим и Амстердам, взрыв ядерной бомбы и генетический код живой клетки, запах рыбы со льдом на базаре в Венеции и мотоциклиста под дождем на Валдайской дороге, – в каждой такой концентрической системе с живым центром содержались (он это ясно видел) сразу все остальные системы-паутины, все до единой, сколько бы их ни было, и отличались они друг от друга лишь рисунком и цветом нитей. И весь этот немислимый ковер, распростершийся в пустоте, нигде не начинался и нигде не кончался, но шел оттуда, куда Савва не мог заглянуть, как ни старался, и продолжался в бесконечные звездные дали других бесконечных миров.

И еще он видел, что все это немислимое множество нитей, струн и пересечений и есть он сам, Савва, единый в своей простоте, чуткости и уязвимости.

Теперь он знал всё про вещи и про их отношения, про каждую вещь – от молекулы до галактики, но уже все отчетливей видел, что главное заключается не в этом. Теперь он начинал догадываться, что, сколько бы вещи ни выходили ему навстречу, ни перекликались, ни мерцали и ни

ветвились, образуя свой матовый танец смыслов и вспышек, – это только полдела. И вот в центре всех этих живых и перемигивающихся миров, постепенно и неторопливо, словно бы протаивая на стекле, начал угадываться водоворот, из которого они возникли и куда уходили вместе с Саввой. Потому что теперь они ничем уже не отличались от Саввы всем своим бесчисленным множеством, а Савва ничем не отличался от них. И то, что происходило с ними, с их существами, озерами, деревьями, катастрофами и возрождениями, – сразу происходило и с Саввой, происходило и в Савве, как в его собственном пульсирующем и очень большом и живом теперь теле.

Таким живым свое тело Савва еще не знал. И даже когда однажды он тонул и кричал, чтоб ему помогли, колотя руками и ногами по воде, захлебываясь и цепляясь телом за жизнь, с которой оно не хотело расставаться, – даже тогда он не знал, что такое бытие внутри себя.

Но, ликуя и барахтаясь в радости, он все яснее видел огромный водоворот, в который обрушились и там тонули миры его тела со всеми их звездами, светящимися и бесчисленными, а теперь втянутыми в страшную воронку и там исчезающими без следа. Но Савва не сопротивлялся потоку. Потому что в последний миг он увидел и понял, что водоворот тоже есть – он сам, Савва, и что он тонет теперь и погибает не где-то отдельно, а сам в себе. Но происходит это не для того, чтобы он сгинул, но чтобы, не переставая, возрождаться из себя самого, из безымянной бездны в себе – в бесчисленные, и все же постигаемые Саввины миры, сияния и галактики.

Свет погас. Савва услышал, как движок генератора дал перебой, чихнул и остановился. Потом лягнула дверь, по амфитеатру забегал луч фонарика, выхватывая из темноты самодельных богов и животных, и уткнулся Савве в лицо.

– Убери, – сказал Савва. – Я и так все вижу.

– Бензин кончился, – сказал Федор. – В самый неподходящий момент. Хорошо, что аккумулятор есть. Пойдем, Савва.

– Пойдем, – сказал Савва и взял Федора за руку. Он мог бы и не брать его за руку, потому что видел сейчас все ясно даже в темноте, но ему было приятно чувствовать в своей руке жесткую и горячую руку Федора. Вообще, подумал Савва, если иногда не чувствовать в своей руке руку другого человека, то все становится каким-то лишним и скучным. Они вышли на свет, и тут из Саввы ушли силы, и от беспомощности он лег в траву.

– Ты, Савва, светишься, блин! – знаешь это? – сказала Офелия.

– Разве? – сказал Савва. – Погоди немного, я тут полежу, ладно?

– Конечно, лежи, Савва, – сказала Офелия. – Хочешь, я тебя по голове поглажу?

– Погладь, – согласился Савва. – Только осторожно.

– Ой, не могу! – сказала Офелия. – Ты чего, стеклянный, что ли, Савва?

– Я не знаю, – сказал Савва. – Я не знаю, какой я.

– Не смейся меня, – сказала Офелия. – А то меня стошнит. Это, наверное, от жвачки. Не знаешь, где эту жвачку делают?

– Знаю, – ответил Савва. – Но не скажу.

*

Когда по плиткам порта прошел дождь, вода на них казалась сделанной из стекла. В порту не было ни одного человека, вообще, ни души. Но он видел все буксиры, которые тут швартовались прежде, и все лайнеры. На корме одного из них стоял старик с усами и в тельняшке, во рту у него дымилась папироса, в загорелых руках он держал белый на солнце канат. И все равно в порту не было ни души. Один из лайнеров, что тут стояли, давно затонул, а чайки кричали все то же. Хорошо иногда придти в пустой порт. Потому что можно уйти и все забыть. И про дождь, и про лайнер, и про буксир со стариком на корме тоже. А заодно и про все остальное.

59

– Я в город теперь езжу только за запчастями, ну и еще с друзьями повидаться, – говорит Федор. – А чего там еще делать? Не стало города. Ты помнишь порт, Витя?

– Мы там рыбу ловили, – говорит Витя, – прямо у стоянки глассеров.

– Нет больше глассеров, – говорит Федор. – Одни яхты богатеев стоят с их бабами. Я помню, мы фраговали глассер с подводными крыльями на два часа, потом шли в море и гоняли там на водных лыжах, вот это был кайф. Любой студент мог взять глассер, а теперь, попробуй, где справедливость? Прикинь, любой студент мог погонять на лыжах пару часов. А потом еще посидеть в кафе над пирсом.

– И рыбы тоже нет, – сказал Витя. – Ушла.

– Москвичи все скупили, – говорит Федор. – Я, пойми правильно, не сторонник коммунизма, или, к примеру, Сталина. Но ведь идея-то была красивая, пролетариату – мраморные дворцы! Разве не красивая идея? Не торгашеский какой-нибудь проект. Пускай шахтеры танцуют вокруг мраморного фонтана с его нимфами. Пускай их женщины поправляют здоровье в дворцах с колоннами у лучших докторов Союза.

– А обслуга в сараях жила, – говорит Витя.

– Понятно, понятно, – морщится Федор, – понятно, что были недоработки. Только если, к примеру, когда ты в небе видишь, как летит дирижабль, ты будешь в этот момент смотреть на свои старые ботинки, которые тебе духа не поднимают? Нет. Знаешь почему? Потому что если у тебя над головой музыка и праздник, который тебе поднимает дух, зачем тебе ослаблять себя, разглядывая порванную подошву? Что ты, мало драных подошв видел, что ли?

Они сидят вокруг Саввы, который лежит в траве рядом с Офелией и не движется, видимо, спит.

– Ты давно видел дирижабль? – спрашивает Витя.

– Давно, – говорит Федор. – Считаю, что сто лет назад. А вот запомнил на всю жизнь.

Федор трогает висок пальцами с зажатой в них сигаретой.

– Все не так, понимаешь, все не так. – Он снова страдальчески морщится. – Слишком много смыслов стало, и все какие-то мелкие. Все мелочь какая-то, какая-то дребедень. Знаешь, я сначала помнил все, что было в старом городе, домики с витражами, магазины, школы, а потом усомнился. Потому что старый город стал уходить. Я не к тому, что надо, чтоб ничего не менялось. Но почему уходит все, что было хорошо, а дребедень остается? А тут дядька в Майкопе помер и завещание оставил. Я поехал оформлять, забрал два чемодана – один с барахлом, а второй с чертежами Театра и дядькиными пояснениями. Там биография Джулио Камилло есть и письма Пико делла Мирандоллы. Я смотрел в Интернете, там висит кое-что, но нет главного. И вот тогда я стал врубаться в искусство памяти не как информации о том, что было, а как присутствия в той жизни, что есть всегда.

– Сложно выражаешься, товарищ, – замечает Витя. – Знаешь, мне кажется, успех постройки надо отметить, – как бы невзначай добавляет он.

– Ой! – сказала Офелия. – Савва плачет.

Савва лежал в траве ничком, и его мощные мышцы на спине, обтянутые рубашкой, тряслись.

– Ты чего, Савва? – осторожно наклонился над ним Витя. – Приснилось чего?

Савва медленно поворачивается и садится на траву.

– Это оттого, что мне хорошо, Витя, – говорит Савва. – Кто я такой? А я видел белых богинь и как устроен мир и человек. И я теперь уже ничего не буду забывать. Потому что раньше я не хотел помнить свою жизнь, где я все время проигрывал, а теперь я вижу, какая она красивая, потому что там есть живые богини и совы, и я ее буду любить. И все, что есть в моей жизни, есть и в твоей, Витя, – звезды, и паутина, и дельфины.

– Что за паутина, – настораживается Витя. – Нет во мне никакой паутины, – сказал он, машинально потрогав себя под футболкой и успокоившись. – Паутина какая-то...

– Это ему так открылась структура мирового пространства, – говорит Федор.

– Савва, ты лучше мне расскажи, – говорит Офелия. – Про богинь и богов. Чего они тебе сказали?

– Знаете, – говорит Савва, – а давайте сядем вместе и будем молчать. И вы тогда все поймете.

Они садятся на траву и тесно прижимаются друг к другу. Наверху плывет белое осторожное облако, Офелия прислонилась своей хрупкой неутомимой спиной к могучей спине Саввы, и тут же к ним привалились и прижались Витя и Федор. Потом они надолго замерли так, что даже не стало видно, как они дышат.

Через минуту прилетела муха. Облако передвинулось наверху в воздушной расселине и исчезло. Трава продолжала расти и немного выросла вверх, а та, что умирала, стала еще немного суше. Та трещина на скале, которая росла здесь полмиллиона лет, стала немного шире, правда, никто не смог бы определить, насколько, это же все равно как увидеть рост человеческих волос или даже распад камня. В горном ручье журчащая вода передвинулась с ледника к морю на большое расстояние, а свет пробежал миллионы километров. Он бежал и бежал, образуя вещи, мысли и чувства. Иногда он образовывал медленные горы и зародыши людей, которые превращались в красавцев и уродов, а потом снова в прах; иногда он уплотнялся в другие вещи и события, например, в пиджак, который раскачивается в купе на плечиках, или в сам тепловоз. Потом трепетал на лице Офелии, и ей от этого казалась, что она играет с кошкой, а еще мог просто остановиться своей серединой, потому что свет всегда бежит поверхностью и недвижим глубокой серединой, про что догадаются лет через сто двадцать, не раньше. Витя сидел, и Офелия сидела, и Федор сидел, и Савва сидел. От этого они стали ближе камню, и ручью, и облачку в небе. Потому что когда сидя сидишь, то ты сидишь на самом деле. И тут можно даже не говорить, что ты сидишь, потому что когда ты сидишь глубоко, то ты уже не просто сидишь в обычном неправильном понимании этого слова, а ты <--->. Да, ты становишься <----->. Становишься тем, где нет слов, а есть <----->. Эти черточки выглядят непривлекательно, словно бы заикание, хоть они и есть вход в Рай. Но Рай для многих выглядит также непривлекательно, как заикание и как эти черточки, потому-то многие туда и не устремляются, потому им эти райские черточки, можно сказать, как козе баян. И чем ты снаружи непривлекательней, тем больше иногда в тебе гостит рая и радости. И они сидели, путешествуя и не сидя. Смещаясь, они оставались неподвижными довольно долго, а какая-то их главная часть всегда. С ними происходила та же самая история, которая происходит со светом, и сейчас они сидели в той ослепляющей и неподвижной его глубине, которая никогда не движется, и оттого все вокруг изменяется, как ласточки, или дельфины, или освещение в Хостинском парке около моря вечером. А все остальное происходит, как и всегда происходило. Волны бьют, люди садятся в автобус, рыбы плывут от берега ночью и к берегу днем, а Луна меняет фазы. В столовой на побережье пахнет мокрой тряпкой, а Верещагинский мост из ущелья кажется выше и стройней, чем если смотреть на него с середины подъема.

*

Иногда стая рыб подходит совсем близко к берегу, и их темные спины видны сквозь синюю воду с причала, и когда они, не сговариваясь, разом, делают резкий поворот, испугавшись большой рыбы, то всплывают на солнце, как будто облитые бензином, или кто-то вывалил за борт мешок серебряных ложек, и те зажглись в свете, чтобы быстро погаснуть и пропасть в глубокой полосе тени у свай. Тут доски причала начинают ходить под ногами от толчка ошвартовавшегося катера, и от этого, и еще твоей белой юбки, нестерпимо яркой под солнцем, кажется, что жизнь начинается заново и конца ей не будет. И когда мы перепрыгиваем на палубу, та тоже дрожит крупной дрожью, отдаваясь в ступнях и в животе, и пена вырывается из-под кормы, а берег с пляжем и мостом начинает поворачиваться и уходить все дальше и дальше.

60

– Это я из дальней пещеры добыл, – сказал Федор, показывая на массивный предмет на столе. – Если двигаться по пещерам на север, через несколько километров будет зал. Там сложены черепа саблезубых медведей. Несколько тысяч. Правда, добираться туда непросто и даже опасно. Ползти надо местами, а кое-где идти вброд.

Они вышли из пещер, но еще не разошлись, только Савва ушел к профессору. А Витя с Федором сидят в сторожке и пьют чай Да Хун Пао, «Красный Халат», который Федор купил внизу, в городском фирменном магазине.

Витя подходит к столу, трогает серую поверхность огромной головы и твердые клыки, похожие на ятаганы.

– Можно? – спросил он, спохватившись.
 – Трогай, он крепкий, – говорит Федор.
 – Ну, вообще, – сказал Витя. – Смотри, тут на кости зазубрина. Наверно, дрался. А он тебе зачем?

Федор засмутился.

– Продаю любителям, – говорит он. – Театр надо достроить.
 – И сколько за штуку? – спрашивает Витя.
 – Ну... – говорит Федор.
 – А как они в этот зал этот попали, Федор? – спрашивает Офелия. – Их туда кто принес?
 – Какой-то неведомый ритуал, – туманно объясняет Федор. – Пещерные люди принесли. Ты чего это делаешь, Офелия?

– Сейчас-сейчас, – говорит Офелия и надевает огромный череп себе на голову. Потом выходит на поляну, где стоит длинный деревянный стол и кричит. От крика ей кажется, что череп медведя опустился ей на плечи и стал ее собственным. – У-У! – кричит она и кружится по поляне. Эрик встает из-за стола и пытается ее поймать, но Офелия прыгает в сторону и продолжает танцевать. Мир вокруг меняется на глазах, и это ей нравится. Голова ее оказалась захваченной в плен юго-западного, твердого, и северо-восточного, жидкого, ветров, как будто она покурила травку, но только от травы не бывает такой стеклянной и радостной отчетливости.

– У! У! – выкрикивает Офелия. – У! У!

Она видит красных птиц, и как змея обвивает ее позвоночник. Изю рта ее течет медвежья кровь, как будто собственная. Она уже мертвая, но с красными птицами в медвежьих глазницах. Все мы мертвые иногда, но потом тоже. Медведица хочет сесть за руль и ехать не как девушка со свидания, а как медведица, которая только что умерла. Офелия это понимает. Никто. Да никто не верит, что можно стать медведицей. А она стала.

Знакомый дантист говорит, что в его доме, который он выстроил в ущелье, завелись крысы. Он говорит, что построил этот дом для себя и любовницы, в которую был влюблен и ждал, когда кончится, а оно не кончалось. В этом доме им пели стены. Утром они сбегали по крутой лестнице в ущелье и плескались в речке. Брег был каменистый, и когда солнце поднималось в зенит, камни блестели, как раскаленные. А вода была плотной и очень холодной.

Офелия была с крысами. Она была в этом доме, ее привозили. Крысы шуровали за панелями. Арик захотел любви с ней, Офелией, а она говорит, я не могу, когда крысы.

А когда медведь, я могу. Я, Арик, не крыса, а медведица. Так вот вышло. Я схватила себя, как медведицу, как раскаленный уголь голой рукой, но не выронила, а удержала. Я умерла в саблезубой пещере 231 раз, каждый раз оставляя там свой череп, но не оставляя тела. Потому что мое тело, Арик, это тело девушки, если оно без головы. И каждый раз, когда я умирала, я уходила из пещеры за новым черепом, забыв про себя. Я умирала от измен, Арик, от шоферов и больших звезд, несчастных и плачущих. От звезд лихорадки, ВИЧ инфекции и туберкулеза. Я Медведица, и место мне на небе, ты же знаешь, дружок. С крысами мне не по дороге, хоть они и забавные. Ты же не Зевс, а я не Ио. И я бы не дала Зевсу, если б он попробовал завалить меня на спину, я бы убила его саблей зуба. А ты и не пытайся, Арик.

Девушка, если она девушка, всегда медведица, когда у нее нет головы. Если голова отломана у третьего позвонка. Тогда как девушка. Она выглядит тогда, как девушка, она и есть девушка. Девушка это медведица без головы, а голова девушки это место черепа медведицы. Юбка дует и начинается ветер. И коленки пляшут, и ветер начинается от рева и вдоха.

– Мало ли что шакалы! – поет, танцуя на поляне, Офелия. – Шакалы хрустальны, как луна. Вопль их – вопль стекла. Это другая порода девушек – лунная, а не медвежья. Потому что шакал не шакал, хоть и шакал. А медведица да. Она медведица. А девушка никогда не бывает девушкой без медведицы или шакала. Ничто не бывает самим собой вообще. Но без медведицы и шакала не бывает девушки, как Перикла не бывает без Марины, – так поет Офелия.

Смрад от погибших охотников поднимается в небо. Смрад от убитых девушек достает до звезд. Небо пахнет, как труп. Потом смрад превращается в хрустальное сияние. Как это происходит, в

лабораториях не знают. А хрустальные сияние превращается снова в девушек, охотников и солдат. Они танцуют на зеленом лугу, взявшись за руки, потому что они начинают новую жизнь, для которой неважно, есть у тебя саблезубая голова, или нет.

На земле смрад держится дольше. Он уходит в землю и превращается в цветы.

Беатриче есть смрад есть цветок. А потом она небо стекло. И потом она с убитыми живыми солдатами на зеленом лугу. Но ты бы их не узнал. Ты бы узнал облако смрада, а их не узнал. Облако смрада есть часть тебя как тебя, а они есть часть твоего скрытого сердца. Ты бы их ни за что не узнал.

Бог рассердился на людей. Хочу, говорит ангелу Рафаилу, спрятаться от них, чтоб не нашли – мне тяжело от их тупости, жестоковейности, и мерзостей того, что творят. Но не знаю куда. Спрячься в сердца их, говорит Рафаил. Это единственное место, куда они никогда не заглядывают. И он сделал. Ушел в сердца. В пещеры с саблезубыми черепами.

Никто не видит – одна Офелия. И оттого танцует. Офелия зрячая, на пятках ее растет борода, а на губах желтая пена. Она великая колесница, телега жизни, мохнатый зверь. Она везет мир, скрипя осями. Мир с тиграми. Мир с солдатами и Беатриче. Мир с девушками и их улыбками. Мир со смрадом, хрустальными лучами и убитыми шоферами.

Она не даст Арику. Она пожалеет его. И мир, что везет, она пожалеет, но не сразу, а когда наступит сиянье и каменноугольный гром. Вот тогда, тогда.

Сейчас она падает, да. Пена течет на землю с губ, и навстречу ей тянется цветок розовыми клыками.

И мир распахивается всей своей единственной и простой тайной.

– Ах, – шепчет Офелия, – Ах!

– Помогите ей, – говорит Воротников, наклонившись. – Держите ей голову. Засуньте ей ложку в рот.

И Бог спрашивает, кто стучит ко мне в дверь? Это ты, – говорит Офелия, – это ты.

*

Челнок на реке. Удилище в руках рыбака. Серебряное на серебряном. Пасмурное на пасмурном. Широкополая шляпа из тростника. У реки нет берегов, у шляпы краев.

б1

– Слушай, – говорит Савва Лева, – почему это всю жизнь я хожу вокруг себя.

– Потому что, Савва, – говорит Лева, – ты давно не купался. – Я, когда плыву в море, перестаю ходить вокруг себя и становлюсь как рыба или медуза.

– Это правильно, – говорит Савва, – но не совсем. – Ты, может, Лева, вокруг себя ходишь, но этого не замечаешь, как я не замечал. – А замечаешь, когда становишься, как рыба, что перестал ходить. А я стал замечать, как я хожу вокруг себя, еще до моря.

Савва слевой стоят на краю полянки, а все остальные снимаются с места, чтобы идти дальше в горы, что высятся над пещерами, поднимаясь все выше и выше, туда, где на убыхской карте Эрика обозначено место встречи с Цсбе.

Савва и Лева во время разговора становятся больше похожи на деревья или на греческих актеров с их раскрашенными масками, сквозь которые они кричат или декламируют. (Непонятно, кто писал следующий кусок. Может, Эрик, а может, Офелия.)

Этого никто не заметит, ни Савва (ну, разве что совсем чуть-чуть) ни профессор, ни остальные. Лева тоже этого не заметит, но это неважно. Когда мы становимся на что-то похожи, часто этого никто не замечает. Иногда человек похож на кузнечика, но этого не замечает ни он, ни окружающие. Кто же тогда замечает? Замечает кузнечик, что ему хорошо быть в этом человеке, а человек замечает, что иногда кри-кри звучит ему понятнее слов. Или вот. Например, так.

Пусть будет, например, так, что человек похож не на кузнечика. А на другое. Не в смысле, что он похож на Другое, нет. Он похож на другое с маленькой буквы – он похож на труп, но этого тоже никто не замечает. Почему? – это уже другой разговор, тут много о чем можно догадываться. Но

вот человек похож на труп, просто даже стал трупом намного больше, чем человеком, – кто же тогда это заметит? Если никто этого не заметит, то этого будто и нет. Где тот мальчик, который скажет, что король голый, а человек уже труп, вернее, похож на труп? А мальчика нет. Это он в сказке есть, а в жизни его может и не быть. Значит, человек не похож на труп? Но это неверно. Это был бы художественный вымысел и не более того. Но он, в самом деле, похож на труп, только этого никто не видит, что он уже не живет, а пророс трупом насквозь, как сгнившая лодка на отмели – рекой и мхом. (Пожалуй, писала все же Офелия.)

Значит, это не вымысел, и кто-то это видит. Весь вопрос только в том, кто это видит. Кто? Значит, в мире всегда есть кто-то, кто видит, как обстоят дела на самом деле, даже если этого никто больше не видит.

Потому что если этого никто не видит, то сгнившая лодка плывет себе по реке и везет на себе человека, которого давно нет, и оба делают вид, что они есть.

Кто-то, и, возможно, что это тот самый, вокруг кого Савва ходит всю свою жизнь, – видит. Но мы его не видим и не можем о нем ничего сказать, даже если захотим.

Поэтому нам остается кружиться вокруг себя в его поисках, возможно, как это делают суфии-дервиши или дети, когда кружатся вокруг собственной головы, а потом играют в пьяных.

Вот Савва и идет по кругу в своей маске из синих и красных цветов, пытается поймать того, кто находится внутри круга. Но как его поймать? Как? Словом его не поймать. И руками его не схватить. Саввины кроссовки приминают траву в радиусе сначала трех метров, а потом круги начинают сокращаться ближе к центру. Савва ловит Савву. Каждая вещь ловит себя при помощи человека, но человек редко ловит себя при помощи себя. Но Савва увидел. Он ловит. Он ловит Савву. Он ловит свое святое имя Савва, которое никогда не подпустит к себе часть Саввы, а может подпустить только целого Савву. А целый Савва – это Савва с Луной, Солнцем, и с каждый его вдохом и выдохом, с каждым его всхлипом, судорогой любви, звуком и смехом. И вот этот Савва ловит словно руками, всем собой, своего внутреннего Савву. Лева смотрит на него и тоже что-то понимает. Он тоже начинает ходить по кругу, его котурны, которых никто не видит, приподнимают его над зеленым амфитеатром полянки, где их друзья замерли, собравшись. Они глядят, как танцуют Савва и Лева, и сами не двигаются. Потому что если кто-то ищет своего внутреннего себя, то другие замирают. Может, сами по себе они и не замирают, но для Левы и Саввы они замирают, потому что временные парадигмы у них другие.

И те вещи, которые окружают Савву и Леву, невидимые и видимые, тоже начинают приближаться к самим себе. Об этом написано в одной святой книге, что все твари мучаются, пока не найдут себя с помощью человека, и когда они начинают находить себя, то их мучения уменьшаются.

Камни немного внутренне сдвигаются с места. То же самое, да, происходит. С ручьем, с форелью в его глубине, с белкой в ветках и жуком на коре бука. Они начинают понимать, что они не предметы, а струящиеся имена, как это понимают сейчас, кружась по кругу Савва и Лева. Их имена тоже струятся, и этот именной ручей мерцает серебром и движением на всех остальных вещах. Знаешь, как это бывает иногда, когда твоя любимая стоит в речке, а листва рядом с ней и ее лицо словно мерцают и вибрируют от игры бесчисленных зайчиком и отсветов, мягких и серебряных. И вот думаешь, что такое лицо и такая ива намного более живые, чем когда этой игры света нет.

Вот это вот струение имени и есть Савва, который ищет свое внутреннее имя и тем самым делает мир немного живее, чем прежде, как будто это и есть лицо, что ли, Медеи, которая стоит рядом с ивой, вся в световой игре.

И Лева говорит сквозь божественную маску: камень! Он говорит: пою тебя, камень, а ты пой меня. Пою тебя, Савва, а ты пой меня. Да! Камень, будь камнем. Лицо, будь маской и будь потому лицом. Дятел, будь дятлом.

Говоря это, Лева сдвигает имена и предметы, словно в один ручей вливается другой ручей, и они начинают совместную световую прозрачную игру в упругих мускулах воды и берега.

А Савва говорит: Дерево! Луна-луна, – говорит Савва. – И еще говорит: – Антигона.

Знаете, наверное, никто никогда не поймет, почему Савва на той полянке сказал Антигона,

пока профессор, Эрик, Марина и остальные собирали свои нехитрые пожитки, чтобы двигаться дальше. Может быть, и я не пойму, хоть я там и был. Но, может быть, потом Савва прочитает эти страницы и что-то добавит. Конечно, добавлю. Я сказал Антигона, не знаю почему. Потому что в слове Луна есть Антигона. И в слове Дерево она тоже есть. Я читал про нее историю, а в Театре Памяти я ее видел. Какая разница – дерево или Антигона, но разница есть. Дерево это несловесное имя, а Антигона словесное. И она умерла за свою человеческую правду, убитая другой государственной правдой. А когда человека убивают государственной правдой, он становится Антигоной, и все деревья, которые срубила государственная правда, и все солдаты, которые погибли в бою или от своих жен из-за государственной правды – все они становятся Антигонами. Она закидала брата землей. За это ее убили. Но если сестра не закидает погибшего брата землей, то можно считать, что все мы уже умерли и никто нас не закидает землей никогда.

Пока сестра хоронит брата, даже под страхом смерти деревья будут расти, а люди рожать других и рожать себя самих в свое истинное внутреннее имя.

А если бы Антигона не закидала брата землей, то вся земля была бы растрескавшаяся от смерти пустыня. А вы не знаете, что это такое, потому что вас не закидывали землей. А меня один раз закидали.

Но я все равно выжил. Я потому и выжил, что сестра закидала меня землей и открыла ручей жизни в разломе моего сердца.

А Лёва говорит, горы, Лева говорит, горы.

И Лева говорит, Цсбе, и теперь это слово выговаривается так же легко, как ручей, или папоротник, или львиный зев.

Они танцуют вокруг себя, прижимаясь к себе сами вплотную.

А потому они прижимаются ко всем живым и мертвым деревьям, людям и животным. К травам, и светлякам, и убитым скалозубым медведям.

А потом они прижимаются к себе до Антигоны или даже до святого Сергия, который есть живая глина имени и ручья. И тогда они не только вместе со всеми живыми и мертвыми – Антигоной, Креонтом и Полиником, лейтенантом Леном Чешенко и рядовым Петром Сидоровым, но и с нами тоже. Тут дальше трудно говорить, но похоже, что у нас у всех одно беззвучное имя, похожее на Антигону, но не Антигона. Потому что Антигона звучит, а беззвучное единое имя тоже звучит, но так, что его не слышно.

*

Одна нога у него высохла, и он ездил на коляске с ручным управлением, собранной другом. У него было бледное тело, похожее на траву, что иногда прорастает в подвале. У травы не бывает женщин, и у него тоже никогда не было, хоть он был уже взрослый. Его отец погиб на войне, и у отца была женщина – его мама, и другие женщины тоже. Но отца убили на войне, а он за это взошел над отцом, как трава. Он жил в доме напротив пожарного депо. У дверей из земли торчала труба водопроводного крана, из которого он любил пить воду по утрам. Сам в коляску он забраться не мог, ему нужно было, чтобы кто-то его взял на руки и посадил. Весил он как ребенок, и у него никогда не было ни одной женщины. Потом он перестал попадаться нам на глаза. Пожарное депо просуществовало еще лет тридцать, но, в конце концов, и его снесли, чтобы выстроить на этом месте корпус нового санатория. Почва оказалась неподходящей, и стройку бросили, не закончив. Однажды я сажал его в коляску, и он обнял меня за шею своей белой рукой, похожей на траву. Весил он как ребенок. Коляска была чудная – остроносая, из жести и выкрашенная зеленой краской. Непонятно, на какой силе она двигалась.

62

Бывают минуты, когда ничего не делается. Дуб шумит кроной, ручей бежит, а лягушка сидит на дне и тоже ничего не делает. И люди тогда попадают в круг без краев и тоже ничего не делают. Я однажды в такой попал – поехал на мотоцикле в поля, заглушил мотор, слез. Старый, разросшийся у моста куст, поля и небо с облаками. И всех звуков – ветер да дальняя птичка. Вода под мостом

течет бесшумно. И я смотрю на куст у моста, и он как человек. Высокий, и листья его не имеют начала и не имеют конца в этих полях, хотя, если напрячься, то можно увидеть так, что имеют. И мы стоим и смотрим друг на друга. И ничего не делается. И они остановились передохнуть, и тоже ничего не делается, только дуб шумит и ветер движется.

– Настоящая сила, – говорит Воротников, – это сила не государства или армии. Настоящая сила – это сила пылинки.

– Не могу, – сказала Офелия, – не могу вас понять, о чем вы. Я однажды видела, как установка «Град» работала, при чем тут пылинки. Вы только смотрите под ноги, профессор, а то тут запросто можно шею свернуть.

– Даже не пылинки, – сказал Воротников, ступив в сторону от края обрыва, – даже не пылинки – а прокола. Человек-пылинки может быть проколом. Через него из глубины глубин идет сюда, в вывернутый наизнанку мир – свет, которого не одолеть, и сострадание, которого не превозмочь. И тогда мир похож на дуршлаг, пронизываемый светом из глубины. Этот свет превозмогает все зло мира, принимая его в себя и растворяя его в себе. Можно сказать, что этот свет и есть Бог, а человек – орган боли Бога, рецептор, в котором Бог страдает. В котором он умирает и преодолевает смерть воскресением человека, если тот к нему готов.

Тут профессор споткнулся, и Офелия схватила его за рукав и упрямо потянула в безопасное место. Недавно они прошли мимо могилы альпиниста, и Офелия подумала, что профессор вряд ли спортивной того, кто здесь сорвался.

– Мне кажется, я понимаю, – сказал Лева. – Я вот тоже сначала хочу умереть, а потом меня снова кто-то воскрешает. Меня, как траву, кто-то вспоминает, и тогда растит и оживляет.

– Вы, что ж, хотите сказать, что Бог страдает, – спрашивает Эрик, – но это же нонсенс...

Эрик сказал это и задумался, почему это профессор так и путешествует в рубашке с развевающимися в ветре бирками, то ли есть на то причина, то ли просто забыл срезать.

– Бог страдает в конечном, чтобы преобразить его в себя, в бесконечное, – говорит Воротников, весь в полете и трепетанье ценников на ниточках.

– Вот-вот, – говорит Офелия. – Я врубаюсь, про что это. У меня только слов таких нет, но у меня есть слова, которые внутри уже есть, а в словарях их еще нету. Но мне они подходят. Они мне говорят ясно, и я все понимаю, амигос!

– Отрежь ему нитки, – тихо говорит Офелии Эрик.

– Отвали, – отвечает Офелия. – Тебе чего, жалко, что ли?

– Такой человек неотделим от всех остальных и всего остального – от птиц, от камней, от всех людей, и живых и мертвых, и из него отчасти растут травы и летят осы и птицы, – говорит профессор.

– Я видела такое, – говорит Офелия, – видела. Не глазами, конечно, а если их завернуть внутрь, – и она развернула глаза внутрь и посмотрела на Леву сплошными белками, отчего Лева отпрянул, споткнулся и упал.

– Вставай, Левушка, царь зверей, вставай, – наклонилась над ним Офелия и стала его поднимать. Чего-то ты уж слишком порывистый, амиго.

Лева недоверчиво посмотрел на Офелию, но глаза у нее были на прежнем месте, как у всех людей, а не ведьм.

– Не пугай меня больше, – попросил Лева, – мне от этого жить не хочется.

– Не буду, – сказала Офелия.

63

Элвис сидел в гримерке и задыхался. Кондиционеры шпарили вовсю, но он все равно задыхался, потому что он только что отработал два часа на сцене, не считая вызовов на бис, которые, по правде сказать, он почти что проигнорировал. Он сидел в своем золотом костюме, ощущая себя чем-то вроде желе или содержимого устрицы внутри твердой скорлупы, которая хотела растечься, но створки мешали. Обычно его раздвигал Джошуа, или как там его, но его он только что выгнал,

запустив в грудь бутылкой из-под кока-колы, потому что от Джошуа воняло чесноком, а он сто раз просил его не нажираться чесноку перед концертом. Самому раздеться не было сил. Костюм облегал его, как резина аквалангиста. За последние два месяца он прибавил пятнадцать фунтов и даже в специально перешитые «на вырост» костюмы влезал с трудом, а на сцене хрипел и задыхался. Чтобы это было не особенно заметно из зала и в телекамеры, он глотал таблетки пригоршнями, и на какое-то время их хватало. Он переставал чувствовать себя разжиревшим тюленем и начинал двигаться почти что без посторонней помощи.

Когда он шел к сцене, кто-нибудь из его прихлебал поддерживал его под видом доброжелательных объятий, чтобы он не свалился случайно на какого-нибудь бедолагу-музыканта, как пару раз уже случилось, но на сцене Элвис преобразался.

Он давно уже не рисковал танцевать, выворачивая ноги и вихляя бедрами, как делал это на своих первых улетных концертах, когда девицы визжали и бились в истерике, а он не знал усталости. С тех пор он посOLIDнел, повзрослел, а проще говоря, стал настолько жирной свиньей, что попробуй он только повторить свои танцы, то просто рухнул бы в оркестр при первой же попытке.

Теперь он танцевал голосом. Голос оставался все таким же бархатным и вкрадчивым, а где нужно, сводящим с ума веселой серьезностью и подкожным эросом. Как ледяной шарик в полой тростки делал ее способной перебить хребет носорогу, так и тайный зов в голосе Элвиса все еще возносил слушателей к лунным тропам и рошам, в которых живут диковинные звери и горит неведомый огонь. И тогда все забывали, что выглядит он неважно, что стоячий воротник, расшитый узорами, врезается в двойной отвисший подбородок, что золотой костюм вот-вот лопнет от выросшего на теле жира, а движения певца вымучены и искусственны. Он все равно оставался великим Элвисом.

Он рванул комбинезон на груди и пара пуговиц отскочила. Потом залез в ящик стола, открыв его специальным ключом, нащупал там пузырьки, сыпанул половину красных, а половину зеленых таблеток в ладонь, отправил в рот и запил кока-колой из второй бутылки, которую не стал кидать в спину Джошуа, догадываясь, что она ему еще может понадобиться.

– Самое поганое, что поговорить не с кем, – сказал он вслух. – Вот что самое поганое. Липнут, крутятся, скидывают трусики, а поговорить не с кем. – Он поглядел в зеркало на толстяка с запудренным лицом и мокрыми губами и спросил: на хера, вообще, такая жизнь, а, брат? На хера такая жизнь, в которой поговорить не с кем?

Дверь приоткрылась, и в проем просунулась голова Майкла.

– Эл, тебя там просят пару слов сказать.

Он взял бутылку и, не целясь, кинул в Майкла. Бутылка грохнула в косяк, не разбившись, и покатила по полу, оставляя пену на ковре.

Майкл исчез, и, если бы попытаться эту сцену – а ты попытайся, Эл, попытайся! – перевести в какую-то другую в смысле метода изображения, то ничего из того, что получиться могло, все равно бы не получилось, ну, если только наугад попробовать что-то еще разок. Да, что-то далекое, скажем, из первых. Или из тех, что раньше первых. Когда кто-то рождается, то кто поет? Кто поет, когда кто-то рождается? Кто-то ведь все время поет, если кто-то рождается, потому ведь потом и гуляют и поют тоже, только грубее и громче. Но кто-то же все равно поет. Если кто-то поет, а лица не видно, и человека нет, то, говорят, ангел. Но кто? Кто видел ангела? Никто. Потому он и поет так, что его не видно и почти не слышно. Но Элвис слышал. У каждого по ангелу, из тех, которых никто не видел. А если и видел, то грубее, грубее.

Когда кто-то рождается, это как из одного человека вытаскивают второго человека, выдирая его из первого в боли, соплях, слизи и пуповине. Похоже на убийство, но наоборот. Распороть живот и засунуть туда кошку, такое бывало. А тут распороть живот и вынуть человека. Из одного человека – другого, а потом из другого – еще одного, а потом из этого еще одного – еще-еще одного, и так до бесконечности, до умопомрачения. Нескончаемая матрешка. Это невыносимо. Это, как война, невыносимо. Как копье в одном животе, потом в другом, потом в твоём собственном, потом еще в одном – и так без конца. Невыносимая боль. Потом смрад и пение невидимого существа. Сначала пение невидимого существа, потом зачем-то видимого.

Если вдуматься, то это абсолютно невыносимо. Настолько, что даже непонятно, зачем. Тут надо решать про безумие или смотреть на природу. Все люди в момент рождения или войны в шоке. В длительном гипнозе. Восхваляют священную войну и святое рождение, словно не видя, что это такое. Такой страх и ужас, что ежели его оставить как есть, то так и будет невыносимый страх и нестерпимый ужас. А то, что нельзя вынести, разрывает. Тебя прежнего, чтобы вынести, разрывает, образуя щель, как в заборе. И в щель проникают серебряная цепочка и золотая нить и пение существа, которого ты не видишь. Там, где совсем-совсем невыносимо, мы трескаемся, как яйцо, и слышим то, что раньше не слышали. А иначе кто бы выдержал, что жизнь это боль, вонь, дерьмо, трупные пятна и смрад. У всех трескается. А если нет, то ороговевают или идут в гипноз, задувая ужас, как свечу, мессой или молебном. Те, кто треснули, помнят или не помнят. Сейчас речь про то, что вообще нельзя увидеть, но от безысходности видишь и слышишь, чтоб не сгинуть в боль и смрад. Кто-то помнит, а кто-то забывает. Элвис Пресли, да, король рок-н-ролла. Помнил до конца даже тогда, когда уже не помнил. Кое-что помнишь, потому что это кое-что и есть ты. Ты, не ты – кто различит? Никто. Кроме тебя, но тут никому не рассказывай, не надо.

– Самое поганое, – что у них даже дети тупые, – сказал Элвис, сдирая с себя костюм, как кожуру с сардельки. Теперь он сидел напротив зеркала голый, с почти женской грудью, белый, расплывшийся и был похож на луну. Он был велик, Элвис. Он знал, куда он улетит. Туда или еще куда-нибудь, или прямо на Марс. Говорят, или ему привиделось, что там серебряные джунгли и легкие слоны с тройными переливающимися глазами. Говорят, или ему привиделось, что он сам джунгли, что он ветвится и переливается и звенит с лиан хрустальными колокольчиками, и каждый такой звук, это он – Элвис. Когда-то он любил одну девочку, а она любила его. Вот с кем они болтали в тени железнодорожного моста с поржавевшими заклепками, сидя над быстрым течением. С автобусной станции доносилась музыка и объявления, но здесь все равно было тихо, и река была вздутая, быстрая и серая. И неслась бесшумно сквозь полосу тени от моста. А на той стороне был виден лес. Наверное, все же еще остались те, с кем можно поговорить. Конечно, остались. Куда они денутся. Где-то же они все равно есть, с кем можно сесть у реки или еще где, и поболтать. Это он просто устал, чертовски устал. Надо глотнуть еще пару пилюль, а вернее будет сразу закинуться стафом, и тогда вся шиза пройдет без остатка. Вот так, так. Прям, сразу легче стало, прям со старта. Прям, все хорошо, все. Прям, то, что надо. Надо бы извиниться перед Джошуа. Ладно, я ему что-нибудь подарю. Что-то такое он болтал про дорогой ремонт. Подарю ему новый автомобиль. Какой-нибудь мерседес или форд, что там ему больше нравится. Прям сегодня.

64

После дневного перехода они поднялись высоко в горы. Днем было очень жарко, и они поднимались все выше, минуя лужайки, склоны, по которым вилась тропинка, деревянные мостки над ручьями, а где их не было – так и вброд. Он шли и менялись с природой частями тел, как, например, Воротников когда-то поменялся улыбкой с собакой, да так и остался с ней навсегда.

А теперь Савва менялся плечами с камнем, и от этого ключицы и лопатки его твердели, а валуны, нависающие над ним, становились словно бы мягкими и телесными, иногда даже было видно, как они пульсировали, это от усталости, думал Савва, а Лева менялся щелканьем с птичкой и тоже теперь щелкал и посвистывал. А птичка прыгала на расстоянии за Левой сбоку, сначала не приближаясь, и говорила слова тонким Левиным голосом, а потом и вовсе пошла рядом с ним. Много есть птиц, которые передразнивают, не только попугаи, но тут дело не в том. А Лева шел, и свистел, и чирикал, и клёцал, и ему было от этого легко на сердце так, что он почти перестал уставать. А Медя теперь журчала и блестела.

Вода ей понравилась еще тогда, когда она разговаривала с Кукольником в кафе на берегу речки, а теперь, если кто-то заглядывал в любой водоем недалеко от Медеи, то видел в отражении сначала свои черты, но такие, сквозь которые постепенно проступало красивое женское лицо, но не явно, а словно бы вкрадчиво. И теперь в любой заводи жило лицо Медеи, а может, и не ее одной, но все же именно ее отражение было самым молодым и самым волнующим. И те, которые там жили – отражения, – уступали новенькой, чтобы она смогла поплескаться и обжиться.

И чем больше они поднимались по опасным тропкам над обрывами и по зеленым лужайкам с ночными фиалками и эдельвейсами, тем больше становились похожими на слова, а слова становились все больше похожими на них. И к концу дня уже трудно было сказать, кто из них больше человек или больше слово. Но они становились постепенно не просто словами, а становились новыми словами, каких еще никто не говорил. И от этого, когда они смотрели друг на друга, то иногда не видели рук и ног, а видели друг друга как слова. И Лева думал, что у слова ведь нет рук и ног, поэтому и у них теперь иногда нет тоже, а есть что-то вместо рук и ног, но более красивое, иногда даже невыносимо прекрасное. – Ведь у слова «нога», говорил про себя Лева, нет ног, а у слова «рука» нет рук. Поэтому и у нас нет ног и рук, потому что мы стали словами. Но то, что у нас есть вместо рук и ног, может быть, это и есть самые настоящие руки и ноги. Просто раньше они не так выглядели, потому что были иногда слабыми, иногда сильными, но какими-то обычными, а тут не так. Тут, как вот, например, смотрел-смотрел на одно и то же лицо – у Левы была одна такая знакомая – видел его сто раз на дню – и ничего. А потом оно вдруг просияло, словно кольцо по воде от весла или тучка, попавшая в луч солнца. И тогда оно словно сначала было засохшей фиалкой, а тут сделалось живой и настоящей, от которой шел немного пьяный и горький запах. И у Левы от этого лица-фиалки стали подгибаться ноги в коленках, потому что все чувства, чтобы выразить их, лишили Леву силы, но он все равно не смог их выразить. Но этого и не надо было. Потому что сама Левина знакомая стала словом, и могла выразить сама себя без его помощи. И как та засиявшая собой знакомая, так же теперь стали и все Левины друзья, с которыми он шел по горам.

Он давно знал, что в людях живут слова, не те, которые люди говорят, а совсем новые, которые еще никто не сказал. Где-то же они должны были жить, а он увидел, что они живут именно в людях. И еще он предположил, что эти слова когда-нибудь будут самими людьми, но только сомневался, что такое возможно, пока не разглядел, как следует, ту свою знакомую. А сейчас это сделалось возможным для них всех, потому что все они стали новыми словами себя, и этими словами разговаривали теперь с небом, крутой тропинкой, орлами и речками.

То есть нельзя сказать, что у них не стало рук или ног, или глаз, например. Все они были на месте, но теперь они были из слов, а слова из тишины. И когда они шли в горах – горы шли в них. И когда им светили звезды – они светили звездам в ответ. Потому что они были не книжными словами, а живыми, для новой книги, в которой они двигались и сомневались.

И тогда Лева понял, почему деревья так тихи внутри, и птицы, когда спят, тоже, и лошади, а человек все равно стонет и мечется или храпит так, что кажется, вот-вот помрет. Лева не любил, когда громко храпели, он боялся, что человек сойдет с ума или осатанеет, раз он храпит так сильно и страшно. Это потому, что деревья и животные растут из внутренней тишины, а человек нет. Человек растет из своих кошмаров, беспокойств и желаний. Вот он и ночью не может успокоиться, как, к примеру, лошадь или галка на пляже. А мог бы. Ему только надо нащупать эту внутреннюю тишину, которая в нем живет, и тогда он тоже начнет превращаться в новое слово.

Никто из них не испугался из-за того, что они теперь были больше словами, чем туловищами с руками и ногами. Они словно писали свою историю, только наоборот. Когда Лев Толстой пишет свои слова, то они все больше, например, становятся людьми или животными, – продолжал наблюдать Лева, – вот Анна Каренина, например, или лошадь, которая сломала себе ногу, и тот офицер хотел из-за нее застрелиться. А тут в горах все по-другому. У Толстого слова постепенно стали людьми, а в горах люди и вещи становятся словами, подумал Лева. И дальше он стал думать, как назвать ту книгу, которую они сейчас пишут, раз происходят такие превращения из людей и гор в слова, но почувствовал себя плохо от этого усилия, и поэтому он догнал Савву и спросил.

65

– Сейчас, – сказал Савва и остановился. – Сейчас. Говори собой, – сказал Савва.

– Савва, – что мы за книгу такую пишем, раз мы слова, – сказал Лева.

– Мы еще не совсем верные слова, – сказал Савва. – А книга про то, что мы здесь вместе. А как

название, я не знаю, спроси у Профессора. У тебя, Лева, глаза сильно блестят, прямо как голубые фиалки.

– Если наша книга наоборот с Толстым, – сказал, размышляя, Лева, – то она не слова возвращает людям, а людей возвращает в слова. Только эти слова – новые, которые не врут, и даже если очень хочешь соврать, то все равно не получится. Камень же врать не может, или форель. Они есть как есть, и все. И новые слова тоже не могут врать, а они есть и живут. Знаешь, Савва, я что-то такое читал про книгу жизни, может, это и есть она. Нас же с тобой сейчас нельзя поставить в библиотеку, а Толстого можно. Потому что у него книга – книга, а у нас книга – жизнь.

Лева помолчал. Потом сказал.

– Вот мы зачем идем на встречу с Цсбе? Тебе, Савва, эта встреча, к чему?

– Мне эта встреча нужна, – сказал Савва.

Он постоял, вслушиваясь в монотонный гул речки из ущелья. От листьев кустарника в ветерке, сквозь которые било солнце в лицо Саввы, оно стало играющим и похожим на монгольское.

– Мне нужен Цсбе. Я ему скажу. Я скажу ему, прости меня, бог, и послушай. Раз ты пришел сюда и тебе нужно, чтобы мы тебя встретили, мы это сделаем, как бы нам трудно ни пришлось. И поэтому – вот мы.

– Ты ему скажешь, вот мы? – спросил Лева. – И все?

– А что еще? – сказал Савва. – Что еще, Лева?

– И что он тогда сделает, или ничего?

– Он сделает так, что люди перестанут умирать и убивать друг друга, и еще моря, растения и животных. Он сделает так, что животные тоже станут вечными, как их настоящие имена. Он сделает так, что жизни и смерти не будет, а будет то, что больше этих слов, я один раз видел.

– Как это, – не понял Лева, – что ты такое видел, Савва, что оно больше жизни и смерти?

– Носовой платок, – сказал Савва. – Я тогда после боя с Протасовым три дня в гостинице отлеживался. Тошно мне было и одиноко. Бой я проиграл, а Мария мне после этого даже не позвонила. И я все думал, зачем я тут вообще нужен, если бои проигрываю, а женщины от меня уходят. Послал коридорного за водкой, но выпить не успел.

Савва стащил с головы красную бейсболку с буквой W, что-то поправил внутри и снова надел.

– Лежу, мучаюсь, а тут солнце из окна светит на мой носовой платок на тумбочке. Серый, грязный. И вот я на него смотрю, и вижу то, что больше жизни и смерти. Я долго тогда смотрел, и когда курьер принес водку, я не стал пить. Я тогда почти все понял про себя и про все, но потом опять забыл.

Лева задумался.

– Чего-то я не врубаюсь, – сказал он, – при чем тут платок.

– Как это при чем? Он там лежал, Лева, и я его видел, как он есть на самом деле. И он был шит из света и тепла, как будто его принесли из рая. Он был шит из того, из чего и мы тоже, но только мы этого не чуем. Он был дверь в Рай, Лева! Где животные и птицы поют и не умирают.

– Мне кажется, понимаю тебя, Савва, – сказал Лева. – Только я не уверен, Савва, что Цсбе сделает так, чтобы люди поняли такое, как ты с этим платком, из-за чего они перестанут убивать и мучить себя и животных. Что им можно такого сказать, чтобы они перестали, как ты думаешь? Может, им тоже нужно, чтоб им сначала настучали по башке, а потом каждому свой платок увидеть? Как думаешь?

– Я не знаю, – сказал Савва, – но, наверное, раз Бог хочет в последний раз придти, значит, ему надо еще что-то нам сказать. Что-то такое, чего он еще не сказал. Или сказал, а его не поняли.

– Когда, – завокнулся Лева – когда не сказал?

– Ну, когда он был Буддой или Заратустрой. Или даже Христом.

– Ну, ты сравнил, – протянул Лева разочарованно. – То Христос, а то убыхский бог.

– А что, какой-то еврейский мессия, думаешь, был круче убыхского бога? Это ж дыра была, провинция Палестины, хмурая страна на отшибе, обмылок. Кто его всерьез мог принять? В Риме? Мне, вообще, кажется, Лева, что чем бог незаметней, тем больше он успевает сказать правды.

– Все равно, – сказал Лева, – даже если он совсем незаметный, чего он такого может сказать, что люди его слушают?

– Лева, – сказал Савва, – это не наше с тобой дело, что он скажет. Наше дело добраться туда вовремя и сказать: вот мы!

– И все, что ли?

– И все, Лева.

Синяя такая птица, забыл как она называется. И вы забыли тоже. И вот если я ее забыл и вы забыли, то забудет ли она сама себя или нет. Допустим, что она забудет, тогда кто ее вспомнит. А Савва теперь помнил все, что есть на свете, но это его не сильно поменяло. Он помнил три часа все на свете, и даже то, что помнить нельзя, все равно помнил, примерно как Офелия, которая помнила все книги наизусть, кроме имен авторов, а потом на следующий час снова все забывал и даже не помнил, что он Савва. А через час опять помнил все на свете.

Таким он стал после Театра Памяти, а профессор тогда сказал, что это постепенно выравниется, обнял Савву и стал улыбаться ушело с кустарниками, камнями и речкой, и даже всему миру, включая обнятого Савву, своей обычной собачьей улыбкой.

*

На поверхности бассейна плавали желтые и красные листья, а между ними светилось осеннее небо. Он плыл через листья и это небо, он плыл один через листья и это небо, оттолкнувшись от зеленой стенки бассейна. Утро было прохладным, а в кронах над оградой участка вспыхивали красные и зеленые крылья птиц, которым он не знал названья. Он плыл через небо и листья, плыл и плывет, и снова еще раз плывет через небо с красными взрывами трепещущих крыл и птичьими визгами. А они летают летом и трепыхаются трепыханьем – красные красным, а зеленые – зеленым. Утро говорило его голым телом как новым своим языком, малайским или бурятским, в саду не было ни души, только птицы континента вспыхивали красные – красным, а зеленые – зеленым. Как будто он растаял, а потом снова. Как котельная в детстве, растаяла, а потом снова. И запах шлака на снегу, и присевшая старая женщина в резиновом плаще, которая мочилась под себя рядом с ним и котельной, но и там не было ни души, как и в этом саду, только тут вспыхивали птицы, а там шел снег. Он оттолкнулся толчком от стенки и плыл тихо, окуная лоб в воду и снова поднимая лицо, и снова оmyвая его, как будто он неподвижный камень, а бассейн – бегущая речка. Листья кленов стали красными, как становятся красными листья кленов, когда они становятся красными и когда их много в кроне, а они падают. Редко по одному. Один, а потом один, а потом один. Они становятся в становлении красными. И если один, то тогда один. А если один, то один и один. Так всегда бывает. Одна канава, один лист, одна птица, один ты, один красный лист клена. Один такой, какой бывает один красный лист клена, не больше и не меньше.

66

– Ой, я вся липкая!

Они сидели с профессором у костра, и Офелия ловила накрашенным ртом струйку сгущенки из банки над запрокинутой головой.

– А кто это, Цсбе?

Она слотнула и усталилась на профессора. Подружки дразнили ее Джамалом, сторожем подьемника, но Джамал был не при чем, теперь она знала, кого она любила, а все остальные были ошибкой.

– Кто это?

Воротников ответил, кто это, он сказал: Цсбе может быть кем угодно. Важно не кто он, а что ты увидишь в себе, встретив его. Он может быть единственным полным явлением Бога, сказал Воротников, а Офелия сказала, а как же тогда Христос, который родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, и пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят?

– Явление Бога всегда единственное, и все явления Бога это одно и то же явление, – сказал Воротников.

– Тогда зачем нам встречаться с Цсбе?

– Он может сказать нам то, что мы еще не услышали, я не знаю, сказал Воротников. – Мы могли бы это услышать, ну, например, от Будды Гаутамы или еще кого-то, Лао-цзы, например, или от зайца, прыгающего через тропку, или от кузнечика, – Воротников смешно покрутил в воздухе рукой. – Но каждый раз нам надо услышать заново новое. Каждый единственный раз. И то, что мы не можем услышать от зайца, кузнечика, говорит Иисус, а то, что не услышали от него, говорит Будда. – Воротников наморщился и страшно оскалился.

«Сейчас язык высунет», – подумала Офелия. Но Воротников языка не высунул, а вместо этого поскреб щетину на скуле и закончил:

– Есть слово вне времени, есть дух эпохи, и есть переводчик в сердце. Поэтому надо все время переводить с вневременного языка на современный.

– Я всех переводчиков помню, – сказала Офелия и облизала губы. Это очень эротично, когда облизываешь губы, она знала. Но стала забывать. Про переводы она тоже знала и про переводчиков тоже, некоторые ей не нравились, потому что переводили так, как слышали, а слышали все по-разному, она сравнивала. Некоторые с ее точки зрения ни фиги не слышали, полный делали отстой, ваще мимо. А писатель Жуковский, например, хорошо слышал. А те, кто переводят сегодня, кроме одного из них, по имени Стариковский, слышали так себе. Лучше бы они и вовсе ничего не слышали.

– Переводчик, это тот, блин, кто слышит все и даже больше всего, – сказала Офелия. – Который слышит, да. А потом говорит на двух языках сразу одно и то же, оставляя слова только одного из языков. И он их тогда записывает.

– У каждого времени своя глухота, – сказал Воротников. – Свои глухие. Христа слышали те, у кого вибрации схожи. И в Израиле тогда был такой дух времени, что у многих были схожие с Иисусом вибрации. Потом дух времени изменился, и слова его повторяли, но уже их не слышали.

Тут Воротников стал бледным и смешным, но потом опять улыбнулся.

– Поэтому единый раз встречи распределился на разные времена и континенты. А сама встреча – она вне времени и пространства. И если внутренний переводчик хороший, ты все, что надо, услышишь, скажем, в звуке шипящего масла. Услышишь и пробудишься.

– А что, нам его обязательно надо найти, этого Цсбе? – спросила Офелия. Она нервничала. Она понимала, что камень и кузнечик не расскажут ей того, что происходит, а тот, ради которого они сюда притащились, может и рассказать. Вот интересно только, как он выглядит. Она видела фотографии убыхов в местном краеведческом музее – фотка с людьми в бурках под священным деревом и надпись – «клан Берзека». Их сфотографировали, прежде чем они рассеялись по лицу земли и пропали без следа в Турции. Офелия полезла в карман джинсов и нащупала смятую пачку сигарет. Рука в карман не проходила – слишком туго. Она распрямила ногу и достала сигареты.

– Люди гибнут, – сказал Воротников, глядя на девушку собачьими глазами и нелепо улыбаясь. – Ядерное оружие сдерживает выход накопленной ненависти, и теперь она обрушилась на природу. Люди загипнотизированы и видят то, чего на самом деле нет, и не хотят видеть то, что есть на самом деле. Драка бомжей и противостояния государств отличаются только костюмами и декорациями, а гипноз один и тот же. Но бомжи не могут убить много. А групповое сознание загипнотизированных цивилизаций способно истребить миллионы себе подобных. Удивительно, но никто ничего не решает. Все верят, что кто-то что-то решает, но запомни, Офелия, – Никто. Ничего. Не решает. Потому что сегодня под гипнозом почти все. Все плывут, все в гипнозе. Президенты, банкиры, ученые, бомжи, солдаты, крестьяне, мужчины и женщины. В прошлом веке люди истребили в войнах и лагерях 100 миллионов себе подобных. После этого они, казалось бы, очнулись, но это длилось совсем недолго. Чтобы человечество спаслось, люди должны выйти из-под гипноза. Каждый в своем единственном числе и лице. И такие уже есть. Но их очень мало.

– А вы уже вышли, я знаю, – мрачно сказала Офелия. – Я тоже иногда выхожу, и тогда все понимаю. Я как-то читала одну греческую книгу про Елену, Ахилла и Гектора, и все поняла. Но не в книге, а вообще. Я поняла, зачем идет снег и люди целуются. А объяснить не могу, хоть застрелись.

Но я поняла, что если бы снег не шел, когда он идет, то ничего бы не было. Ни Елены, ни переводчика Стариковского, ни Левы и ни певички Мадонны.

– Снег может однажды и не пойти, – сказал, улыбаясь, Воротников. – Надо самим делать так, чтобы он шел. – Глаза у него были преданными, как у собаки, и зачем ему такие странные глаза, подумала Офелия, вообще не поймешь, что за глаза, и про улыбку ни черта не поймешь, как у негра, только рядом с ним хорошо. И если сейчас зашипит чертово масло, я точно очнусь и выпаду из гипноза. Смешно, конечно, но он может, это сразу видно, что может, хоть и странно.

– Значит, Цсбе нам что-то скажет, чего Бог еще не говорил людям?

– Вернее, то, чего они до сих пор не расслышали. Да. Он сделает это вместо кузнечика, – сказал Воротников.

– Это клёво, – сказала Офелия, – если вместо кузнечика, то клёво! Про пояс Индры я не въезжаю, а про кузнечика понятно.

Если от Хосты идти на пляж, там есть в парке такая стенка, где цикады вообще шумят, не умолкая, как заведенные. Она все еще волновалась за себя и профессора. Она и за остальных волновалась, но чего за них особенно волноваться, никогда не знаешь, что будет и как. Когда она связалась с Жориком, и он хотел ее ткнуть ножом, было просто смешно, хотя шрам потом все же остался, а вот недавно она шла по улице и остановилась прямо рядом с мостом, напротив универсама, потому что сразу вся стала стеклянной. Хотела идти дальше, но не смогла, стоит, вся стеклянная, вся, как будто ее нет или она лампочка. Она сначала очень испугалась. Что ж, ладно. Раз так, то я теперь из стекла. Я стала стеклянной невестой, раз так, Жорик и Эдик. Я теперь бамбук с отражением, разве нет? Я теперь стеклянный ветер с гор. И пусть во мне живут теперь осы, и слова, и разные кузнечики. И Витя пускай живет, пока его жена не убила за пьянку, и все остальные. А потом поняла, что идет и что опять в своей теплой коже и в выцветших джинсах, и захотела вернуться. Потому что у нее никогда никого не было. А если были, то были, но не было. Пусть бы были другие, чтобы, когда она умрет, пришел бы за ней кто-то, как царь Приам, и стал бы плакать и просить отдать ее стеклянное тело, и так плакал бы, что мое тело ему бы отдали. А я думаю, что Воротников мог бы плакать своими, как воды Скамандра, идиотскими, собачьими глазами, выпрашивая мое стеклянное тело, наверно, ему бы отдали тоже. Хочу быть стеклянным телом, хочу плыть в невесомости, хочу в воды Скамандра. Вот я плыву в них, ныряю своими красивыми белыми ногами – нет таких ни у кого, ни у Кристины Агилеры, ни у мисс Краснодар. Пусть кто-то поплачет о них, мне больше ничего не надо, пусть ему отдадут мое тело, и он перестанет плакать. Вот ведь какая чушь, ну да ладно. Понятно, что я себя заговариваю, понятно. Не хочу быть стеклянной, уж очень это страшное дело.

67

Бабуля, ну что я могу сказать по-другому. Ты не хочешь, чтобы я говорил просто так, а они все были головоногие и ракообразные. Вот они стоят на деревянных подошвах, на деревянных котурнах, как Лида или Офелия, все стеклянные. А кровь просвечивает, как иногда в глазном белке бег красных и сжатых, ветвистых. И, чтобы сказать слово всей своей деревянной стеклянной грудью, им надо поднять к груди всех себя – Лиду или Офелию, и сказать слово, выговорить себя – всю Лиду или Офелию. Они выговаривают себя для тех, кто рождается или умирает, так, как это делает головоногий головастик, еще безрукий, плоский, – а он герой, который приходил, скрипя кобурой, к Маше-учительнице и дарил ей модные духи «Красная Москва» в круглой картонной коробке.

Вот амфитеатр, в котором небо, и песок, и голыши, а они стоят на высоких котурнах и говорят про Агамемнона или Клавку. И чтобы сказать про Клавку, говорят, поднимая сразу ее и себя всем телом – своим и ее – сначала к груди, где они ее обнимают, словно спасатель тащит наверх утопленника, чтоб ожил, – вот так и они тащат Клавку к своему накрашенному рту, которого за хрустальной маской не видно. И мукой, от которой творится их жизнь, они поднимают Клавку вровень с сердцем, почками и уже губами, и тут – говорят. Это они научились от рыб и от камней мола, и от ампутированной ноги, которая лежит отдельно от тела в углу. Никто другой не может научить, а они могут. Чтобы научиться от ампутированной ноги быть Клавкой и Агамемноном, надо стать

ампутированной ногой, подслушать ее угасающий пульс и тихое слово, понять ее всю, как она есть. Или камень, к примеру. Или плевок. Или нимфа Абарбаря.

Их надо постичь, чтобы они потом стали собой в твоём слове, которое поднимается со дна твоих пяток, присоединенных к сырой земле, безуглой и беспробудной. А потом идет выше по ногам твоё слово, неся собой Абарбарю или мазут, – по ногам-Земле, по Луне-гениталиям, по Солнцу-сердцу, забирая собой, свертывая тело свое, как свертывается клеенка со стола в трубку или свертывается небо, когда происходит новая земля и падают звезды, и Офелия рождает грудь и ртом.

Все лучшее рождается грудью и ртом в стеклянном ракообразном теле, застывшем со скоростью света и волны в телах на котурнах, что, как раки за сеть, цепляются за остальные предметы – за ветер, не разрушая ветра, за солнечный луч на ракушке, не разрушая луча на ракушке, за свою возобновленную от других жизнь, которую они чувят и тихо ощупывают клешнями.

И они поднимают слой за слоем, хрустальные и ископаемые, поднимают, выращивают бытие, как руду и алмаз в глубине. Офелия, Лида! Пойдем, он говорит, в учительскую и берет ее за руку, но выговаривает так долго, что становится и ее рукой, и учительской, и белыми ногами в капроновых чулках, которые он там снимает, как будто географическую карту с вулканами и заливами. Она говорит – У!, шаря руками, не чуя края стола, с ногами наверху, с нависшим меж ними, как солнце, лбом в испарине и жажде. Вот тут она и выговаривает свое – у! – и ртом и грудью, расширяя несравненные лебяжьи руки, как клешни, угловатые и корявые. Потому что то, что не выговорила сама, теперь выговорят они. Кто они выговорят? Кто они, без языка и речи, в зацепках, хитине, камне и сухожилии, кто? Как мужчине любви принять в себя, выговорит клешнями новое слово? И вот тогда вещи заговорили языками ангельскими, звериными, каменными и немymi, угро-финскими и кирпичными, разве другие бывают? Тогда заговорил потный лоб лбом, а смерть смертью, и заговорил младенец младенцем, а тополь топодем.

А Лида и Офелия плачут стеклянной клешней, одна по Федоре в наколках, вторая по зеленой звезде. Всегда они плачут, а не только пока они живы или я про них рассказываю, Ба! Ты поймешь меня, и клешню мою стеклянную тоже поймешь, иначе как же мне тебя тогда обнять и поцеловать живому мертвую, а клешне нет ни мертвых, ни живых, нет ей ни ушедшего моряка, ни засохшей розы. Вот я и обнимаю тебя, живой – живую, вот я и вдыхаю твой пот, запах твоей морщинистой кожи, целую в подбор, в седые волосы, с пластмассовым гребешком в узле на затылке.

Клешня это есть вечный язык, неторопливый, глубокий. Не тот, что болтает и мелет, как лесопилка, все что ни попадя – а тот, что скажет одно слово в миллион лет, потому что разве другие бывают? – и его букв хватит, чтобы мертвые становились живыми, чтобы Офелия щелкала грецкие орехи и радовалась, а Лида целовала Агамемнону его твердые колени без слов и в радости.

И плющусь я и люблю тебя, Ба, вот плющусь я и люблю к ногам твоим, и к занавескам на окне, и к пальме, говорящей веером и светом в окно. И плющусь, ощупывая. Никелированную кровать и мамин портрет без подрамника, в голубом, над кроватью. Велосипед со стертymi по раскаленному асфальту покрышками. Крашенный подоконник с цветами, печь. Полка с книгами, сандалии с порванным ремешком. Зеркало на тумбочке, волнистый отбитый край, будто бы ртутный. И плющусь и люблю тебя, Ба. И плющусь и люблю.

68

Потом пошел снег, и стало холодно. Шатер из ветвей бука стал за одну ночь белым, и поляна со священным деревом убыхов тоже.

Блуждая и сбиваясь, они пришли сюда месяц назад по карте Эрика. Разбили лагерь и стали ждать Цсбе. Но он не приходил. Священная чинара шелестела листьями, которые начали облетать, облетали целых две недели, облетели, и покрылась снегом. Днем ветер сдувал снег, а ночью он падал снова – мокрый, тяжелый. Снег падал на поляну, на берег ручья, на старую полуразвалившуюся постройку из камней и бревен, а когда выглядывало солнце, загорался, словно сахар, и вспыхивал каждой гранулой. Продукты кончались и спички тоже. Я не думал, нет, что придется столько ждать, сказал Эрик и присвистнул. Но я не мог ошибиться – вот дерево, вот разрушенное святилище, вот ручей.

– У бога изменились планы, не парься, амиго, – сказала Офелия. – Так бывает, – сказала Офелия. – Сколько раз такое видела, – сказала Офелия и стала тереть лицо снегом. – Ох!

– Смотри, какое синее небо, а в небе, – говорит уже кто-то другой, – парит орел, раскинув широкие крылья и налегая на них в парении всем своим тяжким телом так, что они прогнулись под его тяжестью, как весла под гребком, концы перьев разошлись, как пальцы, а в солнечных лучах сквозь разрыв облака виден загнутый клюв.

Говорит уже кто-то другой, смотри, Офелия, вчера стоял туман, а сегодня солнце, но дело не в них, а в клюве этой горной птицы, как он хорош и как он загнут, и как он – как бы тут выразиться, чтобы суть полета и утра стала бы несомненной? – ах, вот как – как он *есть!* То есть как он, клюв, есть клюв! Как он начинает орла, когда орла еще нет. Как он первая черта, словно в китайском трактате о пустотной живописи, где сказано, что первая черта выявляет неисследимое и невидимое Дао, не приняв еще форму руки странника или тела орла, или полуразрушенного здания, правда, Офелия?

Правда, Офелия, говорит Офелия, правда, Офелия, это песенка такая про правду и про правду Офелии, и про цветы, и про крота под землей.

Говорит кто-то другой, профессор Воротников спрашивает Эрика про сроки в карте, обозначены ли сроки в карте и рукописи, ведь, говорит профессор, не могли же мы спутать эти сроки, а как их спутаешь, говорит Эрик. Вот же снег с радугой в каждой грануле, вот же ж он, снег, вот и святых в руинах, а вот и ручей, сверкающий и баламутящий, и птица над головой. Разве такое спутаешь?

А Николай играет в трубу, и потом Витя играет в трубу, может Цсбе заблудился и узнает их по звукам трубы, может Цсбе сам труба или звук трубы, или, может, Цсбе – все сразу вместе, и он услышит и поймет, что они здесь, у священного дерева, потому что разве труба не говорит на всю округу понятные слова, выдвигая себя все дальше звуком, полукругом золота и блеском меди? Нельзя не услышать трубу! Холодный мундштук норовит укунить за губы, содрать с них первую пленку и открыть через кровь самое нежное, что в них есть – душу, трепет и хрупкий звук ангельского отломанного пера, и кто перо поймал, тот музыкант от Бога, тот Майлз Девис, Равви Шанкар, Иоганн Бах и Элвис Пресли. У Николая учитель – баянист и трубач Дмитрий Петрович Пилипенко лежит на сочинском кладбище, и у него на могиле всегда цветы, но Николай не скажет, кто их туда носит, потому что их носит он сам, а говорить не хочет из-за того, что носит их на могилу молча. Он всегда идет туда один и молчит, либо в птичьем щебете летом, когда синева и кузнечик в траве, либо зимой, когда вдруг засветится первый снег в воробьиных и собачьих следах, или осенью, когда осыпается желтая листва буков, платанов и тополей, а кипарисам возле оградки все равно ничего не делается.

Он тогда еще не был человеком-лосем в священных буграх, ветерках и наростах, а любил Эллу. Элла пела на танцах и после того, как спела на танцах, познакомила его с Дмитрием Петровичем, и тот научил Николая звуку и ритму. А потом он научил его другому звуку и другому ритму. Он говорил, что от звука и ритма душа должна рыдать, сердце веселиться, а голова стать небом в салютах, тумане и тишине.

Он сказал это Николаю, когда Николай его мог услышать, не всегда ведь такое бывает. Чаше всего бывает по-другому, и ты слушаешь, но не слышишь, и оттого так никогда и не узнаешь про другой ритм, другое сердце и другую голову музыканта, а играешь как бог на душу положит, одним словом, лабаешь, как ни попадя – все равно ведь всем нравится.

Дмитрий Петрович не успел научить его неслышному звуку, как обещал, а в нем-то, говорил, все и дело, и все могущество музыки, которая поддерживает роды матерей и линии звезд в небе.

И теперь он лежит на склоне кладбища в оградке с плитой и черно-белой фоткой, где он держит трубу со строгим лицом, как будто фотографировался не для могилы, а для более важной вещи, например, для доски почета. Здравствуй, Дмитрий Петрович, говорит, придя к нему Николай и рассказывает, как добирал остальные ноги и звуки из чужих рук и так и не добрал, как следует.

А тут снова говорит кто-то другой. Все дело в загнутом клюве, – говорит он. – Если его разглядеть и понять как первую черту в начальной белизне, тогда не надо много рассказывать про Ни-

колая и Дмитрия Петровича, а также про ноты. Если его разглядеть правильно, тогда вообще даже не надо ничего рассказывать, а поймешь, как все мы, подобно горам и пейзажам, окунаемся в свой внутренний Путь, в Дао, чтобы не быть и дальше слишком уж нарочитыми, слишком уж твердыми в делах и мыслях, слишком уж очерченными в быстромирающего человека. И тогда поймешь про то, как мы проваливаемся и возникаем, словно звук или дорога в горах, или как речка в тумане. Все ведь происходит из вибрации, – говорит кто-то другой, – все проваливается, снова возникает и вновь повторяется. Все, что существует, существует на повторях, все на провалах – и музыка, и человек, и планета Юпитер. Еще и камень, еще и рыба. Все на свете.

Кто-то другой говорит, в клюве есть кривизна, и нет в нем, на первый взгляд, всей птицы, которая тотчас есть в клюве, как только ты клюв *увидел* и познал. Его кривизна есть вибрация, его твердость есть рай покинутый и рай обретенный, сам он есть гора и птица, и нежность, и любовь. В любовь все ныряет, из ничего возникает обратно. *Ибо сильна как смерть и огонь ее неистов.* И горы возникают обратно, – говорит кто-то другой, – и Николай с Витей, и остальные измученные, продрогшие и никчемные – Лева, например, или еще кто, каких вместе слевой много, если не большинство.

А Дмитрий Петрович парит над городом, потому что кладбище выше купола церкви. Пронзает его не снегопад, а душа снегопада, достает до ямы с останками и пронзает духовно. И звон цепей с порта его пронзает тоже, и достают до него звездные лучи, одевая его в те одежды, что нам с вами не разглядеть. И туманы над ним проходят и зноят.

И все дело тут, и весь снег, и весь город в его море, переулках и синих высотах – в клюве, повороте и кривизне.

69

Если б правильно поняли, пришел бы Цсбе. А так пора решать, что дальше делать – уходить или оставаться. Офелия кашляет нехорошо, а Леву с утра до вечера бьет дрожь. И снег летит на них и засыпает Савву, который лежит на холодной земле, как медведь, ее не чуя. И Витя с Николаем уже не играют, потому что холодно и сил больше нет, особенно ночами. Им иногда кажется, зачем они сюда пришли, непонятно, а иногда они словно в бреду и ходят вокруг погасшего костра, не узнавая друг друга. А иногда они понимают, что, может, и не знали друг друга, а просто встречались, как силуэт человека с другим силуэтом человека, а теперь стали похожи на призраки, и кажется, что через них просвечивают другие, безразлично, какие именно, люди. Особенно когда приходит облако, то они становятся серебряными и непонимающими, где они, еще в болезни или уже начинают уходить в смерть.

И еще Лева кричит по ночам, как маленькая девочка, или, как он однажды слышал, кричал заяц, когда в него выстрелил охотник. И заяц будит Леву, но он не может остановиться и все равно кричит, даже еще громче. И тогда Офелия берет его голову в руки и прижимает к груди, где Лева теплее, а профессор Воронников разжигает остатком спичек костер, но тот не хочет гореть и сразу гаснет.

Может быть, говорит Офелия, мы стали такими тяжелыми оттого, что у нас есть что-то лишнее, и нам надо от него избавиться, а что тут еще может быть лишнего, говорит Витя – все, что принесли, кончилось, а часть уже давно потеряли. А может, лишнее это неправильная память, что мы взяли сюда в душах, говорит Савва, надо сказать, чтоб уходила. Надо отказаться от нее, как от женщины, в боли и решимости, а потом омыться в ручье.

Да, сказала Офелия, ты правильно понял, Савва.

И Марина с Эриком встали с земли и пошли к ручью.

И, отказываясь от неправильной и злой памяти, кто как мог, остальные тоже пошли в ручей прямо под снегом, и плещутся в зеленой жгучей воде, как будто в живом огне, голые и молодые, и не сгорают. Слово бы ничего еще не было, и земля началась только сегодня или даже вовсе не начиналась, а их изыбшие тела плещутся, как камни или ветки, или даже дно в хрустале и зелени, что смывают с них то, что было не они сами, а болезнь и зло для других людей. Ведь вода и время

смывают с камня и берега все, что не камень и не берег, и тогда камень делается камнем, а берег берегом. И век за веком их невидимой водой тоже смывают с птицы то, что не птица, а с лошади то, что не лошадь. И если этому не мешать, то будет свет и гармония для деревьев, морей и камней. Но не так человек. Еще очень редко кто из них дал с себя смуть то, что не человек, и после этого совпасть с собой и высветлиться изнутри и засиять, как далекая тысячелетняя звезда. Но ни звезда, ни рыба в омуте не противятся быть самими собой и подставляют головы под разрывающую лишнее воду. А человек негодует и противится, думая, что он лучше земли и деревьев, и тогда теряет силы и бродит по неказистой пещере своей отдельной от гор жизни, словно по дворцу, сочиняя книги или командуя пароходом. Ему не нужно ничего, кроме себя, чтобы страдать, ничего не понимая, и уничтожить свою жизнь вместе с другими. Потому что он заколдован и сам колдун, и этого не понимает. А тот, кто понял, кричит от боли, как птица, и начинает любить, но не словом, а тем, что за этим словом есть бескрайнего и строящего новые кости для новых людей и животных. И он хоть и слабый, но неодолимый, потому что дал с себя смуть не себя, которым был раньше, и теперь он как щепка в ручье или молоко матери. Теперь он не может быть отдельно от простого света или того, чтобы помочь другим быть простым светом или простой жизнью, которой не видно конца, сколько не смотри. Но так бывает нечасто.

Потому что нужен ручей и свеча, и в них надо войти, чтобы понять и увидеть, что нечеловек из тебя уходит, если зажечь смывающий старую кожу свет, и тогда начнется совсем другое, без злого колдовства и уверток, и тогда будут новые ноты в новой чистой трубе, и тела будут соединяться, не касаясь земли, как струи ручья, ледяного, быстрого и несущего на себе горы.

А тела их просвечивали, словно в зеленом стекле.

Говорит кто-то другой, они оставили в реке лишнее. Кто-то оставил много, а кто-то только начал оставлять, а кто-то просто кричал и плескался.

Все лишнее это все лишнее, когда падает дирижабль, то про все лишнее становится ясно, что оно лишнее. И тогда он больше не падает, а ведет его в пространство капитан в фуражке по имени Генрих Мати, пока не рухнет на одинокий дуб в английском поле, на священное древо друидов. Но нет же, конечно, не рухнет, как и в трубе, когда кончается слышный звук, то продолжается другой, тот, что плохой музыкант не слышит. Но он-то и есть главный, как говорил Дмитрий Петрович, он и есть тот, на котором держались и держатся все остальные. И Дмитрий Петрович, учитель Николая, тоже не рухнет, и Генрих Мати, и Сент-Экзюпери, и Лева с Саввой тоже не рухнут. Все кто летят и взлетели – только кажется, что могут разбиться. Когда в теле души больше чем тела, то оно уже не упадет, а поплывет, углубляясь во внутреннее и внешнее небо, распространяясь на все стороны горизонта плечами, смыслом и звуком, и обнаженная душа вместе с обнаженным дирижаблем кричит: Ва!

70

Когда кончились силы, они лежали на земле и слушали, как снежинки шуршат по сухим листьям на ветках.

Я бы спустился, думал Витя, но зачем мне туда, раз здесь мне снег и поляна. А что там внизу? Беготня да тени тяжелые. Все шоссе и переулки забиты автомобилями, рыба ушла, и на Бытхе змей больше нет.

А чего я там не видел, говорит Витя сам себя вслух, чего я там не видел? Все я там видел, вот разве что чайка. Вот чайка, это да! За чайкой я бы, конечно, спустился. Спустился бы конечно, продолжает говорить Витя, а снег нарастает у него на курчавых немых волосах, – как она в небе и пикирует, ну, вообще! я на ступеньках набережной сижу, а она летает над зеленой водой – вообще! За чайкой бы, да, а остальное зачем мне, что я его, не видел? Чайка, это да, только она и без меня будет летать и пикировать. Может, ей и не надо, чтоб я на нее смотрел, а зачем ей. Но за чайкой я бы, конечно, спустился, а остальное на что оно мне, что я его, не видел, что ли. Тысячу раз видел, не так, что ли?

Остальные думали или просто лежали, а снег шептал и шуршал по сухой листве дерева убыхов, и все ждали Цсбе, но чувствовали, что никто придет.

Говорит другой, что, хоть лишнего в них не осталось, но и не лишнего, их самих, тоже почти что уже нету, потому что, что ж они придумали? Ведь не идиоты же они, не сумасшедшие, ей богу! Зачем сюда карабкаться и оставаться тут умирать? Зачем снега Килиманджаро Вите и Лева? Чего тут еще ждать? Ну, взобрались сюда без пропуска в заповедную зону, а теперь хорош, давай по домам, Николай. Там чай есть и виски, и крутятся пропеллеры желтого цвета на ТЭС в ущелье, под домом.

Все дело в клюве, думает Эрик, в его кривизне, в том, что он есть.

А Марина прижалась к нему и громко дышит. Чистая, как снег, ни пылинки, снежная королева.

И Офелия сидит на листве под священным деревом и бормочет ерунду в рифму и без рифмы, а что именно, не понять, – то ли песню Леди Гаги по-английски, то ли Горация экзеги монумент, а может, трактат философа Фичино пополам со стихами молодого певца Джима Моррисона, что сильно в конце жизни косил под Христа.

А потом она начинает говорить все подряд и на всех языках – китайском, сингапурском, коми и немецком.

А Лева от этого кажется, что где-то далеко идет дождь и плещут волны, потому что ему совсем плохо, и он немного отошел от мира привычных вещей и теперь бродит в мире вещей хоть и знакомых, но неузнаваемых, а когда узнает крышу и дождь, то успокаивается, не замечая, как это бывает во сне, что крыша это слова Офелии на тамильском, а дождь это ее слова на греческом. Но Леву не беспокоит, как оно есть на самом деле, и ему хорошо под этой крышей из тамильских слов, и ему уютно теперь под монотонным и теплым дождем из греческих.

Вполне возможно, вполне возможно. Возможно вот что. Возможно, что и мы с вами находимся в некотором бреду, как и Лева, но только в более мягком, более общепотребительном, что ли, и, как и Леву, сейчас, вполне возможно, нас не интересует как оно есть на самом деле, а мы видим вещи, которые нас вполне устраивают, не соображая, что все это не явь, а обыкновенный бред. Что автомобиль феррари, о котором мечтает, например, мой друг Сергей, вовсе не автомобиль феррари, а чья-то мнотонная болтовня на одном из мировых языков, которую мы по немощи своей, как и Лева, принимаем за красный и стильный кар, а он никакой не кар, а всего лишь слова на полинезийском неразборчивой мировой Офелии, которую никто не видит, потому что спит, но слова ее слышит как автомобиль, или подругу, или привоз контейнера с барахлом на загородную дачу.

А раз есть Офелия простонародная, то должна быть и Офелия мировая. Потому что золотое правило Гермеса Трисмегиста, у которого был в выучке сам Платон, не считая философа Фичино, говорит, что как сверху, так и снизу. Говорит, что как в малом, так и в большом. Поэтому, раз болтает на всех языках Офелия внизу, а Лева от этого видит дождь, крышу и всякие другие удивительные вещи, то разве точно так же не обстоят дела и наверху, где бормочет великая Офелия Урания, чтобы нам с вами не переставали видиться все эти забавные и убийственные картинки, которые мы называем своей жизнью и которых так сильно желаем, но все равно ненавидим и боимся.

Не факт к тому же, что я сам, например, всего-навсего не слог на каком-нибудь тмутараканском космическом наречии, а воспринимаю себя как длинную судьбу с обильными событиями, горестями, двойной попыткой решительно выбраться из невыносимой жизни, но все равно с дальнейшими несостоявшимися отношениями, пьянками, наркотиками, покаянием, воскресением и вновь какой-то непрерывной бестолочью жизни. А это, может, все и не так, вот в чем подлость и нищета. А это все болтает большая Офелия совсем не про то, что меня воскрешает и стирает в прах, а так, сама по себе, даже не подозревая о моем существовании, как Лева, например, пока спит, не может чувствовать, что рядом с ним Офелия, хоть, конечно, если он проснется, то он ее узнает и поздоровается.

Но мы-то не спим, думаю я. Это Лева спит, а не я. Лева же это спит и бредит, говорю я себе все более настойчиво и убедительно. Лева же это, да. Но я-то не сплю, и я бы, конечно, бы увидел Офелию Уранию, если б она была на свете. Я же не сплю, бормочу я себе, я же настоящий, вот он я. И чем больше я пытаюсь убедить себя в этом, тем мне становится тревожней. И когда тревога охва-

тывает меня с настойчивостью бортпроводника, толкающего спящего пассажира, подъезжающего к своей станции, я начинаю вспоминать высказывания разных чудаков, вроде дзенских монахов или апостолов про то, что так называемая жизнь есть сон и надо проснуться, я вспоминаю эти знакомые всем слова и, оттого что они знакомы многим, а не только мне, я начинаю успокаиваться. Я ведь понял, о чем они мне говорят, и как-нибудь я обязательно проснусь и перестану принимать болтовню уставшей и промерзшей девочки за вещи своего разнообразного и неугомонного мира.

И я успокаиваюсь и сплю дальше.

*

Когда глиссер набирал скорость на небольшой волне, то вода начинала бить в днище с ликующим и бухающим звуком, который можно было услышать с берега. Глиссер был белый, водитель тоже был в белом костюме, и мы подпрыгивали на волнах, как на трамплине, и ветер трепал волосы, а сзади, на корме, трепетал маленький красный флажок. Брызги летели во все стороны, и за нами тянулся длинный пенный след – молоко по серо-синему колеблющемуся в блеске простору.

71

Ночью они залезали в шалаш и в развалины святилища и грелись там, прижавшись друг к другу.

Как ты думаешь, спросил Витя Николая, что бы сказал про нас Элвис Пресли, вот клево было бы, если б можно было б с ним поговорить, а Николай ответил, что Элвис ни хрена бы не понял про снег, и голод, и морозную ночь, потому что жил на юге и такой погоды со снегом в жизни не видал, но он был неправ.

Элвис в ту ночь ходил возле лагеря в белом как луна серебряном костюме и видел все. Например, он видел снег, про который Николай сказал, что он никогда его не видел, он видел, как спят, прижавшись друг к другу, Медея и Савва, и как Савва укрывает ее своими большими руками, как будто в них есть сила и тепло одеяла. И как мечется во сне Лева рядом с профессором, а тот вовсе не спит и гладит Леву по голове и успокаивает его тревожные сны. И Элвис думал, что как хорошо, что он принес сюда с собой родные ему ощущения и запахи – например, запах дорогих сигар и знойных калифорнийских улиц, где по ночам прямо на тротуарах горят жаровни и продают жареные каштаны, а еще запахи кожаных кресел и успокоительную прохладу больших и плавных, как лодка автомобилей, дорогих духов и белых костюмов, прямиком с недавних плантаций. Он захватил жар вечерних южных перекрестков в светляках, где на углу бренчит гитара, а через дорогу идут улыбающиеся девушки в светлых юбках-колокольчиках и звонко смеются, блестя зубами в бархатном полумраке калифорнийского вечера.

Элвис ходил, как луна вокруг лагеря, но ходил не один, потому что рядом с лагерем ходил большой чужой волк. И тут все понятно. Элвис ведь почти всегда ходит вместе с волком или пистолетом. Если нет пистолета, то Элвис идет с волком, который приходит в такие вечера, сам не знает, откуда, как, впрочем, и все мы тоже. Ведь если б мы знали, откуда мы взялись, то были бы совсем не похожи на волка Элвиса Пресли, но так как мы этого не знаем, то волк нам отчасти понятен и близок. И еще нам близок Элвис, который тоже не знал, откуда он взялся – и здесь, и вообще, хотя иногда задумывался об этом, но потом снова забывал.

Волк был голоден, и изо рта у него воняло. В кустах выше по склону жалась стайка шакалов, но, пока волк кружил на расстоянии от слабенького, затухающего костерка, они боялись подойти ближе. А волк не боялся, потому что был очень голоден. Боялся Лева, который накануне видел на снегу следы волчьих лап и сказал об этом Савве, а Савва сказал, чтобы Лева никому об этом не рассказывал. Но теперь Лева спал и видел сны про дождь и крышу, а волк кружил, слегка подвывая и рыча от нетерпения и голода, и еще оттого, что ему мешали.

Волку мешал Элвис в своем серебряном костюме. Волк не понимал по-человечьи, но зато Элвис понимал по-волчьи. И Элвис подошел к волку и тихо пропел ему про юную леди с кожей цвета

какао, живущую на Миссисипи. Он пропел это одновременно по-английски и по-волчьи. Никто такого не сумел бы, кроме Элвиса, который всегда был везунчик. Он сказал волку, присев и заглянув ему в глаза, давай споем, брат. Ты даже не знаешь, насколько ты мне дорог, потому что в тебе есть мое детство с его вонью и серебряной шерстью. Ты мне даже намного дороже, чем эта девчонка с кожей шоколадного цвета и губами ярче, чем кровь на снегу. По правде говоря, ты мне намного дороже, потому что ты умеешь петь, рычать, убивать и выть, а она не умеет. Я думаю, что и любить ты тоже умеешь по-настоящему. А все, что делает она в этом плане, у нее выходит неплохо, но думаю, что намного хуже, чем у тебя.

Волк стоял, подрагивая шерстью на загривке и щерясь, но не уходил и не бросался на Элвиса, потому что ему нравился звук его голоса. Волк уже понял, что Элвис это не Луна, а когда Элвис спел по-волчьи, волк постиг, что Элвис не как все люди, которых он боялся и ненавидел. Те люди, которых он иногда встречал в лесу, были шумные, от них разило всякой дрянью, и они не умели ни говорить, ни слушать по-волчьи. Никто из них не знал, что волк больше похож на шар, чем на собаку. Что волк это несколько шаров, вложенных друг в дружку: оранжевый – чуткий и нервный, красный – пульсирующий и жесткий и голубой – видящий пейзажи и ночные предметы не напрямую, а в их звездном влиянии. Что в каждом из этих шаров, как красная узловатая жилка в глазном белке, вьются дороги-рецепторы. Они уходят внутрь бесконечного шара, в разные стороны – некоторые идут далеко, к звездам или к горам, некоторые – в те миры, которых мы не видим и о которых даже не подозреваем, а некоторые – ко всему живому и движущемуся, к тому, что волк все равно воспринимал не так, как мы, скажем, собаку или человека, а в форме совсем других предметов и свечений, про которые нам иногда снится, но, пробуждаясь, мы их все равно не помним.

В общем, сказал Элвис, ты лучше всех этих девок, брат. Ты лучше самых лучших из них. И я влюблен в каждый твой коготь, в каждый клочок твоей шерсти, посеребренной луной, в каждый играющий мускул и звенящий нерв! Твои подруги лучше моих, брат, – они умеют петь и драться, и глотать кровь и землю. Ваша любовь прекрасна, как солнечное затмение, парад планет или шум пальмы в Голливуде. Ты быстр и мягок, твоя подруга гибка и неутомима, и от вас исходит пламя и разит псиной, как от черных грузчиков в порту.

Брат! Люди, замерзающие сейчас в снегу, – они не твои, они мои, брат! Они умеют играть рок-н-ролл и смотреть на луну! Они, как и мы с тобой, – не знают корысти, а это, согласись, редкость. Они обнимают друг друга, чтоб согреть, как не умеет ни одна любовница на юге, и они бредят и шевелят губами во сне. Они храбрые люди и они ищут Отца всех, чтобы всем помочь правильно обойтись с любовью, наркотой, которая убивает, и вообще, с жизнью. Они ищут музыку, волк, которая может поднять из гроба их друзей, умерших от перепоя и веществ. И хотя я только ртутный Элвис, волк, а не Франциск, который с вами умел разговаривать, отличный, кстати, парень, но ты все равно уходи, волк!

Потом Элвис сел в снег напротив волка, посмотрел ему в глаза и запел. Волк хотел уйти, но не смог. Красная и чуткая сфера внутри волка стала пульсировать, как еще никогда в его жизни, словно ее разгоняла и раскачивала огромная волна, пришедшая сюда вместе с этим серебряным человеком, и из горла волка внезапно вырвался вой. Волк вибрировал всем телом, словно бьющийся во флаттере самолет, что вот-вот не выдержит нагрузки и разлетится вдрызг – он поднимал и нес всего себя воем из грудной клетки к горлу, и там вкладывал в вибрирующие связки без остатка, силясь почувствовать, какие именно имена деревьев и дорог он произносит. Но Элвис пел дальше, и волк стал понимать про пальмы, и прибой, и девчонок, и особенно про ту, у которой шоколадная кожа. А Элвис, что пел слова про шоколадную кожу, пел на самом деле совсем про другое.

Он пел про то, как набухает во чреве плод, а в земле зерно. Как убийственна бывает луна, покрывая волчьи тропы капканами и морозом. Как струятся нераздельно, но не сливаясь, струи воды в Миссисипи, и как человека на прибрежном кладбище рассасывает могила и уплотняет луч света до его мысли.

И волк шел в своей песне вслед за Элвисом. Он шел все глубже и глубже, теперь дрожали и вибрировали не только связки в его горле, но и ребра, и хвост, и вытянутая к небу морда. И тут

он почувствовал, что с ним происходит что-то чужое для волка – страшное, родное и играющее внутри живыми сквозняками, неодолимыми, как солнце или кровь. Вослед поощему Элвису в нем возникло, обдирая легкие, словно ерш, опасное человеечь слово, и теперь оно хотело сказаться, произвестись и сделать мир неумирающим. Чтобы он всегда теперь был в лунной шерсти, с волчьими губами и волчьей кровью, с бегом ее по мускулистому кругу и с сонной звездой над ночной берлогой. И волк начал говорить это слово, словно бы его рвало или он рожал сам себя через горло в большой заснеженный мир, и тот становился все шире и понятнее, а Элвис теперь пел так тихо и гулко, будто бы это был уже не Элвис, а какой-то лунный зверь, вышедший из ртутных джунглей, чтобы лизнуть земной камень и либо оживить его, либо самому стать камнем.

Той ночью волк ушел, и шакалы тоже ушли, и опечатки их лап вокруг лагеря перестали пугать Леву.

72

Как и в греческой трагедии, все знают, что Антигона не стоит на котурнах, что на котурнах стоит актер, обуянный богом. Но также знают, что дев убивают, и боги, действительно, правят миром.

Так и здесь про Элвиса и волка. И здесь, и там про Элвиса и волка и Антигону. И где бы вы ни были – про Элвиса, Антигону и волка, и вновь Антигону. Я спел бы все это, я бы спел. Алексею, Франциску, Александру и всем остальным.

Прямо на улице спел бы. Про Элвиса и Антигону, потому что сказать труднее. И когда невозможно сказать, то говорится. Можно пенять, что трудно и невозможно, и что про волка и Антигону, но тогда говорится, хоть невозможно. Да.

Я спою. Алкашам с утра, которых бьет и ломает, и другим тоже.

Рыбакам и грузчикам, и всем, кто жив.

Я спою так, что мороз по коже, я не умею, но у меня выйдет. Это будет про Элвиса и Антигону. Да. Пусть мое горло хрюкает, погибает и рычит. Путь визжит и плюется. Вы увидите, *что* я вынул из невозможного. Вы услышите.

Вынимаю же я звук меди из тишины, возобновляя царство.

Я и себя выну, вы все поймете. Не про меня – про Элвиса, волка и Антигону. И еще про брата, которого засыпали землей.

А Офелия сидела спиной к стволу, прячась от дождя и снега, и бормотала все подряд на всех языках, и в том числе стихи про птицу Симурга, которую многие считали божественной и даже некогда обозначающей собой Создателя мира:

И ответил Удод расшумевшимся стаям:
«Шахиншахом великим его мы считаем.
Как сокровище, скрыт он, и суть его тайна,
Блещет в зеркале мира красы его тайна.
И когда он явить себя миру решил,
Он затмил своим блеском сиянье светил.
Так что вот: он являет красы просветленья,
Ты же с сердцем твоим – лишь его отраженья
Вы спознаетесь в странствиях с трудной судьбою,
И увидите шаха в единстве с собою».

– Вот ведь, – сказала Офелия, поднося мизинец к глазам, – заусенец, блин. – Она обкусывала ноготь и бормотала: и когда он явить себя миру решил, и еще про Удода.

– Ты чего это говоришь, Офелия? – спрашивает Витя. – Я говорю, заусенец, – отвечает Офелия, – а до этого? – спрашивает Витя, – до этого, – говорит Офелия, – читала стихи про Симурга, – про кого? – спрашивает Витя.

– Я знаю, – говорит Эрик. – Симург это царь птиц, великая птица, иносказание Бога. Это Алишер Навои написал.

– Зачем нам Алишер Навои, – говорит Витя, – на хрен он нам тут сдался, – пусть Офелия лучше прочтает про Колтрейна.

Мне все равно, говорит Офелия, дайте мне ножницы кто-нибудь.

А ситуация-то похожая, ухмыляется Эрик, правда, профессор, а Воротников молчит, и о чем-то задумался, и Эрик дальше обращается к Вите. Там такая история, говорит Эрик, и пар идет у него изо рта, такая история. Птицы передрались между собой, а над Китаем пролетал Симург – волшебная и всесильная птица, повелитель всех птиц, птичий бог, и обронил золотое перо. Птицы выяснили, что есть такой Симург, на хрен нам Симург, говорит Витя, не мешай, говорит Офелия. Что есть такой Симург, говорит Эрик и почему-то начинает волноваться, что он есть, говорит Эрик и вскакивает на ноги, как ошпаренный. И тогда птицы отправляются на поиски Симурга, про которого им рассказал Удод, почти кричит Эрик. А Удод сказал, если найдете Симурга, вернетесь в сияние рая и обретете блаженство для всех птиц в мире, а Марина смотрит на Эрика с насмешкой и с замиранием сердца. И они идут за ним, за Симургом, взвизгивает Эрик, и с губ его летит слюна, а правой ногой он начинает бить в землю так, что снег смешивается с грязью и травой, и после мучений и испытаний приходят на место встречи, а его там нет, нет, нет!!! И тогда птицы, кричит Эрик и начинает крутиться вокруг себя, растапывая широкую площадку из травы и земли, и тогда птицы, птицы, птицы! Тридцать птиц, кричит Эрик, тридцать птиц, и Марина подходит к нему и хочет погладить его по голове, и начинает плакать, но Эрик не дается и продолжает крутиться на месте и размахивать руками. Тридцать птиц, что переводиться с фарси как Симург – понимают, они понимают, да, они понимают! Что они и есть – Симург!!!

Офелия встает из-под дерева, подходит к Эрику и начинает тоже танцевать и подпрыгивать за компанию, напевая сиянье светил, подражая Эми Вайнхауз и делая безумное лицо, и Витя тоже идет к ним, пытаясь поймать Офелию за руку, но она не дается, и тогда Витя тоже нечаянно танцует вместе с ними, а Николай начинает отбивать такт перочинным ножом по консервной банке, а Эрик кричит, понимают, а Офелия: *Hi! my love, love, love*, птицы, кричит Эрик, понимают, и останавливается так резко, что Витя натывается на него и больно стучается коленкой.

Не зря за мной одна утка летала целых три дня, говорит Савва Медее.

Тридцать птиц, говорит Эрик, понимают, что они и есть Симург.

Он оборачивается на Воротникова.

Воротников подходит к Эрику. Он смотрит на Эрика плачущими глазами и улыбается своей собачьей улыбкой, и Эрик чувствует, как огромная молния правды, тихая и страшная в своей красоте, влетает в его сердце и пробивает его своей смертельной достоверностью, похожей на змею и перепелку. И молния правды, пробивает сердце Эрика и летит через тела всех его друзей и возвращается и пробивает сердце Эрика с другой стороны.

Лева волнуется, он почти не стоит на своих слабых ногах, и лицо его бледное и невесомое от тяжести и быстроты понимания. Значит, говорит Лева, если Симурга, который с птицами заменить на Цсбе, который с людьми, то мы сами тогда и будем Цсбе.

Да! кричит Эрик, да!

Эрик, зовет бледная и раздумывавшаяся Марина. Сейчас! Сейчас! Она лезет в сумку, копается там и начинает подкрашивать губы.

Да, Марина, да! хрипит Эрик. Да, Марина!

Значит, говорит Лева, значит мы все тут – Цсбе? Так, что ли, Савва?

Выходит так, говорит Савва. – Выходит, что мы тот, кого мы тут ждали. Выходит, что мы дождались того, кого ждали.

– В каждом из нас все остальные восемь, – взмывает голосом Эрик, – а все вместе мы – один Цсбе. И в каждом из нас – весь остальной мир тоже, и весь остальной мир это каждый из нас. А все вместе вдвоем мы одно – Цсбе, как тридцать птиц составляли одного Симурга.

Помните, говорит Воротников, зачем? Зачем мы тут его ждали, помните?

Мы его ждали, говорит Витя, потому что он должен был сказать людям то, что они еще не расслышали от Христа и Будды, и что они теперь должны обязательно расслышать, чтобы новая жизнь распространилась на людей, осьминогов и деревья. И чтобы люди, услышав, перестали истреблять друг друга и черепах, и птиц, и родники.

Но если мы – Он, говорит Воротников, то что же дальше?

Значит, говорит Офелия, теперь мы Его нашли. Мы его встретили. И мы не зря сюда поднимались и ждали. Он пришел. А значит, это мы должны сказать людям. Чего мы им можем сказать, говорит Лева, ну, чего? А то, чего они не расслышали, а мы поняли, говорит Офелия. Что Бог живет в нас, когда мы его любим и плачем в нас, когда нам больно. Что он и есть мы. И что это счастье, которое никому не разрушить. Но что тут нового, говорит Лева, что тут нового, подумай сама. Мы новые, говорит Офелия. И всегда были новые, только не знали, и ты, Лева, только попробуй не поверить про нас, только попробуй, хоть ты и хромой, Офелия всхлипывает. Простите меня, дядя, говорит она Воротникову, я тогда все наврала, и меня никто не похищал, а я хотела в Париж. Она плачет и лицо у нее как перламутровая ракушка, заброшенная в бесконечную степь при знойном ветре. Простите меня, пожалуйста.

Конечно, говорит Лева, не плачь, Офелия. Мы же теперь не просто так, а мы все – одно, как мы можем теперь быть поврозь друг с другом и с остальными людьми, и горами, и рыбами?

Как мы стали Цсбе, так и все остальные поймут, что они тоже Цсбе, – говорит Офелия. – Что Бог в них плачет и в них воскресает, и что ему надо помочь придти, иначе мы так и просидим и не поймем, что он уже пришел, и он уже в нас.

Знаете, у меня внутри свет гуляет, говорит Марина, живой.

Так, значит, он все-таки пришел, говорит Медея, а я думала, он никогда не придет, и мы все тут померзнем и, наверное, умрем. И что Кукольник окажется прав.

Нет, говорит Эрик и гладит Медею по голове. Кукольник прав только частично. Кукольник прав для тех, для кого он прав, а не для нас, потому что у нас теперь другая правда. Когда мы придем вниз, Медея, я подарю тебе сверкающую золотом и перламутром куклу из японского театра, и ты сама все поймешь, что там никого нет, и поэтому ее ведут три кукловода. И ты поймешь, что нет правды и нет неправды, если есть только Цсбе и только его общая, как любовь, жизнь для всех.

Амигос, говорит Офелия, амигос! Сегодняшний день я не забуду.

Я знаю, говорит Лева, я знаю, почему я не умер, хотя много раз старался, это потому что смерти нет, а есть только это... это... как это?...

Витя с Саввой уже ходили среди лагеря и собирали вещи. Николай поднял к небу свою трубу, напружинил губы и сильно дунул. Кружившиеся высоко орлы, которым Николай был виден вместе с его наростами и ресницами, отозвались клекотом. Крллл, сказали они Николаю из высоты, крллл!

А Витя сказал, валим отсюда. Так сказал Витя.

А другой говорит, сейчас еще доскажу. Так сказал другой. Да, примерно так.

Осторожней, сказала Офелия, осторожнее, профессор, тут запросто можно шею свернуть к чертям собачим.

Они шли вниз, через снег с грязью, в солнце и дожде, поддерживая и храня друг друга, как иногда это умеют делать люди. Путь был не близкий, и, скорее всего, никто не знал, где он начинался и куда вел, петляя через склоны и уступы, стволы и обрывы, мешаясь с блеском ручья, криком птицы и исчезая в головокружительной глубине ущелья.

73

Кто бы это ни спел, он спел. Или пробормотал, а, значит, пробормотал. В общем, воспользовался словами, чужак. Такое он спел, слушайте:

Безрукие держат мотыгу.
Пеший шагает верхом на водяном буйволе.
Человек переходит через мост –
Течет мост, а не вода.

Говорят, что это гатха бодхисаттвы Шань Хуэя. Но это неважно, как это называется. И неважно, что это значит. Вообще, ничего не важно. Помолчим, да. Просто да. Просто молча. А потом пойдем на зеленой траве или в шатком вагоне, что. Что говорит гатха. Я трактовать не берусь, я трактовать не буду, бесполезно, пробовал. Пусть на гатху отзовется дерево, что ли, скажем, клен. Или собака, скажем, Джек. Или кто-то другой, скажем, другой.

Бог безрук, говорит другой, как и слово, как и небо. Наше сознание держит нами мотыгу, используя форму человеческого тела, как Ван Гог в его ночном пейзаже со звездами использует форму тела, чтобы понять про звезды. Вторая строчка говорит о том, что у человека есть сознание (водяной буйвол), которое и направляет его ноги во время ходьбы (везет его).

Человек – тут вместо слова человек всегда хочется сказать такой-то, например, Хаба, или Сэм, или Офелия, потому что все обобщения неправомерны, вы это знаете лучше меня, да, все обобщения не могут быть травой, кротом или рыбаком. Ни чайкой, ни плакучей ивой, ни застывшей на берегу глыбой базальта. Все обобщения не могут быть также вами или мной, или градом, или вашим выдохом в семь часов пятнадцать минут и вдохом в семь часов пятнадцать минут и три секунды. Но Хаба, и мы с вами идем через мост жизни, вступая на него и в этот момент получая в свое тело что-то такое, чего, может быть, намного меньше в траве или базальте, а у вас или у Хабы намного больше. А пройдя через мост жизни, вы то, чего у вас так много в теле, больше, чем в камне или в озере, отдаете, потому что оно в этот момент покидает ваше тело. Это третья строка гатхи.

А в четвертой говорится или читается, что тело, ваше, или Хабы, или ваших родителей подвержено постоянным изменениям – оно течет, в отличие от воды, чья сущностная природа непреложна и никогда не меняется.

Это трактовка гатхи другим.

Но лучше всего ее трактует дерево, шелестящее листьями на холме или звездное небо, которое, как бы это сказать? ну, да все равно не скажешь напрямую, а можно попробовать сказать про звездное небо так:

*Мешок с мукой оказался глубже
вернее dna не было изначально
посмотри на звездное небо*

Знаете, не люблю я гладкие фразы. Что-то в них неправильно. Как и в слишком ухоженных лицах. Чего-то там не хватает. Жизни, что ли. Но все остальные их очень даже любят и ценят. Гладкие фразы, как и лица, убаюкивают и создают впечатление опоры и успокоительной причастности к общепринятой норме. Поэтому их и любят, забывая, что течет тело, а не вода. Поэтому однажды решаешься и выпадаешь (иногда мордой в асфальт) из сообщества всех остальных. Глотаешь соль с разбитых губ, и на первый взгляд ничего от этого не выигрываешь. И на второй тоже. Чтобы понять, что же ты тут выиграл, надо закрыть глаза. И потом открыть их снова – но уже не снаружи, а изнутри.

74

Бархатный сезон в С. это сезон, в котором присутствует бархат. Бархат присутствовал в С. в 50-е и 70-е годы, и это, без сомнения, были сезоны бархата. Возможно, были и более ранние сезоны, но их я не помню.

Бархат нежит и слегка холодит. В бархатный сезон от маяка к летнему театру в плавках по набережной уже не прогуляешься, но можно. Музыка здесь становится тише, в кафе становится попросторней, раковины под ветерком остывают на прилавках, и их приятно гладить и даже трогать губами.

В кафе у маяка самый лучший кофе и вежливые официанты. Там рядом стоит отлитый из бронзы памятник семье на курорте, для многих смешной, на деле печальный. Таких чемоданов модели пятидесятых-шестидесятых, какой там изображен, больше не делают, теперь делают другие. Они

там всей семьей так и стоят с чемоданами под платаном, месяц за месяцем, год за годом, так никуда и не дошли. Наверное, так и не сумели снять комнату, хотя на практике такое почти никогда не случалось. Или никому не нужны оказались, не знаю. В общем, довольно печальный памятник, зря на его фоне туристы с детьми так уж радостно фотографируются.

Город, как и чемоданы, тоже стал другим – чистым, благоустроенным, европейским и торговым. Мост, где мы с Викки-зимородком прощались и умирали под шарами распевających ламп, кажется на фоне новых зданий маленьким и приземистым. Тогда он висел над пропастью, и с него хотелось прыгнуть, особенно после травки, как мне поведала одна моя подружка, а теперь с него прыгать не хочется – крыши из ущелья торчат почти вровень с проезжей частью, и не думаю, что здесь кто-нибудь теперь целуется, особенно когда пробка и воздух загазован. А даже если и целуются, но вряд ли ощущают зеленый и серебряный холодок в животе, шепчущий – ну, давай, не стой, прыгни! Давайте, прыгните вместе, и – взлетите! Это по поводу гладких фраз, которые мне не нравятся, даже если без них иногда и не обойтись.

В общем, Викки, я помню холод твоей щеки, длину ног и ссадину, похожую на луну. В общем, я помню про это. Хочу, чтоб ты знала. Только это, в общем, неважно, сама понимаешь.

Сейчас, Викки, я отвлекусь, а потом разреши мне сказать еще пару слов.

Не то чтобы отвлекусь, а просто продолжу немного другими словами. В кафе под маяком, за столиком у окна, что выходит на море и набережную, сидит с очень красивой девушкой Петр Алексеевич Бакчеев, преподаватель вуза, профессор. Они перекусили и теперь пьют кофе.

– Потом, когда ты закончишь аспирантуру, тему можно будет не менять, – говорит Петр Алексеевич. – Я буду рядом, – говорит он. Он качает головой и задумчиво смотрит на Машину грудь, как та прекрасно устроена. Маша тоже прекрасна, но Маша не устроена. В жизни, конечно же, надо устроиться лучше, чем устроена она. Петр Алексеевич пьет кофе. У него породистое лицо и вдумчивые глаза, что вполне подходят доктору наук и даже любой собаке, которую вы любите за ее ум, но у собак всегда бывают такие глаза, а у докторов не всегда.

– Маша... давай мы сейчас поднимемся в номер, – говорит он вдруг с хрипотцой в голосе. Ставит чашку на блюдце. Маша смотрит на него с удивлением. – А рынок? – Рынок потом, рынок после обеда, завтра, а сегодня в номер, а потом в театр. – Маша, я прошу.

Маша недолго колеблется. Хорошо. Она успокоительно касается его колена в брюках, да, хорошо. Джинсов Петр Алексеевич не носит. Подходит официантка, она похожа на опрятный цветок, пахнет ментолом. Петр Алексеевич рассчитывается с официанткой, мельком смотрит в окно на набережную и видит там знакомого. Лицо его меняется. – Не понимаю, – говорит он. – Не понимаю.

– Ты о чем, дорогой? – спрашивает Маша.

– Ведь даже не пригласил зайти. Я думал, мы друзья, а он даже не пригласил остаться хотя бы на день, – бормочет Петр Алексеевич.

Он снова смотрит в окно и видит там шпиль и лоток с раковинами из Красного моря.

– Я думал, навещу его, ему будет приятно, поговорим. Мне ведь было что сказать. Я многое понял. Мы могли бы говорить как равные. Мы могли бы общаться долго, ты понимаешь, Маша? Свободно. Как, например, играют дети, не наблюдая времени. Я, может, Маша, знаю сейчас то, что он сам не знает.

Петр Алексеевич провожает взглядом фигуру Воротникова, уходящую по набережной. Он взволнован, рассержен.

– Ты про что? – спрашивает Маша, оборачиваясь в сторону порта, где возле памятника семье «дикарей» ходят уже совсем другие люди, а над асфальтом шуршит платан и струится нагретый воздух. Петр Алексеевич и Маша молча смотрят на конец набережной, потом Петр Алексеевич отводит взгляд.

– Тебя тут еще не было, – говорит он. – А я поехал и нашел его в горном поселке. Не сразу, но нашел. У меня водитель был осетин, местный. И мы его разыскали.

– Ты очень ранимый! Очень! Ты нерасчетливый. – Маша волнуется. – Да, ты нерасчетливый, я знаю. У тебя не сердце – а сплошная рана.

– Мы когда-то дружили. Он ведь мне жизнь спас, знаешь? И я ему тоже жизнь спас, да. Мы друг другу спасли жизни. И что теперь? Где это все? Словно бы мы уходим, Маша, да, и от нас остается все меньше. – Петр Алексеевич волнуется, пестрая скатерть побережья расплывается в его глазах.

– Ну что ты, милый! – Маша тревожно смотрит на него синими, с сатурновым ободком глазами, а он нечаянно видит, как они с Машей медленно куда-то взаправду исчезают, словно бы и все остальные вещи, когда им приходит время, и прямо сейчас, вместе с набережной и розовым лайнером, выходящим из порта, с шелестом длинных и узких листьев эвкалипта, что раньше росли на склоне горы у санатория «Чайка», а теперь не растут, и вместе с его мамой, которую хоронили под дождем, и все шли под зонтами, а гроб блестел как лакированный. Это поражает его. Он берет Машину теплую руку, убеждаясь, что она все еще здесь и с ним, и, словно со стороны, слышит свое бормотанье.

– У него здесь новые друзья. Он забыл, как я был бережен к нему и к его бывшей жене, и к их собаке. Дружба обязывает. Я думал, он тоже считал меня другом, а он даже не предложил мне остаться. – Петру Алексеевичу уже не до слов, потому что ему отчего-то делается тоскливо и страшно. Море зачем-то уходит одним блестящим углом вверх и так там и остается.

– Смотри, Петр, бабочка летит. Какая желтая!

– Подумать только, что у него за друзья! Бомжи, лабухи, девицы какие-то, отребье! Ну ладно, я понимаю, – бормочет скороговоркой Петр Алексеевич, – что человек может взять и все бросить, да понимаю. Взять и исчезнуть. Плюнуть на все, на кафедру, науку, друзей... но ведь я и хотел ему это сказать, что я это понял, я ведь и хотел встретиться и сказать, что он прав... не потому что... а как дети...

Он поглядел на Машу, с удивлением чувствуя слезу на щеке. Из порта выходил розовый в закатном солнце лайнер. Белый нос, труба с красной полосой. Золотистые облачка над пирсом, темный уже горизонт. Петр смотрит на Машу, на ее тело, сквозь которое удивительным образом просвечивают звезды в горах, потом отчего-то видит боксера, как тот лежит на ринге лицом вниз и трясется, потом – снова звезды, что они дрожат там, над вершинами в снегу, словно густая соль, выпаренная из темного раствора, и опять боксера, а дальше потоки сильного, почти как вода, света над ущельем... и снова Машу с рассеченной пробором русой головкой... вот теперь сейчас он должен выбрать, кем ему стать, потому что ясно, что только теперь он может быть Петром или Сатурновым кругом, и даже тем, кто однажды создал этот круг с его золотыми животными и цифрами на черном циферблате, как на здешних вокзальных часах – стать тем чудным Ангелом, что уже давно и монотонно стучится в его темное, изнаывающее сердце, как в большой шкаф, а он этого и не замечал, и не чувствовал болезненных ударов.

– Я суть... – говорит Петр Алексеевич, слабея от сильной боли в груди, – я суть...

– Кто ты, милый? – не понимает Маша.

– Суть, – повторяет Петр Алексеевич и понимает, что девушка не различает того, что несетя сейчас на них всей своей безмерной огромностью. Вот оно падает, все в звездах и огнях, как поезд в ночи, и он хочет встать на колени перед тем, что ему вдруг открылось и сверкнуло, но почему-то не может. Брюки его намокли, и вокруг него по полу расплывается лужа мочи. Он пытается что-то сказать, но звук выходит такой, как будто он хихикает.

– Господи, Маша, – выговаривает он, наконец, через слюну изо рта, – господи, Маша... это же она... это же...

– Что? Что? – задыхается Маша от страха, – говори же, говори, Петр!

– Льб... говорит Петр и оседает с коленей на пол, – льб...

– Есть здесь у кого-нибудь телефон? – кричит Маша, и от крика ее дрожат стекла.

У фонтана со статуей богини морей, что у порта, кричат дети. В «Макдональдсе» по соседству они тоже кричат, плюются жвачками и выдувают из них пузыри. Синие, розовые, белые. Цены летом терпимые, хоть и кризис. Маршрутки водят в основном нелегалы – хамоватые из Абхазии и вежливые из Таджикистана. В маршрутках работают телевизоры, и в Хосту вечером они идут набитыми битком, а обратно пустыми. Пахнет разогретым асфальтом и цветами.

Самое лучшее место на побережье, ты знаешь, – в Адлере, между армянской церковью и памятником Бестужеву-Марлинскому, где платаны, лавочки и густая прохладная тень, как в зеленой пещере. И это, заметь, в самую жару. Тела Марлинского, погибшего здесь от убыхских сабель во время десантирования с моря, не нашли, и, слава Богу, что вышло именно так. Потому что теперь его телом стал воздух, и кипарисы, и армянская церковь, отчасти все мы. Я знаю место, где он погиб, но никому не покажу. Еще, Вики, я знаю то место, где все мы однажды погибнем, и как не найдут наши тела, я тоже знаю, но не вижу смысла говорить об этом. Потому что главное свет сейчас и потом, который один и тот же.

В общем, что я могу сказать тебе про слова? Иногда они врут, а иногда почти что и нет. Когда они врут, у них больше возможностей сказать главное, потому что им перестает верить. А если перестает верить словам, то до главного, которого они выразить все равно не могут, уже близко.

У каждого свое главное. У меня в детстве это был запах мазута, которым терли полы в школе, где мы с бабушкой жили, и было слышно как в 11 часов вечера, когда я уже лежал в кровати, мимо нас с танцев возвращались в санаторий веселые компании отдыхающих. Девушки призывно смеялись. Это тревожило, как обещанье. Но, как ты понимаешь, я тут не при чем. Вместо меня теперь какие-то деревья, отдельные буквы и еще холмы. Потом рыбы, мосты и еще несколько кукол. Это так, как оно есть.

Викки, это очень интересно, ты даже себе не представляешь.

Разводишь руки в стороны, а внутри – ничего.

Как у японской куклы. Кукловоды, впрочем, тоже исчезли. Даже непонятно, куда они подевались и что со всем этим делать. Знаешь, Викки, иногда я все-таки жалею, ну, ты знаешь, о чем.

Забавно, что человек отчасти все-таки мост. Но это неправда. Мы-то с тобой про мосты все знаем. Мы с тобой знаем про мосты и острова почти что все, и, может быть, ты еще помнишь их японские имена, я помню.

Ты, наверное, тоже теперь стала рыбой, как я, или холмом и светом. Я думаю, стала. Знаешь, меня всю жизнь отговаривали. Но не мог же я все время повторять за другими имена, какими они называют друг друга и вещи. Думаю, что и тебя отговаривали тоже. Но тут я могу ошибаться. В общем, многого уже нет из того, что было.

На сегодня во всех словах стало на слог меньше, я всегда думал, что так оно и будет, и наконец-то так и стало. Когда-нибудь все они будут вообще без слогов, представь! Ни одного слога на весь лексикон.

Рыба без рыбы больше рыба, чем рыба сама по себе. Потому я и записал тебе всю эту историю, правда, слово «я» тут неуместно. Слово «ты» тут тоже неуместно, ну, и так далее. Знаешь, если вдуматься, смешно все это, тебе не кажется? Особенно про рыбаков, как они стояли тогда в ряд с удочками над зеленой водой при свете вечернего солнца. Тишина была необычайная. Только иногда тихо всплескивала волна у берега. Было в этом какое-то величие. Зеленые волны, низкое солнце, серые рыбаки. Они и сейчас там стоят. Думаю, что стоят.

Александр АВЕРБУХ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕТВЕРТОГО ЛИЦА

*а ты ему отдам
распятых городов
и колоколенки и гниль святых даров
он нас еще потискает нанижет*

и выпотрошит
и пресуществит
раздобрившись с жидочками по пьяни
и в кротости мещанской нас помянет
и пушечки за чаем наведет
братки соседи
малороссияне

а как он прослезится как
капель заслышав несогласну
и прыснет
и мундирами заест
и зубом клацнет
с крапинкой алмазной

и мы сгадючимся
ему блюсти посты
по селезенку вкладывать персты
по праву руку сдабривать бразды
по леву руку
сдабривать бразды
в имперском содрогаться спазме
обрубленные вытянув хвосты

страх господень
соблюдать хорошо
почти сердцем

Александр Авербух родился в 1985 году в Украине. С 2001 года жил в Израиле, с 2015 в Торонто. Публиковался в журналах «Двоеточие», «Воздух», «Октябрь», «TextOnly», «Зеркало». Книга стихов «Встречный свет» (2009). В 2006 году вошёл в шорт-лист премии «Дебют». В 2009 году вошел в шорт-лист премии «ЛитератураРентген» и в лонг-лист «Русской премии».

и во мне сон обтекает
имя твое

вот примерзший к немоте житель
настраивает музыкальную смертность
громким названием норовит положить конец
на стыке неба и птицы
а под язык чистое серебро воли

с каждым днем

свидетельство четвертого лица
подвздошном узелке вины

кто восходил
греха на грузные челны

гребите братцы выше чаще
я вам поддам
течением саднящим
живцом гортанным
хрустом купины

король исчезает мудрым
его слили монголы
силу его и огонь
пушек орудий его
там есть место болото
он умрет при случае
провалится в цифру-портрет
тот же самый проступок
и я шепчу ему притчу
не спи на кратном-на-впалом

в провинциях воздуха
шум дебатов низших инстанций
королевские игры в уклончивость
без проволочек решаться на образ
рассказчик вскрывается
безумный избыток
тот самый
прячет третье лицо

все вышли к поржавевшим поездам
к червоным прапорáм
в груди застрявшим намертво звездам
все едут
едут онемелым скопом
а ты стоишь и мутные глаза
бегут в бреду
спускаются в окопы

всё медленно сыпается туда
всё оступается в распяты города
не помнит всё ни пули ни подды́ха
мы ссучимся в державны невода
поди сюда
ко мне
под смертную шумиху

будь по́ пояс в аду
по локти в издыханном паре
возьми меня в имперскую узду
к местам утопленным в сепарском перегаре

где в три погибели загнулись рупора́
где черная печаль у каждого двора
где я молчанием захлебываюсь стоя
в тени сокройся красного бугра
уйди с тобой
несуществующа орда
оставь меня лежать в заупокое

в соленой гари слышишь хрипота
твое клянёт соседство воровское

какая блажь мне восстает в тумане
в дурмане боли будто густота
ее стоит в луганском котловане

еще исходит вечер
черные простыни текут
рекой мокрых потемок
не просыпаясь в воздух
темнее ночи вспыхивает
облачко забытое чернее крови истекает
в прореху памяти
ложится пятнами

усыпанное снится
брызгами горячее полотно
высокое постелено
в безмерность страха
кипит течением и трется
черная река вьет в изголовье
мутное гнездо водоворота
где наконец утопятся все наши
губами сухими припадут пиявками
бархатными крошечными
к землистой неподвижной ночи горделивой
с воротничком бледнеющим
за стенами
варится утро
захлебываясь светом

волнение пригубив
речистый до зубов
лежишь блестяшь в разрубе
посмертных желобов

не выпутаться в воздух
усталости зерну
все было только возле
отдать и козырнуть

леденцами оглоданного золота
сбилось подъязычной метелью
мается разговаривает волоком
помоги мне выговорить нательным

пока слово за слово
голосом единичным
воздух не осыпался заспанный
на подвздошный тряпичный

Алла ДУБРОВСКАЯ

ЕГИПЕТСКИЙ ДОМ

Повесть

– День начинается с дерьма. Отойди-ка! – Славик натянул промасленные брезентовые рукавицы и, взяв в руки ломик, не спеша откинул крышку люка, откуда потянуло парком и зловонием.

– Так это к деньгам, – с готовностью откликнулась Женечка, наморщив носик и отступив на пару шагов от люка.

В окнах первого этажа показались любопытные лица жильцов. Грязная марля колыхнулась и обвисла на поспешно захлопнутой форточке.

На расчищенном пятачке заваленного снегом ленинградского двора-колодца столпились люди в драных телогрейках. Неторопливо переговариваясь, они время от времени заглядывали в злобонный люк.

– У кого тросик-то, мужики? – Славик снял рукавицу и смачно высморкался, зажав нос двумя пальцами. Зеленая сопля, описав короткую дугу, повисла на заледенелом сугробе.

Женечку передернуло от отвращения, и она поскорее перевела взгляд на синицу, колупавшую клювом белый сверток в вывешенной кем-то за окно авоське. С утра подмораживало. Югославские сапоги на поролоновой прокладке не держали тепла. К тому же на одном из них разошелся шов внизу, у самого мизинца, угрожая промоканием при первой же оттепели. Пытаясь согреться, Женечка начала постукивать носком одной ноги о пятку другой.

– Ну че переминаешься, замерзла? – добродушное лицо Ваньки-Бояна розовело от морозца под потертой ушанкой, сдвинутой на затылок. – Тока-тока подморозило, а ты уже топчешься.

– Да холодно тут без толку стоять. Сапоги-то у меня импортные. На нашу погоду не рассчитанные.

– А ты валенки достань, – Ваньке явно хотелось потреться с молоденькой техником-смотрителем. – Или ноги газетой обертывай, шоб тепло не уходило.

Привыкшие к беззлобной болтовне Ваньки, прозванного Бояном за готовность трепаться по любому поводу, водопроводчики начали переглядываться и подмигивать друг другу. Почувствовав поддержку зала, тот перешел к описанию ужасов холодных зим в его уральской деревне.

– А че, мужики, хотите верьте, хотите нет, но у нас, бывало, утром по нужде пойдешь, ну и эта... в снег сплюнешь, дык плевок на лету замерзает. А тут чуть-чуть морозом прихватило – и девушки красивые сразу жаловаться начали, видать, никто их не греет. Иди сюда, техник, я тебя согрею, – Ванька попытался обнять Женечку полами распахнутого ватника. Та ловко увернулась.

– Иван, не дури, – строго сказал Славик и под одобрительный гогот мужиков добавил: – Вон твоя горячая женщина идет.

Из подворотни в расстегнутой на груди телогрейке, быстро перебирая короткими кривоватыми ногами в неизменных резиновых сапогах, выкатилась Марьяша. Пряди ее седых волос выбивались из-под синего теплого платка, завязанного под подбородком. Подол юбки неопределенного цвета прикрывал ярко-голубые рейтузы. Ни с кем не поздоровавшись, она деловито уставилась в открытый люк:

– Ну че, дворники, опять палок в канализацию накидали, а нам чистить?

Алла Дубровская окончила Ленинградский педагогический институт. Работала учителем истории, техником-смотрителем, теплорегулировщиком. С 1992 года живет в Америке. Автор романа «Одинокая звезда» (СПб.: Алетейя, 2014). Публиковалась в журналах «Крещатик», «Семь искусств», «Звезда».

– Палки знаешь куда кидают? – не стал развивать тему Славик. – Тросик-то чего не принесла?
– Дык, он у Немца еще с той недели, – виновато захопала глазами Марьяша.
– Тю-ю-ю, – свистнул Ванька, – плакал наш тросик. Он его давно, небось, загнал и пропил.
А где сам-то? Эй, смотритель, ты Госса сегодня не видала?

Где-то с год назад, таким же холодным декабрьским утром Женечка Игнатова вышла из станции метро «Чернышевская» и медленно направилась в сторону набережной. Медленно, потому что, в вечном страхе опоздать, всегда приезжала загоя, чтобы потом маяться, дожидаясь положенного часа встречи. В воздухе висела гарь вперемешку со странным запахом сладкой ванили, просачивающимся сквозь закрытые окна хлебопекарного завода.

Толпа обступала и влекла за собой неспешащую Женечку. Какие-то люди задевали ее на ходу и, не извинившись, торопливо удалялись. Она вдруг обратила внимание на то, как похожи были со спины эти стремительные фигуры с дипломатами в руках и в каких-то одинакового покроя темных пальто. Основной поток заворачивал на улицу Петра Лаврова и исчезал в промозглом воздухе. Ей нужна была улица Каляева, до которой оставалось пересечь Чайковского с пирожковой «Колобок» на углу и миновать длинную очередь за туалетной бумагой, выстроившуюся в магазин хозтоваров. Дойдя до следующего перекрестка, Женечка остановилась.

– Ну что я так волнуюсь? – говорила она себе, пытаюсь успокоиться. – Меня взяли на работу. Может, дадут какую-никакую комнатку. И нечего тут стоять. Вот улица Каляева, вот тот самый дом. Иди.

И она пошла. Сначала через вонючую подворотню, тускло освещенную одинокой лампочкой, потом наискосок, через двор-колодец, к обитой железом двери с табличкой «Жилищно-эксплуатационная контора», потом – через прокуренный коридор в большую полуподвальную комнату, заполненную людьми.

Потоптавшись на месте, Женечка решила, что главная тут – разбитная бабенка, сидящая за письменным столом с телефоном.

– Вам, девушка, чего? – обратила на нее внимание та.

Но тут чье-то массивное тело в спецовке, перетянутой солдатским ремнем, оттеснило Женечку от стола:

– Я ваше пухто забирать не буду. Так Ольге и скажи. Пусть три талона дает, – заскорузлая рука потерла в характерном жесте два грязных пальца.

– Коль, подожди, – быстро разобралась в ситуации разбитная бабенка. – Счас я ее позову. – Ольга Павловна! К вам насчет талонов пришли, – крикнула она куда-то в сторону.

Появившаяся блондинка торопливо увела мусорщика из комнаты.

– А меня к вам из треста направили. На работу, – осмелела наконец Женечка.

– Во! – то ли обрадовалась, то ли удивилась бабенка. – А кем же, если не секрет?

– Техником-смотрителем.

И, выдержав на себе короткий испытующий взгляд, добавила:

– А кто тут у вас начальник?

Мелькнувшая блондинка, оказавшаяся начальницей, не проявила особой радости, увидев нового работника.

– У вас, девушка, какое образование? – довольно жестко спросила она.

– Библиотечный техникум, – смутилась Женечка.

– А я просила прислать молодого специалиста со стро-и-тель-ным образованием. Разницу понимаете? Вы с людьми работать умеете? Наряды закрывать знаете как? У нас тут дворники, водопроводчики. Вот кадр видали? Я только что треху из своего кармана в его переложила. – Ольга Павловна для убедительности тряхнула связкой ключей в руке с ярким маникюром. – А иначе как? Он мусором Каляева завалит, а мне штрафы платить. Это вам не книжки читать. Вы где раньше работали-то?

– Я два года отработала в Петропавловской крепости, – вдруг решила постоять за себя Женечка. – Организовывала экскурсии. С людьми работала. Тоже, знаете, разные попадались.

Тут бабенка за столом с телефоном покатила со смеху:

– Во! Так мы ее из крепостных девушек сразу на панель пошлем.

– Куда-куда пошлете?!

– А вы как думали? – оценила шутку Ольга Павловна. – Получите свой участок. Будете каждый день обходить. Туда-сюда. Шоб поребрики были отбиты. Сосули огорожены. Мусор... Кольку-мусорщика вы видали. За дворниками следить надо, шоб приминали мусор в баках, выносили пищевые отходы. Потом по квартирам пойдете жильцов слушать, жалобы собирать. Скучать не дадим.

Инструктаж был прерван появлением в дверях тетки с гирляндой рулонов туалетной бумаги на шее.

– Девки, – зашла она в радостном возбуждении, – глянь, че я в хозяйственном оторвала. Давали по десять в руки, а мне Зойка по благу еще десяток навернула. У вас, говорит, там жоп в конторе много, а у нас уборная засорилась. Ольга Павловна, пошли к ним мужиков, как с обеда придут. Пусть прочистят, а то неудобно перед хорошими людьми.

Рулоны туалетной бумаги тут же поделили на троих. Разбитная бабенка, назвавшаяся Лелей, протянула один Женечке:

– Только в уборной не оставляй.

– А куда же я его дену?

– Да хоть в письменный стол.

Так рулон туалетной бумаги оказался первым предметом на отведенном Женечке рабочем месте.

Скучать ей и вправду не пришлось. В тот же день ее посадили принимать заявки жильцов. Поток жалоб захлестывал жилищную контору. Картина всенародного бедствия предстала перед глазами неопытного техника-смотрителя. Страдали все: нижние этажи – от разливов фекалий, верхние – от прохудившейся кровли. Смывные бачки и батареи текли, а краны не закрывались независимо от расположения квартир на лестничной площадке. Еще были неосвещенные дворы и загаженные парадные. Кому-то было холодно, а кто-то не мог вынести жара раскаленных батарей. Дворники на Женечкином участке наотрез отказывались «рвать промежности» и утапывать мусор в баках. Крысы шуровали в пищевых отходах. Хуже всего обстояло дело с водопроводчиками. Они явно игнорировали заявки, написанные в журнале ее крупным, отчетливым почерком. Голова Женечки раскалывалась от табачного дыма и мата, сопровождавшего любую попытку изъясниться на русском языке. В начале второй недели чаша ее терпения переполнилась:

– Безобразие! – вдруг крикнула она. Люди платят квартплату, отпрашиваются с работы и ждут, когда вы соизволите явиться и поменять прокладку в бачке. А вода, между прочим, течет, и денежки народные утекают.

Дальше голос ее сорвался:

– А вам, как я посмотрю, на все наплевать! И прекратите тут материться! Здесь сидят женщины. Научитесь нас уважать!

Такая бурная реакция Цыпочки, как прозвали ее между собой водопроводчики, вызвала кратковременное замешательство. От удивления бригадир Каляныч забыл прикурить беломор, прилипший к нижней губе:

– Х*ли ты п*шь-то? – озадаченно спросил он. – Мы и не ругаемся вовсе.

Скорее всего, это был переломный момент в жизни Женечки Игнатовой. Она поняла, что надо говорить на языке того народа, с которым живешь.

Одно открытие следовало за другим. Через какое-то время Женечка обратила внимание на появление в день зарплаты оживленных дворников перед столом Лели. О чем-то пошептавшись, они поспешно удалялись в кабинет начальницы. Дворники ее участка, расписываясь в ведомости, недоброжелательно бурчали и угрюмо расходились. Спросить, в чем дело, Женечка не решалась, но догадывалась, что речь идет о насущном, а значит, о деньгах. В библиотечном техникуме науке закрывания нарядов не обучали, а в ЖЭКе ей никто толком ничего не объяснял. Пришлось разбираться самой. Часами она вертела ручку арифмометра, умножая тарифы на квадратные метры и вписывая цифры в отведенные графы на зеленой бумаге. Наряды, подписанные Евгенией Игнатовой, всегда прини-

мались бухгалтерией треста без исправлений и замечаний. Так в чем же дело? Постепенно подозрения перешли в уверенность. Она поняла, что и как можно вписывать в графы на зеленой бумаге и почему дворники бегают к начальнице. Ожесточившееся чувство справедливости не позволяло ей делать то же самое. Но вскоре ожесточение улеглось, освободив место удивлению. Удивление то отступало, то накатывало, как морской прилив, выбрасывая на берег тяжелые камни разочарования.

Поначалу ее удивляло отсутствие в работниках ЖЭКа отзывчивости к людским бедам.

– Да не принимай ты так все близко к сердцу, – с материнской заботой советовала ей Леля.

В ее устах это звучало как призыв не поддаваться на провокации. Но провокации валились на нового техника-смотрителя в виде бесконечных куч дерьма в парадных и подворотнях, протечек с верхних этажей на нижние и прочих коммунальных гадостей, в которых приходилось разбираться. Оказалось, что квартиросъемщики не такие уж и жертвы жилищно-коммунальной системы. Молодость и наивность не позволили Женечке продвинуться к более значительным обобщениям в своих грустных открытиях.

Удивлялась она и тому, как часто ошибалась в людях. Вот, к примеру, Ольга Павловна. Блондинка с роскошными волосами, раскиданными по плечам. Красивая. Особенно руки в золотых кольцах на пальцах с маникюром. Правда, немного полновата. Тонкие каблук парадных туфель начальницы прогибались под ее весом. А у Женечки фигурка была слабенькая, без извилин, да и ногти она отучилась грызть только лет в пятнадцать. Проработав первую зиму в жилконторе, она уже без былого восхищения рассматривала обновки своей начальницы, зная, откуда берутся деньги на их приобретение. «И ведь такая молодая», – думала Женечка. Как будто возраст был преградой для всевозможных проявлений подлости.

Или вот Рудольф Госс, а проще Рудик по кличке Немец, ей поначалу не понравился. Сказалась ненависть к фашистам, воспетая отечественным кинематографом. Позднее выяснилось, что в безобидном алкоголике не было и следа враждебности к жидам и прочим национальным меньшинствам, презируемым работниками жилищного хозяйства. Рудик не отказывался от заявок жильцов, если был в состоянии. Состояние же это напрямую зависело от времени дня. Относительная работоспособность появлялась у него где-то после одиннадцати утра. К двум она заметно падала, а к четырем и вовсе сводилась на нет. Доступная близость ликерно-водочного магазина сыграла пагубную роль в его жизни.

Будить Рудика в девять утра было делом обреченным. И все-таки Женечка с большой готовностью кинулась к его мастерской не столько в надежде найти пропавший тросик, сколько из желания поскорее убраться с холода. Не успела она сделать и двух шагов, как прямо ей под ноги шлепнулся размоченный батон, выкинутый кем-то с верхнего этажа. Слетевшаяся с громким хлопанием крыльев стая сизарей принялась расклеивать на снегу желтую жижу, которую Женечка старательно обошла.

– За кормление голубей буду штрафовать, – беззлобно и неубедительно крикнула она куда-то вверх. И услышав, как захлопнулось чье-то окно, с чувством некоторого удовлетворения от выполненного долга потопала в соседний двор.

Железная дверь в мастерскую Рудика Госса открылась только после того, как пришедшая на помощь Женечке электромонтер Обухович грохнула по ней пару раз молотком.

– Ну шо вы, бабы, ломитесь с утра? – без особой вежливости, но и не враждебно поинтересовался заросший седой щетиной Рудик, обдав женщин перегаром. – Не видите, трубы горят. Рупь есть?

Женечка отрицательно мотнула головой.

– А два? – не сдавался Рудик.

– Я тебе треху дам, если мужикам тросик отнесешь, а потом в контору придешь за заявками, – перевела разговор на деловые рельсы Женечка.

– А сколько счас у нас времени? – засуетился Рудик. Предложение явно показалось ему заманчивым. – А Обухович не добавит? – вдруг обнаглев, поинтересовался он.

– Ага, а потом догоню и еще добавлю.

Кира Обухович словами и рублями не разбрасывалась. Взвалив стремянку на плечо, она пошла прочь, и даже ее удаляющаяся спина выражала осуждение алкоголизма, поощрение которого только что произошло на ее глазах.

– Рудик, ну зачем ты так много пьешь? – почувствовала укол вины Женечка.

С порога захлавленной мастерской ей была отчетливо видна картина распада человеческой жизни: топчан, покрытый какой-то вонючей ветошью, батарея пустых бутылок на верстаке, ведро, куда Рудик оправлялся, когда был не в силах дойти до унитаза за незакрывающейся дверью уборной. Да и сам он выглядел ужасающе в бессмысленном кружении по своей конуре в поисках тросика: выступающая из грязного свитера несуразно длинная шея с дергающимся кадыком, дрожащие руки, остатки волос, прилипших к макушке, и когда-то голубые глаза с жалким, собачьим выражением.

– Дура ты, техник, – сказал он. – Когда я пьян, я отлетаю.

– Куда отлетаю? – захотелось уточнить Женечке. – В мир иной?

– В мир иной я отойду, причем скоро, – вполне осознанно ответил Рудик, вытаскивая из-под верстака тросик. – Ну, шо стоим-то? По коням!

День, так неудачно начавшийся с дерьма, потихоньку набирал силу. С неба то сыпала, то переставала идти какая-то белая крупа. Остановка автобусов на Чайковского почти опустела. Дворники, закончив отбивку поребриков, всей гурьбой направились в пирожковую «Колобок». С половины одиннадцатого к дверям винного магазина на проспекте Чернышевского выстроилась очередь. Голова сантехника Госса на длинной шее торчала почти у входа. Было ясно, что к кассе он прорвется одним из первых.

– Вот бы сухонького завезли, – размечталась Леля.

В жилконторе хорошо знали, что толпа перед дверями магазина появляется только в случае завоза спиртного. Забежавшего за обещанной трешкой Рудика снабдили деньгами и указаниями. Про заявку от предвкушения скорого опохмела он забыл, хотя тросик мужикам отнес, как обещал Женечке.

– А я бы счас чего покрепче хватанула.

Техник-смотритель Таня Рогина только что пришла с выселения. На ее участке очищали комнату жильца, осужденного на большой срок. Родственников у него не было, более или менее ценные вещи растащили дворники, а оставшийся хлам просто выкинули из окна на тротуар. Не подпускать прохожих к опасной зоне пришлось Таньке. Холодный ветер с Невы пробрал ее до костей.

Женечка разложила на тарелке докторскую колбасу, нарезала черный хлеб, высыпала соевые батончики в пластмассовую миску и воткнула в сеть электрический чайник. Магазин открыли ровно в одиннадцать. Минут через двадцать в коридоре ЖЭКа раздался торопливый топоток. Возникший на пороге Рудик Госс, блаженно улыбаясь, распахнул полы ватника. Две бутылки портвейна симметрично оттягивали карманы его спецовки.

– Кавказ подо мною, – изрек он торжественно.

– А че, сухаря не было? – не оценила эрудицию водопроводчика Леля.

– Да-а-а ладно тебе, и крепленое сойдет. Давай бутылку, Рудик, – не поддержала ее Татьяна. – Счас мы дверь за тобой закроем, чтобы жильцы не ломились, а сами бухнем немного, пока Жази с планерки не вернулась.

Жази, как техники прозвали начальницу, появилась в конторе со следами легкого раздражения на лице после очередного нагоняя в тресте. К ее приходу от маленького пиршества не осталось и следа. Чашки помыли, колбасу съели. Пустую бутылку унесла практичная Марьяша, собиравшая стеклотару по всему району. И все же что-то насторожило Ольгу Павловну. Раскрасневшиеся щеки обычно бледной Игнатовой наводили на мысль о распитии спиртных напитков на рабочем месте.

– Евгения, – строго сказала Жази. – У нас с обеда работают кровельщики. Пойдут на твой участок сбивать сосули на Каляева.

– Б*я! – расстроилась Женечка. – У меня сапоги холодные. Околею стоять.

К выражениям такой силы из уст Цыпочки в жилконторе не привыкли. Видимо, портвейн

«Кавказ» добавил убедительности ее высказыванию. Отзывчивая Татьяна тут же предложила ей свои сукожные ботики.

– Лелькины носки наденешь и час простоишь как миленькая. Главное, пальцами там шевели, восстанавливай кровообращение.

К советам Рогоиной прислушались все. Непонятно, какие силы занесли ее, медсестру с довольно большим стажем работы, в контору к Жази, трезвонившей на всех углах, что из треста ей присылают не специалистов, а бог знает кого. Тем не менее, Татьяна, обладавшая счастливым умением уживаться с людьми, отлично вписалась в коллектив работников жилищно-коммунальных услуг. С ней всегда было приятно и выпить, и поговорить.

Благодарная Женечка скинула югославские сапожки и стыдливо поджала ноги в заштопанных колготках.

– Игнатов, у тебя ноги еврейские, – успела разглядеть обнажившиеся признаки национальной принадлежности ее лучшая подруга.

– Как это? – обиделась Женя. – Кривые, что ли?

Ноги в заштопанных колготках и вправду были чуть кривоваты. Вполне возможно, что таким образом сказался перенесенный в детстве рахит.

Оставив вопрос без ответа, Танька проворно влезла в импортную обувь, с некоторым усилием застегнула молнии на мускулистых икрах и, покачивая бедрами, прошла между письменными столами.

– А поглядите-ка сюда, девки, – сказала она, задрав юбку до допустимого предела.

Взору девок открылись стройные ноги Рогоиной с соблазнительными чашечками коленок и подтянутыми ляжками.

– Ну все, – подала наконец голос Леля. – Все мужики твои.

– Так а я про что? Они на меня сами валяются. Флюиды чувю.

В самодовольной улыбке, застывшей на Танькиных губах, Женечке привиделось что-то непристойное.

– Ты это, осторожней, – не выдержала она. – Там внизу шов разошелся. Будешь вихляться, еще больше порвешь. Сапоги-то импортные все-таки.

– А Хабиулина зачем держим? Он так зашьет, что и видно не будет. И набойки новые поставит.

– Ну и сколько ж он возьмет за такой ремонт?

Леля прыснула от наивного вопроса Женечки:

– Она ж натурой расплатится. А деньгами те платят, у которых флюидов нет.

Похоже, в жилконторе с флюидами было хорошо у всех, кроме Игнатовой. У той же Лели в любовниках ходил участковый милиционер. Муж начальницы играл на гитаре в какой-то вокально-инструментальной группе и постоянно разъезжал по гастролям. Вроде бы у нее завелся кто-то в райкоме партии. Танька спала со всеми подряд, а у Женечки никогда никого не было, если не считать школьной дружбы с Генкой Кисиным.

«А может, он тоже был евреем?» – вдруг подумала она и вспомнила, что роковую весть об еврействе ей принесла соседка по коммуналке тетя Надя Дьякова.

– Ничего я не яврейка, – расплакалась Женечка. Почему-то уже в девять лет она знала о проклятии этого слова.

– Как же не яврейка, когда папа у тебя Лев Яковлевич Миркин?

К тому времени отец уже несколько лет не жил с ними, но тетя Надя хранила в памяти его недолгое присутствие в семье соседей. Поделиться горем Женечке было не с кем.

Она не обмолвилась ни словом о своем открытии вечно занятой и усталой маме, женщине доброй и простой, которую угораздило когда-то влюбиться в бравого офицера-летчика. Вполне возможно, что первые годы они были счастливы. В фотоальбоме хранились их улыбающиеся лица, но лет через семь после появления Женечки отец ушел к другой женщине и, добросовестно выплачив алименты, исчез из жизни оставленной им семьи. При рождении Женечке предусмотрительно была дана фамилия и национальность матери, но отчество и большие черные глаза выдавали принадлежность к племени вечных изгоев. А вот теперь еще и еврейские ноги...

Она поскорее обулась в Танькины суконные ботики. Даже с шерстяными носками ботики были великоваты. Обижаться на подругу или сделать вид, что ничего не произошло?

От грустных мыслей ее отвлекла разъяренная Жази, грохнувшая вечной своей связкой ключей о Лелькин стол.

– Присылают на мою голову работников!

Каждая клеточка располневшего тела начальницы выражала негодование. Девки с интересом ожидали продолжения спектакля. В дверь жилконторы, заметно шатаясь, ввалился один из обещанных после обеда кровельщиков.

– Ну, я это... Павловна, принял немного, но работать могу хоть сразу...

– Я тебе дам «хоть сразу»! И думать забудь! На крыше в таком виде делать нечего. Сcatiшься вмиг – и привет хотенку. Я в тюрьму из-за тебя, Сережа, идти не хочу.

– Дык мне теперь куда? – не найдя опоры, кровельщик со всего маху сел мимо стула. Отдав последние силы и даже не пытаясь подняться, он растянулся на полу.

– Девки, как бы он нам тут не нассал, – забеспокоилась Леля. – Ольга Павловна, куда его?

– Я знаю? Звони участковому.

Участкового Костырко на месте не оказалось.

– Так, а второй-то где? – Женечка вдруг вспомнила, что кровельщикам разрешалось работать только парами.

– Где? – сверкнула накрашенными глазами Жази. – Тебе сказать, или сама догадаешься?

Догадака не стоила больших усилий, поскольку технику-смотрителю Игнатовой уже не раз доводилось слышать исчерпывающе краткий ответ на этот, можно сказать, риторический вопрос. Похоже, что второй кровельщик был именно там.

Ситуацию спасли вовремя подоспевшие водопроводчики. Серегу подняли и увели.

Наказание в виде стояния на панели перед металлическими скособоченными оградками, охраняющими пешеходов от падающих сверху льдин, отменялось.

А между тем короткий декабрьский день, перевалив за середину, стремительно подходил к концу. На автобусной остановке снова затолпились люди, спешащие пораньше добраться домой. Уже после обеда стало смеркаться. То там, то здесь зажглись окна. Квадраты света легли на кашеобразную грязь, покрывающую тротуары. В конце рабочего дня раскрылись массивные дубовые двери гранитного куба на Литейном, 4. Поток людей с дипломатами устремился в арку проходного двора на Каляева. Близость зловещего места не сказывалась на усердии дворников. Растаптывая чавкающую под ногами кашу, деловые люди спешили пересечь загаженный двор и слиться с толпой, направляющейся к метро «Чернышевская».

В жилконторе на вечерний прием к паспортисткам выстроилась терпеливая очередь. Ольга Павловна открыла заветный сейф, где между импортной косметикой и банками дефицитного кофе хранилась доверенная ей печать, и уселась в своем кабинете заверять всевозможные справки. Техники-смотрители разбежались по домам.

История жизни Женечки Игнатовой началась двадцать один год назад за тысячи километров от ее служебной комнаты в коммуналке на улице Чайковского. Невидимый учитель географии скользит указкой по глянцевой поверхности карты вправо. Где-то за голубым полумесяцем самого глубокого в мире озера указка натывается на смешное слово «Чита», вписанное в метрику Евгении Львовны Игнатовой как место рождения.

«Нет-нет. Чита была в нескольких километрах от нашего военного городка. В роддом меня отвезли на газике прямо из барака».

Воображение Женечки рисовало взволнованного лейтенанта, гонящего газик с рожающей на заднем сиденье женой, но действительность была другой. Детей лейтенант не хотел и всячески уговаривал жену избавиться от Женечки, живущей тогда в теле матери в виде зародыша. Уговоры не помогли. Ребенок родился, когда его отец был на летных испытаниях, и газик гнал другой, оставшийся Женечке неизвестным человек. Барак для семей офицерского состава стоял на краю военно-

го аэродрома, затерянного в сопках и лесах Забайкалья. «Там было так холодно, что у меня мокрые после бани волосы однажды ночью примерзли к стенке, а ты спала у нас в чемодане».

Зато со словом «Айдырля» можно связать фотографию трехлетней девочки в кроличьей шубке и с деревянной лопаткой на фоне снежного холма с торчащей черной трубой. «Так это землянка. Помнишь, у Пушкина? Жил старик со своею старухой у самого синего моря; они жили в ветхой землянке...» Стихи про старуху и разбитое корыто Женечка помнила, а землянку как место проживания своей семьи – нет. Еще она помнила запах гуталина и мокрых пеленок, стоявший во всех коридорах офицерской общаги, людей в галифе и линялых майках с вафельными полотенцами через плечо, помазок в белой пене, забытый кем-то на полочке в умывальной. Но все это было позже ...

Дальше указка в руке учителя скользит по коричневой полоске, пересекающей карту сверху вниз. Слева Европа, справа Азия. Крошечная точка с названием «Каменск-Уральский». Здесь память становится отчетливее: зеленая обложка книги с Хозяйкой Медной горы, ужасающее слово «круглосуточный», первые слезы одиночества среди кроваток со спящими детьми. Блаженная болезнь ветрянки. Садик отменялся, и можно было болеть дома в голубом фланелевом халатике со смешными розовыми слониками. Отец, держащий пузырек зеленки наготове, мама, уговаривающая намазать руки липким и тягучим глицерином. Острое, пронизывающее чувство любви к ним.

«Ну, а потом папу твоего демобилизовали. И мы поехали в Ленинград». В шесть лет Женечка не имела ни малейшего понятия о том, что происходило за стенами их комнаты, но заметила, что отец перестал носить фуражку и китель...

Указка невидимого учителя географии движется по карте с востока на запад, за ней в ночи неслется тяжелый локомотив. Воспоминания о поезде, пересекающем страну, были чуть ли не самыми счастливыми воспоминаниями Женечки о ее детстве. Новые слова «плацкарт» и «подстаканник». Важная тетя-проводник с двумя свернутыми флажками в кожаном мешочке. Кусочки рафинада, исчезающие в стакане горячего ароматного чая. Засыпание на слегка влажной подушке под туки-так-туки-так-туки-так и вдруг протяжное «у-у-у-у»... Долгожданное слово «Ленинград», светящееся полукругом над крышей вокзала. Мамино раздраженное: «Женя, ну ты можешь идти быстрее!» Но как же идти быстрее, когда нельзя наступать на черные плиты пола, а можно – только на белые, делая шаги то шире, то короче.

Демобилизованный капитан авиации Миркин вернулся с женой и ребенком туда, откуда начал свой полет в жизнь. Коммуналка на Кирочной пахла жареной рыбой. «Не колюшка, а корюшка. Как рычат собачки? – Р-р-р! – Вот умница Женечка. А теперь скажи: “Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать все правильно и внятно, чтоб было всем понятно”».

Встреча со свекровью была безрадостной. Седая женщина запретила говорить слово «бабушка», подменив его словом «тетя». О дедушке никто не вспоминал. Спать пришлось на раскладушке посреди большой комнаты с окном во двор. Родители спали на полу. «А что прикажешь делать с этим будырем? Его ни разменять, ни встать на очередь», – сокрушалась мама папы тетя Таня. И все-таки Миркиным удалось разъехаться где-то через полгода. Женечка с родителями перебралась в двадцатиметровую комнату в коммуналке на Моховой. Здесь пахло кошками. Кошки жили у Ольги Капитоновны и иногда выбегали в коридор. Беглянок ловили и возвращали в крошечную вонючую комнату. У Приколотиных был телевизор КВН, с линзой перед малюсеньким экраном. Они звали Женечку смотреть цирк и мультики. Время от времени между соседями вспыхивали страшные скандалы. Громче всех кричала на кухне та самая тетя Надя Дьякова, которая открыла Женечке тайну ее национальной половины, но уже после того как папа собрал свои вещи в коричневый чемодан и уехал.

Перед Новым годом повалил тяжелый липкий снег. Город покрылся толстой белой пеленой. «И почему снег меня больше не радует, как в детстве?» – задавала себе вопрос Женечка и сама удивлялась его нелепости. Разве в детстве она знала что-нибудь о снегоочистителях и технической соли? Хорошо Таньке. Ее участок приходился на правительственную трассу. Там снегоуборщики скребли днем и ночью, а на Каляева их ставили в последнюю очередь. Соли, присланной из треста, не хватило уже на второй снегопад. Что бы они делали без Лельки? Только ее связи и помогли.

Кто-то пригнал грузовик ворованной соли и сгрузил прямо в подворотне у жилконторы. Дворники налетели с санками и ведрами. Растащили за полчаса. Скинулись потом, конечно. Сколько Лельке перепало, никто не знает. Да и кому какое дело? Было в ней какое-то располагающее жизнелюбие и доходящий до неприличия оптимизм. Гордо, как норовистый конь, топала она по своему участку. Многие принимали ее за начальницу только по одному виду. Уже в первый снегопад Женечка пожаловалась Лельке на то, что на Каляева машины паркуются рано утром и стоят весь день. Очистить поребрик при этом совершенно невозможно. Перспектива очередного штрафа доводила Женечку до отчаяния, а собирать с дворников деньги для покрытия своих убытков она так и не научилась. На следующее утро важная Леля стремительно прошла по Каляева с блокнотом в руках. Любую пытающуюся пристроиться к поребрику легковуху она встречала словами: «Та-а-к, сейчас буду записывать номера!» Легковухи в ужасе разъезжались. Никто даже не пытался выяснить, чем им могла грозить парковка в разрешенном месте в разрешенное время.

– Учись, пока я жива, – хохотнула Леля вслед поспешно отъезжающему «москвичу». – Ставь скорей дворников на расчистку, а то новые ландо понаедут, и айда к тебе чай пить. Счас я твоих заек распугаю!

Но именно этому Женечка и не могла научиться. Не было у нее ни громкого, чуть с хрипотцой, прокуренного голоса, ни задиристой наглости хабалки, с которой Лелька всегда добивалась того, чего хотела. А может, это была и не наглость, а какая-то заразительная энергия счастья, которой никто не мог противиться. Вот и Женечка вдруг бросилась расставлять дворников, весело переругиваясь с опоздавшими, и уже через час лифт медленно, как бы с трудом скользя внутри стеклянной шахты, прилепленной к стене, поднимал ее и Лельку на четвертый этаж дома на Чайковского.

Заек было двое. Вообще-то на заек они не походили. На крошечной головке Ирки пылал пушок ярко-оранжевых волос, а Толик был похож на состарившегося доисторического мальчика, перебравшегося из пещеры в ленинградскую коммуналку. Бог его знает, чем они занимались в своей норке, но ели непременно на кухне, причем всегда из одной тарелки. По субботам зайки привозили с Некрасовского рынка картошку и кочан капусты, из которых Ирка варила в большущей кастрюле то ли щи, то ли борщ. Усевшись на уголке своего кухонного стола и касаясь друг друга коленками, они сладострастно поедали это варено. «Зайка, ты ешь-ешь», – говорил Толик тихим нежным голосом, ложкой подталкивая Ирке лакомый кусочек картошечки. «Да я ем-ем», – шептала в ответ Ирка.

Присутствующей при этих сценах Женечке казалось, что она невольный свидетель высшего акта интимности соседей, и она не знала, куда деваться, пока жарила яичницу или варила сосиски. Такое трогательное проявление любви могло бы быть вполне безобидным, если бы не враждебность заек к окружающему миру. От их склочного характера страдали прежде всего соседи.

Дверь квартиры, к которой подтянулся медленный лифт, открывалась сразу в коммунальную кухню.

– Всем привет! – Лелька топнула пару раз по коврику и, не вытерев ноги, варежкой стряхнула на пол снежинки, окропившие ее лисий воротник. Быстро стянув пальто, она кинула его на первый же подвернувшийся стул. Стул был соседский.

От громкого голоса Лели зайки, склонившиеся над утренней тарелкой щей, вздрогнули и пригнулись еще ниже.

– У тебя какой чай? – продолжала греметь та.

– Обыкновенный, грузинский. А тебе какой подавай? – захлопотала Женечка.

– Вообще-то я цейлонский люблю, ну да ладно, заваривай свой веник. Где твой стол-то?

Лелька бросила на зеленую клеенку горсть шоколадных конфет в желтой обертке.

– А че у тебя к чаю? Сыр есть?

– Батон есть, масло есть...

Зайки притихли и прислушались. С вениками они ходили в баню, а потом сушили их на растянутой в кухне веревке. Чай пили с рафинадом. Подслушанная шутка вызвала у них что-то вроде недоумения.

– А че в коридоре-то темнотица, – защелкала выключателем неугомонная Леля. – Ты как дверь свою находишь? На ощупь?

– Я ж вчера лампочку вернула, – удивилась Женечка. – Утром еще горела. Ой, я, наверное, забыла свет выключить, когда уходила.

– Щас я достану, – не выдержал Толя и вытащил откуда-то лампочку, вывернутую утром вслед убегающей на работу соседке, чтобы той неповадно было тратить лишнюю электроэнергию. И как только скудный свет озарил коммунальный коридор, на кухне заголосила Ирка:

– А пусть нам рамы отлемонтируют тоже. Вы-то своей Женьке по благу отлемонтировали, а наши-то рамы как были, как и есть: не закрываются. А к Женьке ходите – пол следите, ноги не обтираете, конфеты носите, венки воруете. Польша куда ложите? Не ваш это стул, – гундосила она на одной ноте, не переводя дух.

– Ну знаешь, Игнатова, в таких условиях я чай пить не могу, – сделала большие глаза Леля. – И долго это будет продолжаться?

– Да они сейчас на работу уйдут... Переждем немного. – Женечке хотелось чаю с конфетами в желтой обертке, но ее робкий голос прозвучал неубедительно.

– Некогда, мать. Давай ноги делать, пока я твоих заек не пришибла ненароком. Можно, конечно, к Татьяне забежать и у нее посидеть полчаса, контору все равно открывать рановато.

И с тем же самым неизбытым запасом счастья они скатились с лестницы, не дожидаясь ползущего лифта, и уже во дворе влились в поток людей с одинаковыми спинами, спешащих к арке проходного двора на Каляева и растворяющихся за массивными дверями зловещего куба на Литейном. Огибать Большой дом, стоящий на пересечении участков их жилконторы, Женечке приходилось несколько раз в день, но, поскольку в ее жизни ничто не было связано с этим местом, она беззаботно пробегала мимо, удивляясь вечному холодному ветру, с ожесточением продувавшему поворот с Литейного на Воинова.

Как-то само собой вышло так, что Новый год решили встречать у Тани Рогоиной. Участковый Костырко принес красавицу елочку, конфискованную у браконьера, и вбил ее в крестовину. Праздничный запах ельника ненадолго заглушил вонь коммунальной квартиры.

– С наступающим, – прихватил Таньку за пухленькую талию Костырко. – Лелику передай, что мне надо к спиногрызам.

Спиногрызами были его малолетние мальчишки-близнецы.

– Понятное дело, семья, – закрыла за ним дверь Рогина и тут же отзвонила подруге.

– Да ладно! – похоже, совсем не расстроилась Леля. – К нашему берегу – не дерьмо, так щепки.

– И перевела разговор на более приятные темы.

Женечке оставалось дорезать полкило докторской колбасы и заправить салат майонезом, когда кто-то дважды позвонил в дверь. Звонки были длинные и требовательные. На пороге, слегка покачиваясь, стоял Рудик Госс.

– Ты вроде хорошая девочка, – довольно внятно произнес он. – У тебя выпить есть? Не уложился я, а магазин уже закрыт.

– Нету, – соврала хорошая девочка, у которой были припасены к Новому году две бутылки сухого. – Мне скоро уходить.

А вот это было правдой. Собирались к десяти, время поджимало, а надо было еще довозиться с колбасой и майонезом, набить салатом эмалированную кастрюлю и проходными дворами добегать до Таньки. Да еще не забыть любимых Окуджаву с Дассеном. Женечка в нетерпении оставилась на незваного гостя, топчущегося в дверях: всегдашняя щетина, нелепо торчащая из подобия свитера шея, замызганная куртка. На какое-то мгновение ей стало его жалко:

– Салатику дать? Хоть поешь чего.

– Не-е-е... – поморщился Рудик. – Пусти в уборную.

Кто же откажет в этом человеку? Закрутившись с приготовлениями, она не видела, как Рудик исчез, оставив открытой входную дверь.

Может, кто и любил праздники, Новый год там или Восьмое марта, только не Таня Рогина.

– Пьянка, да и все, – говорила она, добавляя к известной цитате пару нецензурных выражений, сводящих на нет потребность людей в совместном чувствовании каких-либо определенных дат. За этой показной грубостью распознавалось одиночество женщины, не верящей даже в возможность счастья, если оно подразумевало присутствие мужчины. Скорее всего, здесь пряталась какая-то душевная травма, от которой Татьяна так и не смогла оправиться. Мужиков она презирала и держала только «по необходимости», но поскольку с годами «необходимость» не спадала, а разрасталась, вместе с ней разрасталась и ее ненависть к нелучшей половине человечества, представители которой разбегались, испытав на себе накал Таниной агрессивности.

Неопытной Женечке была непонятна сложность сексуального устройства подруги, и она считала ее обыкновенной сучкой, впрочем, насколько ее за это не осуждая. Истоки одиночества Лели тоже скрывались в прошлом, но, в отличие от Тани, к мужикам она относилась с некоторым доверием и довольно снисходительно. Какая-то общность судеб свела всех троих за праздничным столом коммунальной квартиры на улице Воинова.

Старый год девочки проводили со «Столичной». Закусывали селедкой под шубой и холодцом. Леля села напротив окна, за которым чернела новогодняя ночь. Вглядываясь в свое отражение, она томно закидывала голову и поправляла волосы, словно чувствуя на себе взгляд отсутствующего участкового. В углу комнаты по телевизору приглушенно коптел «Голубой огонек». После второй стопки и мясного салата заговорили о мужиках. Разговор пошел о размерах и позах. По-Таниному выходило, что при определенной сноровке результата можно добиться с любым размером. Леля не соглашалась: ей подходил только большой. «Вот поэтому за Костырко и держусь», – сказала она и как-то похабненько расхохоталась. Из обсуждаемых поз Женечка усвоила только вариант, прозванный рабоче-крестьянским, все остальное показалось ей каким-то высшим и неправдоподобным пилотажем. Принять участие в разговоре ужасно хотелось, но что она могла рассказать? Как не поверила ушлой подружке, открывшей ей тайну зачатия? Женечке и сейчас, через пятнадцать лет, многое в сексе представлялось не то чтобы абсурдным, но скорее удивительным. «Как странно, что после этого появляются дети», – думал она. Однажды она даже попыталась поделиться недоумением с Татьяной, но, услышав резкое: «В твоём возрасте оставаться девственницей уже не достоинство, а недостаток», обиделась и как-то даже от нее отдалилась. Впрочем, ненадолго. Татьяна казалась ей женщиной доброй и несчастной, хотя и была в ней какая-та накопленная злоба, вырывающаяся в самые неподходящие моменты. Вот и сейчас. «Да выключи ты это нытьё!» – вдруг вскинулась она на тихое оруджавское «Ель, моя ель, уходящий олень...» – столь любимое Женечкой. «Давайте лучше споем, девки!» – и затянула: «Вот кто-то с горочки спустился...» Спели. Потом пьяными голосами затянули «Ромашки спрятались, поникли лютики...» – и чуть не опоздали откупорить шампанское и выпить за Новый год. Не дослушав Муслима Магомаева, поющего по телевизору о любви к женщине, Женечка встала из-за стола и, пошатываясь, направилась к проигрывателю.

– Танцуем все! – игла проигрывателя неуклюже царапнула по пластинке.

– Та-да-та... Та-да-да-да-та-да-да-та, – запел Джо Дассен из глубин Люксембургского сада.

И под этот ласкающий, словно раздевающий голос закружились-закачались вставшие в круг податые девки. Лелька первой стянула с себя юбку и кофточку. Это показалось настолько естественным и даже нужным, что ее примеру последовали и две другие.

И вот уже в темном окне отразились три обнаженные женские фигуры, в упоении танцующие неведомый танец – то ли трех ведьм, то ли трех граций, то ли трех гражданок огромной страны, раскинувшейся в бесстыдстве «от края и до края».

После Нового года снегопады сменились стойкими морозами. Изморозь, покрывая провода и деревья, превратила улицу Каляева в сказочные чертоги. Женечка перестала задергивать шторы на единственном окне своей комнаты, выходящем на противоположную стену двора-колодца. Ажурные белые узоры на стеклах спрятали жизни людей от назойливых соглядатаев. По льду

Невы, от набережной Робеспьера до Крестов, протянулась хорошо вытоптанная дорожка. «Прям как в блокаду, – говорила Марьяша, которая в детстве таскала ведрами воду из Невы и на санках отвозила домой. – Да я жила прям тут, на Каляева, тока подалее. Не на нашем участке».

Блокаду вспомнила не только Марьяша. При тридцатиградусных морозах в квартирах исчезло отопление. Телефон жилконторы не смолкал. Люди толпились в коридоре, приводили закутанных детей, кричали, угрожали, плакали. Техники-смотрители носились по лестницам, где вдруг выросли то ли сталактиты, то ли сталагмиты. Водопроводчики паяльными лампами отогревали стояки, но трубы снова прихватывало морозом.

О югославских сапогах с новыми набойками и умелыми прошивками сапожника Хабиулина Женечке пришлось забыть и обуться в уродливые, зато теплые чеботы отечественной фабрики «Скорород». Да и всем было не до красоты. Началось настоящее бедствие. Своими силами ни контора, ни трест тут справиться не могли.

В этой безвыходной ситуации то ли флюиды, то ли связи помогли Ольге Павловне, и к ней первой в районе направили солдат стройбата. Парней в валенках и тулупах привезли из Новгорода в грузовиках с брезентовыми крышами. За ними подтянули сварочные аппараты с газовыми баллонами и даже полевую кухню. Счастливая Ольга, накинув на дубленку пуховый платок, бегала по участку, расставляя людей. Начали с Каляева, 23.

Странное это было здание: пятиэтажка с мансардой и полуподвалом, с привычно загаженным двором и обшарпанными лестницами, она выделялась в безликом ряду доходных домов на бывшей Захарьевской благодаря то ли причуде давнего заказчика, то ли страсти архитектора к египетским мотивам.

– Гляди, ребята! Им не холодно, – гоготнул солдатик, мотнув головой в сторону гранитных фараонов у парадных дверей.

«Да тебе самому не холодно, – Женечка с завистью рассматривала экипировку стройбатовцев. – Штаны и те на ватине. Вот бы нашим мужикам такие».

Впрочем, работали ребята быстро и слаженно: затащили на пятый этаж новые трубы, сварку с баллонами, растянули временную проводку со светом.

– А вы нам тут, девушка, не нужны, – отправили они Женечку с чердака. – Приходите после обеда утеплять трубы.

Вот об этом в беготне и заморочке последних дней никто из техников-смотрителей не подумал.

– Чем их утеплять-то? Юбки, што ль, шерстяные резать на куски? – с наступлением морозов Жази заметно занервничала. Нерасторопность могла дорого ей обойтись.

– У нас вроде мешковина на складе есть, – подала спасительную идею Лелька. – Нарежем лентами, да и все дела.

Мешковину привезли где-то через час. Резали ее в конторе до обеда. Потом всей гурьбой отправились в «Колобок» и перехватили теплого сладкого кофе с пирожками, а уж по чердакам разбежались по одиночке.

Морозный солнечный день просачивался сквозь щели слуховых окон, забитых фанерой, но без времянки, проведенной стройбатовцами, здесь было бы темно. Ребята уже ушли, оставив запах сварки и окурки на лестнице. В дальнем углу чердака висело заledenелое белье, забытое кем-то из жильцов. «Провоняет теперь горелой проводкой. Придется перестирывать», – как-то некстати подумала Женечка. Не снимая варежки, она вытянула кусок мешковины из сваленной возле голый трубы кучи. Замотать нужно было метров пятнадцать. Холод пробирал до последней клеточки. «Если быстро наброситься, за час можно уложиться. Главное, как там Рогина говорила? – шевелить пальцами». Руки в варежках плохо слушались, а снять их было невозможно. «И почему это у меня всегда ничего не получается? За что ни возьмусь. В принципе. Есть ведь люди, которые все умеют». Женечка вспомнила, как ловко и умело Татьяна забинтовала ее растянутую при падении щиколотку. «Вроде ту же надо и следующий виток накладывать на предыдущий только до половины». Дело пошло на лад, но теплее от этого не стало. К тому же было не только холодно, но еще и страшновато. Все-таки одна на чердаке. «И чего они разбежались? Глупость какая... Всей гурьбой быстрее, и

вообще...» Женечка чутко прислушивалась к всевозможным шумам, доносящимся снизу, особенно к скрежету лифта. Заодно она присмотрела за стеной непонятного назначения место, где можно было бы спрятаться в случае чего. Через полчаса дверь лифта грохнула-таки на пятом этаже. Затем послышались шаги: кто-то поднимался на чердак. Она успела метнуться за облюбованную стену и осторожно оттуда выглянула.

В дверях стоял Ванька-Боян, побрякивая ведром с какими-то железяками. Кажется, он испугался не меньше Женечки, когда та выскочила из-за стены:

– Ох ты! Гляди-ка, кто тут у нас копошится. Я думал, может, бомж какой залез погреться, а тут такие люди в Голливуде...

– Погреться? Я тут чуть не околела, Вань. Зуб на зуб не попадает, а вон еще сколько осталось, – с какой-то безнадежностью Женечка махнула в сторону голой ледяной трубы.

Вид у Вани был слегка замученный. Он давно не брился и как-то осунулся, может, даже похудел. Легкое белое облачко вылетало у него изо рта при каждом слове.

– Морозы эти заколебали. Счас теплее станет. Где тут вантуз? – он поставил ведро и посветил фонариком по углам. – Воздух стравить надо, поняла?

То, что называлось «вантуз», висело на пересечении трех труб и напоминало огромный рукомойник. Женечка с интересом следила за сантехником. Заметив ее внимание, Ванька-Боян перешел на деловой и поучительный тон.

– Ну шоб, блин, вентиль хоть бы на одном крану оставили. Все посшибали или растащили. Ну-ка, техник, дай мне шведки из ведра. Да вот они, торчат вверх ногами. Разводной ключ это, поняла? Осторожно. Тяжелые. Второй номер я потерял. Забыл где-то по пьяни. Это третий. С ними надо осторожно, а то снесешь все на фиг. Та-а-к. Счас я воздух стравлю, – он повернул разводным ключом кран с отбитой головкой. – Там поплавков такой внутри есть, тебе не видать отсюда, дык я его проволокой подниму тихонько.

Поучая, он ловко орудовал проволокой внутри вантуза. Через несколько минут рукомойник зашипел и заплелся горячей водой.

– Ведро давай, зальем все на хрен!

Женечка ловко подставила ведро. На хрен они ничего не залили. Трубы вздрогнули, было слышно, как по ним побежала вода.

– Ну вот. Счас будет теплее.

– Ой, Вань, какой ты молодец! – Женечка сняла рукавицы и поправила выбившиеся из-под теплой шапочки волосы.

– Слышь, Игнатова, выпить хошь? Согреешься в пять минут, – как заправский иллюзионист, Ванька широким жестом вытащил из глубин карманов четвертную. – Раздавим малыша?

– Прямо из горла?

– Где я тебе фужор здесь возьму? Не будешь? Смотри, заболеешь. Мне же больше достанется.

Присев на балку, он закинул голову и влил в глотку где-то с половины четвертушки. Крякнув и передернувшись, занюхал рукавом:

– Ох, хорошо-то как. Тепло так и пошло. На-ко вот, – он протянул бутылек Женечке.

И Женечка, зажмурившись, хлебнула, закашлялась и хлебнула еще раз. В голову ударило через минуту. Спасительное тепло накрыло ее волной. Ноги ослабели. Она села рядом с сантехником, нисколько его не боясь. По всему было видать, что Ваньке захорошело тоже.

– Из-за острова на стрежень, – вдруг запел он. – Эх, гармонь бы мне сейчас. Я б тебе, Цыпочка ты моя ненаглядная, спел. Ты девушка хорошая, культурная. Я тебя давно присмотрел. А что, Игнатова, выходи за меня замуж... На простор р-р-речной волны...

– Ну куда я пойду, Вань, – слегка кокетливо хихикнула Игнатова. – У меня ж флюидов нет.

Не зная значения незнакомого слова, Ваня правильно понял направление мысли:

– Чего нет? Худая, што ль? Так ты кушай побольше. Пельмени там, картошечку. Вот и эти растут, как их?

Он обнял Женечку за предполагаемую под толстым слоем одежды талию:

– Я б каждый мизинчик на твоих ножках обцеловал... Выплывают расписные...

Игнатова прикрыла глаза. Ее разморило и куда-то понесло. Про трубу думать не хотелось. Ну ее... Может, не замерзнет...

Топоток Марьяши нарушил чердачную идиллию. Завидев ее, Ванька запел во всю мочь гнусавым голосом:

– Я цыганский барон, у меня триста жен, и у каждой жены голу-у-убые штаны.

Только глубокая сосредоточенность не позволила Марьяше отреагировать на такой беспардонный намек на ее голубые рейтузы.

– Слышь, ты, Георг Отс, – затараторила она, опасливо косясь на Женечку. – Халтура есть. Тут бабка одна с Каляева, 29, челюсть в унитаз уронила...

– Ну-у-у? – прислушался Георг Отс.

– Да и смысла ее ненароком... А там, говорит, зубов золотых на тышу наставлено. Бабка плачет. Говорит, сто рублей заплатит тому, кто ее челюсть выловит. Там делов-то: унитаз снять да фанину качнуть. Мне одной не управиться. Пошли давай!

– А Немец где?

По негласному джентльменскому соглашению сантехники халтурили только на своих участках.

– А я знаю? Я ему в дверь стукнула два раза. Ни ответа, ни привета. Запил, видать, с Нового года. Айда давай. Дело верное. Половина твоя, – Марьяша подхватила Ванькино ведро с железными и засеменила к выходу.

На какое-то мгновение борьба желаний отразилась на заросшем щетиной лице.

– Эх, – наконец решился Ваня, с трудом поднимаясь с насиженной балки.

«Позади их слышен ропот: нас на бабу променя-я-я-л...» – донеслось уже с лестничной площадки.

– Куда же ты увела моего жениха? – крикнула Женечка каким-то незнакомым самой себе голосом.

В ответ только грохнула дверца лифта. «Ну вот, и Ваньку смыло набежавшею волной, а труба осталась. В трубе дело. Это ж как-то встать надо», – продолжила она монолог.

Встать удалось, но повело не к трубе, а к слуховому окну. Поднявшись по приставной лестнице, она кулаком распахнула фанерные створки. Темнеющее январское небо предстало перед ее пьяненьким взором. Высунувшись до половины, Женечка разглядела крыши домов, черные деревья Таврического сада, белесый пар над трубами котельных. Слева вдали виднелись купола Смольного собора. Какое-то неизвестное чувство распирало ее заколотившееся сердце.

– Чуден Днепр при тихой погоде, – вдруг продекламировала она невидимому свидетелю ее восторга и попробовала выбраться на крышу.

– Ку-уда! – чьи-то сильные руки бесцеремонно подхватили Женечку под мышки и потянули вниз. – Я тебе, Игнатова, по крышам пошастаю, а ну, слезай.

– Когда умру, хочу, чтоб душа моя, расправив крылья, пролетела над этим городом, – уперлась Игнатова.

Руки потянули сильнее. Пытаясь оглянуться, Женечка потеряла равновесие и наверняка бы упала, если бы Славик не успел ее подхватить.

– А Боян нам сказал, что ты только два раза глотнула, – донесся голос Лели.

– Это ее с пирожка с повидлом так развезло, – откликнулась Татьяна.

– Ой, девочки, – задыхнулась от счастья Женечка. – Это не пирожки, это труба меня задолбала.

– Да делов-то тут! – и Татьяна за пятнадцать минут замотала оставшийся кусок злосчастной трубы по всем правилам наложения повязок на закрытый перелом.

После короткого перекура компания отправились в контору согреться. Закусывали цыплятами.

– В гастрономе сегодня давали. Синенькие такие, костлявенькие, как ты, Жень, только не обижайся. Так я домой сбегала, нажарила, – распинаясь Леля, раскладывая кусочки курочки по белым тарелкам с надписью «Общепит».

До квартиры Женечку довел Славик. Поковыряв ключом в замке, она потянула провожатого на порог распахнувшейся двери. Сидящие на кухне зайки бурно отреагировали на появление пьяной соседки с незнакомым мужиком:

– Тут она всяких в дом водит, – загундосила Ирка, – а потом краска для волос пропадает. Где я теперь такую краску достану?

– Да не брала я твою краску, – огрызнулась Женя. – Откуда мне знать, где ты ее держишь.

– В туалете в коробке, а мне волосы красить надо...

– Извините, дамочка, дайте-ка пройти, – Славик проволоком Женечку мимо зайки с развешившимся от негодования оранжевым пушком на голове.

– Тама ее дверь, в самом конце коридора, – подал заискивающий голос Толя. Он оценил рост и силу гостя, но, поскольку натура победила, крикнул ему в спину:

– Ты у ей не первый будешь, мужик! Тута разные к ней ходют.

– Я тебе уши-то на жопу натяну, – не оглядываясь, но внятно и без всякой угрозы в голосе ответил Славик.

На следующее утро Женечка могла только вспомнить, как кто-то стянул с нее скороходовские сапоги-кувалды, накрыл чем-то теплым и, закутывая, сказал: «Странная ты девочка, Евгения Игнатовна».

Вскрывать железную дверь мастерской Рудика Госса пошли бригадир Каляныч с ломиком и участковый Костырко с техником-смотрителем Игнатовой. Когда раскученная дверь приоткрылась, опытный Костырко отстранил Женечку, но она успела вдохнуть ужасающую вонь прокисших пищевых отходов, увидеть висящее тело Рудика и раскиданные по полу пустые пузырьки Иркиной краски для волос.

В конторе все жалели Рудика.

– Да не жилец ваш Немец был, – сделал посмертное заключение участковый Костырко. – Там, на верстаке, чего только у него не валялось, пил что ни попадя.

Замечание было верное. На похороны Рудольфа Госса скинулись всем миром. Родственников у него так и не нашли. По месту прописки на Лиговском проспекте он давно не проживал. К похоронам морозы ослабели, началась оттепель. На Красненьком кладбище гроб опустили в яму, куда натекла талая вода.

До Рудика Госса Женечке уже пришлось хоронить бабушку тетю Таню. Отношения между ними сложились странные. О любви тут говорить не приходилось, но жизнь как-то прибила их друг к другу. Капитан в отставке Миркин, обзаведясь новой семьей, матушку не жаловал. Получив свои разменянные квадратные метры в Саперном переулке, пару лет прожила она там в полном одиночестве. На работу ходила через дорогу в магазин «Аптекарьские товары», где потихоньку подворовывала тройной одеколон, отливая из бутылочек в приготовленный заранее пузырек. Одеколоном тетя Таня смачивала ватку и протирала свое тело в пределах досягаемости, поскольку в баню она никогда не ходила, а ванной в квартире на Саперном не имелось. Другие таинства соблюдения гигиены стареющей женщины никому были не известны. Женечку ужасно смешил вид белого эмалированного ночного горшка на электрической плитке, поскольку со временем тетя Таня перестала выходить на коммунальную кухню и готовила у себя в комнате. Горшок был того же происхождения, что и пузырек с одеколоном, и служил кастрюлей. В нем варились всевозможные снадобья, которыми кормилась тетя Таня. Так потихоньку и скоротала бы она свои дни, если бы не внимание бывшей невестки. Правда, внимание это не было бескорыстным. Молодой разведенной женщине нужно было «как-то налаживать жизнь», несмотря на всевозможные препятствия. Теперь Женечка все чаще смотрела у соседей Приколотинных не только мультики с цирком, но и всю программу телевизионных передач. Около десяти часов вечера тетя Валя Приколотина разбирала горку маленьких подушек на кровати и доставала из шкафа две большие. Просмотр на этом заканчивался, и девочку вежливо выпроваживали. В первый раз, когда дверь в ее комнату не открылась, Женечка села на пол и заплакала. Куда деваться, если мама ушла и забыла ее у соседей? Тетя Надя Дьякова, услышав тихое всхлипывание, вышла в накрученных на голове бигуди в коридор и громко стукнула в дверь соседки. Мама испуганно отворила и впустила зареванного ребенка домой. В комнате пахло куревом и незнакомым чело-

веком. На спинке стула висел китель, но не такой, как когда-то был у папы, а черный с золотыми галунами. Дядя Петр Николаевич плавал на подводной лодке. Утром за завтраком он протянул девочке в подарок большую круглую монету. «Один рубль», – прочитала Женечка и вопросительно посмотрела на маму. Та кивнула. Рубль долго хранился в хрустальной лодочке, пока не исчез, впрочем, как и сам Петр Николаевич.

Похоже, жизнь у мамы все никак не налаживалась. Женечка уже знала имена всех дикторш ленинградского телевидения, когда Приколотины стали закрывать от нее свою дверь на защелку. Тогда мама и отвезла ее в Саперный переулок. «Все-таки Татьяна Ильинична твоя бабушка», – угоривала она упирающуюся Женечку. Надежд на помощь было мало: «все-таки бабушка» много лет не признавала бывшую семью сына. Но чудо произошло: тетя Таня согласилась присматривать за внучкой несколько дней в неделю. Ей было веселей с девочкой, да и жизнь ее как бы снова приобрела смысл.

Первые годы, проведенные в убогой комнате на Саперном, были особенно тоскливыми для Женечки. Сделав уроки, она тихонько сидела у окна, выходящего во двор. Гулять ее не пускали, телевизора в доме не было. Спасением была сначала круглая черная тарелка радио с детскими передачами про Маленького принца или корзину с еловыми шишками, а потом – книги. Граф Монте-Кристо и графиня де Монсоро заменили Женечке семью.

Читать дома становилось все сложнее. Годы шли, а новый муж все никак не приходил. В доме застоялся запах спиртного и чужих грязных носков. Однажды мама застала одного из своих поклонников за попыткой завалить худенькое тело пятнадцатилетней дочки на диван. Поклонник в доме больше не появлялся, но его тут же сменил другой. Теперь Женечка уже по своей воле стала проводить почти все время у тети Тани. Та была только рада «поговорить хоть с кем-то». Разговоры сводились к бесконечным монологам, которые Женечка не слушала, уткнувшись в очередную книгу. Читая заданные «Мертвые души», ученица Игнатова вдруг обратила внимание на то, что Татьяна Ильинична ни об одном человеке не сказала ни одного хорошего слова. «Ну чистый Собакевич», – пришло ей на ум. Так началась любимая игра. Ко всем знакомым Женечка стала подбирать подходящих литературных персонажей. Мама была для нее Раневская из «Вишневого сада», соседка Дьякова – гоголевской Коробочкой, семейство Приколотиных – старосветскими помещиками, а сама она представляла себя не иначе как дикой собакой Динго из «Повести о первой любви». При таком раскладе поступать можно было только на библиотечный факультет Института культуры, но именно туда Женечка завалила экзамен по английскому. Остался техникум.

Два года обучения в библиотечном техникуме были счастливыми. Чтение книжек удачно сочеталось с нехитрой наукой регистрации и размещения «инвентарных единиц» на полках районных библиотек, приветливо распахнувших двери молоденьким студенткам. Ночевки у подруг в общежитии и набеги то на Моховую к маме, когда там не было очередного претендента на руку и сердце, то к тете Тане в Саперный переулок решали жилищный вопрос, вернее, отодвигали его решение. Случайно или нет, но получение диплома совпало с появлением капитана в отставке Миркина. Этот князь Василий (еврейского происхождения) во что бы то ни стало пытался пристроить свое разросшееся семейство на дополнительные квадратные метры. Женечка представляла для него реальную угрозу. Непонятно как, но он уговорил матушку прописать его на Саперном. Какие-то угрызения совести все-таки посещали тетю Таню. Перед самой смертью завелась у нее странная подруга по имени Нина Ивановна, работавшая в отделе кадров жилищного треста. Женечка не смогла подобрать ей подходящего литературного персонажа, а Татьяна Ильинична за глаза называла подругу одним коротким словом – «пьянчужка». «Ну почему пьянчужка-то?» – возмущалась Женечка. «Да пьет как лошадь», – сердилась тетя Таня на вечно перечащую внучку. Так или иначе, но Нина Ивановна устроила Евгению Игнатову техником-смотрителем в жилищную контору с обещанием служебной площади в не столь отдаленном будущем. Вскоре после этого тетя Таня заболела чем-то вроде гриппа. Соседи по коммуналке, почувствовав неприятную вонь из-под двери Миркиной, вызвали участкового. Тот созвонился с Женечкой.

Татьяна Ильинична, вернее, ее тело, лежало на полу в ночной рубашке, запутавшись в одеяле ногами. Появился и князь Василий. Похороны он оплатил. После похорон тети Тани Женечка ни-

когда его больше не видела. Но с Ниной Ивановной она встречалась довольно часто, при этом та была всегда пьяна.

Нет ни времен года, ни явлений природы, благоприятных для жилищно-коммунального хозяйства. Вот и потепление, наступившее после январских морозов, не принесло ничего, кроме беготни – техникам-смотрителям и расходов на ремонт протечек – тресту. Проржавленная кровля потекла под лучами северного солнца, растопившего снег на крышах. На этот раз страдали жильцы верхних этажей.

В мансарде дома 23 по улице Каляева располагалась художественная студия. Когда-то это была громадная коммунальная квартира, но со временем всех ее обитателей расселили, а площадь передана в нежилой фонд. Студию заливало каждый год, художники жаловались во все инстанции. Инстанции наседали на Ольгу Павловну, та плакалась в тресте, но фонд-то был нежилой, и ремонт крыши откладывался из года в год. После очередных телефонных переговоров начальница отправила техника Игнатову определить размах ущерба. «Ну и эта... произвести приятное впечатление».

– Жень, ты как приятное впечатление произведешь, а мужички там представительные и при деньгах, между прочим, – начала с ехидной улыбкой Леля, – на чердак не ходи. Там все равно кровельщики слуховое окно кирпичами заложили.

И, увидев непонимающий Женечкин взгляд, взмахнула руками, как крыльями, и добавила:

– На случай, если душе приспичит полетать над городом.

– Ой, ну ладно, – совсем не обиделась Женечка.

Ей самой хотелось познакомиться с художниками, этими загадочными боролатыми мужчинами в рваных свитерах и с длинными волосами. Сразу после обеда (а раньше в мастерской все равно никого не было) она отправилась в один из охраняемых фараонами подъездов на Каляева, 23. Оттепель покрыла их гранитные тела белой испариной, на которой кто-то успел вывести матерное слово. Тем же словом была исписана кабинка лифта, с лязгом, неторопливо ползущего на пятый этаж.

Женечку встретил прилично одетый молодой человек без малейших намеков на бороду на ухоженном лице, который провел ее через анфиладу комнат к последней, с залитым потолком и обвисшей штукатуркой.

– Только, ради бога, не ходите сюда. Это же аварийная ситуация, потолок надо отбить, чтобы ненароком кого-нибудь не убило, – занервничала Женечка.

– Ну, а про что я талдычу начальнице ЖЭКА, как бишь ее?

В дверях стоял кто-то представительный в дубленке. Очки в роговой оправе устойчиво сидели на его коротком и слегка вздернутом носу.

– Вы у нас, сударыня, кто будете? Ах, Женя Игнатова. Чайком с нами не побалуетесь?

И уже через полчаса Женя Игнатова сидела в удобном кресле с чашкой какого-то редкого ароматного чая и, боясь отхлебнуть, с восхищением взирала на Кирилла Ивановича, оказавшегося руководителем студии-мастерской. Никаких лохматых художников, творящих у мольбертов, здесь не было. В комнатах, уставленных кульманами, работали хорошо одетые люди. На громадном столе Кирилла Ивановича высился макет какого-то здания.

– Это наш проект – музей Ленина в Улан-Баторе, – пояснил он. – А чем занимается Женя Игнатова?

Вопрос был задан слегка ироничным тоном, впрочем, в нем можно было уловить нотки искреннего интереса.

– Я техник-смотритель. Вот хожу, смотрю, как все разваливается, и ничего с этим не могу поделать. Район-то старый, допотопный. Весь фонд нуждается в капитальном ремонте.

Ей вдруг захотелось рассказать про морозы, про повесившегося Рудика, про подруг, считавших ее еврейкой, хотя она была русской, про своего отца, капитана Миркина, которого не знала, да и знать не хотела. Но ничего этого рассказывать не стала. К Кириллу Ивановичу пришла какая-то девица в ловко обтягивающих круглый задик джинсах и стала с ним что-то обсуждать, развер-

нув рулон ватмана. Когда Женечка допила чай и девица наконец удалась, оказалось, что Кирилл Иванович прекрасно помнил, на чем остановила свой рассказ гостья.

– Смотритель, говорите. Район вам не нравится, значит.

Женечка пожалала плечами.

– Да вы просто не знаете этот район. Тут неподалеку, на углу Шпалерной, сейчас это улица Воинова, и проспекта Чернышевского, Самсон Вырин отслужил молебен в церкви Всех Скорбящих и оттуда пошел к Литейной. Он тоже был смотрителем, вроде вас, только станционным. Читали про такого?

– Конечно, – слегка обиделась Женечка, но никакой церкви на том углу она не видела.

– А не припомните, что он в Петербурге делал и как раз в не любимом вами районе?

– Дуню искал. Свою дочь.

– Правильно, Женя. Здесь каждый дом связан с нашей историей и культурой. А про этот самый дом, где мы с вами чай пьем, что-нибудь знаете?

Кирилл Иванович вышел на минуту и вернулся с какой-то книгой:

– Вот, смотрите, наш Египетский дом. Узнаете красавца? Это дореволюционные фотографии.

Видите, кто подъезды охраняет?

– Фараоны, – не совсем уверенно ответила Женечка.

– Вообще-то это статуи бога Ра, а вот, посмотрите на полуколонны. Видите эти маски? Это головы египтянок, возможно, тоже подразумевались богини. Архитектор Сонгайло был большим поклонником египетского искусства. А какая была роскошная арка! Потолок, стены расписаны летящими птицами, крылатыми дисками. А подъезды! Посмотрите, как были расписаны подъезды! И это простой доходный дом. И на что это похоже сейчас? Да что там говорить! – с горечью закончил Кирилл Иванович. – Люби и знай свой край, вернее, то, что от него осталось.

Притихшая Женечка листала книгу, лежащую у нее на коленях. Как все интересно, а она ничего-ничего-ничего не знала. Как же она проходила, вернее, пробегала мимо этого великолепия, пусть потускневшего, но еще живого? И какой удивительный, замечательный Кирилл Иванович.

– У вас много книг, да? Я очень люблю читать и техникум закончила библиотечный, а в жилищном хозяйстве ничего не смыслю, – зачем-то разоткровенничалась Женечка.

Кирилл Иванович внимательно посмотрел на бедно одетую девушку, с виду почти подростка, сидящую в кресле немного в стороне от его заваленного стола: короткие темные волосы, худенькая шейка, поношенная кофточка с коротковатыми рукавами, из которых вытягивались ручки с детскими пальчиками. В этой замухрышенности была та искренность и непосредственность раннего девичества, которые его всегда завораживали и восхищали в женщинах.

– Женя Игнатовна, – начал Кирилл Иванович, – если я дам вам кое-что почитать, можете обещать, что, прочитав, тут же мне вернете и никому не станете рассказывать, откуда у вас книга?

– Обещаю, – кивнула Женечка. – Я быстро читаю. А что за книга?

Кирилл Иванович снова куда-то вышел и принес на этот раз книгу в белой обложке, на которой было написано: «Владимир Набоков. Защита Лужина. Издательство им. Чехова. Нью-Йорк».

– Знаете такого автора? Нет? Вот я ее вам как следует заверну, а вы только дома развернете, прочитаете и сразу принесете мне. Идет? И про кровлю не забудьте, а то мы уже устали ругаться с вашим начальством. Напоминайте им там, что мы давно ждем ремонта.

Завернутую в плотную бумагу книгу Кирилл Иванович положил в желтый полиэтиленовый пакет со словом «Berezka» поверх красной матрешки.

Предусмотрительная Женечка отнесла пакет домой и только после этого вернулась в жилконтору, сделав круг по улице Воинова, чтобы найти церковь, в которой молился станционный смотритель. На фасаде углового дома, где размещалось Общество охраны памятников, висела мемориальная доска «Церковь во имя Божьей Матери “Всех Скорбящих Радости»». Ну вот. А она ходила мимо каждый день и ничего не видела. Женечка посмотрела вдаль уходящей к Смольному собору улицы Воинова. «Нет, все-таки она какая-то мертворожденная, тусклая и безликая. Хорошо, что это Танькин участок. Ей наплевать на архитектуру и на Самсона Вырина. А смешное это имя – Евдокия Самсоновна. Задразили бы в школе», – и Женечка нырнула в подворотню на Чернышевского.

Выслушав подробный отчет о нависшей над жизнью людей опасности в виде кусков штукатурки, Ольга Павловна послала в мансарду на Каляева, 23, плотников. Аварийный потолок отбили, ремонт крыши запланировали на второй квартал текущего года. И то слава богу.

Вечером Женечка развернула заветную книгу. Успев только пробежать глазами первые строчки, уже знала, что будет перечитывать каждую страницу этого романа. Потом задумалась на какую-то долю секунды, стоит ли уже сейчас, сразу же начать заново, впитывая, пробуя на слух особенно поразившие слова, или поддаться соблазну и двинуться дальше, следя за развитием сюжета. Любопытство победило. Дочитав, она поняла, что никакого Александра Ивановича в ее жизни не было и не будет, как не было и не будет шахмат и курорта в Германии. Взрослый потный Лужин был ей совсем не симпатичен, впрочем, как и его милосердная жена. Но в книге была какая-то тайна, которая тревожила Женечку. Она перечитала роман еще раз. Теперь медленно, находя не увиденные с первого раза скрытые ходы. Мальчик, его одинокое детство – вот, оказывается, что было ей ближе всего. И тетя, эта прекрасная рыжеволосая тетя, троюродная сестра матери, кидающаяся хлебными крошками за обеденным столом, любительница опасных прогулок на допотопных аэропланах, научившая Лужина переставлять шахматные фигуры. «Как могла она полюбить этого ничтожного Лужина-старшего!» – сердилась Женечка. Теперь ей больше не хотелось походить на дикую собаку Динго, она выбрала себе другую героиню: лукавую красавицу-насмешницу, погубившую семью сестры. Но что-то продолжало волновать Женечку. Перечитывать роман в третий раз уже не хотелось, и она просто перелистала книгу. Вот. Нашла. Маленький Лужин прогулял школу, отправившись к тете на Сергиевскую в сливовый дом с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон. Сергиевская? Она видела название этой улицы совсем недавно. Ну да. В книге, которую ей дали посмотреть в мансарде. Это же улица Чайковского. И не странно ли, что оба Ивановичи? «Ну, папы у них были тезками, – попробовала сыронизировать Женечка. – А дом со стариками нужно найти».

Но почему-то не пошла искать, а начала выспрашивать в конторе:

– Лель, у тебя на Чайковского атланты случайно нигде нет? Ну, знаешь, мужики такие, про них еще песню поют: «Атланты держат небо на каменных руках»?

Леля затянулась сигаретой и эффектно выпустила дым из ноздрей. Рядом сидел Славик, который стал часто захаживать в контору.

– Вроде видала где-то. А тебе зачем?

Женечка неопределенно пожала плечами: мол, да так просто. И тут вдруг Славик оживился:

– Да на Чайковского, 38, ты ж каждый день мимо ходишь. Забыла, што ль?

– А дом этот какого цвета? – попыталась припомнить Женечка. – Сливового?

– Почему сливового? – удивился Славик. – Обыкновенный, серый. На парадной лестнице витражи сохранились. Не везде, правда. Красиво. Пойдем, покажу.

Леля многозначительно переглянулась с Татьяной. Перехватившая этот взгляд Женечка почувствовала какую-то неловкость, как будто ей было предложено что-то не совсем пристойное. Она замялась и вежливо отказалась, сославшись на исключительную занятость. Сохраняя достоинство, Славик потоптался несколько минут над журналом с заявками, поболтал с Лелей и только после этого удалился.

– Жень, он когда тебя провожал, у вас там, это, – начала Таня, – ничего не было случайно? В смысле, девственность-то не потеряла?

– Я ж пьяная была, ничего не помню.

– Так и я про то...

– Проснулась-то хоть в штанах? – подключилась Леля.

– В штанах и под одеялом, только без сапог.

– Ну, тогда я за тебя спокойна, а то думаю, чего это у нас Славик в конторе груши околачивать повадился, – и подруги дружно хихикнули.

Женечка уже знала эти похабненькие смешки и ловила себя на том, что всегда смеется тоже, как бы за компанию, хотя чаще всего ей совсем не смешно, а скорее противно.

Но то, что обе ее подруги переспали в свое время со Славиком, или Владиславом Анутиным, она не знала. Отношения не сложились ни у одной, хотя Славик считался мужиком приличным и достойным всяческого внимания.

Чтобы успокоиться, Женечка отвернулась к окну, откуда был виден засветившийся подъезд Египетского дома. Что же это за перемена в ее жизни? Отчего больше всего ей хочется сейчас пойти туда, на угол Чайковского и Чернышевского, и найти заветный подъезд? Почему ей больше не интересны разговоры про мужиков с их размерами? И как странно, что она чувствует постоянное присутствие человека, которого видела всего раз. Нужно будет завтра же отнести ему книгу, рассказать о доме рыжеволосой тети и попросить почитать что-нибудь еще из книг этого волшебника Набокова.

Но тот же аккуратный безбородый молодой человек, вежливо встретив Женечку в дверях мастерской, сказал, что Кирилл Иванович в командировке. Ну, недели на две-три.

На 23 февраля в конторе поздравили мужиков с праздником. Женечка подарила Славику теплые носки и набор носовых платков. На 8 марта, обойдя вниманием других девушек, он подарил Женечке флакончик польских духов «Быть может». Обиженные девушки решили собраться у Игнатовой, чтобы узнать подробности развивающегося романа. На все расспросы с подколами Женечка только невинно хлопала глазами и ничего не отвечала, а потом и вовсе ушла на кухню заваривать чай.

– Евреи, не жалейте заварки, – крикнула из комнаты в открытую дверь изрядно поддтая Таня.

И снова Женечка слотнула обиду и высыпала в чайник весь пакетик грузинского чая.

В комнате Леля с интересом листала «Защиту Лужина», извлеченную из пакета с матрешкой.

– Это у тебя откуда?

– Девочки из техникума дали почитать, – соврала Женя, проклиная себя за неосторожность.

– Дашь почитать?

– Не-а, мне возвращать надо сразу после праздника. Да это про шахматы, тебе будет неинтересно.

– А ты че, в шахматы играешь? – очнулась Таня.

– Ага. Учусь.

– Господи, ей трахаться надо, а она в шахматы играет. Смотри, прыщами покроешься, Славик любить не будет.

– Надоела ты мне, – вдруг громко и внятно вырвалось у Жени.

В ее голосе и интонации Татьяне послышалось что-то настолько враждебное и угрожающее, что она заставила себя подняться с продавленного дивана, сильно качнулась в сторону приставного столика, но справилась с равновесием и, сделав несколько неуверенных шагов, открыла дверь в коридор.

– Ну че вы, девки, цапаетесь? – попыталась спустить на тормозах назревающую ссору Леля. – Тань, там темнотища, дай я свет зажгу, а то расшибешься спяну.

Но Рогина уже пронеслась по коридору, распинав попавшуюся под ноги соседскую обувь.

На следующий день голова Таньки раскалывалась от перебора бухла накануне. Тошнота накачивалась от малейшего шороха. За столом напротив, уткнувшись в наряды, сидела Женька, стараясь не смотреть в ее сторону. Леля болтала с бригадиром Калянычем, уламывая его взять халтуру. Давали мало, и тот не хотел связываться.

– Да мне по барабану, что он артист, пусть платит, как все люди. Биде его бабе надо, не моей. Этот полгинник сраный пусть себе кое-куда засунет и поет: «Пора-пора-порадуемся на своем веку», – скалился Каляныч, демонстрируя редкие зубы.

– Ты за метлой-то следи, – с осуждением, строго сказал Славик. Поглядывая в сторону стола, за которым сидела Женечка, он обсуждал с электриком Обухович содержание «Графини де Монсоро» – книги, уже прочитанной в конторе паспортистками и бухгалтершей.

«Ну все, Славке в библиотечный техникум пора, – Татьяна с тоской слушала про судьбу Шико в пересказе Обухович. – Опохмелить и то некому. Росс бы уже давно бутылку достал, да нет Росса». Тут она, пожалуй, все-таки ошиблась. Появившийся Ванька-Боян быстро распознал маяту во всем ее облике.

– Ну че, голова трещит? – участливо поинтересовался он.

– Что ты, Вань, моргать страшно, в башку отдает, – пожаловалась благодарная за внимание Таня.

– Хлебнуть дать?

– А у тебя есть?

– «Три семерки» в мастерской.

– Не дойду. Неси сюда, будь другом.

Будучи человеком отзывчивым, Ванька маханул на Воинова и минут через двадцать вернулся с бутылем за пазухой. Распивать при всех было все же неудобно. Правда, и ждать пришлось недолго. В минуту короткого затишья, когда работники разошлись, а жильцы с жалобами еще не набежали, Таня приняла чуток из чашки с гравировкой «Ленинские горы». Розовый оттенок окрасил ее бескровные до того щеки. Ваня тоже глотнул для порядка, но вскоре убежал по делам. Рогина успела закурить беломор и сладостно выдохнуть затыжку, когда раздался голос Жази:

– Татьяна, зайди ко мне на минуточку.

Это еще зачем? – переглянулись девки.

Танька вернулась подозрительно быстро. Сев за стол, она пьяно разрыдалась. Подскочившая Леля захлопнула дверь, а Женечка кинулась к подруге, забыв все обиды.

– Да что случилось-то?

– Сука она поганая. Как я людям в глаза смотреть теперь буду? – начала Таня. – Помните, зимой у меня на Воинова жилплощадь освободилась, мужика посадили, а родственников у него не было?

– Ну...

– Так я эту комнату просила у Жази для знакомых. Хорошие ребята, муж и жена, молодые. Из Армении. Жить негде. Денег много. Я от них в конверте пятьсот рублей ей отнесла. Она мне и говорит, пусть живут, никому эта комната не нужна. А тут – на тебе, пусть срочно съезжают. И глаза в сторону. А как мне им сказать? Они и двух месяцев там не прожили. Еще подумают, я себе эти деньги взяла, а я ни копейки, честное слово. А то, говорит, с Костырко их придется выселять.

– Да ладно тебе. Сама говоришь, у них денег много. Не обеднеют. Ты за них не беспокойся, Таня. Нервы береги. Хочешь, я с Костырко схожу на выселение? Он черножопых не любит, – жестко высказалась Леля.

«Ничего себе, – обалдела Женечка, – так вот как она умеет», – но про черножопых промолчала. А что тут скажешь, она, может, сама для Лели черножопая. И чувствуя, что ей не хватает смелости на праведное возмущение, перевела стрелку:

– А пусть Жази деньги отдает, раз она ребят этих выселяет. Взятку-то она приняла. За это и сесть можно.

– Ну ты че, Женька, издеваешься, что ли? Я ж ей эту взятку сама отнесла. Я и сяду. Не, пойду к ребятам и все скажу как есть. Неудобно-то как. Им и вправду жить негде.

– Так пусть домой едут, в Ереван, по месту прописки. Нефиг тут всякой сволоте ошиваться, – продолжила тему Леля. – Ты на Ольгу не кати, ей в исполком отчитываться надо по свободной жилплощади. Может, комнатка эта кому из соседей приглянулась, они и стукнули. У меня на Чайковского люди убиваются за освободившуюся площадь. Тут и неделя не прошла, как завмагом съехал, а за его квартиру исполком с райкомом в драку. Смех и грех смотреть. У меня этих отъезжающих знаешь сколько? Навалом. Ольга сразу звонит куда надо. А так кто бы ей солдатиков-то присылал на аварийные работы, да и вообще...

Заметив удивление на Женечкином лице, Леля вовремя остановилась.

– А почему у меня отъезжающих на участке нет? И куда они уезжают?

– Жень, так на Каляева одни поганые коммуналки. А евреи твои уезжают в Израиль. Ты че, не знала?

– Не знала. У меня, между прочим, мама русская. Живет в коммуналке на Моховой. И евреи не мои, Леля, – с легкой вибрацией в голосе отозвалась Женя.

– Да ладно вам, девки, – Рогина явно почувствовала себя лучше под словесный шум, извергаемый подругами, а после обеда, приняв сухого из все той же чашки с «Ленинскими горами» на боку, и вовсе успокоилась.

Одно хорошо на этом свете: неизменное чередование времен года. В конце марта настала-таки пора весны. Снег и сосули, столь ненавистные работникам жилищно-коммунальных услуг, наконец стаяли. Лед на Неве почернел и местами проломился. От страшных морозов остались дурные воспоминания да дыры в бюджете треста. По всем расчетам, Кириллу Ивановичу пора была возвращаться из командировки. И он вернулся. Женечка столкнулась с ним у дверей Египетского дома, возле которого появлялась теперь довольно часто по всяким делам, а чаще всего просто чтобы поразглядывать узоры со скарабеем или солнечными дисками. Ей показалось, что Кирилл Иванович тоже обрадовался этой встрече, во всяком случае, начал оживленно расспрашивать о всяких ее делах, что предполагало наличие у него хорошей памяти.

– Да, мне нужно вернуть вам книгу, – напомнила Женечка.

– Какую книгу? – удивился Кирилл Иванович, забыв такую важную для нее подробность. – Ах, эту! – да-да-да! Принесите, конечно. Понравилась? Ну и прекрасно.

Днем позже, усаженная в то же кресло с чашкой чая знакомого аромата, Женечка рассказывала о доме с атлантами, где жила рыжеволосая тетя, правда, совсем не стариками, а довольно молодыми бородатыми мужчинами, поддерживающими балкон.

– Но мальчику они ведь могли казаться старыми, правда?

Кирилл Иванович выслушал с большим вниманием. Он не помнил «Защиту Лужина» и вряд ли собирался ее перечитывать, но Женечка нравилась ему все больше.

– Хотите почитать что-нибудь еще?

И вынес другую книжку, вернее, распечатку с домашне-уютным названием «Софья Петровна».

– Это самиздат. Знаете, что это такое? Какие-то люди книжку перепечатали, и видите, как славно переплели. Читать быстро и никому не показывать. На всякие вопросы отвечать – нашла.

Женечка закивала, прижимая новый пакет к груди. Хорошо, что он не был ярко-желтого цвета, на который клонула любопытная Леля.

«У меня звонил телефон. Кто говорит? – Слон». Дедушку Чуковского Женечка помнила с детства. «Откуда? От верблюда...»

Лидия Чуковская была ей неизвестна. Забывшись под одеяло, она за один вечер прочла «Софью Петровну», перечитывать этот ужас не стала. Вопросы застучались в ее бессонную голову. Как же так? Где были школьные учителя с перегибами и головокружением, с поднявшейся целиной и закаленной сталью? Какой загадочный географ разместил ее жизнь между Воинова и Каляева, по обе стороны Большого дома? Мрачные их подворотни она знала и так. Но откуда ей было знать про прячущихся в подъездах на Воинова печальных составительниц бесконечных списков да про очереди, огибающие гранитный куб? Нет, что-то она припоминала из уроков в техникуме. Двадцатый съезд и преодоление последствий. Но ведь преодолели же, а иначе как там со строительством коммунизма? «Это мы-то с нашими смывными бачками коммунизм строим?» – опомнилась Женечка. Кто же ей скажет правду?

Ну конечно, знала, Женечка. Моего братика, твоего дядю, арестовали в Свердловске. Он там в институте учился. Не помню в каком, я тогда маленькая была, да и он сам мальчишкой был. Твой дедушка, мой папа, то ли в Свердловск ездил, то ли в Москву. Котика и след простыл. До нас не добрались, мы и так на краю земли жили, но бабушка очень боялась, что в школе про все узнают. Нет-нет. Мне никто и слова такого не сказал. А уж потом, когда мы с Миркиным поженились, дедушка письмо получил про Костика: «Реабилитирован посмертно».

Женечка вытащила семейный альбом. Вот он. Котик-студент. Последняя фотография, наверное, присланная дорогим родителям на память. Бритая большая голова, рубашка с пуговками.

Да что рассказывать? Я сама в этом мало что понимала. Комсомолка активная. В волейбол с мальчиками играла, песни пела. Когда Сталин умер – плакала. Так все плакали. Да и Котика, знаешь, как-то забывать стала. Вот помню, как брюки ему гладила. Сама вызвалась. Ему на свидание с девушкой бежать, утюг чугунный, тяжеленный, а мне лет десять. Старалась я ужасно. Надевает он брюки, а стрелки сбоку хорошо так проглажены. Он в крик, я в слезы. Брюки-то одни, других не было. А не помню... Кажется, мама подскочила. Переглядила.

Женечка листает альбом дальше. Бравый лейтенант Миркин в фуражке слегка набок.

Как зачем? Он же твой папа. Видишь, красавец какой. Может, ты его простишь, своим деткам будешь фотографию показывать. Вот он был страшно идейным. Мы когда в офицерской общаге жили, к нам часто гости приходили. Посидим, выпьем, потанцуем, тогда патефоны еще были, да и разоидемся. Дети у всех маленькие. Так Миркин наш меня спать гнал, а сам садился что-то писать с таким, знаешь, серьезным выражением лица. Мне же любопытно было, вот я один раз и подглядела: это он донесения в Особый отдел писал. Мол, кто приходил, что говорил. Я ему по простоте своей говорю: Левушка, как же ты можешь, они же все твои друзья, а он как закричит: «Молчи, дура! Не смей никому говорить!»

Так вот ты какой, лейтенант Миркин. Нет, князь Василий доносов не писал. Ты – подлец Ромахов и не дождешься моего прощения.

Ну что ты плачешь, Женечка, все это давно прошло. Жизнь налаживается. Как-никак. Потихоньку. Не смей этого при мне говорить. Я евреев люблю. Ну и что? Уезжают – и уезжают. Может, потому и уезжают.

Теперь, попав во встречный поток людей из дома на Литейном, Женечка пыталась разглядеть их лица. Лица не запоминались, вернее, все казались одинаковыми. Проходя мимо тяжелых дверей, она замедляла шаг и, если дверь открывалась, пыталась ненароком заглянуть внутрь. Дверь захлопывалась, и что там за ней скрывалось, оставалось неизвестным. Очередей вокруг дома не было, только на углу одиноко торчал постовой. Атланты и скарабей больше не тревожили Женечкино воображение. Кирилл Иванович опять куда-то уехал. Кто еще мог знать об этом зловещем месте? И тут выяснилось, что Марьяша может кое-что рассказать о доме на Шпалерке. Прочищая с водопроводчиками засорившийся люк на Робеспьера, она вдруг вышла к гранитной набережной, постояла там несколько минут и, вернувшись, сказала:

– Лед пошел по Неве. Слышь, мужики, а говорят, под рекой проход прорыт враз от Крестов до Большого дома.

– Так это когда было, его уж засыпали давно, – авторитетно откликнулся Каляныч. – А я вот слышал, что Большой дом вниз идет на столько же этажей, сколько у него наверху.

– Про этажи не знаю, не буду врать. А мельница у них есть. Электрическая. Мне монтер один рассказывал. Она у них там трупы перемалывает. Вот говорят, человек пропал, а он у них. Они его перемололи и в Неву по трубе спустили.

«Господи, да что это она говорит такое?» – изумилась Женечка, заскочившая во двор узнать, не надо ли чего в помощь.

– У ей сын в Крестах второй месяц сидит, – шепнул Ванька.

– По пятьдесят восьмой?!

– Не знаю, какая такая пятьдесят восьмая, – пожал плечами Боян. – Вроде драка... И вдруг про-тяжно заголосил: – Литейный, четыре. Четвертый подъезд. Здесь много хороших посадочных мест.

– Да ну тебя, балабол, – сплюнул Каляныч.

Настроение у Марьяши было плохое. После обеда она долго сидела в конторе, даже не заглянув в журнал заявок. Лелька, проведавшая про ее беду, обещала достать мясную тушенку в железных банках для передачи в Кресты.

– Боюсь, бьют его там, – пригорюнилась Марьяша.

Ее седые лохмы торчали во все стороны из-под сбившегося платка. Грустные, какие-то собачьи глаза смотрели на мир в робком ожидании сочувствия.

– Кто, сокамерники? – тихо спросила Женечка.

– Мусора. Им надо дело закрывать. Навешают на него, чего не было.

– А про Большой дом и трупы с мельницей – это правда?

– Вот не знаю, девка. Много всего болтают. Я тебе что скажу, в войну-то в блокаду нас с сестренкой эвакуировали зимой сорок первого. Так вот, Каляева, где мы жили, только поближе к Таврике, фрицы бомбили да обстреливали, а в Большой дом ни одной бомбы не попало. Почему так? Говорят, там немцев пленных держали, вроде как заслон, чтоб по своим не били. Мы когда из эвакуации вернулись, тут все вокруг разворочено было, а Большой дом как стоял, так и стоит. Вот так-то.

Женечка еще бы чего послушала из Марьяшиных рассказов, да к телефону позвали техника-смотрителя Евгению Львовну. Услышав в трубке знакомый голос Кирилла Ивановича, она тут же зарделась от радости, но, соблюдая конспирацию, деловым тоном обещала зайти и посмотреть потолок.

– Ну все, – притворно вздохнула Татьяна. – Плохи дела у нашего Славика. С художниками ему не тягаться.

– Ну ты что, Тань. При чем тут Славик? Я ж по делу...

– Во-во, ты там между делом поинтересуйся, сколько его внучке годиков, – тут же вставилась всезнающая Леля.

– Да ну вас.

Когда Женечка сердилась на подруг, она отворачивалась к окну и смотрела на безучастных фараонов, охраняющих подъезды теперь так ею любимого дома. Девки уткнулись в какие-то свои бумаги, а Марьяша, почувствовав потерю интереса к свалившимся на ее голову бедам, подхватила сумку с инструментами и ушла.

Усевшись в кресло напротив, Кирилл Иванович слегка возбужденно рассказывал Женечке о своей поездке в Монголию. Вернее, сначала в Москву, а уже оттуда с кем-то из министерства культуры – в Улан-Батор. Проект музея Ленина утвержден и согласован. Деньги переведены. Впереди работа. Он безостановочно говорил что-то еще, но Женечка не слушала, а только делала вид. Поглядывая на этого энергичного человека в очках, с залысинами и брюшком, нависшим над джинсами, она думала о том, что он и вправду годится ей в отца. «Назову его папой Карло», – улыбнулась про себя она. Промелькнувшую на лице Женечки легкую улыбку Кирилл Иванович истолковал по-своему: он потянул ее за руку и усадил к себе на колени.

Чувствовать себя маленькой и беззащитной, когда рядом кто-то большой и сильный, было непривычно. Папа Миркин никогда не сажал Женечку на колени. Она вообще с трудом и неохотно вспоминала его. «Кажется, был такой фильм “Девочка ищет отца”, может, я как раз такая девочка». И все же что-то говорило ей о том, что жест Кирилла Ивановича был не совсем отеческим. Возникла неловкая пауза, которую она поспешила заполнить.

– Спасибо за «Софью Петровну». Ужас какой там написан. Я, конечно же, не имела обо всем этом ни малейшего представления.

– Локоток свой остренький убери, пожалуйста, с моего плеча, – усмехнулся папа Карло. – Запомни, я никогда не сделаю того, чего ты не хочешь. Так что там про «Софью Петровну»? Ужас? Ну да, ужас. Но с этим нужно жить.

Женечка пересела в кресло и приготовилась разговаривать с безопасного расстояния. Некоторое фиаско не обескуражило Кирилла Ивановича. Поправив очки, он по-прежнему с отеческой нежностью и как бы посмеиваясь поглядывал на девушку.

– Я дал вам почитать настоящую русскую литературу. Это ведь не то, что вы проходили в библиотечном техникуме, да? Но я совсем не диссидент какой-нибудь. Нужно, чтобы вы это поняли.

И, заметив ее вопросительный взгляд, пояснил:

– Это диссиденты у нас активные борцы с властью, а я нет. Вот такое я дерьмо, член Союза художников. Не левый, а правый. Ленина рисую. Со мной тут еще тридцать человек – приспособленцев, или, как сейчас модно говорить, – конформистов. У меня это наследственное: папенька мой тоже вождей рисовал.

– И у вас в семье никто не пострадал? – с вызовом перебила его Женечка.

– По художникам тоже прошлись, милая моя, но моя семья отделалась легким по тем временам испугом. Нет, конечно, разборки всевозможные были с обвинениями в формализме и еще какой-то бред, но никто не был арестован, сослан. Никого не пытали и никому не выбивали зубы. Боятся, думая, боялись. Хватали тогда многих. Вы уже про это знаете. Что, разочарованы?

Женечка не знала, разочарована она или нет. Ей показалось, что все сказанное Кириллом Ивановичем относилось как бы даже не к ней, а было продолжением спора с кем-то другим. Ей спорить было не о чем. Поэтому она тихоночко покачала головой: нет, не разочарована.

– Ну, а поэзию вы любите, техник-смотритель Игнатова? Кто ваши любимые поэты, к примеру? – поспешил сменить тему Кирилл Иванович.

– Ну-у... Маяковский, Есенин.

«Не говорить же ему, что Некрасов», – другие имена не шли ей в голову.

– А из современных?

Тут пришлось пожать плечами.

– Роберт Рождественский и этот... Асадов.

– А такое имя – Елена Шварц – слышали? Наша соседка, между прочим. По-моему, так одна из самых замечательных современных поэтесс. Вот звала меня на свое чтение, но я, скорее всего, не смогу, а вы сходите. Это как раз тут за углом. Чернышевского, 3. Знаете адресок?

Еще бы не знать. Пойти, конечно, захотелось. Мирно попив чаю и угостившись дефицитной конфетой «Птичье молоко», Женечка заторопилась домой. На этот раз ей ничего не было предложено почитать, а попросить она не осмелилась. Зато, прощаясь с папой Карло, она решила смочнуть его в щеку.

Двухэтажный дом с мансардой за номером три по проспекту Чернышевского давно считался аварийным. Жильцов расселили, а в освободившиеся квартиры свозили всякий хлам, типа никому не нужной мебели, оставшейся после умерших старушек. Вода и электричество там были отключены, и, скорее всего, поэтому никто не покушался на пустые комнатенки с окнами в грязных подтеках, ключи от которых хранились у Ольги Павловны. «Все-таки странно, что она разрешила там какие-то чтения, – слегка недоумевала Женечка. – Неужели ей и тут заплатили?» Всегда энергичная Леля как-то вяло отреагировала на сообщение о поэтическом чтении в соседнем доме, а Татьяна и вовсе сказала, что ей наплевать. Зато у Славика неожиданно проявился интерес к поэзии. Женечка столкнулась с ним на углу Воинова и проспекта Чернышевского.

– Ты это, возьми меня на чтения. Хочу послушать, – сказал он, глядя куда-то в сторону поверх Женечкиной головы.

– Так ты что, любишь стихи? – почему-то обрадовалась та.

– Ну-у-у... Маяковский был мужик нормальный. Мне его стихи еще в школе нравились.

Вот так выяснилось, что в жилконторе есть человек, с кем можно поговорить о чем-то кроме пищевых отходов и засоров унитазов.

– Тут, на углу, между прочим, церковь была Всех Скорбящих, – зачем-то сказала Женечка, но из осторожности не упомянула Самсона Вырина, почувствовав, что может перебрать с эрудицией.

– Так я знаю, – достойно принял информацию Славик. – Зимой к ним ходил воздух травить. Потолки там высоченные, холодно, как на улице. Ихняя научная сотрудница мне про церковь эту рассказала. У них там общество по охране памятников.

Женечке стало немного неловко. И с чего она решила, что знает больше, чем Славик?

«Не высокомерничай», – говорила ей мама. «Больше не буду», – мысленно пообещала она кому-то.

На вечер поэзии Славик пришел в джинсах и вельветовом пиджаке с аккуратно торчащим из нагрудного кармана носовым платочком, подаренным ему Женечкой на 23 февраля. На ней был костюмчик, пошитый из двух маминых платьев, и любимые югославские сапоги.

К тому же она накрасила ресницы и мазнула за ушками из бутылочки духов «Быть может». Лица у обоих вытянулись, когда они вошли в небольшую комнату, забитую публикой. Люди, одетые как попало, сидели на полу или стояли вдоль стен. Завернутые в шали дамы перемежались с девушками в джинсах и молодыми бородатыми людьми в свитерах. Несмотря на ужасающую духоту, обстановка была непринужденной и шумной. Кто-то пытался открыть окно, возле которого стояла худенькая поэтесса в одеянии бледно-фиолетового цвета. Она казалась маленькой феей с подрагивающей искусственными крылышками брошкой-бабочкой на плече. Женечке удалось пристыдиться на краешке скамейки, неизвестно как попавшей в комнату. Славик подпер стену рядом.

Сначала какой-то молодой человек с лысиной и бородой говорил о творчестве талантливого поэта Елены Шварц. Говорил он долго и совершенно непонятно для Женечки, не имевшей ни малейшего представления о православии и экуменизме. Похоже, Славiku приходилось еще труднее справляться с обилием незнакомых слов. Уже через несколько минут он начал потихоньку переминаться с ноги на ногу и отвлекать Женечку. Она недовольно зыркнула в его сторону. На какое-то время Славик замер. Легкий шумок нетерпения заставил говорящего покончить с экуменизмом и дать слово поэтессе. Елена Шварц начала читать поэму про монахиню Лавинию. Слова летели просто и слегка нареспев, вместе с ними в переполненную комнату слетелись ангелы с херувимами, аббатисы-будды, левиафаны-волки и вся прочая сказочная нечисть. Шварц читала наизусть, иногда заглядывая в какие-то листки и поднимая руки ладонями к слушателям. Слушали чутко, в душном воздухе разлилось обожание, передавшееся Женечке. Впрочем, довольно быстро она устала и потеряла нить. Сосредоточиться на стихах никак не удавалось, какой-то человек, стоявший неподалеку, отвлекал ее внимание. Было что-то знакомое в его облике: невысокий рост, подтянутая фигура, неопределенные черты лица. Про такие лица Женечкина мама говорила: простое русское. Оно явно выделялось на фоне всех других. Молодой человек стихов не слушал. Он скользил внимательным взглядом по людям, сидящим на полу, словно пытаясь их запомнить. Почувствовав на себе упорный взгляд Женечки, он посмотрел в ее сторону и тут же отвернулся. «А я тебя узнала, – Женечка не переставала следить за гэбэшником. – И что ты тут вынюхиваешь?» Рядом зашевелился Славик. Ему до смерти хотелось перекурить. «Конечно, иди», – отпустила его Женечка. Она и сама устала то ли от переизбытка впечатлений, то ли от духоты. Где-то через час история монахини, летавшей перед богом, завершилась. Благодарная публика разразилась аплодисментами, кто-то окружил поэтессу. Небольшая толпа заспешила к выходу. В суматохе обладатель простого русского лица затерялся. Женечка немного замешкалась и тоже вышла из душевной комнаты под арку, где ее ждал обалдевший Славик.

– Че-то я мало че понял, – с ходу сознался он, – но было интересно.

– Ой, да. Мне понравилось, хотя тоже не все было понятно. А скажи, ты гэбэшника там не приметил?

– А как же. Первым делом. Он же почти напротив меня стоял и глазами по сторонам шарил. Я их сразу распознаю.

– Как это? Откуда ты их знаешь?

– Так из каждого унитаза на меня смотрят пронизательные глаза майора Пронина. По глазам и узнаю.

– Да ну тебя! – и Женечка легко и беззаботно рассмеялась, забыв спросить, что же этот человек с пронизательными глазами мог делать на поэтическом вечере.

Вопреки всем тайным ожиданиям, Славик распрощался сразу же у парадной ее дома. Душа разочарованного техника-смотрителя взлетела на четвертый этаж, опередив неторопливый лифт, поднимавший ее худенькое тело. На кухне зайки, как всегда, что-то поедали из одной тарелки. «Вот такой у нас э-ку-ме-низм», – вздохнула Женечка. В коридоре было темно. Тоже как всегда. Пока ключ тыкался в замочную скважину, из кухни доносился голос Ирки: «Я ошлага-то стирала, стирала...»

– Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать все правильно и внятно, чтоб было всем понятно, – крикнула Женечка в темноту коридора и захлопнула дверь в свою комнату, где почему-то горько расплакалась, размазывая тушь по щекам.

Ну во-о-от... Рыжеволосые тети так не плачут, так плачут молодые девушки по непонятным им самим причинам. Что-то вторгалось в жизнь Жени Игнатовой, и ей нужно было как-то совладать с предчувствием перемен. Кто тут мог помочь?

Вот и хорошо. Проходи, доченька. У меня на кухне макароны по-флотски греются. Хоть покушай. Совсем не ешь, наверное. Кожа да кости. Садись туда, нет, на диван, а то ты мне телевизор загораживаешь. Сейчас будет «Кабачок "13 стульев"», я люблю их смотреть. Смешные. А ты обратила внимание, там нет ни одного приличного мужчины. Нет, Ширвиндт мне не нравится. Лицо наглое, да и не мужественный совсем. А знаешь, Надя Дьякова нашла себе старичка. На каталке его катает. Кресло такое с колесиками, сам он ходить не может: совсем старенький, немощный. Прописал ее в свою однокомнатную квартиру. Так за квартиру она согласна и дерьмо подтирать. А мне старички не нужны. У меня последние годы проходят.

Пока мама на кухне, Женечка пытается найти в комнате приметы проживания очередного претендента. Примет нет никаких, но возле дивана стоит новый чемодан. Почему-то пустой. И что бы это означало? Макароны поджарены с корочкой. Очень вкусно. Дальше чай с мармеладом из корбочки. Еще есть шоколадный торт. Только один кусочек, пожалуйста.

А я уезжаю на Север, в Грехиху. Ну что ты на меня так смотришь? Вот завербовалась на три года и уже сдала эту комнату со всей мебелью. Семья вроде приличная. Ты за ними приглядывай тут, ладно? Как зачем, Женечка? Там демография знаешь какая? Женщин меньше, чем мужчин. Можно сказать, дефицит. Это же морская база. Подводники. Я и одеяло теплое купила. Закатаю как-нибудь, а то в чемодан не лезет.

Женечка молча слушает, глядя в стареющее лицо мамы:

– Все никак не угомонишься. Там же все женатые. Ты что, поедешь офицерские семьи разбивать?
– Почему разбивать? Ну почему ты такая жестокая, Женечка?

Потому что Женечке самой больно. Потому что ей всего двадцать один год и она ничего не понимает в жизни, обрушившейся на нее.

Весна на улице Каляева ничем не отличается от весны на любой другой улице. Те же робкие росточки, тянущиеся к еще холодному солнцу, замерзшие по утрам лужицы, те же дворники в замызганных куртках, разгоняющие метлами голубей. Днем нагретый солнцем воздух поднимается над оттаявшей землей. Можно увидеть его дрожание и замереть от неожиданного явления красоты в скучном ленинградском дворе-колодце. Таврический сад закрыт на просушку. Он прозрачен и безлюден в ожидании тепла и цветения.

– А что, обязательно надо выходить замуж?

Девушки из жилконторы сбегали на «Влюблен по собственному желанию» в кинотеатр «Ленинград». У техников-смотрителей затишье. Даже телефон не звонит. Через коридор слышно, как переговариваются паспортистки. Ольга Павловна сидит в своем кабинете. До приема еще час с лишним.

– Готовить ненавижу, шить не умею, – Таня, слегка махнув рукой, погасила спичку, от которой прикурила папиросу. – Детей рожать не хочу. Кому я такая нужна? Трахаться я и так могу, без штампа в паспорте.

Женечка задумалась: а она-то хочет замуж? Если хочет, то за кого? За Кирилла Ивановича или Славика? Кирилла Ивановича можно взять в папы, но она ему нравится, и это ей приятно. Она улыбнулась скрытой, направленной куда-то вовнутрь улыбкой. Так улыбается женщина, знающая силу своей власти над мужчиной.

– Игнатов, зайди-ка ко мне на минуту, – прервал приятные воспоминания голос Жази из кабинета.

Ольга Павловна показала Женечке на стул у письменного стола, где обычно сидят посетители. Роскошные волосы сегодня у нее собраны узлом на макушке. Голубые глаза ничего не выражают. «Рыбы», – подумала Женечка.

– Тут с тобой кое-кто хочет поговорить.

Начальница встала из-за стола и, прихватив связку ключей, выплыла за дверь.

– Да кто хочет-то? Что за дела?

На Женечку накатила какая-то необъяснимая нервозность, мешающая ей подумать, кому могло понадобиться встречаться с ней в кабинете начальницы.

Довольно скоро дверь открылась, и небольшого роста человек с дипломатом торопливо прошел к столу и уселся на место Ольги Павловны.

– Евгения Львовна Игнатова? Будем знакомы, – перед лицом Женечки мелькнуло красное удостоверение с фотографией. – Старший лейтенант КГБ Сергей Афанасьевич Привалов.

– Очень приятно, – зачем-то сказала Женечка, хотя приятно ей совсем не было.

«Так вот вы какие с близкого расстояния», – подумала она, глядя в упор на кагэбэшника. Веснушки на рябоватом лице, редкие волосы, прикрывающие намечающуюся лысину, цепкие глаза, рассматривающие ее с не меньшим интересом, чем она его.

– Как вы думаете, по какому поводу я с вами встречаюсь? – начал Привалов.

Женечка только пожалала плечами. Напротив нее сидел не тот человек, которого она видела на поэтическом вечере Шварц.

– Не волнуйтесь. Я просто хочу познакомиться с вами поближе. Вы девушка интеллигентная, начитанная. Не скучно вам с дворниками да с водопроводчиками общаться? Что привело вас в жилищное хозяйство?

«Вот тут осторожно», – пронеслось в Женечкиной голове.

– Жилплощадь служебная. Что же еще? Но коллектив у нас хороший, дружный. Работа мне нравится. Много времени провожу на воздухе. У нас район красивый. Так что все в порядке, товарищ... э-э-э... простите, фамилию не успела разглядеть.

– Зовите меня Сергей Афанасьевич, – мягко усмехнулся Привалов.

Женечке показало, он не поверил ни одному ее слову.

– Я знаю, зима у вас всех была тяжелая. Много по адресам пришлось ходить. У вас ведь есть на участке арендаторы? Нежилого фонда много, насколько я знаю. Да, Евгения Львовна?

– Ой, да. Намучились мы, но, слава богу, управились. Ольге Павловне досталось больше всех, – Женечка подробно, как могла, рассказала о ребятах из стройбата и трубах на чердаке Египетского дома. Привалов терпеливо и не прерывая выслушал.

– И арендаторы пострадали?

– Ну да. Художников в мансарде заливает каждый год. Я к ним два раза ходила. Потолок им отбили. Ремонт крыши в плане на лето. А что?

– Значит, вы с ними подружились, – улыбнулся Привалов.

«У него веснушки даже на руках», – совсем некстати пронеслось в голове Евгении Львовны. У нее вспотели ладони.

– Ну, а когда не работаете, чем занимаетесь?

– В кино хожу, книжки читаю. Вот на вечер поэзии недавно ходила. А что?

– Книжки из библиотеки берете?

«Так вот оно, в чем дело!» – поняла Женечка.

– Конечно. Иногда мама подкидывала кое-что почитать, да она уехала на Север.

– Запрещенную литературу не читали? – Привалов в упор уставился ей в лицо.

– Да откуда?

– Ну, может, давал кто-нибудь.

– Нет. Никто мне ничего не давал.

– А скажите, Евгения Львовна, с иностранцами вам не доводилось общаться?

– С иностранцами? Откуда у нас иностранцы? Если только шведки, причем третьего размера.

Волна легкого недоумения прокатилась по лицу старшего лейтенанта.

– Какие-какие шведки?

– Ну, эти... – Женечка закурила рукой, в которой как бы были зажаты шведки.

Сергей Афанасьевич заморгал с каким-то облегчением.

– А вы шутница, Женя Игнатова, – продолжил он уже слегка игриво. – Я даже сразу не понял, что за шведки такие. Характер у вас веселый, да? С людьми быстро сходитесь... Симпатичная девушка, много друзей.

Некоторое время разговор крутился вокруг того, какая она замечательная комсомолка и ответственный работник. Тут Сергей Афанасьевич явно перебирал, и Женечка в напряжении ждала перехода к главному. Должен же он был явиться в контору с определенной целью. Идти, правда, ему было недалеко.

– Ну, а с Краснопольцевым Кириллом Ивановичем вы хорошо знакомы?

«Вот оно!» – пронеслось в голове Женечки.

– Знакома, он же у тех художников главный. Помните, я вам рассказывала про протечки в их мансарде. Видела его пару раз. Приятный дядечка такой.

Сергей Афанасьевич решил, что пора переходить к делу:

– Он вас, кажется, в гости приглашал чайку попить. Вам там понравилось, да?

Женечка пожала плечами. Ничего, мол, особенного.

– А что-нибудь интересное там видели?

– Макет у него на столе стоит. Они проектируют музей Ленина в Улан-Баторе. И вообще, они правые – приспособленцы и конформисты, – голос Женечки задрожал, выдавая волнение.

– Приспо-о-собленцы, – потянул Привалов. – Это даже мне интересно, к чему это они приспособляются?

Поняв, что совершила ошибку, Женечка попыталась ее исправить:

– Они не какие-нибудь левые, они за нашу советскую власть. Ленина рисуют.

– Так это хорошо, Женя. Вы не волнуйтесь. Вот и помогите нам разобраться в том, что они действительно за советскую власть, а не приспособленцы, как вы сами только что сказали. Нам и нужно от вас совсем немного. Когда к Краснопольцеву в гости пойдете, внимательно по сторонам поглядите. Мне от вас только это и нужно, Женя, я ведь вас в агенты контрразведки не вербую, – доверительно усмехнулся Привалов. – Просто внимательно смотреть и запоминать. Не так уж и сложно, правда? А потом мне при встрече рассказывать. Согласны? Вы же комсомолка, Игнатова Женя. У вас вся жизнь впереди, вам жилплощадь нужна. Замуж выйдете, детей нарожаете. Наша молодежь, одним словом.

– Двумя словами, – машинально поправила его Женя, в ужасе поняв, что не может встать и сказать ему «нет». Непонятный страх почти парализовал ее. Сглотнув, она смотрела в ставшие вдруг жесткими глаза. Помолчав минуту, словно ожидая ее ответа, он продолжил:

– Вот и хорошо. Я знал, что вы меня правильно поймете. О нашем разговоре никому рассказывать не рекомендую. Встретимся через пару недель. Я вам позвоню, где и когда.

Выйдя на ватных ногах из кабинета начальницы, Женечка кинулась к своему месту, схватила пальто и выскочила на улицу Каляева. «Я даже пожала ему руку, – стучало у нее в голове. – Кому? Кому я пожала руку! Что мне делать? Я не могу его видеть. Что же мне делать?» Добежав до конца улицы, она остановилась отдышаться. Вокруг, как всегда, торопились прохожие. Пригревало апрельское солнышко. Постовой у углу Каляева и Литейного не спеша прохаживался у бокового подъезда Большого дома. Мир не перевернулся. Никто даже не заметил, что происходит с Женечкой, не обратил на нее внимания.

«Почему я сразу не отказалась? Чего я боюсь?» – Женечка повернула и торопливо засемила назад. Возвращаться в контору она не могла. Не могла встретиться взглядом с рыбьими глазами начальницы, не могла слышать Лелин голос с хрипотцой.

«Это Леля! – осенило Женечку, – Леля, Леля, Леля!» Ноги принесли ее к дверям Египетского дома. Грохот дверцы лифта больно отдался в затылке.

– Да что с тобой, Женечка? Ну-ка, посиди, пока я тут разберусь с делами.

Кирилл Иванович усадил ее в знакомое кресло. Она машинально выпила принесенного кем-то чаю, заметив, как дрожит рука, держащая чашку. Ждать пришлось довольно долго, но это помогло немного успокоиться. Шок проходил, зато разливалась странная усталость. Сейчас было трудно даже говорить.

– Так что случилось?

Милые, любимые глаза из-под очков.

– Мне только что предложили доносить на вас, Кирилл Иванович.

– Ну, а ты что?

– Я не сказала «нет», я ничего не сказала! Я просто испугалась, – Женечка тихонько заплакала.

– А-а-а! Ну что ты так убиваешься, девочка? Наша местная стукачка уходит в декрет, им срочно нужна замена. Успокойся, пожалуйста.

Он снова посадил ее к себе на колени, и на этот раз Женечка не вырвалась, а уткнулась ему в плечо лицом, по которому текли слезы.

– Как же так? – залепетала она. – Вы же Ленина рисуете... Не какие-нибудь левые...

Кирилл Иванович погладил ее по голове.

– Ты про книги ему говорила? Про самиздат?

– Нет. Он спрашивал про запрещенную литературу. Я сказала, что ничего не читала и никто мне ничего такого никогда не давал. Но я вспомнила, – Женечка выпрямилась. Ее лицо почти касалось лица Кирилла Ивановича, – Леля видела у меня Набокова, даже просила почитать. Она знает, что у вас есть внучка.

– Скажи пожалуйста, какая осведомленная. Это которая же Леля? Длинная такая? Она у нас тут была, мне она не понравилась. Если это Леля ваша стукнула, почему он не стал напирать на тебя? Это же их обычная тактика. Кто дал да откуда взяли.

– Может, он не хотел, чтобы я на нее думала?

– Не знаю, девочка. Так что ты будешь делать? В принципе, к нам можно приходиться чай пить. Я не против. Будешь им докладывать, что и как.

– А книги?

– Нет никаких книг. Ничего нет.

– Не могу я видеть этого человека, встречаться с ним, доносить на вас. Нет. Не могу, – слезы снова потекли по Женечкиному лицу. – Придумайте, что мне делать. Мне больше никто не поможет. Мама уехала, да она бы только испугалась и ничего не смогла бы придумать.

Рука продолжала гладить ее голову. Кирилл Иванович молчал.

– Слушай, – наконец сказал он, – а этот, как его, гэбэшник, говорил тебе, чтобы ты никому не рассказывала о его предложении?

– Да, уже в самом конце. И я промолчала, вроде как согласилась. Я испугалась. Я почему-то очень его испугалась.

– И не такие, как ты, пугались, детка. Не убивайся. Машина-то эта страшная. Все косточки переломает, изжует и выплюнет. Давай сделаем так: ты всем на работе расскажешь о его предложении. Пусть все знают. В КГБ не любят огласки. Ладно? Это ты сможешь? А потом будет видно, что делать. Жизнь они тебе, конечно, испортить могут, но тут ты уж сама должна выбирать.

Женечка обрадованно закивала и в каком-то неожиданном порыве благодарности кинулась целовать лицо человека, только что выручившего ее из беды. Кирилл Иванович снял мешавшие очки и дотронулся губами до ее губ. Женечка не испугалась и не отпрянула, а доверчиво потянулась губами, продолжая поцелуй. И было в этом первом поцелуе что-то незнакомое и взволновавшее ее настолько, что страх отступил и забылся.

– Так и сделаю. Я больше не боюсь, – тихонько выдохнула она.

Дома Женечка не включила свет в комнате и не закрыла шторы. С дивана ей видна жизнь людей напротив. Немое кино. Кухня. Пара соседок у плиты. Возле них кружится ребенок. Упал. Мама берет его на руки, что-то говорит. Входит мужик в майке и трениках. Закуривает. У них ничего не происходит. Все происходит в темной комнате Женечки, зажатой стенами двора-колодца где-то

между Большим и Египетским домами. За окном постепенно темнеет. Пора белых ночей еще не пришла.

«Люблю я дружеские враки

И дружеский бокал вина

Порою той, что названа

Пора меж волка и собаки... волка и собаки... А мог ли старший лейтенант Миркин отказаться писать доносы на друзей? – крутится в ее голове. – Тамбовский волк товарищ мой».

Не раздеваясь, Женечка засыпает на старом продавленном диване, доставшемся ей от бабушки тети Тани.

На следующее утро, дождавшись, когда дворники разбредутся по участкам с талонами на мусорные баки, а Славик подойдет к ней за заявками, Женечка откинулась на стуле и как можно спокойнее начала продуманную операцию по спасению.

– А у меня интересные новости есть. Вчера тут к нам гэбэшник приходил, предлагал мне стукачкой стать. Доносить на кое-кого из арендаторов. В гости к ним ходить, а заодно разнохивать. Представляешь?

– Это тот, которого мы на Чернышевского видали? – слегка оторопел от такой откровенности Славик.

– Не-а, другой. Рыжий. В веснушках. Мужики, слышь, вы тут у нас антисоветчину не разводите. Я стучать не собираюсь, но мало ли тут кто бывает. Подслушает ненароком.

В комнате стало тихо. От волнения Женечка не различала лиц, но чувствовала, что все смотрят на нее. Первым от удивления оправился Ванька-Боян.

– Цыпонька ты моя, куда ж тебя понесло-то так? В КГБ попадешь, не воротишься. Про цыпленка песенку знаешь?

– Дык они ее не арестовывают, Вань, ты не понял ни фиги, – разобралась в ситуации Марьяша.

– Один хрен. Нельзя с ними связываться, – Ваня достал папиросу из кармана, дунул в пустой конец и закурил, чиркнув спичкой.

Услышав сочувствие в голосе водопроводчика, Женя продолжала:

– Вот в какую историю я вляпалась, Ванечка, а в дерьме жить не хочу. Ты у нас челюсти вставные из канализации с Марьяшей вытаскиваешь, а меня никто не вытасчит. Самой разгрести приходится.

– Дык челюсть-то мы так и не достали, – подмигнула круглым глазом Марьяша. – Она в Неву уплыла. Слышь, Евгения, может, ты у мужика-то этого, гэбэшника, про Сашку моего узнаешь? Мол, че там ему светит? А?

– Ну што ты мелешь, мать, на фиги ей с ними связываться, – не выдержал Славик. – Сашка твой по уголовной статье идет, а тут дело совсем другое.

– Ладно. Я только так спросила. Че там у нас в журнале? Много заявок? – переменяла тему Марьяша.

Мужики переключились на свои дела, Татьяна взялась за телефон выяснять просрочки по квартплате, а Леля, ради которой все и говорилось, никак не отреагировала на Женечкины слова. Покуривая сигарету, она что-то писала в журнале.

– Ты там не донос строчишь случайно? – голос Женечки слегка дрожал.

– Ну, это уже слишком, Евгения. Ты что, белены с утра объелась?

Леля подскочила из-за стола и, накинув пальто, громко протопала к выходу, хлопнув дверью.

– Игнатов, зайди-ка ко мне, – донесся голос Ольги Павловны.

Скорее всего, ей было не все слышно из того, что говорилось в комнате техников-смотрителей, но последние фразы до нее донесли.

– Ты чего там расшумелась? – вполне дружелюбно начала она.

Вид у нее, впрочем, был слегка встревоженный. Привычным жестом она показала Женечке на стул.

– А вот, кстати, Ольга Павловна, как это вы в аварийном помещении разрешили чтения всякие устраивать? Народу набилось. Пол под нами ходуном ходил. А вдруг что-нибудь там бы отвалилось да кого-нибудь и пришибло, – пошла вразнос Игнатова.

– Ты клювом-то тут не щелкай, праведница наша, – разозлилась Ольга Павловна. – Мне позвонили и сказали открыть доступ к Чернышевского, 3. Я под козырек: будет сделано, а что я еще могла сказать? Мне ведь по барабану, что там и для чего. Сергей Афанасьевич наш куратор. Я еще сама тут техником-смотрителем была, а он уже курировал нашу жилконтору.

В ее рыбьих глазах промелькнуло подобие сочувствия.

– Ладно. Я ему позвоню и скажу, что у тебя истерика. Мол, нервная система неустойчивая, человек ненадежный. Молодая еще, шум подняла.

– И он от меня тогда отвяжется?

– Вот чего не знаю, того не знаю. Эти люди так просто не отвязываются.

– Ольга Павловна, миленькая, – заплакала Женечка, – позвоните. Не могу я его видеть, я отравлюсь, если он ко мне опять придет.

– Сказала – позвоню, значит позвоню, – закончила разговор Ольга Павловна.

Женечке ничего не оставалось, как подняться со стула и удалиться. Но странное дело, вернувшись к поджидавшей ее Татьяне, она не испытала ничего, кроме безразличия. Ей и страшно-то больше не было. Теперь она и сама могла отказать Сергею Афанасьевичу. И сделать это спокойно и равнодушно. Больше ни о чем говорить не хотелось. Навалились усталость и безразличие.

– Ну-у-у, Игнатова, – разгадала ее состояние Танька. – Тут надо будет выпить. До одиннадцати часов дотянешь?

Но выпить на рабочем месте в рабочее время не удалось. Пришлось заниматься какими-то неожиданными делами.

Вечером Рогина пришла на Чайковского с двумя бутылками «Ркацители». Игнатова достала из холодильника творожный сырок и брусок сливочного масла. Отварили яйца вкрутую. Нарезали сайку. Открыли банку с ментаем, расковыряв крышку тупым ножом. Сухое разлили в мамини фужеры. Выпили и тут увидели клопа, ползущего по стенке над головой Татьяны. Женечка с визгом сняла и с хрустом раздавила мерзкое коричневое тельце в кусочке газеты. Пришлось переворачивать и осматривать старый диван. Пара точек красовалась в его деревянном основании. Хлорофосом решили заливать на выходные, до которых было еще три дня. Снова выпили, но почувствовали себя как-то неуютно. Танька начала чесаться, задирать кофточку и искать укусы на теле. Хорошо уже не сиделось. Быстренько допили бутылку, собрали остатки закуски и проходными дворами ломанули к Татьяне на Воинова.

– А я тебе так скажу...

Вторая бутылка «Ркацители» была почти выпита. Голова у Женечки приятно кружилась.

– ...мужиков ненавижу, – вернулась к своей излюбленной теме Татьяна.

Женечка совершенно не могла поддержать разговор в этом направлении. Она не испытывала ненависти ни к одному мужчине. Неприязнь была самым сильным чувством, на которое была способна ее душа. Хотелось говорить совсем о другом.

– Таня, – осторожно начала она, – я когда на коленях у Кирилла Ивановича сидела, ну, он посадил меня, чтобы успокоить. Он не приставал. Честно. Я, знаешь, что-то почувствовала, только не смейся, что-то там подо мной зашевелилось у него. Это что, так должно быть?

Рогини потребовалось какое-то время для осмысления сказанного подругой. Но, вопреки ожиданиям Женечки, она не зашлась похабненьким своим смешком, а в изумлении уставилась в ее наивное лицо.

– Так ты что, настолько ничего в этом деле не понимаешь?

– Ну, кое-что я понимаю, – почувствовала себя крайне неловко Женечка.

– Так это хорошо, девонька. Это у него на тебя встал. Проблема, когда не встает, как в анекдоте про бешеного коня. Я ему говорю: стой, а он не стоит. Слышала? Ты как предохраняться-то знаешь?

– и сама ответила: – Да откуда тебе знать. Он как тебя это... Ну, как у вас все это дело произойдет, пойдй подмойся. Лучше всего с хозяйственным мылом. Оно щелочное, а среда у тебя будет кислая. Поняла? Значит, мылом хозяйственным палец как следует намажь и у себя там все выскреби, чтоб скрипело. А то еще и залетишь с первого раза, дуреха ты наша.

Женечка внимательно прослушала инструкции опытного специалиста. Разговор с Приваловым уплывал все дальше и дальше. Остался вопрос, который она так и не решилась задать: а почему среда у нее будет кислая? Так что, должно быть?

Прошла первая неделя мая, потом вторая. Дворники давно смели сдувшиеся шарики, валяющиеся на тротуарах, а поливочные машины закончили уборку, смыв последние следы праздничных шествий. Женечка подсакивала от каждого телефонного звонка, но ей никто не звонил. «Неужели ему совсем не интересно знать, как у меня и что», – с досадой думала она, поглядывая в сторону Египетского дома. С Лелей приходилось разговаривать, но только по делу, да и то через Татьяну. Все притворялись, что ничего не произошло, но в первый раз за год праздники отмечали порознь. Стараясь как можно меньше сидеть в конторе, Женечка забредала на чердаки, откуда осторожно выглядывала на крышу и любовалась открывающимся видом города. Одинокие прогулки стали ее любимым занятием. Весна набирала силу. Наконец сняли деревянные домики со статуй Летнего сада и теплые дожди омыли их мраморные плечи. «Где ты, гадкий утенок? Когда ты успел превратиться в прекрасного лебедя?» – грустно думала Женечка, следя за величественным скольжением белоснежной пары по поверхности оттаявшего пруда. Ее подружки по техникуму повыскакивали замуж, а она все покупала один билет на последний сеанс в кинотеатр «Спартак», где, хрустя вафельным стаканчиком мороженого, пересмотрела все предложенные шедевры мирового киноискусства. Славик и тот перестал заходить в контору. Отопительный сезон закончился. Теперь он целыми днями торчал в теплоцентрах, делая там какую-то загадочную для Женечки работу. Однажды она заглянула за обитую железом дверь подвала, где были проложены толстенные трубы с громадными вентилями. На каждом вентиле размером с обеденную тарелку болтались фанерные бирки с непонятным обозначением.

– А что ты делаешь, и что это за штука такая? – спросила она Славика, орудующего разводным ключом внутри какой-то железяки.

– Да вот, – Славик шагнул с перевернутого вверх дном ведра, на котором стоял, – сальники собираюсь набивать в задвижку, а то она пропускает. – Он вытер ветошью черные от смазки руки и потянулся за сигаретой, торчащей из кармана рубашки. – Спички есть?

Женечка отрицательно помотала головой:

– Я ж не курю.

– Тогда достань из спецовки. Пожалуйста.

Женечка нашла коробок в повешенной на каком-то кране спецовке. Подойдя вплотную к Славвику и глядя ему в глаза, совсем как в фильме, виденном недавно в «Спартаке», она циркнула спичкой и поднесла ее к сигарете. Славик прикурил и выпустил дым прямо в лицо Женечке, насмешливо прищурясь.

– А ты че тут забыла? По подвалам одной неча шататься. Сюда всякий народ заходит.

– Так это, значит, задвижки, а я думаю, что это за краны такие громадные, – пропустила мимо ушей предостережение Женечка, слегка наморщив носик и отмахиваясь от сигаретного облака. – А что они задвигают?

– Они воду перекрывают, техник-смотритель Игнатов. Учи матчасть.

Потный Славик, улыбаясь, стоял возле Игнатовой в расстегнутой почти до пупа рубашке цвета хаки. Если не Ален Делон, то и не хуже. На свой лад.

– Да ладно, мне просто любопытно. А что ты больше в контору не заходишь?

– А че мне там делать? У меня и здесь работы много.

Славик был довольно опытен в отношениях с женщинами и знал, что показное безразличие – отличный помощник в достижении определенной цели, но все-таки не удержался и спросил:

– А как там твой лысый ухажер?

– Нет у меня никакого ухажера. У меня никого нет.

Такое жалобное признание вполне можно было расценить как предложение к действию. Но Славик, затянувшись пару раз, вернулся к задвижке и сальникам. «Если он сейчас сплюнет или сморкнется в два пальца, я умру», – сказала себе Женечка. Так и не привыкнув к простым манерам водопроводчиков, она с трудом переносила их проявление. Умереть ей не пришлось, но и любовная сцена из зарубежного фильма явно не состоялась. Сглотнув разочарование, Женечка выбралась из подвала. Ей представился наглаженный носовой платок в черных руках Славика. Нелепость, да и только. Возвращаться в контору не хотелось, все равно там не было никого, с кем можно было бы просто поговорить. В кармане отыскалась горсть монеток, и тут же подвернулась телефонная будка. Две копейки с тихим щелчком провалились в нутро автомата. Сначала пошли короткие гудки. Со второй попытки в телефоне что-то щелкнуло и знакомый голос ответил: «Конечно, приходи».

Краснопольцев был уверен, что разговор снова пойдет о доносах. Поэтому сразу же начал с того, что не хочет каких-то либо осложнений. Ни себе, ни ей. Не знакомы, и все. Тогда все само собой и решится. Женечка или односложно отвечала на вопросы, или отмалчивалась, изредка бросая на него изучающий, словно чего-то ожидающий взгляд. Исчерпав все возможные в таких случаях темы, замолчал и он, занявшись чем-то по работе, надеясь, что ей ничего другого не останется, как распрощаться и уйти.

– А помните, вы как-то сказали, что не сделаете того, чего бы я не хотела? – тихо и некстати спросила Женечка.

Кирилл Иванович с легким удивлением взглянул на нее поверх очков:

– Что, милая?

– Так вот, сейчас я хочу, чтобы вы это сделали.

– Я правильно тебя понимаю?

Сидящая у окна девочка с готовностью кивнула.

– Так, может, пойдем к тебе?

– Нет-нет, у меня там соседи и... клопы.

– Кло-о-пы, – насмешливо потянул Краснопольцев. – Тогда точно не пойдем, но нужно будет дожидаться, когда здесь все разойдутся. Хочешь чего-нибудь выпить?

Снова кивок.

Женечка потихоньку следила за Краснопольцевым. Вот он пошел к каким-то полкам, открыл бутылку вина, передал ей стакан. Стакан грязноватый у самого ободка, похоже, его плохо вымыли. Если повернуть другой стороной, где почище, можно сделать глоток. У вина приятный вкус. Окружающие предметы вдруг проступили с особой четкостью. Дальний угол кабинета оказался забит пустыми бутылками.

– Это Олеговы бутылки. Он за ними приходит раз в месяц. Олег? Олег Григорьев, живет такой детский поэт в Ленинграде. Тоже, кстати, в коммуналке, неподалеку, кажется, на Литейном. Не знаешь?

Откуда-то появилась детская книжка с яркими картинками. Голос Кирилла Ивановича прочитал:

Встаньте с этого дивана,
А не то там будет яма.
Не ходите по ковру –
Вы протрете там дыру.
И не трогайте кровать –
Простынь можете помять.
И не надо шкаф мой трогать –
У вас слишком острый ноготь.
И не надо книги брать –
Их вы можете порвать.
И не стойте на пути...
Ах, не лучше ль вам уйти?

– Правда, чудесно? Это сигнальный экземпляр. Олег нам подарил его за пустые бутылки. А книжка так и не вышла. В последний момент попала к дяде Степе на стол. Михалкову. Он очень возмутился бездейственностью содержания. Велел вернуть уже из типографии. Набор разобрали. Олег запил. Такие вот дела в нашей Поднебесной.

«Книжка, наверное, для внучки, – Женечка перечитала все стишки, продолжая наблюдать за Кириллом Ивановичем. – Разве я его люблю? Ах, не лучше ль мне уйти?» Но куда при этом не уходила, а время меж тем шло. Заглядывающих в кабинет Краснополцева становилось все меньше. После восьми вечера все разошлись.

– Иди сюда, – позвал он Женечку.

За боковой дверью оказалась небольшая комната с тахтой, покрытой пятнами сомнительного происхождения. На спинке стула висело полотенце неопрятного вида. Поняв ее замешательство, Кирилл Иванович засуетился, вытащил откуда-то простыню и постелил поверх тахты.

– У меня еще есть одеяло, подожди-ка.

Женечка присела на тахту, сжав руки между острых коленок, проступающих под натянутой юбкой. Еще было не поздно уйти. Но она знала, что останется. «Отдаваться так отдаваться», – циничная Танькина интонация пронеслась у нее в голове.

– Так хорошо? – вернувшийся Кирилл Иванович расстелил шерстяное одеяло поверх простыни и стал раздеваться. – Ну, что же ты?

Женечка послушно разделась и легла под одеяло, вытянув руки вдоль туловища. Под животом обнажившегося Краснополцева выделялось и жило какой-то особой жизнью то, что Женечке предстояло принять в свое тело. Он скинул с нее одеяло и осторожно лег сверху.

– Обними меня хотя бы. Что же такая неласковая? Ноги нужно раздвинуть.

Очки Кирилла Ивановича врезались в Женечкину щеку, пока его руки проделывали какую-то работу между ее ног, закончившуюся болью. Закусив губу, Женечка дождалась, когда капающий отросток вывалился из ее тела, оставив там липкую, тягучую смазку. Она вспомнила свой детский ужас перед глицерином, которым мама смазывала ее обветренные, шершавые руки. В это время раздался нетерпеливый и требовательный звонок телефона. Краснополцев торопливо соскочил с тахты, явив Женечке голую спину со складками жира, широкий таз и ноги в черных носках. По разговору можно было догадаться, что звонила жена. Ей было обещано скорое возвращение. Женечка слегка пошевелилась и приподнялась. Так и есть. Большое кровавое пятно растеклось по простыне. Вернувшийся Кирилл Иванович немного смутился, увидев, что Женечка еще лежит. Ему явно нужно было торопиться.

– Там кровь. Я боюсь пошевелиться.

– Ничего-ничего, милая. Вставай, – он протянул ей грязноватое полотенце. – В конце коридора туалет с умывальником. Пойди подмойся.

Женечка встала, зажав полотенце между ног. Крови больше не было. Любви к Кириллу Ивановичу тоже.

Конечно же, Татьяне все стало известно на следующее утро.

– Так а я тебе чего всегда говорила-то? Скоты они. Все до одного.

– Мне знаешь что больше всего противно? – Женечка передернула плечами и уселась спиной к окну, словно Египетский дом был виноват в ее бедах. – Черные носки. Не знаю даже почему.

– Не снял? – хмыкнула Рогина. – Торопился. Ему ж домой надо было бежать. К жене.

– И зачем мне все это было нужно? Был у меня папа Карло, так нет... любовь подавай. А теперь ни папы Карло, ни... Буратино. Одна Мальвина.

– А кто Буратино? Славик, что ли?

Вопрос остался без ответа. В дверях стояла улыбающаяся Лелька с охажкой сирени. Полуподвальная комната наполнилась весенним ароматом.

– Все, девки, я больше так не могу. Давайте выяснять отношения.

– Это откуда же такая красотищ-ща? – оценила букет Таня, поскольку ей-то выяснять было нечего.

– Ночью на студентов была облава в Летнем саду. Костырко заодно там и наломал.

Пока Рогина бегала за вазой и обрезала ветки, не желающие уместиться в узком горле найденной посуды, Леля приступила к объяснениям.

– Моей вины перед тобой, Женя, нет ни в чем. Привалов ко мне с вопросами приставал: кто ты да что ты за человек. Ну, я ему сказала, что ты библиотечный техникум закончила, начитанная.

Женечка подняла лицо и открыто, с каким-то не свойственным ей вызовом смотрела в глаза Лели. Похоже, та и вправду не чувствовала ни малейшей вины.

– И про книгу ты ему не говорила?

– Конечно, нет. Ты что, не понимаешь, что бы с тобой было, скажи я ему, что у тебя запрещенная литература? Я-то сразу поняла, кто тебе дал.

– А про художников откуда Привалов узнал?

– Так он сначала хотел, чтобы я к ним ходила, а Краснополцев твой меня не приветил. Уж не знаю почему. У тебя-то с ним вроде все в порядке?

Женечка вспыхнула, почувствовав смену Лелькиного тона.

– Ничего у меня с ним не в порядке! И ходить к нему в гости чай пить я не собираюсь.

– Ну и хорошо, – снова сменила тон Леля. – Не люблю я их, да и Кирилл Иванович этот сам хорош, между прочим.

– Как это?

– Да так это. Что я тебе буду рассказывать... За границу ездит? Ездит. А почему, ты думаешь, его за границу пускают?

– Так у него проект в Монголии.

– Да что ты? Вот прямо других, кроме Краснополцева, не нашлось для этого проекта? У него родственники за границей, между прочим. Он в любой момент в Израиль может свалить, а его все равно пускают. Если тебе это ни о чем не говорит, то мне говорит о многом.

– О чем? О чем тебе это говорит? – перешла на крик Женечка.

– Лучше тебе всего не знать, Цыпочка ты наша. Там они сами стучат друг на друга, по-семейному, и все мирно при этом уживаются. И в тюрьму никого не сажают, обрати внимание.

Женечка оторопело уставилась на подругу.

– Может, я и вправду ничего не знаю. А причем тут Израиль? Он же Кирилл Иванович.

– Так это по отцу, а мать у него еврейка. Так что и он еврей. У него сестра в Тель-Авиве уже два года живет.

– Да у тебя все евреи, – снова вскипела Женечка, – что по матери, что по отцу. Ну что тебе евреи сделали-то? И чем тебе черножопые жить мешают?

– Не люблю, и все. Вот такая я фашистка.

– Ну че ты мелешь, – вмешалась наконец Таня. – Фашистка нашлась. А это какой же из себя Привалов будет? Плюгавенький такой? Он сюда заглядывал пару раз. Здоровался со мной, но ничего такого не предлагал. Я ему не приглянулась, наверное.

– Перекрестись, – вздохнула Женечка. – Считай, тебе повезло.

Меж тем в контору набились дворники, подросли сантехники. Начался обычный рабочий день. Явился и участковый Костырко.

– Значит, так, народ, – громко и авторитетно сказал он. – На нашем участке замечен чужак на букву «М». Подходит к окнам первого этажа, где невысоко, снимает брюки и хозяйство свое у всех на виду проветривает. При встрече не пугаться, а звать меня или звонить ноль-два.

Народ зашумел. Все стали вспоминать подобные истории. Особенно негодовали дворничихи. Пока обсуждались планы расправы над эксгибиционистом, Костырко пошпатель с Лелей, посидел возле Татьяны и, подмигнув перепуганной Женечке, степенно удалился. Где-то через час контора опустела. Так и не выяснив отношения, подхватила и куда-то убежала Леля.

– Видала любовничка?

– Это она к нему побежала?

– А куда ж еще?

Леля вернулась довольно скоро. Женечке было как-то неловко смотреть в ее сторону. Она уже знала, что происходит во время этих коротких свиданий. Теперь она такая же, как ее подруги, сидящие в этой грязной, накуренной комнате с разлапистым букетом сирени на подоконнике. «Ассоли уплыли на алых парусах, а к нашему берегу что? Правильно. Не дерьмо, так щепки», – горькая усмешка искривила ее рот.

В тот же день эксгибициониста словили на Таврической. Мир вернулся под невысокие своды ЖЭКа. К большому облегчению Женечки, Краснополцев не звонил и не искал встреч. Завидев его издалека, она успевала нырнуть в ближайшую подворотню. Не появлялся и Привалов. Жизнь потихоньку входила в прежнюю колею. Дворничиха Тракина продала по дешевке Женечке неносное финское платье. Леля укоротила его и ушла по бокам.

– Игнатова, ты положила немного мяска на свой скелетик, – одобрительно заметила Татьяна, оглядев Женечку в обновке.

Что-то и вправду происходило с телом Игнатовой. Оно не то чтобы расплнело, а как-то округлилось. На улице мужчины оценивающе провожали Женечку взглядом, когда она проходила мимо, гордо переставляя кривоватые ноги. В библиотеке Дзержинского района подошла очередь Игнатовой Евгении Львовны на сборник стихов Ахматовой «Бег времени». Сероглазый король постепенно вытеснял из ее памяти воспоминания, связанные с тахтой в мансарде художников. Переписав почти все стихи в общую тетрадку, Женечка поделилась с подругами мыслями о необходимости вести независимую от мужчин жизнь. Девки купили путевки в Кизи, съездили в Петергоф на открытие фонтанов и после получки стали ходить в шашлычную на Литейном. С поддатými подружками иногда знакомились мужчины. Они допускались в компанию в качестве объектов насмешек, поскольку вписывались в меню шашлычной как «дерьмо или щепки». Разнообразие и насыщенность светской жизни сблизили троицу снова. Размолвки и обиды забылись. Часто они шумно и с хохотом обсуждали в конторе свои совместные приключения, не обращая внимания на присутствующих. Такое пренебрежение задевало Славика. Он мрачнел и, не говоря ни слова, косо поглядывал на веселящихся подружек.

В подтверждение народной приметы после холодной зимы выдалось жаркое лето. Тополиный пух залетал в открытые настежь окна горожан, пытающихся спастись от духоты. Дневное солнце плавало асфальт и не заходило ночью. Настала странная и тревожная пора белых ночей.

После работы набегавшаяся по жаре Женечка распахивала единственное окно своей комнаты, передевалась в старенький мамин халатик и валилась на диван, тупо уставясь в телевизор. Усталость забивала воспоминания о свалившихся на нее разочарованиях и страхах. Тяжелые погодные условия сказались и на зайках. Не выдержав духоты конвейерного цеха, Ирка попала в больницу, по словам Толика, с «сотрясением мазок». Горевал он, как больное животное, забившись в нору своей комнаты и не выходя на кухню. В непривычной тишине Женя засыпала, часто забыв выключить телевизор. Так незаметно прокатились две первые недели лета. В середине июня Ирку выписали из больницы. Одним жарким вечером счастливое воркование воссоединившейся семьи заглушило незнакомые шаги в коридоре. Дверь в Женечкину комнату распахнулась сразу же после короткого стука. Ввалившийся без приглашения Славик тяжело опустился на диван. От неожиданности Женечка залепетала какие-то незначительные слова, торопливо застегивая распахнутый халатик и порываясь поставить чай.

– Не надо, – коротко отказался гость. – Что это у тебя? – показал он на общую тетрадку, лежащую на столике возле дивана.

– Стихи переписала... Ахматовой...

– Ахма-а-а-товой? – с какой-то враждебностью в голосе повторил Славик.

Он полистал тетрадку и прочел:

– Сжала руки под темной вуалью.

Отчего ты сегодня бледна?..

– И не надоело тебе? – Славик откинул тетрадку и посмотрел снизу вверх на Женечку. – А ну, иди сюда.

Своим телом он занимал почти всю комнату. Женечка отступила к двери, но не открыла ее, а только прислонилась. Славика пришлось подняться. Подойдя к Женечке, он сгреб ее в охапку и с треском рванул халатик. В его неотмытых от слесарной работы лапичах она почувствовала себя тростинкой. Тростинка прогнулась, пытаясь освободиться. На пол посыпались пуговицы от халатика. «На монпансье похожи», – как-то некстати пронеслось в голове Женечки. И уже потом, когда над ней нависло раскачивающееся лицо мужчины, обхватив его, она вдруг спросила:

– А ты русский?

– А какой же еще? Молчи сейчас, – обдал ее перегаром Славик.

В конторе довольно скоро выяснили, что Женечка забеременела. Рогина встретила эту новость с негодованием.

– Я тебе как говорила делать? А ты чего ушами хлопала?

– Так там соседи сидели. Мне неудобно было со всем этим на кухню выходить, – оправдывалась Женечка.

– Неудобно ей было... А аборт теперь удобно будет делать?

Женечка вспомнила мамин рассказ о том, что Миркин не хотел детей. Страшно представить, что ее могло бы и не быть, согласись мама на аборт.

– Я буду рожать, – тихо, но уверенно сказала она, отведя взгляд на любимый Египетский дом. Как ни в чем не бывало фараоны продолжали нести службу, охраняя подъезды.

– Анутин-то хоть знает?

– Вот думаю, говорить ему или не стоит.

Танька задумалась ровно на минуту, а потом взяла и поведала подруге историю своих страданий, связанных со Славиком, да приплела еще и Лельку.

– В общем, перетрахал тут у нас всех баб, и все ему, кобелю, мало, – подытожила Рогина.

Вопрос оказался решенным сам собой. Женечка написала маме в Гремиху. Оттуда пришел ответ с обещанием помощи, правда, небольшой, но зато ежесуточной. «Няньчить меня не жди. В отпуск хочу слетать погреться в Алушту. Очень уж здесь задувает и тоскливо».

«А я и не жду, – подумала Женечка. – Сама рожу, сама и воспитаю. И никто мне не нужен».

Разговор со Славиком был тяжелый, но короткий.

– Мой? – лаконично спросил он.

Женечка молча кивнула.

– Жениться не могу. У меня семья в Дагестане. Двое детей. На алименты подавать будешь?

– Ничего мне от тебя не надо. И алиментов твоих не надо. Обойдемся, – гордо вскинулась Женечка.

– Не дури! Деньги я тебе давать на ребенка буду. Я же от него не отказываюсь. Хочешь, запишем на меня?

Тут Женечка задумалась.

– Ладно. Дай родить сначала, а там будет видно.

На эту тему в конторе они больше не заговаривали, а к ней домой на Чайковского он не приходил. А вот Ванька-Боян в Цыпочке разочаровался. То ли он осуждал внебрачные связи в принципе, то ли ревновал, что она досталась не ему. Похоже, Ванька обсуждал Женечкино незавидное положение с Марьяшей, которой самой пришлось растить непутевого сына без рано погибшего мужа. Она была искренне привязана ко всем конторским, а про Женечку говорила, что та хоть и еврейка, а девка хорошая.

Беременность меж тем протекала без осложнений. Выставив вперед живот, техник-смотритель Игнатов с легкостью носилась по участку. Огибая Большой дом, она несколько раз сталкивалась с Приваловым. Тот приветливо интересовался ее здоровьем, не вспоминая Краснопольцева. «Неужели отвязался?» – заглядывала в глаза гэбэшнику Женечка. «Обождем пока», – отвечал его взгляд.

Осенью Ольга Павловна посадила Игнатову на прием заявок по телефону, чтобы та меньше бегала по дворам и лестницам. Леля сшила тридцать пеленок из простыней со штампом гостиницы «Волхов». Бог его знает, как эти простыни к ней попали. Никто не спрашивал. Югославские сапоги выклянчила «на понос» Танька. У Женечки опухали ноги, и она все равно не могла их носить. Ну, а потом на смену осени пришла зима. Что можно сказать о зиме, кроме того, что она пришла? Разве что добавить слово «снова». Ребенок уже шевелился в животе Женечки. Электрик Обухович говорила, что это мальчик. У нее были какие-то свои методы определения пола еще не родившихся младенцев. Неопытную Женечку врач-гинеколог обсчитала на три недели. Говорят, они все так делают, чтобы государство меньше платило декретных денег. Почувствовав какое-то недомогание одним воскресным февральским утром, беременная Игнатова решила заскочить в роддом на углу Петра Лаврова и проспекта Чернышевского. Очередь в приемном покое была небольшая.

– Да вы рожаете, гражданочка! – огорошила ее приемная акушерка.

– Как это? Преждевременно, что ли? – удивилась Женечка. – Мне еще три недели ходить до родов.

– Ну прям три недели! – хмыкнула акушерка. – Я уже вижу голову ребенка.

Пришлось срочно отправляться в палату рожениц. Роды – не самое приятное из того, что выпадает на долю женщины. Одно хорошо, они скоро забываются. Малыш и впрямь оказался мальчиком, но некрупным и с красненьким личиком. В палате, кроме Женечки, лежали еще несколько женщин. На следующий день младенцев разносили на кормление матерям. Женечка и соседняя с ней Бэлла с нетерпением ждали своих. Заглянувшая в палату санитарка исчезла за дверью.

– Ох ты, еврееныша забыли, – раздался ее голос в коридоре.

У Женечки сжалось сердце. В отчаянии она переглянулась с Бэллой. Через несколько минут дверь открылась, и та же санитарка внесла младенца.

– Гуревич кто?

Женечка вздохнула с облегчением. Бэлла прижала к груди своего малыша.

– И не стыдно вам? – с укоризной и возмущением сказала она санитарке.

– Ой, извините, я не по злобе, просто сорвалось с языка, – заизвинялась та. – Там еще мальчищечка остался из вашей палаты. Счас я его перепеленую.

Наконец принесли перевязанный пакетик с ярлычком «Игнатов». Голодный малыш кряхтел и ворочался. Женечка коснулась пальцем его щеки. «Пусть только кто-нибудь скажет, что ты еврееныш, урою на фиг», – с какой-то новой, неизвестной себе злобой подумала она.

Наталья ЧЕРНЫХ

ТРИ ЭЛЕГИИ ПАМЯТИ Ю.М.

Натэлле

Персефона уходит

Это не женщина в красном пальто –
передлётные птицы по ветру рассыпали перья.

Одно из имён её – северный ветер, порой называют её Персефона.
Перед закатом встаёт на крыло. Красны когти её и оперение ярко – пунцово.

Она собирается в путь, подбирая бесчисленными крыльями

Окна мои, запах пепла и табака
впереमेжку с запахом чуть пригоревшего лука,

Кофе разлитый не до конца, одиночество кошки, мальчишку с фломастером,
Девочку с флейтой, похмельного юношу с брошенной книгой,

Старика у завода (по виду работает), смуглого после поездки в Ялту отца,
Белокурую маму в новом наряде, других стариков и старух,

Октябрьское тихое кладбище с мягкой землей, уже перенаселённой,
Так всё движется – шествуют в небе осенние птицы.

Подумаешь: это вороны. Ан нет, вот они: ярок черёмуховый глазок,
Неопрятный клюв весел. Впрочем, ворона весьма чистоплотная птица.

А эти зовутся скворцы.
Они поднимаются в небо настолько, что там вечно солнце.

Там заря не заходит. И море оттуда не видно, а только летучие звёзды.
И зори.

Одна, и вторая.

А ниже идут облака и сквозь них

Наталья Черных родилась в 1969 году в Челябинске-65, ныне Озерск. Училась во Львове и в Москве. С 1987 года живет в Москве. В 2001 году – победитель Филаретовского конкурса религиозной поэзии. Куратор поэтического интернет-проекта «На середине мира». Автор нескольких поэтических сборников. Публикации в журналах «НЛО», «Новый мир», «@ююз Писателей», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2009 года (стихи, проза, критика).

Пробирается женщина в красной накидке, с помадой на красных губах,
С тёмно-алыми и небольшими ногтями.

К ней листва залетает в карман, вся листва, что ни есть –
Жёлто-бурая, ало-зелёная,
В парке ближайшем, в Сокольниках или в Лосином,

Вся течёт в этот красный карман.

Но ведь это не женщина. И не мужчина. Перепончатокрылых ветвей языки
То поднимутся, то рассосутся; то беспечны и робки, то жёстки и ярки,
То налево, то вправо, то выше, то ниже – перебрав всеми пальцами
Ворох листов атмосферы. И рождается в этом движении воздух.

Дом на цыпочки приподнялся, оказалось – крылат.
И пошёл, и пошёл в облаках, тягой этой всесильной ведомый.

Вместе с ним текущий женственный образ рассыпается. Остаётся лишь ток.
Тяга. Гудит в прошлых трубах, которых уж нет, а гудит.

Ни названия. Было оно: Персефона.
Кто она? Остановка конечная. Яркие пятна щитов и дерева.

Каких не было до сего дня на этой земле
И не будет.

Но вдруг в октябрьском тепле она вновь различима и обернулась.
На длиннейшее – длинно – мгновение. На йоту безвременья.

Остановилась. Глаза посмотрели юно и тяжело.

Потом снова пришли облака, заалели в объятиях ветра.

Воздушные гекатомбы

1
Инструменты не обнаружены, а кровосток удалён. Прямо по курсу туман.
Кровь превращается в клюквенный сок, когда жертва приносится в воздухе.

2
Жертвоприношения выше земли бескровны, обильны и легко совершаемы.
Из треснувшей почвы поднимаются пламя и вонь. Сразу за всех принесённых.

3
Воздушные гекатомбы напоминают мне ритуал новой религии.
Жертвы приносятся без обоснований и дат. С невычисляемой периодичностью.

4

В воздухе нет полнолуний и зорь для соблюдения правил моления.
Облака, одни облака. В недрах облачных не заметен клинок бледной жрицы.

5

Воздушные гекатомбы приносятся в любой месяц и в любое число.
Сопровождаются играми виртуального люда на виртуальной поляне.

6

Списки жертв подделаны. Даже если комиссия выявит полное соответствие,
подделка выскочит радостным баннером – десяток похожих имён
в одной гекатомбе. Лишние части спустились на землю. В горящее поле ржи.
То были люди. Их кровь тосковала, холодея и замедляя свой бег.

7

Бледная жрица – не смерть. Под ногами её птенцы деконструкции мифа,
пышный шарф неомарксизма, пахнущий гнилью нектар патриотов,
лёд безразличия, самоходное общество и страх, двести раз страх
праздника непослушания, в котором утонули
все отмеченные на картах населённые пункты.

8

Жрица ходит болванкой по старому дому,
по небу, где облака хороши, и по людям – по их самолётам и семьям.

9

Время гекатомб. Время без лиц, разделённое на частицы историй время.
Жрица одета в платье истории. Но история уже не наука, а ткань.
Сценарий, или нарратив в устах глуповатой филологини. История!
То, что раньше на сленге было телегой. Не отделить, как бы ни понтовались
новые левые и не забирали их новые правые, по соглашению с ними,
как бы ни обстояло пространство и время – не разделить двух историй.

10

А люди стекают обвязками в клюквенном соке на горящее поле.
Каждый раз птица священная с сотней людей в самолёте дрожит.
Так дрожит девственница в первом поцелуе. Так монах принимает молитву
от самой Пресвятой Богородицы. Дрожь и ложь.

11

Лишь полёт новой веры. Да крики мелких духов, скрытых в перьях её:
вся религия – детство, свободу униженным и оскорблённым!
...Затем весть об очередной гекатомбе.

Охота

I

Только в тире видела ружья. Но знаю их лучше ранок возле ногтей. Охота начинается.

2

Охота собирается поездом из собак, лошадей и телег,
свиты бродяг с неизбежной колёсной лирой и вещим пенъем,
из полицейских в новых просторных куртках и шлемах, из широких лохматых копыт,
из незаконнорождённого, обречённого смерти в войне
и сбежавшего в ночь через поле в уже подмороженный лес.

3

Луна мутнооко кривится, смотрит девственницей под хмельком.
В полях инеем чуть прибита трава – волосатое низкорослое войско,
Велесовы кудри, их злое мочало в Великий Четверг уберут самоцветами.

4

Приближаются грозные звуки. Песня рога? Проснулся седой мегафон?
Это не выстрелы, это похуже, чем выстрелы.
Так расширяется в строгую и молчаливую ночь говоренье,
Так одуревшая от себя самой речь пугает божественного оленя,
Так уходят лосихи, уводя с собою семейство,
Так медведи уходят, забрав основательность и оставляя волчке людям ожидание.

5

Но человек выть не умеет. Потуги его напугать лес ночной бесполезны.
Человека никто не боится – он кричит как младенец, как новорождённый,
Заявляя всем о себе – облакам, пересохшей траве и пруду с колыбелью смерти на дне.
Человек несомненно происходит от волка – а от кого же ещё?
Если есть в нём стая – он будет силён, преодолеет смертельное поле,
схоронится в лесу,
выживет.

6

Но к чему будет жизнь? Её тонкие лапы паучьи что обнимут?
Мутноокая в небе смеётся девчонка.
Жизнь плетётся сама по себе; у неё нет и лиры колёсной чтобы пропеть о тоске.
А смерть ещё не родилась.

7

Невыносимо тяжёлок тёплому сонному мужичку огненный поезд охоты.
Поезд охоты идёт через сны многоэтажного и покудившего на ночь лаки страйк
Тридцатилетнего обывателя. Охота уже началась.

8

Два квартала – и спуск к старому устью реки, там ракиты и тополя.
Там кто-то таится и его надо выгнать. А если вдруг волк? Если оборотень?
Тогда головной всадник, оглянувшись, плюёт на землю и пришпоривает коня.
Платок едущей между двух сокольничих женщины открывает светлые волосы.
– Нет, я не зла, – говорит, – я охота и есть. Я стремлюсь не к тебе и не от тебя,
сонный ты мой мужёк.
Я лишь вполне осознала, как перемешаются вещи.

Андрей ПЕРМЯКОВ

НОВЫЕ СТИХИ ДЛЯ ЖЕНИ КОРОБКОВОЙ

Свет так упал

Идут, будто три медвежонка, только четыре.
И куртки у них какие-то малопонятные.
Курят – видать, сигарет натырили
(После ещё натырят).
Тащат чего-то безвидное, но неприятное.

В них ничего, вроде, жалкого, а каждого жалко.
Грустно, как новая сказка про четырёх поросят:
Мы точно так же недавно ушли на рыбалку,
Вернулись – а каждому сильно за пятьдесят.

За пятьдесят, и в их мире мы точно кроты.
Хочется тех непременно догнать, отобрать сигареты,
Дать слегонца по ушам, расспросить за секреты.
Только зачем их секреты? У тебя есть своя седина.
Вот и, завидуя, смотришь на них против света.
Ещё и сквозь толщу воды.
Короче – со дна.

Инвестор

«Шипр» по блюдецкам
Н. Сучкова

Махнёт с крыльца большой, распаренный
водителю: «Давай, до пятницы!»
Сквозь сквер, похожий на аквариум,
пойдёт, как будто бы покатится.

Пойдёт с бутылкой пива Миллера
вдоль гаражей, вдоль белой ночи,
где телефоны наркоторговцев
написаны чернее прочих.

Андрей Пермяков родился в 1972 году в городе Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую государственную медицинскую Академию. Жил в Перми и Подмосковье. В настоящее время проживает во Владимирской области, работает на фармацевтическом производстве. Стихи, проза и критические статьи публиковались в журналах и альманахах «Абзац», «Алконостъ», «Арион», «Вещь», «Воздух», «Знамя», «Графит», «День и ночь», «Новая реальность», «Новый мир» и др. Автор книг «Сплошная облачность» (2013), «Темная сторона света. Бесконечная книга, часть вторая» (2016). С 2007 года постоянный автор журнала «Волга». Лауреат Григорьевской премии (2014).

Чуть остановится на вдохе
и вдруг почувствует то самое:
смешной, как *человек эпохи*,
попавший из эпохи в сауну.

Про юных музыкантов

Как хорошо нелепые слова
ложатся в неустроенные струны:
так верит безнадежная трава,
что дни её – великие каноны.

Так верят, что научатся летать
и первыми пребудут из последних
(что «умирать» рифмуется с «тетрадь» –
есть совращение несовершеннолетних).

Так без тепла дрова горят сырыми,
негромко щёлкают, как будто всех ругают.
А предпоследние становятся вторыми.
И плачут по-французски попугаи.

Каникула

Вот один обормот запирает замок на один оборот.
Вот два других обормота запирают замки на два оборота.
Спускаются вниз, ожидают кого-то.
И этот один обормот этих двух обормотов ждёт.

Через час они всё же встречаются.
Поначалу немного ругаются.
На речку идут, купаются.
Обогнать друг друга стараются.
А утро никак не кончается.
Только лето, похоже, кончается.

А квас из бочки стоит пятак.
Из горячей бочки холодный квас.
Продавщицу в косынке спросишь: «Как так?»
А она тебе говорит: «Всё для вас».

Далее плёнка засвечена. Далее ничего нет.
Далее до апреля – мозоль, пустота и зной.
Но если засвечена, может, был свет?
Кроткий такой. Сплошной.

Вспомнить

*Прости меня,
Великий СССР
Ксения Некрасова*

Это как мировые воды,
Незаметно ушедшие в грунт:
Пятилетку в четыре года,
Стометровку за восемь секунд.

Но там ещё случалось вот такое:
Была скульптура «Вечная весна».
Была большая равнодушная страна,
И есть большая равнодушная страна,
Плыла большая равнодушная страна,
Плывёт большая равнодушная страна.
С небытия плывёт к неупокою.

Гилозоизм

Дух погубленного водой из Оки костра
Обращается в белый дым.
На дыме отчётливо видна моя тень.
В свою очередь, дым на траве оставляет другую тень,
Но в тени, оставленной дымом, меня уже нет.
Потому что вот так интересно устроен свет,
Потому что сегодня произойдёт жара,
Потому что нам будет долгий-предолгий день,
Потому что совсем ещё юный дух нового дня
Обнимает духа погубленного огня,
Принимает выдохи дыма погубленного огня,
И начинает великую пляску во славу индейского лета.
Но если моя тень была в белом дыме, а на земле её нет,
Получается, дух восходящего дня,
Дух восходящего света,
Снял с духа погубленного огня
Мою на вчерашнем солнце сгоревшую кожу.
Получается, славная пляска есть пляска моей тени тоже,
Моей кожи тоже.
Получается новый свет.
Получается, я не зря потерял вчера свитер.
И возвращается то, чему надлежит возвратиться.
И возвращается ветер.

Рессентимент

Июльский день начался очень интересно – хоронили генерала.

М. Горький

Вдруг получится, как в прошлом,
чтобы как в кино и в песне:
чтобы грустно, чтобы пошло,
чтобы правда интересно.

Чтоб не медные, но скрипки,
чтоб не марши, но рыданье,
чтоб под нервные улыбки
в землю гробополаганье.

Чтоб не гроканье воронье,
но скрипичная канцона.
Чтоб спросил: «Кого хоронят?»
незнакомая персона.

Чтобы скрипка пела, пела,
чтоб как будто из груди:
«А тебе какое дело?
не тебя – так проходи».

Так сидишь себе, мечтая,
Сам в себя уверенный,
А мороженое тает.
Просто так. От времени.

Самое

Интересно то, чего не прибывает: солнце, время, земля.
Интересно, как солнце встречает землю и происходит зной.
Интересно то, в чём многое пребывает: земля, время.
Время, текущее над землёй.
Интересно, как солнце и время гладят и губят семя.
Интересен гниющий периметр повреждённого бытия.

Камни тоже весьма интересны, но менее:
Камень для нас – всё-таки слишком большое.
Ибо камни, вода и, кажется, мёд не подвержены тлению,
А способное гибнуть, не постарев, это совсем чужое.

Любящие интересны, любимые.
Интересны забросившие свои поля.
Интересно пожирающее, ненасытимое –
Время, земля.

Вариации

I.

между «остановка в пустыне»
и «остановка запрещена»
и «остановка в пустыне запрещена»
и «следующая остановка в пустыне запрещена» –
вот на этом поле.
примерно на этом поле

II.

между «остановка в пустыне»
и «остановка запрещена»
и «остановка в пустыне запрещена»
и «следующая остановка в пустыне запрещена» –
вот на этом поле.
примерно на этом поле
нестрогих границ

III.

между «остановка в пустыне»
и «остановка запрещена»
и «остановка в пустыне запрещена»
и «следующая остановка в пустыне запрещена» –
необходима лишь остановка

IV.

между «остановка в пустыне»
и «остановка запрещена»
и «остановка в пустыне запрещена»
и «следующая остановка в пустыне запрещена» –
необходима лишь остановка
как
самое ненужное
самое
противное сути

Био (сонет)

Сочинял безнадёжно давно,
устал.
Но приобрёл символический капитал.
Истратил его на вино.

Вышел гулять. Видел ёлку и дуб.
Понял, что непременно был глуп.

Решил, чтоб
из похожего дуба сделали гроб,
а еловые веточки так понесли –
до опускания тела в недра земли.

И на оградке цвета медной блесны –
кантик в виде змеи:
в честь дорогой жены.
Примерно так и.

К новолунию

Долгие паутинки, последние медоносы, голые руки,
погружённые в последнюю теплоту реки –
октябри иногда устраивают такие штуки,
будто играющие у самой воды щенки.

Погода гуляет, и леска опять гуляет.
Маленькие часы отмеряют маленькие часы.
Ружьё никогда не стреляет, а ветка в костре стреляет.
Солнце слагает себя на золотые Весы.

Лодки и ветки качаются; в небе такая медь,
будто бы всё по правилам и будто бы всё поправимо:
музыке надлежит оборваться, воробью надлежит долететь,
паучок Антонида и ты переживут эту зиму.

Суета сует завершилась, кончилась суета.
Вдоль лодок скользит отчётливо видимый кто-то,
Чёрный и нежный. Нежный, как шубка крота,
Шубка крота, доедающего субботу.

Бывает

А ещё можно целое лето
строить домик для дураков.
Ставить лампы холодного света,
безопасные для мотыльков.

Можно целое лето
будто ещё весна.
Но в закате избыток цвета,
но малина уже черна,
и сухое уже подогрето.

Но поломанные монеты
так вдоль медленных окон скользят,
как в начале этого лета
сказанное «нельзя».

Зоология

Голые землекопы живут в Африканском роге,
где Сомали, Эфиопия и прочая ерунда.
Кажется, несъедобны, на вид убоги.
Впрочем, в подземном мире – честная красота.

Голые землекопы это смешные звери.
Их фотографии мне показал журнал «Вокруг света».
Девочка Лена переодевалась за тонкой дверью.
У нас на двоих было два дорогих билета.

Лена опаздывала и специально не торопилась,
я читал журнал, где были голые землекопы.
Время не двигалось, но очень противно длилось.
На подоконнике чахли синие ветки иссопа.

Лена не торопилась, я тренировал силу воли.
(Теперь понимаю – Лена, наверное, тоже).
Голые землекопы совсем не чувствуют боли –
у них по-другому сделана их землекопская кожа.

До кинотеатра всего ничего – через мост и прямо.
Мы странно потратили время, данное нам на пробу.
...Седые дети Елены собираются на встречу одноклассников мамы.
Под землёй Африканского рога трудятся голые землекопы.

Валерий ЗЕМСКИХ

Оно прошло сквозь дверь
Засов
Замок амбарный не шелохнулись
Всем кажется
Ни что не изменилось
Ан нет
Исчезла ось времён
И листья
Не падают на землю
А растворяются
И корни
Цепляются за камни
Те взлетают пузырями
И лопаются
Слышишь кто-то
На дудочке играет

Опять ничего нет
Только что всё было
И нет
Может по-другому
Но и по-другому нет
Но ведь было
И по-другому было
Да по-другому было
А теперь по-другому нет
Что-то здесь не так
Точно не так
А как
Ведь нет ничего
Или есть
Нет точно нет
Ничего нет
А было

Валерий Земских родился в 1947 году в Волхове. Окончил физический факультет ЛГУ. Печатался в журналах «Нева», «Октябрь», «Воздух», «Крещатик», «Аврора», «Северная Аврора», «Гвидеон», «Дети Ра», «Зинзивер» и др., во множестве сборников и антологий. Вышло пятнадцать книг стихов. Редактор-составитель пятитомной антологии петербургской поэзии «Собрание сочинений». Лауреат премии им. Н. Заболоцкого. Стихи переведены на итальянский, английский, польский, румынский, словацкий и др. Живет Санкт-Петербурге.

...и помолчать
Так нет
Никто не слышал
Но пошли гулять слова
По белу свету

На том берегу
Трава зеленее
Но и там дымок
Бродит по склону
Течением сносит
Волны бьют по лицу
Наотмашь

Глотнешь мутную воду
Песок на губах
И щепки
В язык впиваются
Выплюнешь
И забыл
Как говорить

Успеть увернуться от баржи
Нырнуть
Медленно тянется время
Быстро
Приближается борт
Нависает
Заслоняет небо
Даже в крик не сложить
Громадные белые буквы

Я верю что могла
Пройти
Свернуть
Рассыпаться на клинопись
Разбиться
На черепки
А он услышал
Собрал и развернул
И с чем сравнить
Поблекли краски
Осталась подпись
Затмит она

Заполнит пустоту
Кого спросить
Когда себе не веришь

А тут и опять
Но ведь рядом
И побоку
Без света взгляд
Ясно что темь
Сверчком неслышным
В стороне помолчать
Тянет словесная нить
В отсутствие дна
Каменная голова нежится под кустом
Жилами корней впиться в голое поле
Грибы выступают потом
На необъятности крючковатого дня
Кольхнулось
И на острие
Замерло
И цвет бесцветный
Боком заденешь
И по спине потечёт
Но глаза
Глаза не открыть
Слеза по щеке
Соком жизни
Вздохом бы кто поделился
Чужие не ходят по нашему полю
И тяжестью неразделенной подвешено время
Ткнёшься вечностью
В белую ночь
Резиновый мячик ответа
Серым пятном на стене
Штукатурка утра скрипит под босыми ногами
Забывай
Забывай
Перетёртое в мел касанье
Всё будет как надо
Но никому не нужно
Исполненное желанье
Засохшим огрызком
С мёртвой нитью червя

Что ты хотел разглядеть в этом мире
Звонок прозвенел
Руки развёл
 а хотел объять
Были желания
Но нет того кто желал
Старый приёмник хрипит
Ничего
 на твоей волне

Краска пошла пузырями на перилах моста
Сковырнул
А под ней ещё одна
А под ней пустота
В шапочке мятой художник рисует портрет заводской стены
И провода на небе
И кусок луны
 торчащей из-за трубы

Проходи
 проходи
Не загораживай свет
И так полумрак
В этом городе

В этом мире
Рассвет
Ещё не скоро

А звонок звенит
Это не трамвай
Это где-то рядом
Это внутри

Александр ДЕРГУНОВ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Из цикла «Конец эпохи двух нолей»

– На завтра вот этого. – Грязный коготь продавил бланк штатного расписания. Никто не возразил. Хозяин кабинета отвернулся от собравшихся и оскалится на своё отражение в стеклах. Мелкие глазки. Желтые клыки. Надбровные дуги выдавлены с пологого лба массивными черепными пластинами. Так выглядят в учебнике древние рептилии.

– Да ведь он без году пенсионер, – не смогла промолчать Большакова.

– А Сапожникова утверждает, что без разницы, – проговорило чудовище, прикрыв крокодильи зрачки мутной пленкой безразличия.

– Сука эта ваша Сапожникова, – снова сорвалась начальница отдела кадров.

Услышав знакомое слово, низколобый ящер проявил интерес и уставился на оппонента – интеллигентную даму пятидесяти лет.

– От вас, Ольга Александровна, я подобных выражений не ожидал.

Большакова зло кромсала блокнот, украшенный мезозойскими ящерами. Пронзая пером нахрапистого ти-рекса, она представляла, как перо протыкает жирную брюшину сидящего напротив гада. Тот, развалившись в директорском кресле, к нарисованному собрату сострадания не проявлял. В конторе про начальствующего звероящера говорили шёпотом и в глаза величали его Котиковым Петром Сергеевичем.

– Я понимаю, Ольга Александровна, выбор не простой. – Директор вновь отвернулся креслом к окну. – Завтра жду вашего решения.

– Завтра я работаю в другом месте, – сообщила Ольга Александровна.

– Ну, тогда послезавтра.

– И послезавтра тоже. Я уволилась с первого числа, – спокойно напомнила Большакова. Она привыкла к патологическому беспамятству директора. Особенно во всем, что касается живых людей.

Дверь за собой она закрыла уже без злости. Даже с облегчением. Не ей придется завтра озвучивать приговоренным сотрудникам решение руководства.

Ольга Александровна Большакова никогда не мечтала о карьере в кадрах. Случайно выбрала завод, чтобы отбыть три года по распределению. Там встретила много хороших людей. Свою любовь, впрочем, выбрала не из их числа. Когда завершился роман, долгий, на два года, директор завода отнесся к дружке по-отечески, помогал с жильем, путевками и яслями. Растить одной ребёнка не мёд, да грех было жаловаться. Другие ташили на себе вдобавок больных родителей и пьяниц мужей.

Место в яслях получили не сразу. Одалживая кадровичку человечностью, заводчане заходили после смены нянчиться с малышом. Помогали все. Даже Чижиков – баламут и пьяница с золотыми руками, не способный связать двух слов без матерных междометий, – приносил к вечеру выточенную за смену игрушку и улыбался так же беззубо и бесконечно счастливо, как получивший подарок малыш.

Александр Дергунов родился в 1968 году в Москве. Имеет два высших образования, степень к.э.н., степень MBA from University of London. Автор научных публикаций и ряда изобретений. Публиковался в журнале «Знамя». С 2007 года живет в Киллалу, Онтарио, Канада.

Когда сын пошел в школу, то невозможно было уже представить свою судьбу отдельно от судьбы, стекающихся утром к проходной. На многих свадьбах, днях рождениях и похоронах успела побывать Ольга Александровна, прежде чем научилась видеть живых людей за сухими строками личных дел.

Смена эпох не отозвалась на заводе большими переменами. Вынесли куда-то красные знамена, отменили партийные взносы, перестали стирать голубиный помет с черепа Ильича. В остальном жизнь текла по-прежнему – гудели машины, начальник производства ругался со снабженцами, тяжелые краны отгружали готовый продукт.

– Теперь вы хозяева завода, – торжественно заверял коллектив бывший парторг, устроенный в комиссию по приватизации.

– Да вроде мы и раньше были, – недоумевали рабочие.

– Но теперь вы хозяева настоящие, – объяснял партийный лидер, обменивая ваучеры на акции предприятия.

Парторг лукавил.

Настоящие хозяева появились лет пять спустя. Завод штурмовали новогодним вечером, пока рабочие провожали год деноминации и дефолта.

Вышедшие после праздников заводчане были встречены новой охраной и незнакомыми людьми в кабинетах. В выломанных дверях срочно менялись замки. Исподлобья шурились охранники уголовной внешности. Ходить по заводу под их присмотром было жутковато.

– Ой, девки, если насиловать будут, двое справа, чур, мои, – бодрилась Светка из контроля качества.

– Ты если это дело любишь, лучше бы сразу в секретариат работать шла, – огрызалась бригадирша, намекая на модельного вида девиц, застывших на вахту в приемной.

Поначалу руководителей отделов не трогали. Лишь посадили к ним в кабинеты новых заместителей. Ольге Александровне досталось сто шестьдесят килограммов жировых складок, прикрытых по бокам дорогим клоунским балахоном. Сверху это великолепие было сервировано бараньими завитушками бесцветных волос. Толстый клоун представлялась исключительно Сапожниковой, по фамилии влиятельного мужа.

Придя утром в кабинет, Сапожникова заливала зад в офисное кресло и не отрывала свой массив от основания на четырех колесиках. Отлеплялась от подставки только для совещаний с руководством.

– Ну что, коллеги, кого сокращать будем, – без всякой интонации спрашивал новый директор. Глазки Котикова шныряли по строкам штатного расписания, как по страницам ресторанного меню.

– И так работать некому, – убеждала Большакова, – к тому же у всех долгосрочные контракты, по суду восстановятся.

– Неужели никого лишнего?

«Никого, кроме вас, Петр Сергеевич», – про себя дерзила кадровичка.

Но вслух выражалась аккуратнее. Пожилая мама и сын-подросток заставляли выбирать формулировки.

– А в Германии, между прочим, в три раза меньше сотрудников на тот же объем производства, – вставляла Сапожникова лыко в строку.

– Так, может, в Германии и оборудование другое, – парировала Большакова.

Станки на завод была завезены еще по репарации.

«Кстати, в Германии на одного рабочего приходится в десять раз меньше начальников», – это еще одна фраза, которую Ольга Александровна позволяла себе лишь мысленно.

С Большаковой не спорили. Смена кадровички была вопросом времени. Ждали, когда заместительница поднаберется опыта. Однако Сапожникова жрала в кабинете вонючие гамбургеры

и совершенствоваться не желала. С таким мужем учиться было ниже ее достоинства. Для самоутверждения она как-то дождалась отпуска Ольги Александровны и уволила пяток сотрудников.

Все уволенные очень быстро восстановились, получив денежную компенсацию и бесценный опыт борьбы со звероящерами. История приобрела широкую известность, а Котиков – выговор от учредителей. Сапожникову он, конечно, тронуть не мог, но к Ольге Александровне начал прислушиваться.

Всех отстоять Большаковой не удавалось, но билась до конца за пенсионеров и одиноких матерей. Унижаясь, просила за ветеранов, выросших на заводе и просто не способных выжить за его пределами. Спорила до хрипоты, даже зная, что вопрос давно решён наверху. Горечь собственного бессилия смывалась терпким вином на уютных бабьих посиделках.

– Ну, как такое бывает, Веруна Павловна, – жаловалась она подруге, служившей в конторе секретарём, – в них же вообще нет ничего человеческого. Этот Котиков плясится на меня своими жидкими глазенками – и ноль эмоций. Откуда только такие гады берутся?

– Сына, откуда гады берутся? – кричала Вера в комнату. Курносый пятиклассник умел разрешать самые сложные вопросы подруг парой нажатий клавиш.

– Из яиц, мам, – деловито отвечало дитя. – Гады – это низшие пресмыкающиеся, самые древние позвоночные из хладнокровных.

Подруги хохотали. Случайный ответ звучал откровением.

– Хладнокровные гады! – трагически шептала Ольга Александровна и комично возносила указательный палец в жесте прозрения. – Это же они, Павловна! Звероящеры!

– Мыши, Оленька! Мыши! – восторженно перебивала Вера.

– Почему мыши? Звероящеры.

– Кладовщица рассказывала, что мыши на заводе пропали, когда эти пришли. Верный признак избытка гадов в округе.

– Как же я сама не догадалась, – всплескивала Ольга Александровна руками.

Подруги хихикали, представляя, как коротконогий ящер Петр Сергеевич натягивает с утра костюм и прочие предметы туалета, превращаясь в человеческого директора.

– А хвост, хвост, ты представляешь, куда он засовывает! – давилась смехом Вера и, избегая оттопыренных детских ушек, не совсем приличными жестами завершала свою мысль.

– Да ну тебя, Верунь, – веселилась Ольга Александровна, – вечно ты всякие глупости болтаешь.

– Точно тебе говорю, Оль! – расходилась подруга. – Я видела, как он там хвостом шевелит, когда думает.

– О чем думает?

– Откуда ж я знаю, о чем они там думают! – с удовольствием краснел Верунчик.

Одним из первых приказов новые хозяева категорически запретили охране пропускать на завод сверженного директора. Тот попал на территорию созданного им предприятия лишь год спустя, на стареньком пазике, под звуки духового оркестра.

Бывший парторг вышел к гробу из-за спин новых хозяев, с многостраничной заготовкой речи. Как штатный оратор, он был ловок в перечислении заслуг ушедших.

– Господа! – бодро начал партийный лидер и драматически осмотрел зал.

Рабочие на «господ» не откликнулись.

– Товарищи! – зашел парторг с другого конца.

Голос из зала довольно грубо подсказал, кто теперь парторгу товарищ.

Оратор смешался и повернулся к гробу. Усопший лежал в окружении алых гвоздик и медалей. Под густым гримом лицо застыло суровой маской. Пользуясь беспомощностью покойного, в изголовье пристроились новые хозяева. Заплывший подбородками Котиков заскучал во главе почетного караула и, перетоптавшись к орденским подушечкам, сосредоточено мусолил большим пальцем медаль, словно проверяя качество позолоты.

– Прости, Михалыч! – только и смог выдать оратор.

В крематорий выделили один автобус, для ближайших родственников. Остальные должны были проститься с усопшим в актовом зале. Но, шагая за автобусом, процессия вытекла через открытые ворота и растянулась почти на километр – до трамвайных путей. Весенний полдень до слез резал глаза пронзительной лазурью, и внезапные вступления ветра освежали звучание духовых пассажей.

Подыгрывая ветру, вдруг ожил молчавший много лет заводской гудок. Начал хрипло, но потом прокашлялся и огласил округу густым чистым звуком. В стоне исполина прозвучало и залитое в бетон негодование, и плач осиротевшей души, и робкая просьба о помощи. Яростная мощь звука снесла загоны страха, измельчившего души. Каждый идущий в колонне вдруг сделался огромным, и шагающие за гробом гиганты стали единым существом. Казалось, что если сейчас колонна повернет обратно, то сможет получить свой завод и все, что было за эти годы у них украдено. Не отвоевать, не отобрать, но просто получить, ведь нельзя было представить себе преград, способных встать на пути этой гулкой силы.

Но пошли не забирать завод, а пить. Выпив, разбились по столам, потом разбрелись по кучкам, которые через пару часов охрана без труда выставила за проходную. Награды покойного, а заодно и портрет военных лет Котиков велел припрятать.

Наблюдая звероящеров, Ольга Александровна выявила у них два основных инстинкта – воровать и увольнять. Лишь годы спустя Ольга Александровна разгадала причину тайной страсти пресмыкающихся к сокращениям. Уволенные возвращались в полное владение звероящеров предметами обстановки. Например, после увольнения Чижикова в кабинете директора появились дорогие настенные часы. Сокращение целого нормировочного отдела обернулось новым автомобилем в гараже Петра Сергеевича. Итальянские мебельные гарнитуры, дорогие иномарки и золотые канцелярские наборы валились из жерла рога избытия. Во входную горловину смахивалась живая плоть людей.

Поняв, что работать с пресмыкающимися больше не сможет, Ольга Александровна нашла место в частной конторе. Сын вырос. Да и все остальные элементы мозаики, из которых складывается спокойное счастье зрелости, встали на свои места.

Отгуляла отпуск и написала заявление об уходе. Не без удовольствия смотрела, как Котиков, перебирая толстыми губами, читает документ и никак не может осознать смысла написанного.

– Не понимаю, Ольга Александровна, – честно признался директор.

– Там все ясно написано.

– Ну не можете же вы уволиться, – заволновался низколобый.

– Очень даже могу.

– А кто же будет работать? – Петр Сергеевич был искренен.

– Вы Сапожникову готовили на мое место.

– Издеваетесь? – изумился директор.

Тупость заместительницы Большаковой давно стала излюбленной темой заводского фольклора.

– Ну, найдете ещё кого.

Котиков заявление подписал и потом две недели заглядывал в отдел кадров, просил Большакову остаться, соблазнял невысказанным окладом со сказочными зверо-благами.

– На кого же ты нас покидаешь? – вроде понарошку причитала подруга на кухонных посиделках.

– Не маленькие уже, разберетесь, – Ольга Александровна сердилась, чтобы не чувствовать себя виноватой.

– Пожрут нас без тебя, и детишек наших, – продолжала подруга, но веселье удавалось плохо – уже три месяца не было вестей от сына, неизвестно где проходившего срочную службу.

– Пожрут, Верунь, что со мной, что без меня, – обреченно соглашалась Ольга.

Звероящеры, лишенные сострадания, были, по ее мнению, той породой, которой предстояло выжить в условиях изменившегося климата, наплодить хладнокровное потомство и заселить серые просторы. Когда гадов станет слишком много, они начнут пожирать друг друга. Следом, видимо, придет иная цивилизация, еще более чуждая теплой органической жизни.

В последний рабочий день Ольга Александровна почти с чувством облегчения проходила по коридорам административного корпуса и читала таблички на дверях. Всех этих людей она когда-то принимала на работу, пыталась помочь или хотя бы понять. Было странно думать, что теперь они останутся без неё.

В кабинете, где Большакова отработала четверть века, царил чудовищный хаос. Сапожникова выгребла содержимое своего стола в картонную коробку и теперь, не вставая с кресла, перекачивалась с коробкой на коленях к столу бывшей начальницы.

– Ольга Александровна, – с одышкой сипела Сапожникова, проталкивая кресло через кабинет ногами-тумбами, – я вам тут собраться помогла.

Большакова увидела: ящики ее стола опустошены в пластиковые контейнеры, хранившие до того личные дела сотрудников. Прежнее содержимое контейнеров густо устило пол кабинета. Архив был обузой при переездах, но помог не одному ветерану избежать унижений в бюрократических коридорах. Время от времени приводя папки в порядок, Ольга Александровна с теплым трепетом перебирала пальцами судьбы людей, без жалоб и подлостей отживших прошлый век и отвергнутых за это веком настоящим.

Теперь шесть десятилетий истории завода ждали на полу прихода уборщицы. Сапожникова переезжала прямо по папкам, и древняя бумага рассыпалась с горестным шелестом.

– Стоять! – неожиданно для себя заорала Ольга Александровна.

Сапожникова изумленно застыла посреди комнаты. Большакова постояла минуту, успокаиваясь и наблюдая паническое метание жирных глазок. Вид разгромленного кабинета поднимал новую волну ярости, и начальница отвернулась к окну. Там завод покидала дневная смена.

На фоне опускающихся сумерек Ольга Александровна была хорошо видна в ярко освещенном оконном прямоугольнике. Шагавший впереди рабочий, увидев Большакову, остановился и поднял руку в жесте прощания. За ним встали другие и тоже замахали хрупкому силуэту.

Желчный свет уличного фонаря выщелачивал цвета, и группа рабочих выглядела пожелтевшей от времени фотографией. Кадр был неровно обрезан по краям стволами деревьев, а сверху украшен виньеткой переплетающихся крон.

Рабочие что-то кричали, но слов было не разобрать – все заглушал ветер, унаследовавший ярость заводского гудка. На что жаловался ветер, было непонятно – может, тоже прощался, а может, требовал возмещения долга человечности. Мокрая взвесь ноябрьского воздуха схватывалась ранними сумерками и загустевала серой массой, размывающей лица людей в бесформенные пятна.

Совладав с собой, Ольга Александровна обернулась к Сапожниковой.

– Обо мне вы напрасно побеспокоились, а свои вещички собрали очень кстати, – проговорила Большакова и, достав заявление об уходе, медленно порвала его. – А ну-ка, поднимите ноги.

Заместительница не понимала, что происходит, но на всякий случай прижала пятки к стойке кресла.

Ольга Александровна аккуратно подобрала с пола несколько файлов и, подойдя к креслу Сапожниковой, осуществила свою давнюю мечту. Она развернула кресло к двери и с разгона запустила десятипудовый снаряд в коридор. Сперва толкать было тяжело, но набравшее ход кресло было уже не остановить. Колесики отчаянно скрипели, клоунский балахон развевался, Сапожникова, растопырив ноги, отчаянно визжала.

Охранник сделал вид, что ничего не заметил, но, когда Ольга Александровна покидала офис, с уважением открыл перед ней дверь.

Сергей ЧЕРНОВ

ОЧЕНЬ СТРАННАЯ ИГРА

Рассказ

Посвящается Карелу Чапеку
и его «Рассказам из одного кармана»

Это случилось в одной из Балканских стран. Стоит ли говорить, в какой? Думаю, нет. Лишь следует знать, что там всегда было неспокойно. История доказала: один выстрел в здешних краях может обернуться войной во всём мире.

Всё произошло на границе.

Поезд стоял уже более получаса. Люди в форме дотошно осматривали документы. Служебные собаки тёрлись о ноги пассажиров и бесцеремонно лезли носами в раскрытые сумки. Приятного в этом мало. Недовольное сопенье и скрежет зубами – верные спутники сей процедуры.

В одном из купе поднялся шум. Человек с гладко уложенными волосами кричал: «Уберите собак! У меня аллергия! Я не переносу собак! Я – британский подданный!» На носу у него – очки в тонкой оправе. Цвет глаз – карий. Рост – не более метра семидесяти. Гладко выбритые розовые щёки, дорогой костюм и то, что в купе он ехал один, говорило: человек этот – птица высокого полёта.

Служебная овчарка настороженно водила ушами.

– Посторонитесь, посторонитесь, я сам займусь, – послышался чей-то низкий голос, и в купе вошёл высокий мужчина с по-лошадиному вытянутым лицом.

Иностранец не разбирался в мундирах и знаках различия, но то, что вошедший имел другую форму, нежели пограничники, дало повод предположить, что он из другого ведомства.

– Прошу извинить. Мы всё уладим, мистер... – На по-деревенски простом лице отразилась добродушная улыбка.

– Мистер Моррис. – Иностранец расположился у окна, раздражённо закинув ногу на ногу.

– Хорошо, мистер Моррис. Я думаю, мы сможем обойтись без собак. К чему недоверие? В наше время человеческие качества, увы, не в цене. Моя фамилия Вукчич. – Допустим, он назвался совсем не Вукчичем. Признаться, я не расслышал имени, так как стоял в тот момент довольно далеко. Но было бы несправедливо оставить одного из героев этой истории безымянным.

Слова он закрепил улыбкой, показав крупные крепкие зубы. Мистер Моррис натянуто улыбнулся в ответ.

– Животное наследило. Всё купе пропахло псиной. Мне душно...

– От всего сердца прошу нас простить. Необходимость, правила! Мы и сами не рады. – Вукчич уселся напротив. – Покажите ваши документы... если не затрудит.

Сергей Чернов родился в 1988 году. Окончил Воронежское областное училище культуры. Печатался в журналах «Проталина» (Екатеринбург), «Подъём» (Воронеж), «Север» (Карелия), «Нева» (Санкт-Петербург), «Берега» (Калининград) и других. Лауреат конкурса журнала «Север» «Северная звезда – 2010» и международной премии «Филантроп 2012» (1-я премия в номинации «Малая проза»). Живет в селе Хреновое Бобровского района Воронежской области. Заведующий Слободской детско-юношеской библиотекой, сопредседатель литературного объединения «Подкова» (Бобровский район Воронежской области).

Иностраннный гражданин протянул какие-то книжечки. Вукчич раскрыл одну из них, но смотрел поверх листков, на лицо мистера Морриса.

– Позвольте узнать, куда вы направляетесь?

– Какое это имеет?..

– Такая уж работа!

– В Н**.

– Думаю, вам понравится этот город. Зачем, если не секрет?

– Не секрет! К чему мне секретничать? Я еду поучаствовать в ежегодном соревновании у господина К**, по адресу: проспект Красных цветов, строение три. Я часто там бываю, можете спросить у господина К** – он мой старый друг. Если бы не мучение на границе я бы сказал, что бильярд – лучший отдых в мире.

– Бильярд?! – Вукчич не сдержал удивления. Вообще он не стеснялся в выражении чувств. Он удивлялся шумно, улыбался с большой охотой и, как казалось, от чистого сердца. Волосы у него редкие, русые. Глаза – чёрные. Черты лица, как и всё тело, крупные: крупный нос, губы; крупные руки.

– Я увлекаюсь этим с самого детства. С шести лет. Если у человека нет увлечения, он, по-моему, неполноценный. Бильярд, шахматы, марки – разве это преступление?

– О, вовсе нет. С самого детства заниматься бильярдом – думаю, вы счастливый человек.

– Документы... они вам больше не нужны?

– Возьмите.

– Долго мы ещё будем стоять?!

– Столько, сколько потребуется. Ваши очки, вы плохо видите?

– Очки?! Я, знаете ли, думал, здесь купе, а не кабинет окулиста! Что за вопросы?! Я-то думал, что разговариваю с представителем власти, а не с врачом! Очки?! Я еду... Я работал целый год! Я еду отдыхать! А вместо этого битый час стою на вонючей станции, в купе пропахшем псиной и табаком, и ещё какой-то господин цепляется к моим очкам! Я, наверное, задохнусь в этом поезде, у меня лопнет голова!

Мистер Моррис залился багровой краской. Возможно, ему стало трудно дышать.

– У вас приступ? Вам нужен доктор? – Вукчич вытянувшись вперёд.

– Этого ещё не хватало!!! Я хочу, чтоб мы наконец-то тронулись! Мне дурно, но я справлюсь без вашей помощи. Какого чёрта?! Если у вас нет больше вопросов, то я проведу остаток пути в одиночестве! С вашего разрешения! Мои документы в порядке?! Если так, то я хотел бы побыть один!

Вукчич кивнул:

– Ну-у-у... а как быть с очками?

– С очками?! Ладно. Если вас позабавит, я могу снять их. Пожалуйста! Ума не дам, какое это имеет отношение...

Пока мистер Моррис, тяжело дыша, вытирал платком взмокший лоб, Вукчич со всех сторон осмотрел очки – тонкая позолоченная оправка, хрупкие линзы.

– Да, – сказал Вукчич. – Линзы настоящие. Здоровому глазу через них ничего не видно.

– Ну наконец-то! Истина восстановлена! Можете их арестовать. Если они сознаются в убийстве, я не удивлюсь – у вас даже камень потеряет терпение! Всё?! Я могу отдохнуть?

– Не волнуйтесь, – успокоил Вукчич. – Успеете отдохнуть. Скажите, давно у вас... проблемы со зрением.

– С четырнадцати лет. Я нарушил закон?

– Не убивайтесь, всё не так уж и плохо... Хотя, кто знает... – Он вернул очки. – И что же вы везёте своему другу на улицу Красных цветов?

– Всякую мелочь: пару сувениров, кий, бильярдные шары, книги... Продолжать?

– Нет-нет, достаточно. Простите, что пришлось... Что так получилось. Такая работа! В общем, можете спокойно отдыхать. К вам больше нет вопросов. Приятного отдыха.

Мистер Моррис облегчённо вздохнул. Мне со стороны показалось, что для него это было что-то вроде маленькой битвы. Битвы, из которой он вышел победителем.

– Скажите, а ведь это как-то странно, – сказал вдруг Вукчич у самой двери.

– Что вам понадобились мои очки? Пожалуй, да...

– Нет, я не про это. Вы сказали, что любите одиночество, а сами отправляетесь на соревнования по бильярду... К тому же, очки... Понимаете, человек увлекающийся бильярдом носит очки – это очень, очень странно. Я поясню: человек, более-менее увлекающийся бильярдом, обычно имеет натренированное зрение. Дело в том, что во время игры хрусталик находится в постоянной работе, глаз следит за передвижением шаров. В каком-то смысле это – лучшая гимнастика для глаз. Впрочем, в вашем случае может быть следствие болезни или травмы... Что ещё?.. Ах да! Багаж! Вы везёте на соревнование по бильярду собственный кий – это понятно. Но!.. Собственные шары?!.. Согласитесь, полное безумие...

Иностранец побледнел.

– Крстаич, собаку!

Поговаривают, у иностранца, мистера Морриса, нашли детали взрывного устройства – и всё там, в бильярдных шарах, которых он вёз на улицу Красных цветов. Кто-то утверждал после, что в багаже ещё нашлось место пулям и деталям пистолета, запасу наркотических средств и паспортам на разные имена. Впрочем, насчет последнего я не имею абсолютно никакого представления. Из вагона в вагон я следовал за широкой спиной человека, названного мной Вукчичем. В третьем от головы поезда вагоне его остановил тот самый Крстаич.

– Ловко, – сказал он. – Сколько вы нам уже помогли? Три раза, пять? У вас талант!

– Да бросьте. – На лошадином лице появилось что-то похожее на грусть. – Я двадцать лет как бригадир этого поезда. На своём веку я повидал немало... негодяев... Как же мне это надоело!

Мистера Морриса вывели под руки. Он не кричал, не сопротивлялся. Лицо его было бледнее самого холодного февральского утра.

Поезд следовал дальше.

Светлана ГУСЕВА

разместились скучно хлопотно
подстелив пальто и плащики
говорит загробным шепотом
батарейка доходящая
так-то яйца учат курицу
дробным танцам по столешнице
дым запаренный сутулится
над покрово и над стрешнево
через стекла в бурых крапинах
смотрят складно видят разное
мамин сын и пальцы папины
то ли плача то ли празднуя
станешь выше тоже спрячешься
за распахнутое личико
глохнет сон когда за качество
принимается количество
и качается контуженный
между воздухом и веками
свет из ночи всплыл медузами
всё приехали

бегущий за автобусом подросток
двумя руками держит капюшон.
когда два сложно порождают просто,
то это – хорошо.

зимой растут у труб хвосты тюленьи,
махнуть бы после школы на каток
и видеть сны соседа по сиденью,
хотя он больше кто здесь, чем никто.

что к лестницам, земли не достающим,
сквозь щель для писем в память передам –
стакан едва хмельной компотной гущи,
приемник, сопрягавший города.

Светлана Гусева родилась в 1987 году в Москве. Училась в школе с углубленным изучением изобразительного искусства, в 2010 году окончила МАрХИ, работает архитектором. Лонг-лист независимой литературной премии «Дебют» (2014, 2015). Лонг-лист премии «Белла» (2016).

вода спешит от ливня скрыться в арку,
и рушится со смехом в котлован,
и делит двор, где дворник ивой шваркал,
на слово и слова.

сначала было: вечер ножик дым
потом случились кислый теплый куцый.
протопанные вроде от балды
не вдруг пересекутся.

я понимаю дерево мороз
но я не знаю скрытый ток и сырость
так соснам подбирается под рост
некрупный человек в плаще на вырост.

вода не растворяет порошок
лежит себе тяжелая пустая
не разольет. так было хорошо
по головам считает
горбушкам хрупким корочкам раз-два
обчелся. не играй вблизи колодца.
и тишина такая, что назвать
так тишину язык не повернется.

слово словом мыли
словно
жидкостью особо едкой
и деревья тратят ветки
словно мы глухонемые
мы и есть глухонемые
если свет не отличаем
если свет не выключаем
за собой в коротком мире
допуская ближе к телу
снисходя до разговора
легкий способ вынес целым
сам себя из разговора
ноги в руки путь проторен
речь последней полюбилась
зачехляют бензопилы.
клен стоял позадь забора.

в лифте между этажами
свет придонный стеклоблоков

мерку сняв дверьми зажали
чтоб не только одиноко
было местным одиноким

поменяли что ли воду
тем кто смотрит с поволокой
представителям природы

разрисован красным клинкер
то ль орнамент то ли идиш
это камешек в ботинке
за которым гор не видишь
не попросишься на выход
тянет пшенной кашей с улиц
в ус не дуешь будишь лихо
но легко чтоб не проснулось

краем глаза на самом краю
в черноземе в молочном пакете
серебрёном внутри. узнаю
через: «тянутся, вылезли, светит»
по игольчатым ладным стеблям,
куда ты всю себя уложила.

набухает, мерцает и – блям! –
по карнизу.

худые перила
и нагретого неба отрез
эту комнату помнят просторной.
потому что на солнце смотреть
через лист, изменяющий форму,
тоже дело.

еще акварель –
дальний берег умеет быть синим.
память крутит верньер. в букваре,
как откроешь, пожарскийиминин.
и домашнего неба отрез.

мама связала свитер,
розовый и кусачий.
я и сказала вите –
вырасту – буду мальчик.

так червяки в капусте
пыльные крылья справят,
если их вдруг пропустит
мама и не раздавит.

представь: на две колонны ригель
положен или скажем проще
на турнике тщедушный роцин
себя поближе в небо двигал.
за детским садом курят трое
как будто время их не видит.
на усеченной пирамиде
неусеченную построить
не дело рук но дело в звуке
который принят между делом
когда над парком облетелым
нагнулся ливень близорукий
очки ища замочных скважин
которым небо точно впроу
не больше двух тропа к собору
вести должна – грузинка скажет

снится хоженое как новое
место впрочем само не местное
под маркизой столы подковою
с оголенными к ночи креслами
из тряпицы до скрипа скрученной
где сочится вода рабочая
верный слух это дело случая
ну и прочее

колючки мои неколючие
такой тонкий снег – а растратили
и тянет под ветер созвучие
кухонная шатия-братия.
из волка пошили береточку
так лес вроде лес но распоротый
а это что это что это что
на звук перекинулось золотом

какие следы у воды
лес – дорога
лес – поводырь.

Михаил МОИСЕЕВ

Виктору Иваніеву

Человек отпускается по рецепту
отпускается из дома из подъезда
с крыши с балкона по пятнадцать
капель по четыре ложки с сахаром
вприкуску с кенгуру вприпрыжку
человек отпускается без рецепта
у него неизвестно где сердце
отпускается взапуски пускается
почти бегом припускается
через двери пропускается
вон он какой бежит
руки раскинул
крылья развернул
где же его меч
где же его щит
отпускается и лежит
отпускается шар
из лоскутов сшит
в корзине рыжий и белый
белый плачет рыжий визжит
ветер свистит
люди бегут
а человек
отпускается
во все тяжкие
во все лёгкие
из всех рецептов
и летит.

Моисеев Михаил Вадимович родился в Новосибирске в 1973 году. Закончил Институт филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета, сотрудник Лаборатории игры Городского центра проектного творчества. Участник поэтических акций в Новосибирске, Томске, Барнауле и других городах России, один из организаторов фестиваля экспериментальной поэзии «Experiences», творческого сообщества «Речпорт». Публиковался на сайтах «Сетевая словесность», «Полутона»; в журналах «Воздух», «Василиск», «Ликбез». Номинант премии «Янтарный слог» (2005). Шорт-лист премии IV Международный поэтический конкурс «45-й калибр». В составе оргкомитета фестиваля «Experiences» – лауреат премии Сибирского центра современного искусства «Культпросвет» (2014).

Давайте поговорим может ли
существовать нынче скриптор
летописец переписчик чужих текстов
представьте вот он сидит согнувшись
разбирая тяжёлые буквы следуя
за неразборчивым почерком
предшественника
рядом стоит графин с чистой
водой хлеб лежит
конечно нет никакого телефона
крики за окном его не отвлекают
вот он выводит букву слог слово
ветер сквозь щель пробует
помешать вряд ли получится
да существует скорее всего
существует не остаётся
ни фотографий ни файлов
ни роликов только листы
ровным течением синего цвета
а на странице восьмой
вдруг возникнет на неизвестном
чужом языке осторожная
запись.

Приготовь большой пирог из яблок с кишмишем
Блюдо вполне азиатское явно достойное
Римских патрициев видишь коня без упряжи
Приведенного насильно под уздцы в закрытое помещение
Горный лук вызывает слезы пробегает мимо ящерица
Не дожидаясь аплодисментов картежников за третьим столом
Перешедших от пива к водке не спрашивая официанта
Такие вещи нужно видеть лучше чем сводки Гидрометцентра
С Караганды добрался северный ветер толкая вагоны с углем
Напишешь письмо песню споешь в дурака сыграешь
Будет легче расхаживать между домами пятиэтажными
В каждой улице предполагая поцелуй или какую-нибудь пиротехнику.

Механизмы живут так долго на берегу реки
Текущей примерно на север не так уж быстро
Я прохожу под железнодорожным мостом
Как будто я буксир тянущий баржу
На которой уголь может в любую минуту

Пересыпаться через край
 Рыбы встретят это с удивлением
 На самом берегу парочка
 Он перегнулся стал похож
 На букву «пэ» а она остается буквой «I» английской
 Другая проезжает на роликах
 Здравствуйте девушка разрешите познакомиться
 Такую длинную фразу не успеваешь произнести
 Даже скороговоркой тем более членораздельно
 Потянулся к черемухе тинэйджеры ее не едят
 Вяжет рот тишиной и нетерпением
 Рисует маленький домик с заборчиком и скамейкой
 С корзинкой пустой и солнце
 Заглянет сюда непременно.

Сохнет ягода на листьях вчерашней газеты
 Со статьей о революции которая продолжается
 Хотя «Марсельезу» никто не поет
 Как называется ягода неизвестно красного цвета
 Поэт остановился у дверей подъезда ищет
 То ли ключ то ли клочок бумаги
 Обычно он оставляет на случай вдохновения
 В одном из карманов только слово «вдохновение»
 Он не любит вымарывает из стихов начинающих
 Иногда приходится и из своих сейчас откроет дверь
 Поднимется на второй этаж зайдет в квартиру
 Давней знакомой она была в ванне но
 Вышла его встретить крикнула проходи
 На кухню разогрей жареную картошку
 Мужская майка на не вытертое до конца тело
 В высотке напротив окна горят буквой «О»
 Внизу по улице проехала поливалка
 Через десять минут будет дождь.

Ты заходишь во двор дома напоминающего формой
 Букву «Н» только несколько неправильную
 Машины стоят так будто они здесь бесконечно
 Долго находятся как деревья или песочница
 В которой мальчишки играют в заподянки
 Надоело играть в заподянки пойдут подожгут
 Пух по дороге в поликлинику или выпьют
 Бесплатно газированной воды не обращая внимания
 На крики вахтерши тень воина возникает
 Посреди двора взгляд девочки пробегающей

Мимо запоминается абзац начинается
С красной строки заканчивается синим цветом
Кто запускает бумажного голубя с самого верха
Он летит летит летит его дыхание сбивчиво
Он высоко над ним только облако под ним
Двор машины деревья пух предметы первой
Необходимости также можно присоединить
К этому списку желтое платье и северный ветер.

Ржавое стремя найденное среди редкой травы
Высохшей под горным солнцем незаметное
Камни вокруг дети бегают прощайте площади
Тем более улицы потом выйдет высокая девушка
В черном длинном наряде укрывающем ее всю
От земли до неба по тому же склону идет стадо
Коров черных и серых почти невидные кустики
Разбросаны по холмам иногда спускаются в низину
Нужно найти ручей с каменистым дном в него
Посмотреть увидеть лицо в глазах облака
Уставшее болезнь притаилась в краешке рта
В глазах у самой ресницы или это не болезнь
А размышление о линиях на глобусе меняющих
Пределы страны проживания пределы страны
Надежды пределы времени дня ночи утра вечера
Двери стоят на самой вершине не закрыты открыты
За ними пространство или бесконечность
А после это иллюзия фокус аттракцион
Веская причина для окончания эксперимента.

Каринэ АРУТЮНОВА

ОКРЕСТНОСТИ УЛИЦЫ ДАНТЕ

Из книги «В тени тутового дерева»

У ночи четыре луны,
а дерево – только одно,
и тень у него одна
и птица в листве ночной.

Федерико Гарсиа Горка

После всего

Это как если вы были на луне и вернулись, а здесь все по-прежнему, но это вам так кажется, что по-прежнему, – на самом деле многое изменилось, – дети выросли, родители постарели, одноклассники стали окончательно и бесповоротно неузнаваемы

Вы были на луне, и все в вас стало лунным, – мысли, движения, чувства, – привыкли к лунным цветам и лунным оттенкам, а о лунной музыке и говорить нечего, – слух ваш истончился и настроен только на тонкие, нежные вибрации, вы все еще хватаетесь за тонкую нить, которая соединяла вас с луной, с ее зыбким светом, – нить провисает, волочится, а луна становится недостижимой, немыслимой, невозможной, хотя вы были на ней, вот только что, – повторяете вы, но как-то неуверенно, – да и кому повторять, – пока вас не было, пришли те, другие, – им плевать на луну, да и нет никакой такой луны, нет и никогда не было

Гранат из окрестностей Лечче

Гранат из Апулии пересек несколько государственных границ.

За недели, проведенные в пути, он, кажется мне, еще больше съезжился и почернел.

Это, собственно, уже не столько плод граната, сколько напоминание о нем, о его долгой, исполненной света жизни.

Лежащий на моей ладони, легкий, давно растерявший зерна, упругость, цвет.

Зерна его выклевали хищные апулийские птицы, – оставив кожуру, оболочку цвета запекшейся крови.

Это гранат без сердцевины, без сосудов, по которым когда-то текла горячая кровь, без капилляров, обеспечивающих обмен между кровью и плотью, без, собственно, самой жизни.

Даже солнечный луч, вдыхающий свет и смысл во все явления и предметы, не может оживить его.

Но отчего же я не решаюсь расстаться с ним?

Как будто по единственной молекуле граната надеюсь воссоздать его душу, дыхание и мир, из которого он произошел.

Если же во сне привидится вам сам римский папа, то ничего дурного и тем более предосудительного в том нет, – некоторые могут узреть в этом доброе и обнадеживающее предзнаменование.

Если привидится вам римский папа, то, скорее всего, проснетесь вы не раньше полудня, а то и позже, всерьез мечтая о глотке воды и чашке кофе одновременно, и вот, пока варится кофе и кофейная гуща поднимается к краю кофеварки, вы припоминаете одну за другой все будоражащие и многозначительные подробности прошедшей ночи.

Ночной морок, исполненный сырости и грусти, позади, а солнце совершает свой ежедневный кругооборот, или же это земля, отклонившись от скорбного своего пути, подставляет себя солнцу, во всяком случае здесь, в этом благословенном всеми святыми месте, тени становятся четче, острее, лучи скользят, обнаруживая доселе невиданные шероховатости и подробности окружающего меня бытия, – я следую взглядом за краем колышущейся занавески и слепну от внезапности и сокрушительности света, и также слепнут вокруг меня все предметы, – распластавшиеся на солнцепеке, они источают накопленную за ночь влагу, и сущность каждого предмета проявляется, созревает, проживает долгую и насыщенную жизнь предмета и стоящей за ним тени, жизнедеятельность которой тесно связана с движущейся стрелкой настенных часов, – уже часам к пяти после полудня тени выцветают, сокращаются, а там и вовсе исчезают, свернувшись клубком под каким-нибудь вечнозеленым растением, допустим, пальмой.

Если сам папа римский посетил ваш сон, то будьте уверены – это всего лишь сон. Зато свет, льющийся сверху, абсолютно реален, он не требует доказательств, как, впрочем, и тень, и проступающий в надвигающихся сумерках влажный, сладковатый аромат миндаля, – вначале вы слышите аромат, а уже потом видите – цветущее дерево, – его упругие и розовеющие на закате соцветия, и пасущегося в долине жеребенка, его юную атласную спину, а чуть поодаль – ладно прилаженные один к другому бульжники, и тусклые воды забвения там, под сводами каменных сооружений, между истертыми ступенями, перекинутыми мостками и изъеденными ветрами и дождями средневековыми стенами, – крошечной темнотой и вековым холодом веет оттуда, из заброшенной крепости, – и даже южное солнце не успевает вдохнуть в них подобие жизни.

В любом уважающем себя городе вы без особого труда отыщете две улицы – виа Данте и виа Рома. Виа Рома, как правило, проходит через весь город, подобная рыбьему хребту с отходящими от него, хребта, острыми параллельными лучами. В Палермо улица, обладающая столь впечатляющим именем, простирается от Palermo Centrale – центральной автобусной станции – до самых до окраин, – этим она напоминает мне улицу Яффо в Иерусалиме, – тоже сквозную, позволяющую без всяких карт, руководствуясь исключительно интуицией и неперемными указателями, добраться до иудейских, мусульманских и христианских святынь, – но вернемся к бесконечной la strada – и вновь напоминание о великом Феллини, и вследствие этого первые шаги по виа Рома полнятся благоговением и робостью, – шутка ли, сама ла страда простирается впереди, и здесь опять призывный вопль Дзампано, и неприличный звук, издаваемый духовым инструментом, зажатым руками и губами маленькой бродяжки, – сила ассоциаций предвдвряет зрительный ряд, – и прежде скользкой от банановой чешуи и копоты выхлопных газов мостовой именно это, – провожая таблички с указателями почтительным мычаньем, ползем, навьюченные неперменной кладью, отмечая тут и там явные свидетельства всеобщего запустения и упадка, – сегодняшняя виа Рома мало чем отличается от любого азиатского пригорода, – люди в чалмах и бурнусах населяют ее, и витают ароматы пережаренной сои и скучности над старинными балконами, балконами, знававшим времена Гарибальди и, – бредом мы по рыбьему остову древнего города в поисках временного жилья – завидев темный переулок с дюжиной другой подвешенных велосипедов – чуть выше можно увидеть указатель via bicicletta, – со слоняющимися в растянутых майках и шлепанцах темнокожими отроками и отроковицами, мы сворачиваем туда безошибочно – на улице Дивизи (что примечательно, указатель на иврите и арабском) витает дух ночной расслабленности, что неудивительно, впрочем, – в незапамятные здесь был монастырь, здесь падшие женщины покупали невинность, здесь торговали невинностью оптом и в розницу, – пожалуй, ночь здесь – самое бодрое время суток, – не заперты многочисленные велосипедные лавки, распахнутые окна пропускают некий намек на прохладу, – чего не скажешь в полдень следующего дня, когда все пологи и жалюзи окажутся запечатанными, а сама улица – нежилой, – утро в этих благословенных краях подобно обмороку, из него следует выходить как можно скорее, прорывая

блокаду духоты, влажности, дурноты, что мы и делаем, – слава богам, эспрессо на Сицилии никто не отменял, и томная горечь, обжигающая небо и гортань, пробуждает извечное любопытство путешественника, – мы спешно покидаем съемный угол на улочке велосипедов, – ныряем в равномерный жар, перебегаем на теневую сторону улицы, и вот, все та же бесконечная *la strada* простирается, на этот раз радуя глаз витринами, за которыми одетые и обнаженные манекены следуют за нами до самой Вуччерии, которая не спит ни днем ни ночью. Свидетельства вечности, окружающей нас, столь очевидны, сколь очевидна условность ее, – ибо бережно (либо же варварски) донесенные до наших глаз останки ее – руины – подернуты признаками давнего увядания, разрушения, искусственно продлеваемой старости, – сопутствует этому ощущению неистребимый душок, кариес, остеохондроз и пародонтоз, ввевшийся в бульжники, толстые стены, ступени, – отчего невозможно, слой за слоем, смыть признаки сменяющих друг друга эпох и времен, добраться до первопричины, основы основ, – благоухание финикийского цветка давно иссякло, – его сонные лепестки рассеяны по ветру, пришельцы становятся хозяевами, сменяя друг друга – собственно, они никуда не уходили, – греки, римляне, готы, сарацины, евреи, арабы, – «*ceterum censeo Carthaginem delendam esse*», – «Карфаген должен быть разрушен», – изрек некто Катон, и он, конечно же, был разрушен до основания, – по раскаленным улочкам струится влага, она никогда не заканчивается даже под воздействием палящего солнца, – ничто не вечно под ним, как и под луною, но вот, поди ж ты, – тянется вечная *via Roma* вдоль вечных улиц и задраенных наглухо (на время *сиесты*) окон, по ней тянемся вечные мы, с трудом отлепляя подошвы от расплавленного асфальта, – Африка близка как никогда, – протяни руку, и обманчиво медоточивое дыхание соседнего континента захлестнет музыку *lingua siciliana*, сицилийского диалекта, с вплетенной в его греко-римский каркас арабской вязью, – выталкиваемое небом фрикативное *h* достигнет благословенной Апулии, соперничая с тосканским, на котором изъяснялись Петрарка, Алигьери и Боккаччо, – они уже здесь, темнокожие сыновья Агари, – они уже здесь, если верить взгляду и слуху, – история же подтвердит, – они никуда не уходили.

Палермо

Палермо похож на увядшую красотку, которая сохранила, невзирая на преклонные года, кокетство и капризную мину – она проступает сквозь глубокие морщины, складки, сквозь руины давних побед и крошево угасших желаний.

Из города этого хочется бежать, и даже ужин в скромной trattoria, где милая синьора представила усталым путникам весь спектр сицилийской кухни – от спагетти болоньезе до запотевшего графина красного столового вина, и даже поздний ужин в trattoria – сытный и простой, как пестрая клеенка, заменяющая скатерть, – и даже обильная трапеза не смогла усмирить желания бежать из душного, насквозь прокуренного, заваленного нечистотами огромного города, с его узкими улочками, с его роскошными анфиладами и колоннами, с пухлозадыми ангелочками и святыми всех видов и мастей, – сквозь годы, десятилетия и века протягивают они скорбящие длани свои, встречая чужеземцев и провожая их же.

А чужеземцы, собрав нехитрый свой скарб, торопятся на последний автобус, уносящий в сторону темнеющих гор, – в сторону простора, воздуха, пространства, вширь и вглубь, вдоль и поперек в сторону Сицилии, которая гораздо больше, чем оставленный позади город, – вот она – с виноградниками, склонами, усеянными чертополохом, – с устремленными ввысь ветвями миндаля под окном, – с истекающими сладким соком раскрытыми плодами смоковниц, с оливковыми рожами, диким шиповником и айвой, – вот он, вкус земли – добрый, терпкий, дразнящий, – плывущий над черепичными крышами дымок, пасущиеся агнцы, – сплошь и рядом с вытянутыми модильяниевскими ликами, – вот овцы, козы, жеребцы и белые кобылицы, отгоняющие мух, – вот молоко и мед, вот сыр, вот полуденный жар и ночная прохлада.

Время

В этих городах время остановилось, либо же течет вспять – куда ему вздумается, по извилистым улочкам, вдоль испещренных трещинами стен, стекает к площади с неизменной церквушкой и тут

же, неподалеку расположенной трактиром. Время замирает на время сиесты – прячется за плотными ставнями, заходит кашлем одинокого старика либо плачем ребенка. Бульжники на мостовой хранят воспоминания, – о шагах, – легкомысленных и быстрых, медлительных и печальных, – о неспешной поступи старцев и цокоте бойких каблучков.

Здесь тени живут своей таинственной неспешной жизнью.

Хозяева покинули их, – давно, очень давно, в незапамятные времена, – покинули, истаяли, как и само воспоминание о них, а тени продолжают жить, блуждать от дома к дому, вести беззвучные беседы друг с другом. Стерты грани между бытием и небытием, между вчера и завтра, – сегодня и когда-нибудь.

Они жили здесь всегда. Помнили себя счастливыми, мечтающими о счастье, вспоминая о нем, сожалеющими о недостижимом. Камни хранят молчание, – великие тайны, разгадка которых доступна разве что детям, блаженным и глубоким старикам.

Здесь нет плавных переходов от дня к ночи, – день обрывается внезапно, – когда последние лучи солнца касаются темнеющих гор, и тогда город погружается в тишину, так несхожую с тишиной большого города. Те самые горы, еще какой-нибудь час тому назад услаждающие зрение оттенками красного, зеленого, золотого, дымчато-голубого и розового, надвигаются угрожающе, заставляя сжиматься сердце в предчувствии непостижимой беды.

Город погружен в темноту, и только фары проезжающих автомобилей создают иллюзию движения, – на самом деле все застыло, – деревья, дома, люди, – застыло, уснуло, померкло в ожидании лучей, пробуждающих к жизни все живое.

В маленьких городах время спит, накрывшись пуховым одеялом, и только ветер с гор приносит звук колокольчика либо пустой жестянки, привязанной к ноге какой-нибудь божьей твари.

Под балконом раздается хруст, топот, ржанье или бляенье, – слаще этих звуков, пожалуй, и нет ничего в этих краях, как прикосновения к шершавым и мягким губам белой кобылицы, и облачка теплого пара из ее доверчивых ноздрей.

У нас на Сицилии

Женщина оказалась сицилийкой, – довольно немолодой, некогда миловидной, а сегодняшним вечером просто утомленной, – она приняла заказ, принесла хлеб, вино, приборы, – а чуть позже огромное блюдо со спагетти, – блюдо оказалось обжигаше-горячим, а хваленое спагетти – обычной вермишелью, политой соусом, – честное слово, сама я делаю не хуже, а в моменты вдохновения гораздо лучше, – а в этом конкретном случае сложно было предположить момент вдохновения, – повторюсь, – конец дня, когда приличные люди не обедают, а, допустим, выпивают, но мы решили не отставать от прочих и заказали вина, – хорошего красного столового вина, и оно не замедлило явиться, – лицо немолодой сицилийки казалось утомленным и вообще несколько озабоченным, – оно немного диссонировало с моим ожиданием праздника, – знаете, – такое, – «эх, прокачу», – хотелось одновременно уюта, еды, питья и отдохновения, а еще – веселого такого кутежа в рамках домашней таверны, совсем, знаете ли, домашней, со столами, покрытыми простыми скатерками, – после целого дня, проведенного на ногах, и вдобавок всухомятку, в чужом и каком-то холодноватом, несмотря на теплую сухую погоду, городе Палермо, – в самом сердце Сицилии, в которой на каждом шагу мне чудилась мафия, но мафии не было, а только усталые нелегалы из Пакистана и смежных с ним стран предлагали трогательные букеты – об этом у меня отдельная история, тоже весьма трогательная, – об индусе или пакистанце, который, проникновенно глядя мне в глаза, протянул букет алых роз. Нежно улыбаясь, я приняла хрупкий дар из смуглых настойчивых рук индуса (предположим, индуса), – как трепетно я тянула руки, – казалось, все происходящее исключительно в мою честь, – и оркестр на площади, – все как один собрались чувствовать меня – да, я приняла цветы, но через пять минут вынуждена была вернуть их обратно, потому что очарованный мною (по всей видимости) пакистанец следовал по пятам, сверкая белками глаз, и мне такое навязчивое внимание показалось странным, пока я не обратила внимания на одну девушку, которая отбивалась от другого пакистанца с букетом, а потом еще и еще, – горьким был момент отрезвления, и жаль было всех этих милых

людей с букетами, – совсем юных и далеко не, а особенно последнего, совсем старика, который, протягивая цветы, бормотал – но мани, но мани, мани, близ, ес ун регало ле сеньора, – так вот, я отклонилась от курса, – вернемся в уютную таверну и к славной ее хозяйке, которая (о, кризис, кризис) одновременно исполняла обязанности официантки и, возможно, даже поварихи, – наматывая спагетти на вилку, я следила за ее передвижениями по залу.

Старенький вентилятор дарил ощущение прохлады, и в целом было уютно и мило, совсем домашнему, вино плескалось в чуть запотевшей бутылки, все как положено, и куча спагетти на блюде не думала уменьшаться, – вечер затягивался, а хозяйка, подперев ладонью щеку, смотрела в экран висящего под потолком телевизора, – там было что-то о Берлускони, – какая-то юмористическая передача, – было, правда, смешно, и мы даже посмеялись все вместе, просто так, чтоб ощутить себя своими на этом поле, где были только свои, – поздние гуляки, – смотри, наверное, это ее муж, наверняка покойный, – поддавшись внезапному приступу человеколюбия и присущего мне сострадания, встрепенулась я.

На стене висел портрет мужчины в годах довольно характерной неаполитанской наружности, – видимо, наша хозяйка – вдова, – эта таверна принадлежала ее покойному мужу, и теперь она одна крутится как может, и все эти поздние мужчины, по всей видимости, знавали ее в лучшие времена, но и сегодня они приходят сюда поесть и опрокинуть стакан-другой доброго красного вина, – такая версия казалась мне заслуживающей внимания, и на прощание я улыбнулась синьоре все понимающей улыбкой.

И каково же было мое изумление, когда точно такое же фото немолодого мужчины характерной неаполитанской наружности я увидела висящим в одном доме на довольно почетном месте, а потом еще в одной таверне на стене, а потом – в церкви, – до сих пор точно не знаю, – возможно, это был известный на Сицилии проповедник, или святой отец, или просто святой, что не мешало ему, конечно же, по совместительству, быть покойным мужем владелицы таверны.

Феличита

Под южным солнцем все происходит стремительно – зачатие, рождение, взросление.

Чего стоит кратковременная жизнь цветка? Разве можно сравнить ее с жизнью камня, человека, дерева?

По протяженности – вряд ли. А по наполненности – вполне. Усеянная цветами поляна благоухала, нежные лепестки тянулись к солнцу, не подозревая о том, что завтра на смену им придут другие, возможно, точно такие же, как они.

Короткая жизнь цветка. Всего один легкий, малозначительный, казалось бы, штрих на эпическом полотне, среди тяжелых, пастозных мазков, но именно этот штрих сообщает о том, что зимние дни позади, именно этот штрих придает картине очарование сиюминутного, не смеющего соперничать с вечным.

Трепет воробья. Новелла не вполне о цветах, как вы могли бы подумать.

Она скорее о пульсации, о ритмических сокращениях, предшествующих тому, что люди называют любовью или влечением.

О том, что далеко не всегда удается зафиксировать сиюминутное, далекое от постоянства, бесконечно притягательное нечто.

Подобное этим цветам-однодневкам, или же моментальному снимку, или случайному взгляду, фиксирующему пресловутый трепет воробья, без которого прожитый день пуст, а жизнь бессмысленна.

Питтура, – раздвинув губы в рассеянной улыбке, сеньор Антонио, хозяин дома в скучном спальном пригороде небольшого городка на острие изящного итальянского сапожка, незаметно вздыхает,

любуюсь бликами, скользящими по стене, на переливающиеся всеми оттенками пурпурного, изумрудного, благородного коричневого, янтарного, припорошенные пылью бутылки из-под благородных напитков, – похоже, сеньор Антонио страстный коллекционер всего прекрасного, и оттого дом его, в котором каждому предмету отведено свое место, случайному гостю мог бы показаться захлавленной пещерой стареющего холостяка, выдержанной, впрочем, в достойных, сдержанных, терракотово-песочных тонах, – однако, это было бы непростительной ошибкой, потому как бессмысленно забытых предметов здесь нет, и небрежно разбросанные и расставленные там и сям глубокие округлые чаши, остроконечные конусы, оплывшие свечи в тяжелых подсвечниках, латунных или же бронзовых, мерцающие бутылки на подставках, разноцветный ворох конфет в плетеной корзинке посреди огромного стола, на котором чего только нет – тикающие бесперебойно будильники, старый компас, коробки из-под леденцов, пустые сигаретные пачки, и среди них, о, причудливое совмещение несовместимого, – привет из знакомых широт и времен, – растекшееся кириллицей, – «беломорканал» (недобрым потянуло сквозняком, затхлостью коммуналки, весьма относительной чистотой половичков (как неременной данью чувству прекрасного, свойственного всему роду человеческому), утоптанной дорожкой в общий сортир, в котором на ржавый гвоздь нанизанные обрезки то ли «известий», то ли «правды», – напускной бодростью «пионерской зорьки», безумным речитативом, интонационно нарастающим, угрожающим перераста в полномасштабное сумасшествие, марш человекоподобных, живущих, дышащих, умирающих за некую фантазмную идею), – как сейчас помню смятые надорванные пачки в смежной комнате на старой квартире, мамин отчим дядя Миша курил, конечно же, этот самый беломорканал, и сосед дядя Коля курил его же, – очевидных доказательств тому нет, но что-то подсказывает, дело обстоит именно так, – топчущиеся в коридоре второго этажа (соседские дети произносили «калидор»), перерыв между таймами футбольного матча, страстная затяжка во время торопливого перекура, придавленные бычки в ржавой консервной банке – компонент абсолютной, безграничной мужской свободы в унылых хрущевских джунглях, впрочем, унылыми они кажутся отсюда, а тогда – вполне себе уютные человеческие норы, украшенные затейливо палисадничками, половичками, увитые дикой виноградной лозой, окруженные всем самым необходимым для выживания, – гастрономом, пивной, овощным, химчисткой, – гордился ли сеньор добытым раритетом, обитающим по соседству с аккуратным рядом томов Габриэле Д' Аннунцио, Данте Алигьери, Монтескье, Ларошфуко, со старинными гравюрами в старинных книгах, пахнущих прочным уютом долгих вечеров, неторопливых бесед, – о, отзвук блаженного одиночества, струение желтеющих страниц, – картина, картина, – повторяет Антонио, в сладкой улыбке раздвигающей чувственный прекрасный рот, – в ней много доброй грусти, тонкой и светлой грусти ценителя прекрасного, – тому свидетели тяжелые фолианты, множество трудов по истории искусств, литературоведению, – стихотворные томикки с золотым тиснением на кожаных переплетах, – картина, – вздыхает Антонио, скользя близоруким профессорским глазом по полкам, картинам, вазам, часам, – сегодня я возлежу на продавленном профессорском топчане, накрывшись профессорским пледом из чистейшей шерсти, – вслушиваюсь в тиканье спрятанных в шкафу часов, – а что здесь не картина, что не она, – поживаясь от сырости (февраль, дожди, длинные холодные вечера в тихом предместье), наблюдаю за льющимися из-за туч потоком внезапного света, преобразующего все и вся на своем пути, – мокнущие акварельные разводы, тяжелое старинное золото, легкой кистью подсвеченные листья, – этажом выше и левее звонкий детский плач, – ах, Франческо, – Франческо, – воркуют невидимые мне сеньоры, уговаривая, утешая, увещевая капризного бамбино, – этажом выше и правее святое семейство готовится к трапезе, грохочет утварью, – пожилые матроны колдуют над блюдом спагетти, переговариваясь, проворными смуглыми пальцами натирают пармеджано, похожий на заскорузлый брусок хозяйственного мыла, – и это тоже картина, – смеется профессор, делая глубокий чувственный глоток из бокала, не в силах выбрать между розовым тосканским либо же рубиновым, из домашних подвалов Саленто, либо терпким, изысканным, с гранатовой горчинкой, из Перуджи, с южных склонов Монте-Субазии, окружающих живописную Умбрию и спрятанную в ее сердцевине жемчужину Ассизи.

Антонио входит в в сопровождении Луки.

Лука – настоящий Арлекин, – я вижу это с порога, пока произносятся соответствующие моменту

приветствия, – его яркий пухлый рот, характерный нос, бритая голова, – как будто вылепленная из папье-маше, – с нежными бугорками и впадинками, наверняка приятно шершавая на ощупь, – одно-ко до последнего дело не доходит, – смущенно улыбаясь, Лука переводит с итальянского на английский, с которым профессор явно не дружит, наверняка оправдывая этот факт (о, мне ли не знать о стыдливом высокомерии гуманитария, отвергающего якобы чуждое!) глубиной и направленностью собственных интересов, – пока профессор, окунув ладони в карманы просторных брюк (в широкий светло-кофейный вельветовый рубчик), созерцает что-то там за высокими окнами собственного дома, Лука (заговорщицки улыбаясь) сообщает о надломленности и уязвимости профессорской души, что видно, впрочем, совершенно невооруженным глазом, – из сбивчивого повествования (или это только кажется мне?), я узнаю о разбитом сердце, о саднящей ране, – ни слова более, – я делаю предостерегающий жест, уловив полный невысказанного взгляд пожилого патриция, – любовь, что же еще, любовь человеческая, вселенская, заключенная в сочетании букв, слов, звуков, – аморе, агапэ, – впрочем, каким еще словом можно объять необъятное, выразить безмерное, – чувство покинутости, тоски по ушедшему, по покинутому навсегда саду наслаждений, – о, Сальваторе, – глаза профессора, светло-карие, бесконечно добрые, – глаза настоящего романтика, умеющие быть восторженными, наивными, чуть ироничными... Они плачут.

Чужой дом.

Сколько тайн скрывают эти стены?

Похоже, разрыв между ними произошел в канун Нового года, – я вижу изящно упакованные, перевязанные алыми лентами подарки, – свертки, коробки, – похоже, их так никто и не открывал, – ничьи нетерпеливые пальцы не срывали украшенную звездочками бумагу...

С портрета, прислоненного к полке, смеются прекрасные глаза юного Сальваторе, – прекрасно-го, словно сто тысяч богов, – глаза, полные смеха, жизни, ума, – сверкающий из-под разлетающихся к вискам бровей взгляд южанина, – как познакомились эти двое? как расстались? сколько часов провели они в этих комнатах? как любили друг друга? на чем?

Огромная кровать с витой железной решеткой у изголовья, красные свечи, тяжелое распятие на стене, безмолвные фигурки святых.

Широко улыбаясь, Лука-Арлекин раскланивается, – да-да, – словно очнувшись от долгого забытья, профессор вздрагивает и, не удержавшись от протяжного вздоха, протягивает небольшую уютную ладонь

Сальваторе уплатил за вас, – уютная синьора решительно отвела протянутую ладонь с пятью сольдо, – таковы традиции сих удивительных мест, – южане народ гостеприимный.

Самого Сальваторе и след простыл, – нет, четверть часа тому он деликатно заглянул в закуток между игральными автоматами, светящимся экраном в противоположном углу полуосвещенного зала, – перелистывая утреннюю газету, некто Джузеппе допивал вечерний эспрессино, а из смежного помещения доносились переливы неполитанской речи, напоминающей скорее музыку, нежели слова, в которых обыденность на мой, чужеземный слух, становилась волнующей ровно настолько, насколько язык, отражающий ее, был чарующе неясен.

Сальваторе заплатил, – взмахнула рукой мама Рома, владелица единственного бара с вайфаем в округе, и по счастливому совместительству мать двух взрослых сыновей и юной особы, прелестной бамбины, наделенной редким именем Ишмаэла, – прорези угольных приподнятых к смуглым вискам глаз, точеный носик, яркий рот, – алая роза? Луковка тюльпана? Ароматный ландыш? Влажная лилия? Прекрасна, точно ночь в Тунисе, и так же таинственно темна, – стебли этого цветка произрастают из Магриба, а лепестки пропитаны влагой Адриатики, ее солью и бризом, ее бириюзой и сладостью.

Там, в телевизоре, скороговорка, в которой улавливаю знакомое «Путин», «Украина», «ульти-матум». Позывные из мира, который по мере отдаления становится менее реальным, но от этого не менее тревожным.

Но почему здесь? Что хорошего вы нашли в провинциальном скучном городке, – округлила глаза Фиомена, – я не нашлась, что ответить ей, чем оправдать пребывание в этой, бог ты мой, глуши, –

подумаешь, свет, эка невидаль, солнце, оливковые рощи, лазурная полоса моря, тишина, – всем этим мало кого удивишь здесь, на окраине римской империи и на острие итальянского сапожка.

Пока Фиюмена округляет глаза, я выскиваю то, ради чего я здесь, – осколки уходящего, ушедшего, собственно говоря, мира. Стойких оловянных солдатиков, жестянки, шкатулки, старинные радиоприемники, умолкшие навсегда, но сохранившие основательность и убедительность предметного мира, со всеми этими тяжелыми рамами, старыми книгами, картинами, игрушками.

Я держу в руках книгу 1880 года. Я познаю ушедший мир через хрупкость страниц и стебли заложенных между ними цветов, давно увядших и утративших аромат.

Что ищите вы здесь, в нашем скучном городке?

Письмо на почтовой открытке с фотографией прекрасной Элизабет начинается со слов, – моему дорогому Дино...

Год не указан, но, судя по всему, оно шло из Буэнос-Айреса в Милан и все же попало в руки адресата. Что стало с ними после? Были ли еще письма, полные нежности и ожиданий? Ответил ли Дино? Что ответил он своей Элизабет? Что почувствовал он, вглядываясь в черты, запечатленные на фото? Была ли это любовь, или страсть, или же привязанность?

Встретились ли эти двое после? Как долго пересекались линии их жизней? В каком году была поставлена точка?

Кто покинул этот мир раньше? Дино или прекрасная Элизабет?

Как чужое письмо попало в лавку древностей, затерялось среди сотен других открыток и писем с видами запечатленных на долгую память мест и лиц?

Когда в последний раз листал он, герой и адресат письма, альбом со старыми снимками?

Я видела его вчера сидящим в глубине лавки. Посреди всех этих вещей, отягощенных историей и пылью времен. Отражение неизвестного мужчины проступало из старинного зеркала, подернутого пленкой множественных воспоминаний.

Возможно, всю жизнь он пытался найти слова, достойные женщины из далекого Буэнос-Айреса.

Возможно, он писал их вновь и вновь, уже потом, когда память стала единственным прибежищем, когда поезд жизни замедлил ход, а затем понесся с неслыханной скоростью, оставляя позади все самое ценное...

И вот оно здесь. Граммофон, саквояж, портмоне. Часы, показывающие одно и то же время, с замершей секундной стрелкой, с повисшей безжизненно минутной.

Кто все эти люди, зачем касаются они моей жизни, моего детства, моих писем и книг?

Я все еще здесь, меня зовут Дино. Я отражаюсь в зеркале, я все еще пишу письма туда, куда не летают самолеты, не ходят поезда, не стучатся почтальоны. Это гораздо дальше Буэнос-Айреса, гораздо дальше. Там, в таинственном Зазеркалье, куда пишутся письма, полные любви и тоски

Сумерки на юге обваливаются вместе с пронизывающим холодом, – он идет из глубин прогретой за день земли, – солнце в феврале ослепительно, все еще достаточно далеко, а камень, хранящий надменное молчание, близко. По розовеющему небу ползут свежие алые царапины, – они кровоточат, растекаясь акварельно-молочным ближе к вершинам гор и замерших в замысловатых позах деревьев. Порой кажется, это чьи-то окаменевшие души, – скорбь ли тому безграничная виной, страх, ужас, но крючковатые руки тянутся вверх, сухожилия напряжены и вывернуты, разве что крик не срывается с губ, искривленных гримасой боли.

Холод в этих местах идет из глубин земли, – его сопровождает озноб и желание поскорее выбраться отсюда, – кто знает, какие зловещие тайны скрывают эти деревья, эти дома, эти соборы, эти сумрачные своды, анфилады и колонны, что прячется за толщиной желтых стен, за белой пылью веков

Мир стремительно меняется, а здесь все та же «феличита», и это так естественно, где же ей быть, этой феличите, куда приткнуться, если не к этим старым стенам и вечным ценностям, которые ни на йоту не утратили очарования. Все течет, все изменяется, а кофе все так же крепок, а шоколад – горек.

Слышен колокольный звон, и падре начинает проповедь. Солнце садится за крыши домов, и вот она, феличита, в звуках, голосах, лицах.

Дорогие рагащи, – говорит падре, – дорогие дети, юноши и взрослые, – взгляните на этот лучший из миров, – разве не для этого мы пришли сюда? Разве не для того, чтобы петь денно и ночью – феличита, феличита...

Лукавый и разбитной лик Пульчинеллы все чаще является мне, – то из-за поворота вынырнет, то за фасадом ближайшей лавки блеснет, – внушительных размеров вислый нос и запавшие щеки стареющей куклы, принявшей за чем-то человеческий облик, встречается на каждом буквально шагу. Пытаюсь выхватить его, запомнить, восстановить в памяти, но лик переменчив и неуловим, – потешные он корчит рожи, подмигивает, демонстрирует признаки устойчивого психического неравноновесия, – вдоль кромки семенит утлая старушка со шпичем, – в дурной шляпчонке и наверхенных вдоль тощей шеи шалах, – но я не Раскольников ни в коем разе, – я мирно улыбаюсь ей вослед и останавливаюсь, потрясенная, – эпоха Возрождения являет миру (и мне) субтильного юношу в тонкой оправе очочной и вытянутым венецианским профилем, – о, Караваджо, о, Рафаэль, – шепчу я, пугая случайных прохожих пристальностью чужеземного взгляда, – в отличие от старожил, я вижу скрытое от взоров, и жажда познания равносильна остроте зрения, которой похвастать не могу.

Венеция

Позади роскошный, живописный, густой и добрый юг.

Контрастные цвета уступают место пастельным, жемчужно-серым тонам. По мере продвижения на север насыщенность красок и многообразие форм сменяется графической четкостью линий.

От размытой акварели до изысканнейшей каллиграфии. Неведомый мне мастер прорисовал тонкие деревца, воздевающие перышком очерченные ветви.

Пролетающие мимо указатели сулят неизъяснимое блаженство.

Дождь моросит, размывая и без того размытое. Огни струятся по стеклу, смывая пыль долгой дороги.

Венеция. Словно прекрасная дама, обещает, манит, ускользает.

Разве можно понять, познать ее до конца? Где еще, скажите на милость, поэтическое вещество разлито столь щедро, столь царственно?

Alloa, – выдыхая, пробуете на вкус. Пытаясь остановить струение вод и часов. Эти улицы горворливый, ни на минуту не смолкают голоса. Нет ракурса, стены, поворота, укрытого от назойливого внимания путешественника. И все равно, вы первый. Ваш кадр – единственный, уникальный.

Она обрушивается, исторгая всхлип и слезу. Точно ковш экскаватора, перелопачивает, перелицовывает, разворачивает, – лицом к лицу, о, боги, как страшно, неизъяснимо страшно и сладко касаться вечности, тонуть в звуках, оттенках, осознавая неизбежность разлуки, сиюминутность касания.

Разведя руки, дотрагиваетесь до стен, закрыв глаза, бредете, справедливо полагая, что улица выведет к площади, собору, каналу, мосту. Дорога ведет к площади, площадь к собору, в который уже не надеялся войти, – войти, замереть, умереть, воскреснуть.

И маленькая клоунесса, жонглирующая факелами, – назовем ее Джельсомина, – сворачиваем за угол, не упуская из виду клетчатое трико и шляпу-канотье, сливаюсь с толпой восторженных девочек в хиджабах, – боюсь, не настолько знакомых с великим Федерико, но это не столь важно, ладони их, узкие, смуглые, гибкие, созрели для хлопка, для изъявления благодарности, восторга, внимания, поощрения, и клоунесса трубит в импровизированный горн, сотрясая утробным «Дзампано!!!» импровизированные подмостки, и вопль этот, ударяясь о стены, воспаряет в ослепительной голубизны просвет между домами...

А на карнизах голубки курлычут, склоняя рафаэлевские головки, – это особый вид венецианских голубей – высшая каста, не брезгующая крошками пармеджано и картошки фри, – отдавав деликатесов, взмывают ввысь, перелетают каналы, без смущения венчают головы статуй, вторят органному гулу с площади святого Марка.

Стоит ли перечислять красоты этого мира, смаковать избранность этого дня, неповторимость его, быстротечность. Не лучше ли петлять по незнакомым улицам, задрать голову, вычленив из общего кадра распахнутое кем-то окно, темнеющий проем и седую голову за шторой, узкую руку с игрушечной лейкой, рассеянный взгляд, рассеянный либо же настороженный, привычно отсекающий взгляд беспечного чужака, – приметы протекающей параллельно восторгам жизни, наполненной каждодневной суетой, звуками, выпархивающими из глубины двора, из темноты его и влаги, сдавленный стон голубей, всплеск весла, шорох десятка подошв и упруго соскальзывающее с губ – аллога, – итак, будто продолжение послеполуденного сна, – тени ложатся, повторяя формы соборов, домов, черепица, с которой капли стекают медленно, будто в размытых туманом и дождем кадрах Тарковского, и этот глубокий дивный цвет, венецианский красный, в нем хрип охры, глубокое контрастно кармина и холод краплака смешались, явив миру густой, как тяжелый пыльный занавес во дворце пионеров, за которым воспоминания ютятся, – там изогнутый причудливо горн, барабанные палочки и, собственно, сам барабан, венчающий детскую мечту о прекрасном закулисье. И пронзительный вопль клоунессы, утроенный колодцем двора, – Дзампано! Дзампано!

Какая из них твоя, – отраженная в каналах, письмах, восклицательных знаках, мечтах, придыханиях, – колеблющаяся в изумрудных водах, освещенная внезапным солнечным лучом и тут же заботливо укутанная туманной взвесью, – точно таинственная незнакомка, укрывая от глаз постороннего, она погружается в сумерки, уходит в ночь, оставляя позади мерцание огней, игру полутеней, подмостки витрин, многоязычие толпы, суетность ее, предсказуемость, – на фоне всегда непредсказуемой, многоликой, хоть и тысячу раз воспетой красоты.

Какая же из них – эта, шумная, или та, увиденная с далекого берега, за которым отсчет проявленных кадров идет с конца, и первый становится последним, – с чайкой, хозяйственно переваливающейся на кривых лапах по причалу, пиццерией на углу, трепещущим обрывком афиши, – какая из них наблюдает за тобой сквозь хищные прорезы в масках, – с наступлением ночи именно они проступают из темноты, пугая многообразием, повторяемостью, – они выходят на подмостки, кланяются, ухмыляются, хохочут, предвкушая долгие полные часы, шепот влюбленных, смех, и ... ближе к рассвету, – тишину, несколько блаженных часов тишины, прерываемой разве что криками чаек, гудками с набережной, треском открывающихся ставен, раздвигающихся жалюзи, за которыми очаг, нарисованный на старом холсте, и спектакль, похожий на жизнь.

Венеции нет. Рима нет. Ничего нет. Где-то там вьется лента шоссе, застыли деревья в предчувствии ночи. Эта наполненная звуками (драматическим воем сирен, шорохом сдвигаемых жалюзи, лаем соседских собак, пением птиц (оказывается, есть активно поющие ночные) реальность кажется насквозь условной. Существует только то, что создало наше воображение, наполнило событиями, заселило людьми, вложило текст – каждому свой. Седовласый мужчина поправляет идеально выглаженный воротничок. Все в тон – идеально сидящие брюки, пиджак, жилет, рубашка, платочек в кармашке – идеально свеж, взгляд – доброжелателен, – господи, как прекрасен этот лучший из миров, населенный седовласыми джентльменами, выгуливающими своих питомцев (питомцы того же почтенного возраста, и потому пользуются возможностью льготной поездки в премиальной детской коляске). Как прекрасен мир, населенный смеющимися, расслабленными, доброжелательными и нескучными людьми. Они – эти люди – придумали все, что их окружает. Венецию, Падую, Флоренцию. Это небо и этот балкон, а также птиц, деревья, жалюзи, розовую полосу заката и все то, о чем хочется молчать и чем сложно пресытиться

В ПОИСКАХ ДУЭНДЕ

Сан Антонио Мария Кларет

Звуки чужого города входят в мою жизнь.

Звук открывающейся двери, осторожные старушечьи шажки и голос, – у каталонских старушек добрые голоса и лица и светящиеся глаза, будто отогретые изнутри и снаружи каждым прожитым

днем. Я открываю эти лица, читаю их, – какое наслаждение обратиться с невинным вопросом, – допустим, как пройти до перекрестка Сан-Антонио Мария Кларет, чтобы видеть секундную вспышку из глубины зрачка, и улыбку, на дне которой уютно, будто в детстве или в старом кино, – там хроника и вымысел сплелись настолько тесно, что на проявленной пленке проступает след уходящей природы, – уходящей, ускользающей, ушедшей давно и вот только что, сию минуту, – вместе с кашлем за дверью, подробными шажками в колодце двора и звуком спускаемой воды, – в старых домах звук никуда не уходит, а с треском и грохотом обваливается в шахту, отскакивает от старых стен, ступеней и возвращается долгим зевком из окна напротив, – он знаменует окончание сiestы и долгий, насыщенный другими звуками и событиями вечер.

Накрытый стол в чужом еще вчера доме, – вино, смех, лица, – ужин, приготовленный руками каталонского художника, сообщает нечто очень важное о городе, без этого смысла красота его была бы неполной, не настолько живой, пожалуй, даже немного истертой подошвами туристических ботинок, – здесь, в этом городе, и дня не проходит без восторга и сладкого всхлипа, на дне которого сладкая грусть, – ведь не прожить этих десяти жизней, не успеть насладиться каждой чашкой кофе и бокалом вина, – не заглянуть в каждую таверну, каждый переулочек, – здесь не туристом нужно быть, не случайным прохожим.

Пошатываясь от хронического недосыпания, спуститься по крутым ступенькам и очутиться в самом сердце города, – ну, не в сердце, а, допустим, в легких или желудке, – на перекрестке Параллель и Каррер де Тамарит, и направиться напрямиком в кафе ранним (по моим подсчетам) утром, – часов этак в 12 утра, когда у приличных людей ланч и аперитив

Даже за несколько дней можно обзавестись привычками и стать завсегдатаем, – обойдя за ночь все заведения и посетовав на то, что «Барса уж не та», – только сильно подвыпивший то ли датчанин, то ли швед, – в общем, некий собирательный образ, встреченный за ночь не менее пяти раз там и сям, – назовем его, допустим, Ларсен, протягивающий руку всем проходящим мимо, – видимо, окончательно спятив от лютых холодов, – середина февраля – это весна в разгаре, барселонская весна, – во всяком случае, для шведа, но февраль он и есть февраль, и заведение дядюшки Ли забито до отказа, – в Барселоне свирепствует грипп, но попробуй-ка усиди в доме, попробуй удержись от искушения, – не знаю как для кого, а для меня – время утреннего кофе священо, – и утренний гул, и жестикулирующие люди, и девушка-китаянка, нависшая над испещренной таинственными знаками книгой, и сам дядюшка Ли – само радушие и воплощение каталонского духа, – куда бы ты не вышел, всюду натыкаешься на эпикантус век и сдержанный наклон головы, – великим городам не страшна мирная оккупация, – ни Чайна-таун, ни количество «кебабных», «халяльных» и «обжорок» на душу населения не навредят ему ничуть, – во всяком случае, исхоженный вдоль и поперек район Сан Антонию станет моей последней любовью, – вместе с книжным воскресным рынком, традиционными тавернами, уличными зеваками и лавками, в которых сонные китайцы денно и нощно, точно фарфоровые статуэтки, покачивают головами, – все как один похоже на дядюшку Ли, а еще – о, лунолика! о, гурия нежнейшая из райского сада, – персидская княжна или пакистанская принцесса, окутанная ароматами специй и благовоний, за прилавком ближайшей лавчонки – а знаешь что, – скажу я, – пожалуй, сегодня мы не будем туристами, заезжими гастролерами, – позволим себе жить и радоваться внезапному солнечному лучу, а потом – мелкому дождю, случайному повороту и улочке, ведущей туда, куда ей вздумается, – мы будем бездумно, бесцельно и преступно радоваться воскресному утру, объявив бойкот Саграда Фамилиа и даже Готическому кварталу с прекрасным Борном и исламской республикой Раваль, – мы будем праздными гуляками, пешеходами и завсегдатаями этой весны.

Сдвоенный силуэт на пороге открытия, открытия второго, а то и третьего дыхания, в преддверии путешествия, – его заключительного, так сказать, этапа, следующей за апофеозом станции, – как там ее? Пасей де Грасия? Университат? Пау? Марти? – каждая из которых – открытие, откровение, – если откровением можно назвать блуждание по лабиринту метрополитена, – с лиловой на красную, с красной на зеленую, – с неперменной кладью ручной и багажной, на колесах и без, – о, в этот раз мы будем умней, расчетливей, дальновидней, – мы станем экономить силы, воду, шаги.

Присядем здесь, а еще вот здесь, – посреди дороги, на импровизированном пяточке с остатками чужого пира, – а выдержит ли сердце внезапную встречу с прекрасным, а выдержим ли мы глоток счастья, несоизмеримого с мерным течением дней и ночей?

Впереди маячил призрак города, – чужого-родного, к которому остывала многократно, а, если и тосковала, то исключительно по лицам, голосам, – где-то там, за тысячи километров от радушного дядюшки Ли, еще не успев распрощаться с плотью, рождался дух, но что такое дух, когда здесь не претендующая на легенду живая жизнь, – как горько расставаться с ней, как сладко расставаться с ней, – со вздохом отлученности и обреченности готовиться к болезненному соитию с застывшей во тьме землей, – столь неизбежному осознанию конца и следующего за ним начала.

Книжный рынок на Сан-Антонио

Уже издалека видны счастливицы – с этажерками, лампами, подсвечниками, подносами, древними манускриптами, седлами, подковами и сбруями времен Кортеса и Колумба, оружием времен Конкисты и Реконксты, цыганскими навахами, морскими кортиками, пиратским табаком, обломками шхун и остовами кораблей.

Итак, кортики, кинжалы, старинные часы с кукушками, гирьками, цепочками, – с приоткрытыми дверцами, сквозь которые просачивается, утекает самое бесценное – время.

Оно все еще здесь.

В куклах, чинно сидящих в своих негнущихся платьицах, с торчащими из-под накрахмаленных юбок фарфоровыми ножками, – бледными, не знающими солнца ножками, обутыми в туфли с матерчатými пуговками, сжимающими хрупкие кукольные лодыжки – в куклах, чьи владелицы давно выросли, состарились, вынянчили своих детей, внуков, и даже правнуков.

В куклах, табакерках, плетеных бутылках, кожаных кошельках, серебряных ножнах и тонких выщербленных лезвиях, в ковбойских сапогах и шляпах, в кожаных кнутах, плетках, плетеных косичках, насаженных на нештучную рукоять, в цыганских пряжках и платках, в швейных машинках, кованых железом сундуках и выстроенных по флангу оловянных солдатиках, рыцарях, пиратах и конкистадорах. В статуэтках святых и угодников, в устрашающих африканских масках и египетских изваяниях. В растрепанных книгах, дряхлых, почти осыпавшихся, уже уходящих со сцены, уже забытых, но хранящих непрочитанные кем-то секреты, – ах, как бы я хотела оказаться на каком-нибудь гипотетическом чердаке, в мои, допустим, десять далеких и прекрасных лет, с надкушенным яблоком и непрочитанной, нераспечатанной, девственной еще книгой.

Старинные книги, антикварные издания, которые не отыщешь ни в одном книжном, – фотографии, пластинки, диски, игрушки, – это самая благородная из барахолок с редкостным, удивительным бараклом и прекрасными человеческими лицами. Здесь дышат книжной пылью, касаясь пожелтевших листов, давно утерявших упругость и блеск, – со стертыми буквами и загнутыми уголками, – я осторожно касаюсь этой чужой, неизвестной мне жизни и отвожу объектив, – так хочется снимать, – каждый профиль и анфас, каждый жест и звук, стоящий за ним, но что-то подсказывает мне, что камера неуместна, невозможна – это вторжение в другой мир – мир старых книг, вещей и их хозяев.

Этот седовласый мужчина в белом плаще сидит молча, немного особняком от прочих, – с глазами, обращенными вовнутрь, – такие лица я видела однажды, в старых испанских фильмах, – сколько достоинства и красоты в этих чертах, – воображение дорисовывает небольшую квартирку, в которой обитали эти книги, – несомненно, эти книги – его, и эти газеты, и пластинки, и вещи... На какие-то пару секунд глаза наши встречаются, – мне кажется, я понимаю, – с чем-то самым дорогим он уже простился, возможно, не так давно, – и теперь сидит здесь, в этом шумном и живом месте, в окружении предметов, которые были частью его самого.

Место, к которому ты стремился сегодня, оказалось невидимым, – люди – ускользящими. Запланированная встреча благополучно сорвалась, но дорога привела к площади, а площадь к собору, в который уже не надеялся войти – войти, замереть, умереть, воскреснуть, – в один миг понять, что ты дома, но никак не решишься осознать этот факт, – всего несколько шагов понадобилось, чтобы свернуть к улочке, ведущей в храм.

Неделю можно бродить вокруг, но выходить в другие переулки и не находить собора, улицы, дома, человека, – допустим, небольшой греческой таверны, даже не таверны, а забегаловки, – три стула, два стола, а за стойкой – кого бы вы думали – грека? каталонца? – нет, представьте себе – жгучего красавца абсолютно неаполитанской внешности, – испаноязычного армянина со сросшейся на переносице полоской бровей. И тут же – и пяти минут не пройдет – израильтян, изголодавшихся по простой и сытной, с огнем и перцем уличной еде.

В поисках дуэнде

Нет, – говорит он, подумав, – здесь его нет, в этом городе нет, – пронзительные глаза-жучки за стеклами очков улыбаются, – он делает несколько движений, плавно покачиваясь вместе с бокалом красного, – а на экране – нон-стоп – бой быков, – там тоже красное, мелькает туда-сюда, и я верчу головой, пытаюсь уследить за тем и другим, – черными глазами, красной тряпкой, быком, – за плавными движениями бедер, жестикуляцией, артикуляцией, бликами света на стенках бокала – наполовину полного, – наполовину пустого, – но все же, бокал более полон, нежели пуст, и пальцы щелкают в такт севильяне, и я киваю головой, с некоторой грустью киваю, не переставая все же надеяться, потому что фламенко – оно везде, – не только на сцене и в тавернах, – оно во всем – в движениях бедер, в хриплых и низких голосах, в порывах ветра, в изломанной линии берега, в перебегающем дорогу мальчишке, в рыбаках, распутывающих сети, в перевернутых лодках, – ничто вроде бы не предвещает, но я хищно повожу ноздрями, впитывая солоноватый запах – солоноватый, густой, терпкий, – кажется, оно уже здесь, – так и есть, – двое сидят спинами к морю и говорят – но нет, поют, уже поют... совсем близко, – я прячусь, не смея вздохнуть, спугнуть...

Душа фламенко в городке со смешным названием Игуалеха – высоко в горах, в мокром камне и цветущем на краю обрыва апельсиновом деревце, в заброшенном склепе, куда привел нас отзывчивый юноша-полицейский с горделивой осанкой тореро.

Размытая дождями земля и сбитые ступени ведут в подземелье, к железным воротам, запирающимся на тяжелый засов, а впереди, подмигивая единственным раскрытым глазом, прижимая к животу кипу влажных простыней, катится квадратная карлица, сестрица достопочтенной донны Анны, приветившей нас знатной настойкой из сладких плодов миндаля – клянись богом, нога туриста не ступала на эту землю, и редкая птица долетала до суровых этих мест, – по крайней мере, в холодном и дождливом феврале.

Дорога из Ронды в Севилью сквозь плотный туман, в котором очертания сумрачных гор проступают, обступают, будто немые свидетели того, что было, есть и будет.

Никто не знает, что будет потом. Обрыв или обвалившийся мост (он, кстати, действительно, провалился – вероятно, за день до нашего появления) могут навсегда изменить маршрут, все планы, замыслы, желания, надежды, – и тут уж остается одно, – уповать на всевышнего, уж он-то выведет...

Делаю вид, что не подозреваю и даже в упор не замечаю указателя с надписью – Севилья? Кадис? – решив оставить все происходящее воле случая, – не торопясь прихлебываю «кортадо» на случайных автозаправочных станциях, в сонных тавернах, в которых одно неизменно в любое время года – отличный кофе, улыбка хозяина и пара завсегдатаев – причем один из них – более чем пожилой джентльмен в отглаженных брюках и свежей сорочке, а другой – высушенный, точно ящерица, немолодой кабальеро с горящими провалами глаз и небритыми скулами. В углу подвешенный экран с застывшей картинкой канала National Geographic, с совокупающимися неторопливо диковинными

насекомыми редкой расцветки. Делаю вид, что не вижу надписей и знаков, послушно встаю, сажусь, выхожу, вдыхаю влагу и подставляю лицо внезапным лучам солнца.

И даже когда горный пейзаж сменяется однообразным равнинным, и смутной тоской веет от заброшенных ферм, разрушенных замков, чахлой растительности по обеим сторонам дороги, я отгоняю мысль о конечности путешествия, как, впрочем, и всякого путешествия, а также о том, что день близится к завершению, а неприступная красавица Севилья так и остается фантомом, вечной мечтой.

Предчувствуя встречу, я заранее оплакивала разлуку, но стоит воротам распахнуться, как стираются всякие границы между потом, вчера, сегодня, – все происходит здесь и сейчас.

Долгожданная встреча с городом состоится глубокой ночью, и тем таинственной будет она, и тем необъяснимей, – незапланированная встреча с душой и плотью настоящего фламенко, с праздником, который всегда пребудет со мной.

Мечта

Если вы полагаете, что можете заглянуть в чужую жизнь и уйти, то это не так.

Однажды вы окажетесь в месте, о котором мечтали, мечтали давно, возможно, еще до вашего рождения, – возможно, это Божий замысел и промысел, – происходит это, скорей всего, без прелюдий, без специальных приготовлений и напутствий, – каких-нибудь несколько ступенек, и вы уже там, с ними, – пьете, закусьваете, – хлопаете в ладоши и, блестя глазами, выкрикиваете, – оле!

Однажды вы просыпаетесь там, в другой жизни, окруженные другими людьми, – посреди пыльной дороги, кибиток, чужих детей и величавых старух, позвякивающих браслетами.

Либо ты живешь, либо идешь мимо, – а уж если заглянул, остался и вместе с нами пьешь и закусьваешь, танцуешь и поешь...

Нельзя быть наполовину своим, нельзя петь без слез и любить без боли.

El Niño

В любом мало-мальски уважающем себя городке Андалусии есть свой el Niño – да что там городке – в любой семье, в любом цыганском клане – существует свой «младшенький», «любимчик», «минзинчик», – от года до... тридцати-сорока включительно, – к нему приковано внимание окружающих, – о нем вспоминают, затаив дыхание, – за успехами его следят ревниво, страстно, – его оправдывают, защищают, оберегают от дурного глаза, – в изнанку его пиджака (распашонки) вшивают амулеты, на запястья накручивают ремешки, проволочки, цветные нити, – el Niño всегда остается ребенком, даже если сквозь кудри его просвечивает плешь.

Первым его отметил создатель, – цыганская мать до конца дней своих может гордиться собственным творением, – и участие господина играет здесь не последнюю, как вы понимаете, роль, – рука об руку идут они, – счастливая цыганская мать и господь бог, – радуясь результату совместных усилий, – любой каприз, любая прихоть El Niño – закон для семьи, почетная обязанность, – словно вихрь, влетает любимчик в зал, и добрая половина кумушек от тридцати до восьмидесяти подвергнутся нешуточному испытанию.

El Niño – воплощение любви, чаяний, ожиданий, – это, если хотите, – благая весть, – развернутые плечи, каскад тяжелых кудрей, глаза с волококой, пухлый рот, подбородок, – чуть скошенный, с небольшим углублением посередине, – свидетельствующий о небольшой слабости характера, – сильный характер нашему герою, право же, ни к чему, – вся сила его – в слабости, уязвимости, некоторой даже женственности, допускающей излишек плоти в области бедер и живота, – El Niño любим,

желанен, – всегда и везде, – его слава кочует вслед за ним, и двери домов распахнуты настежь, – его ждут все – недолюбившие женщины, несостоявшиеся матери и даже мужчины, – потому что El Niño – это не мужчина и не женщина, – это, если хотите, самая совершенная душа, и совершенная не по причине собственного совершенства, а по причине любви, для которой причины излишни, – любое разбирательство или умозаключение губительны для нее.

Каких-нибудь три часа, и мягкий гостеприимный ландшафт милой доброй Португалии сменяется порывистым абрисом андалусийских холмов и красных песчаных склонов. Золотые виноградники Альбуферии остаются там, за сиреневым, а потом и багряным закатом. Иные масштабы, другие лица. В них столько же доброты, но куда больше «самости». Той самой вертикали, которая расставляет акценты и отсекает ненужные вопросы. Коррида, господ. Фламенко. Здесь бьется большое горячее сердце испанского юга. Игрушечные распятия, мавританская мураль, искаженные страданием лица святых.

Севиля утренняя, щедро заливаемая хищным солнцем, легкая на подъем, пускай даже сонная, но уже попивающая свой уно кортадо о кортадо кон лече, уже закусывающая горячими с пылу с жару чуррос, уже многоязыкая, говорливая, жестикулирующая, поющая...

Севиля дневная, уже несколько оплывшая, точно перезревшая матрона, уже развесившая во внутренних двориках белье, – вон как полощется, иссеченное светом и тенью, – под ним можно укрыться, когда совсем невмоготу, и переждать сиесту, любуясь цветущим кактусом либо впитывая апельсиновую цедрю, ее в избытке в этих краях, и оттого воздух кажется золотым и вкусным здесь, в так называемом патио, – а там, за прохладными толстыми стенами вдруг заплачет дитя, закашляет старик, и выйдет на порог крутобедрая донья, допустим, Пепа Санчес, и, приметив чужаков, одарит роскошной улыбкой, обнажающей сахарные резцы, – кто лучше Пепы Санчес станцует севиляну, амигос? Пожалуй, что никто.

И убедит нас в этом Севиля вечерняя, сменив тугое полотно, сверкающее яростной голубизной, на мягкое покрывало, уютный плед, в котором здорово баюкать ноющие от долгой ходьбы ступни, но, видят святые угодники и покровители кочующих племен, к полуночи опять заискрится, взорвется сотней огней, – ночная красавица покажет свое истинное лицо, – горе спящим в этом бодрствующем ночами городе, – они рискуют проспать то, ради чего, собственно, явились на свет, – для божественной искры, высекаемой усердными ладонями, для внезапного просвета между каблуком и мраморным полом, для сладкого чувства причастности к таинству танца и любви, которой здесь в избытке, – вот льется она, хлещет через край, втягивая в опасный, но манящий водоворот.

Малага

Малага круглая и теплая. По ней можно наматывать круги, возвращаясь к любимым улочкам, вчера еще незнакомым. Пахнет подгнившими апельсинами, морем и плесенью.

Серый январский денек, – нарядные андалузские лошадки понуро выстроились вдоль дороги. Стоит отклониться от центральных проспектов, где праздный турист без устали щелкает мыльницей, и влиться в смежные улочки, – там сохнет белье, запахи домашней стряпни, там в растянутых свитерах стреляют сигареты и целуются парочки, – настоящая Малага разбегается уходящими ввысь ярусами, – ты будто возносишься над городом, удаляясь от сумрачного кафедрального собора туда, к вечным стенам Алькасаба. Кутаясь в плащ, бродит Сурбаран. Пльвует в облаках серебряные овцы, плещется вино, зреют на закате жемчужные плоды. От истового холода католицизма, от постных ликов святых – наверх, к нарядным садам Семирамиды, к кружевам и отточиям арабской вязи, к крепостной стене, за которой томятся белотелые дивы, большеглазые мальчики Мурильо, а также старики, дети, кающиеся и грешники всех времен и мастей.

Цыганская свадьба

В небольшом цыганском городке существует любопытный обряд.

Когда юную, разукрашенную цветными лентами, медными колокольчиками и колечками лошадку выдают за норовистого жеребца.

Самого виновника торжества, собственно, почти не видно и не слышно. Разве что изредка доносится нетерпеливый перестук копыт и горячее дыхание из мягких, чуть вывернутых губ и ноздрей. Дыхание это столь горячо и беспокояно, что волны нешуточного жара окатывают сонные улицы городка. Специальные люди поливают булыжники на мостовой ведрами холодной воды. От количества вылитой воды камни блестят и, похоже, тоже выдыхают в ответ, испуская соленую влагу, которая, в свою очередь, начинает струиться с небес, с крохотных, подвешенных тут и там светлых облачков. Влагу струится и бежит косыми рядами. Стекает по лицам, чаще смуглым и грубым, исполненными такой естественной и первобытной радости. Отовсюду слышна музыка, десятки возбужденных зрителей и участников шествия заполняют площадь.

Вот выводят невесту. Чаще всего белую кобылицу, самую прекрасную в округе, – стройную, с округлыми бедрами и широкой грудью, с аккуратно перебинтованными ножками и добрыми, влажными, укрытыми за густым ворсом белых ресниц глазами. Со лба ее свисают незатейливые погрешки.

Скоро, совсем скоро, ее возьмет под уздцы самая прекрасная девушка города. И поведет туда, где томится в ожидании юный жених.

Говорят, тех, кому посчастливится стать случайными свидетелями этого обряда, ожидает долгая и верная любовь.

Обычай этот имеет и продолжение. Не такое радостное, не такое веселое. Достаточно редкое.

Если один из двоих по какой-либо причине заболевает и попадает в мир иной, то овдовевшую половину выводит из стойла самая прекрасная вдова города, а, если одиноким остается жеребец, то к стойлу подходит мужчина, соответственно, тоже одинокий в силу тех же причин.

Он или она берут лошадь под уздцы и ведут за черту города. Без музыки и песнопений, в полной тишине.

Там, посреди цветущих трав, испускающих дьявольский, медовый аромат, посреди спутанных ветвей, ее ведут по узкой тропинке в горы и привязывают к колышку. Оставляют на три дня еды и питья.

И уходят.

Говорят, что некоторым из лошадей все же удается выжить. Обезумевшие от голода и тоски, вначале от тоски, потом от голода, а потом от жажды и тоски, а потом только от жажды, они выдирают колышек из земли и уходят. Далеко, очень далеко, в другие, не менее прекрасные земли, подальше от людей и городских поселений.

Говорят, если случится кому-нибудь встретить дикую белую кобылицу или же дикого горячего жеребца, то лучше ему не бежать и не звать на помощь.

Потому что из всех смертей, возможных в мире, эта – самая достойная.

Палома

Белую голубку, родившуюся на окраине Нерхи, звали Палома.

Собственно, вначале у нее не было имени. Имя появилось зимой, когда ослепшие от солнца туристы усеяли берег, – все как на подбор белоногие и краснолицые, – уже на второй день, – от морского воздуха, соленого ветра, регулярного питания и обильного питья. Восторженные люди в панамках и сандалиях бурно восторгались всем – от простого булыжника до ленивого кота по кличке Шаолинь. Они клацали камерами, – взявшись за руки, свешивались с парашюта в поисках неповторимого ракурса, а после прогулки воздавали должное пазле и прочим вкусностям в ближайшей таверне.

Среди отдыхающих голубка отметила (а те, в свою очередь, отметили ее) пожилую пару – оба седовласые, в непременных шортах и очках, – с веснушчатými голыми ногами и локтями, – смотри, Поль, – это это же вылитая Палома, – белая голубка, – ослепительно белая, юная, без единого пятнышка и изъяна, – немолодая дама в ковбойской рубашке присела на корточки и протянула ладонь, – суховатую, иссеченную тонкими линиями, она будто пыталась накормить Палому воображаемым зерном, пока спутник ее настраивал камеру и, опустившись на одно колено, шелкал, шелкал, шелкал, – смешно, но Палома вмиг поняла, что речь идет о ней, – не то чтобы она понимала язык, – французский, польский или английский, но смысл слов был понятен ей, – неважно, на каком наречии произносились они.

Она, как и подобает юной голубке, потупила взор, и подняла одну лапку, – беспомощно и грациозно. Ее кроткий профиль выгодно оттеняли розовеющие вершины гор и набегающие одна на другую волны.

Однажды на скамью опустились двое – мужчина и женщина, – того самого невнятного возраста, которого вроде бы не существует, – в иные моменты они казались школьниками, сбежавшими с урока, а иногда – глубокими стариками, – они держали друг друга за руки, жестикулируя, смеясь, и тогда у Паломы защемило сердце, – она явственно видела оранжевое облако, в котором плыли эти двое.

Облако она вспоминала каждое утро, и все караулила его, полагая, что оно появляется там, где появляются они, пока однажды та самая, которая еще неделю назад светила, оказалась идущей в полном одиночестве.

Она брела, что называется, куда глаза глядят, совсем не радуясь солнцу, морю и теплу. Со скучным, стертым, лишенным всякого выражения лицом и заплетающей походкой.

На следующий день они вновь шли рядом, – как будто внезапно повзрослевшие. Они, как и раньше, держались за руки, но, сколько ни всматривалась Палома, оранжевого облака не было, – возможно, все дело было в освещении или еще в чем-нибудь, о чем она понятия не имела, – ведь она была совсем юной голубкой с нежным сердцем, и вид чужого несчастья ранил ее, только и всего.

А несчастьем было все, что не было счастьем.

– Я устала, я очень устала, – чем дальше путь, тем ближе закат, – произнесла женщина, наклонив голову, – я так устал, – ответил мужчина без улыбки, – я пуст, почти пуст, я на излете.

Я родилась для танца, неги, любви – стонала женщина, – она умирала с каждым словом и вздохом, – поднимала невидимые крылья и роняла их, – кружилась по берегу, как будто пыталась оторваться от земли, – из своего укрытия Палома любовалась отточенными, стремительными движениями рук.

Над морем с пронзительными вскриками носились чайки.

Сквозь дождевые капли проступало солнце, – небо казалось располосованным, изорванным, испортым.

– Я на излете, – повторила голубка и прикрыла глаза, – выражение казалось ей особенным, близким, поэтичным, – надо бы не забыть, – подумала она и спрятала клюв под крыло, – с моря дул порывистый ветер, – самый разгар зимы

Все дело в правильном ракурсе (слово это было усвоено за два месяца жизни на побережье), – решила Палома и отправилась на поиски хлебных крошек.

Сад Ремедиос

Каждое утро Ремедиос встречает в садике, разбитом прямо под окнами дома, – в так называемом патио, немного напоминающем одесский двор, разве что вылизанный до умопомрачительного блеска, – от белых стен до расписанной сложным узором плитки, – от вымытых ступенек до цветущих

круглогодично алых и белых роз, и еще каких-то диковинных растений с мясистыми бордовыми листьями.

Уже с самого утра дворик освещен солнцем. Охая и подслеповато щурясь, Ремедиос разминает пальцами комья земли, – разминает, трамбует, пересыпает.

Для меня, стоящей на балконе с чашкой кофе, движения эти кажутся лишены смысла, – каждое утро одно и то же – сидящая на мраморных ступенях пожилая женщина перебирает землю, корешки и стебли, – солнце исправно освещает пробор в ее волосах, – расцвечивает седые пряди, разглаживает глубокие складки на смуглой коже.

Когда я впервые вошла в этот двор, розы цвели, листья алели, на шипах проступали капли росы, – зачем вся эта суета, если все произрастает и зреет без особых усилий, – плодоносят фиговые деревья, сабра, авокадо, – к чему этот ежедневный ритуал, это любовное приращение?

Однажды, сидя на ступеньке перед разбитым цветочным горшком, Ремедиос запела.

Неловко было наблюдать за ней из своего укрытия. Неловко было вторгаться в ее простой и прекрасный мир. В ее отношения с землей, водой, воздухом.

Старые люди любят возиться с землей.

Эта какая-то особая форма близости, до которой идти и идти.

Как важно любить землю, частью которой станешь однажды.

Как важно знать, что ничто, собственно, не исчезает.

Все остается с тобой.

Двор, сад, цветы, ступени, залитые светом. Луковицы тюльпанов, бутоны роз, гибкие влажные стебли.

Все это ты унесешь осенним или зимним утром из сада старой Ремедиос, вместе с последними лучами солнца, уходящими за склоны гор.

Еще ночь, уже утро

После полудня Исабель сидит у камина, – между висящим на стене огнетушителем и массивным столом, накрытым простой белой скатертью.

Здесь, в придорожной таверне «У Чаты», она коротает долгие зимние вечера.

Зал, как правило, пуст или почти пуст. Чата – дочь, – большая, добродушная, с улыбкой, которая не забывается ни через день, ни через два, и всякий, кто побывал здесь однажды, возвращается.

Сколько помню себя, вижу это приземистое здание с распахнутой дверью, деревянные ставни, балки, поддерживающие черепичную крышу, мужчин у стойки бара, огни окрестных деревушек, – дорога вьется дальше, в горы, но Исабель, не двигаясь, смотрит на пылающий в камине огонь. Уже ночь, Чата, это ночь? – вопрошает она, склонив седую свою голову, – это ночь? Уже ночь, – да, это ночь, мама, – отвечает Чата терпеливо, – у нее немало дел, – обслужить редких посетителей, подбросить дров, приготовить «уно кортадо и кон лече»¹, посплетничать с помощницей, круглолицей дылдой, улыбка которой, впрочем, отличается тем же радушием и веселостью – уже ночь, – отвечает она, протирая бокалы, разливая вино, раскладывая домашние колбаски, нашипованные всякой вся-

¹ Уно кортадо – один кофе без молока, кон лече – с молоком.

чиной, – в горах темнеет рано, и ночь начинается с заходом солнца, еще одна ночь, – холодная и в то же время жаркая, – она бежит по тропинке, совсем еще девочка, – и голос у нее детский, немного капризный, тонкий, – уже ночь, да? Это ночь?

Еще ночь, но уже утро, тот самый час, когда спящие спят крепким сном, а страдающие бессонницей уже вряд ли уснут. Глыбы льда там, на вершинах гор, а внизу, в долине, цветет миндаль, – еще зима, но уже лето, – низкорослые деревца ползут вдоль склона, цепляясь за колючий кустарник, – уже ночь, мама? ночь? – всхлипывает она, приподнимаясь на постели – ей семь, всего только семь, – как страшно, мама, как страшно, – короткий, как озарение, как вспышка, сон, – зимний вечер, закрытые ставни, камин и воспоминания о будущем, которое, несомненно, прекрасно, – долгий-долгий путь туда, наверх, где запах вереска и меда и облака касаются вершин

Strange Fruit

А вчера я бродила по улицам незнакомого города, и девушка на углу продавала жареные каштаны, а немолодая женщина, изогнувшись валторной, поблескивая белками глаз, какие только у мулаток встречаются, подпевала, воздевая кверху ладони, раскачиваясь из стороны в сторону, она подавалась всем корпусом вперед и поднималась на цыпочки, а потом будто резко оседала, и уголки губ горестно опускались вниз, уголки губ много любившей и много страдавшей, – ну, конечно, Билли, это была она, Билли, уставшая девочка, плачущая, ироничная, саркастичная, экзотическая, истрепанная, гордая, разочарованная и разуверившаяся, и бесконечно одинокая, точно зажженная в небе звезда, точь-в-точь перед тем как померкнуть, она еще светится, излучает, вибрирует, вбирает и отдает, притягивает и отталкивает, – а весь этот разноцветный мир катится понятно куда, вместе с непримчивыми антрепренерами, подрядчиками, дельцами, игроками, поклонниками, владельцами студий звукозаписи и хозяевами притонов, сутенерами, котами, альфонсами, дамскими угодниками и истинными ценителями прекрасного, как вот эта девочка на углу, немного замерзшая, с каплей под носом, жонглирующая угольками, каштанами, фонарями, улицами

Take me back, I love you
 ...I need you
 I know it's wrong, it must be wrong
 But right or wrong I can't get along
 Without you

Беспечные люди, смеясь и жестикулируя, сидят в уличных кафе, что им сквозняк и дым от жаровни, – говорят, жареные каштаны чрезвычайно вкусны, особенно вот в такой ветреный день, когда зябнут руки и колени, – пой, Билли, пой, твой голос – улада для сердца, неизбежно сладкая, как ночь в штате Кентукки, пропитанная густым негритянским потом, всеми этими томными, терпкими, пьянящими секретами, из которых сочится настоящий спиритуэлс и истинный госпелс, господа

Вчера я брела по улицам незнакомого города, и девочка на углу продавала каштаны, а голуби кружили над площадью, и немолодая женщина воздевала ладони к небу, возносила хвалу господу, который выписал партитуру для каждого, вложил, вдохнул и легким шлепком выпроводил, – покачиваясь, она исполняла свою партию, немного непристойную, чересчур откровенную, но такую истовую, жаркую, и губы ее сладко трепетали и горестно морщились, а глаза – плакали и смеялись под сомкнутыми веками, а душа была бездонной, а душа было бездонной, а душа была свободной, точно белая птица, она парила и таяла, таяла и парила, падала и взмывала над кварталами и площадями, туда, к далеким южным звездам, плывущим над темными водами северных рек

Дом для чаек

Похоже, на крыше нашего дома птицы свили премилое гнездышко, – домашний очаг и он же семейный альков, – «чаечный» домик, – я слышу как поют они и танцуют, и плачут, и ссорятся, и причитают, и мирятся. Еще вчера их было, кажется, двое.

Собаки здесь странно молчаливы. Кошек вообще не наблюдается. Возможно, уничтожены как класс. Либо же их съели чайки. Хотя нет, – совсем не так давно на побережье наблюдалась дюжина пушистых и откормленных и совсем добродушных, живущих в таких специальных домиках с отверстиями-окошками.

Чайка – она вообще вездесуща. В дымоходе, на крыше, в океане и на суше. Иногда она кричит обиженным детским голосом, а иногда – голосит запыленно, по-бабьи. Вчера, например, две чайки лаляли как собаки, а две другие бранились будто извозчики.

Если присмотреться, то можно заметить, что лицо у чайки хоть и благородных очертаний, но недоброе. Хищное лицо. Гордое и холодное. Радостно наблюдать, как взмывает она над океаном или пикирует невидимую мне добычу. Радостно и одновременно неуютно. Слишком гордая красота, слишком гордая.

И отчего-то вспоминаются милые взъерошенные воробьи, такие неказистые и непрехотливые. Здесь их вовсе нет, а также нет голубей, крошек и опрокинутых мусорных баков. Видимо, все подчистую подбьдают гордые океанские птицы. Божьих людей, живущих подаянием, здесь тоже не много. Раз, два и обчелся. Смешно сказать, – ИХ божж, дорогие мои, не чета нашему. Нет в нем ни хмельного отчаянья, ни голодного блеска. Куража нет. Нет, и все тут. Местный божж на редкость ленив и добродушен.

Нет-нет да и протянет руку, но неуверенно как-то, без дрожи и напору. Зато чайка деятельна и шумлива. По всему видать, – будущее за ней. Для нее весь этот благоухающий, цветущий, белый, голубой, розовый и изумрудный мир. Для нее капли росы и тяжелые струи, стекающие с покатых крыш. А еще для аистов, да-да, да самых что ни на есть аистов, которые живут себе в гнездах практически над каждым домом.

Бывало, задерешь голову к небу – а там – аист, и в клюве у него, сами понимаете, что.

Сверток не то чтобы тяжелый, но довольно увесистый. А в свертке том – человеческий детеныш, покачивается мирно так, вперед-назад, влево-вправо. Голый человеческий детеныш, спит себе, ресницами подрагивает, весь в кудрявых завитках и ямочках. Чистый ангел.

Отчего это в одних местах аисты гнездятся, а в других – стаи тучных воронов? Отчего в одних местах собаки как люди, а люди как птицы, а птицы как... Отчего синева и прозрачность невозможны там, на мой далекой несчастной родине? И отчего это сердце мое так грустит и поет, поет и печалится, как будто не смеет ни окончательно возрадоваться, ни бесповоротно умереть. Отчего тоска по внутреннему раю не покидает нас даже там, где, казалось бы, столько счастья, чистоты и красоты? Отчего, когда над головами проносятся аисты, а за окном растекается молочная предрассветная пена, а в дымоходе воркуют суетливые чайки и щебечут птенцы... Я слышу воронью перебранку, и свет в далеких окошках, и тучные тени на грязном снегу.

Анна САФРОНОВА

ОСЕННИЕ ОТРАЖЕНИЯ

Наталья Ключарева. Счастье. Роман // Октябрь. 2016. №9
Анна Козлова. F2o. Кинороман // Дружба народов. 2016. №10

Прочитала в ноябрьской книжке «Октября» роман Натальи Ключаревой, а через несколько дней, в десятом номере «Дружбы народов» – кинороман Анны Козловой. Авторы – 1981 года рождения; имя Натальи Ключаревой на слуху читателей толстых литературных журналов с 2006 года, а Анна Козлова в ЖЗ появилась впервые, но, как следует из авторской справки, автор шести книг и массы сценариев.

Бросился в глаза ряд совпадений в текстах «Счастья» и «F2o», и это показалось удивительным.

Героини – две сестры с небольшой разницей в возрасте. Неблагополучная семья, алкоголизм взрослых, симптомы аутизма у девочек. Старшая пытается помочь младшей, в какой-то мере заменяет ей мать. Психические отклонения, мистические мотивы (образы, видения, голоса). Тяга к любви, нормальной жизни, которую в какой-то мере реализует в конце повествования старшая из сестер.

Вышестоящий абзац без поправок и уточнений применим к обоим романам. Бывают же такие совпадения...

Вот наугад – параллельные сцены объяснений нетрезвой матери со старшей дочерью:

Наталья Ключарева:

«Она достала чашку с отколотым краем, плеснула себе водки и одним махом опрокинула в рот. После чего глубокая морщина на переносице заметно разгладилась. Выпить она всегда любила, особенно на халяву. Но не настолько, чтобы этим все объяснялось. (...) Санька чувствовала, что каждая мелочь намертво впечатывается в память. Пройдут годы, а она будет помнить и грязный пол с облезшей краской, и пятна кофе под столом, и шершавую кожу на руках этой чужой женщины, которая с нескрываемым удовольствием пила и курила, сидя на подоконнике, как студентка».

Анна Козлова:

«Анютик позвала маму. Та была выпивши, они с Толиком принялись за бутылки, купленные к несостоявшемуся обеду с папой.

– Что это ты делаешь? – спросила мама.

– Я собираю вещи, – сказала я.

– Зачем? – мама смотрела куда-то сквозь меня.

Я почувствовала, как все это ей смертельно надоело. Строить из себя заботливую мать, разбираться, кто что делает, кто куда уезжает, поддерживать никому не нужную ширму нормальной жизни, которая все равно не поддерживалась, и при каждом удобном случае валилась набок, обнажая безумие, пьянство и нищету».

Но совпадения видятся лишь при беглом взгляде, а пристальное чтение ставит всё на свои места: авторы отличаются друг от друга, как небо и земля, а сестры у Ключаревой – это, может быть, и не вполне сестры... И всё-таки, раз уже невольно образовалась зеркальная пара, любопытно проследить, что можно увидеть в отражениях.

Девочки Ключаревой ранимы и добры до, можно сказать, патологии. Вот замечательная сцена с младшей сестрой и ее возлюбленным:

У мусорных баков во дворе стоял дедушка. Он вьуживал бутылки, плюючил ногой пивные банки, разрывал завязанные пакеты... В общем, являл собой довольно привычную, хотя и печальную картину.

И вдруг ему попалась книжка. Старик опустил на землю сумку, вынул из нагрудного кармана очки и погрузился в чтение, словно сидел в библиотеке, под лампой с зеленым абажуром.

Она остановилась. И на ее лице появилось беспомощное, паническое выражение – ну сделайте же что-нибудь! – которое он принял (и потом всегда принимал) на свой счет – и шагнул вперед, еще не зная, что скажет. Но ангелы, конечно, были тут как тут со своими подсказками.

– Доброго здоровья!

– Что?

– Хочу у вас книгу купить.

– Что?

– Я собираю редкие книги и, кажется, за этим экземпляром охочусь долгие годы. Можно взглянуть? Свердловск, тысяча девятьсот семьдесят седьмой. Да, именно! Из-за типографической ошибки тираж был пущен под нож. Осталось всего три книги. Две из них находятся в частных коллекциях – в Америке и Нидерландах... Вот это удача! Родная, посмотри, какое чудо – это же тот самый Луи Буссенар семьдесят седьмого года, о котором Илья Фабисович делал доклад на прошлой конференции!

Старик все твердил свое «что?», а увидев пяти тысячную купюру, проворно спрятал книгу за спину:

– Пойду к букинистам, так они, может, десять дадут!

Через пару строк выясняется, что деньги у героев были вовсе не лишние, а почти последние, то есть – беспримесный альтуризм, абсолютная открытость чужому горю. Сестры жалеют людей, кошек, собак – всё на свете. «Я чувствую родство со всеми бездомными животными, со всеми незнакомыми людьми...» – это слова старшей. Случайная фраза из романа: «...старый писатель-негр, любитель Достоевского и покровитель бездомных кошек». В паре «Достоевский – бездомные кошки» отсутствуют признаки противоречия.

У этой доброты есть небольшая корысть, вполне невинная. При помощи добрых дел сестры спасают себя от пустоты, от бездны – самой мрачной героини романа. Младшая сестра шьет и дарит обездоленным детям медведей, это ее предназначение, «дело»:

– Да, маленькое и смешное, но оно меня наполняет. И оно мне по силам. Я знаю, это капля в море. Ну и что теперь – не давать эту каплю, потому что она мала? Потому что другие могут больше? Кто-то стакан, а кто-то – целую бочку... Но я же не виновата! Мы можем дать лишь столько, сколько нам самим когда-то дали... Да и для моря, что капля, что бочка, все равно.

Но сестры у Натальи Ключаревой – разные. Старшая – яркая, деятельная, пленяющая оригинальностью. Младшая воплощенный ангел, и автор предлагает мистическую версию ее рождения – как бы от ангела. Дается рассказ непутевой матери – старшей сестре, Саньке, но звучит он при обстоятельствах странных (обморок, голоса) и вполне может мотивироваться расстройством героини, а не реальностью:

И случился там у меня роман с ангелом. Паша звали. Правда ангел был. Смотрел на нас с ужасом, но жалел. Всех жалел и нас тоже. И слушал. Часами мог слушать. Так, что все ему рассказать хотелось. А глаза – я таких никогда не видела. Ну ангел, ангел, что ты будешь делать...

Мне захотелось за него ухватиться, чтобы выбраться. Но я не поняла. Думала, влюбилась. А раз влюбилась – надо переспать.

Ну и сполза я ангела, и когда этот мой захрапел... то я чуть ли не насильно его с собой уложила. Не в постель даже, на газетку, мебели там не было...

Не вполне абсурдным мне покажется такое прочтение: младшей сестры не было вовсе, это всего лишь плод воображения, симптом раздвоения личности единственной дочери неблагополучных родителей. Старшая и младшая – один и тот же человек, просто в разных состояниях. Почему бы не дать разным ипостасям одной личности физическую самостоятельность? Погулял же сам по себе нос майора Ковалева.

На такой вариант прочтения работают многие вещи. Вышеупомянутое мистическое происхождение младшей, во-первых; внятное отсутствие имени у нее, во-вторых. Вот диалог между младшей и ее будущим возлюбленным:

Они еще были безмянны друг для друга, а это имя уже слетело с ее языка и с тех пор так и вертелось между ними, выскакивая всюду, как Петрушка.

«Какие высокие окна! Санька была бы в восторге, ей так нужен свет, для рисунков». «Санька обожает кофе, она его варит даже на костре, когда мы в лесу гуляем». «Это старинное? Вот бы Санька...»

– Санька – это подруга? – не выдержал он.

– Сестра!

– Отлично, с сестрой я уже познакомился... Теперь хотелось бы...

– Правда? Вы знакомы с Санькой? Вы тоже художник?

– К сожалению, ни то, ни другое... Давай-ка выпьем чаю на брудершафт, а то, когда мне говорят «вы», я чувствую себя пенсионером...

– Это имбирь? Санька...

– ...его обожает?!

– Простите, я вам, наверное, уже надоела со своей Санькой! Но она очень хорошая и...

– Не сомневаюсь! Но у меня в гостях ты, а не она. И я буду рад узнать что-нибудь о тебе. Например, имя...

– Мое?

– Твое, деточка, твое!

– Санька...

– Неужели?! Не может быть!

– Нет, я просто хотела сказать, что Санька всегда называет меня по-разному, у нее вообще страсть к именованию, и ей трудно остановиться. Когда мы были маленькие, она, например, давала имена нашим чашкам и ложкам, зубным щеткам, колготкам... Причем сегодня – одни, завтра – другие. А перед сном она брала меня за руки и рассказывала, как зовут каждый пальчик...

– Это ужасно трогательно... Но все-таки, как тебя зовут? Санька – всегда по-разному, я понял, но родители-то как тебя назвали?

– Да никак! Никак они нас не назвали!..

– Никак?! Не может такого быть! Но звали-то как?

– Как придется. Чаще всего «эй, ты» и «пошла отсюда»...

Впрочем, какую-то историю реального имени младшей автор дает – скорее, проборматывает, невнятно, скороговоркой, как будто чтоб никто не услышал, и в дальнейшем это имя никак не фигурирует. В результате у читателя возникает стойкое ощущение, что речь все время идет об одной и той же героине, которая находится то в реальности, где есть двое детей, острая необходимость бороться не только с внутренней бездной, но и с безденежьем, то в придуманном мире, где она разговаривает с ангелами, где живой лес и Хозяин леса – одушевленный медвежонок, его же спитый. Реальная Санька шить не умеет: «...даже дырку не могу заштопать!».

Между тем в романе есть и другое имя – Мария, но об этом чуть позже.

Против такой трактовки – Санька и ее сестра – одно и то же лицо – можно, конечно, найти множество возражений, это само собой разумеется. Но раз уж мне она кажется и возможной, и убедительной, то я продолжу ее развивать.

Самый важный из аргументов «против» может быть таким: если сестры – одно лицо, то как быть с их возлюбленными?

А вот это и есть самое интересное. Итак. Возлюбленный Саньки – ангел, исполнивший все ее желания. Он дал ей возможность творчества, Париж (и выставку в нем), любовь и беспечность, то есть избавил ее от постоянной необходимости сопротивляться тьме, бездне.

Возлюбленный младшей – это вполне земной персонаж, которого одолевают сомнения, который подобен не своей возлюбленной, а Саньке (или, в нашей версии, реальной, обыденной ипо-стаси героини):

Сначала он все ждал, что настоящая жизнь вот-вот начнется. Вот он вырастет, вот пойдет в школу, вот закончит школу, вот поцелуется с девушкой, вот устроится на работу...

Однажды он вдруг понял, что все рубежи пройдены, ждатель, кроме пенсии, уже нечего, а жизнь по-прежнему походит на невнятное топтание в прихожей.

По привычке он продолжал надеяться на какое-то более осмысленное и счастливое существование, в которое когда-нибудь войдет, как в светлую комнату, полную близких людей, войдет и скажет: «Простите, что так долго», а они засмеются, обнимут, хлопнут по плечу и нальют штрафную...

Однако предвкушение праздника, питавшее его с детства, уже истончилось, выветрилось и совсем не прикрывало неприятную пустоту.

Появление ангельской возлюбленной спасает его, обычного человека:

Да, с тобой в мою жизнь вошли ангелы, о которых ты всегда говорила, и медведи, которых ты безостановочно шила, даже в трамвае или кафе. Ангелы и медведи – нелегко щедрым даром для хронически одинокого человека. И эти ангелы (или эти медведи) за тридцать секунд, что я бежал по двору, доходчиво объяснили мне, что я тону и что ты – та самая соломинка. Вот я за тебя и ухватился!

И герой обретает смысл – становится мимом, находит свое дело:

Неужели это я? Тот унылый неудачник, презиравший самого себя? Неужели я все-таки решился и сделал шаг в сторону, сошел с накатанной колеи? Или это ангелы толкают меня в спину, как увязший в грязи автомобиль? Как смешно и банально все начинается: уйти с работы, перестать делать то, что никому не нужно. Выбросить мертвое, освободить место для живого. Для того дела, которое должно меня найти...

Ну вот. А теперь медленно смотрим, что получилось. Получились две симметричные пары: земная девушка и безымянный ангел – и ангельская девушка и земной, обычный человек.

Как видим, пары эти абсолютно зеркальны, как минимум, а как максимум – это одна и та же пара. В реальности есть Санька, молодая мать-одиночка с двумя детьми, и ее возлюбленный – обычный человек. Она искала ангела, спасителя, и увидела его поверх реального человека, обычного клоуна – или внутри него. А реальный обычный человек искал ангельскую душу, мечтательницу, нежную и хрупкую – и увидел предмет своей мечты внутри реальной женщины. Они так друг друга увидели: внутренним взором, и здесь мистический, духовный их путь неотделим от реального.

Попробуем теперь посмотреть на некоторые фрагменты, смысл их сразу изменится, если принять версию о том, что в романе только одна героиня и только один герой. Вот первая встреча Саньки с ее ангелом:

И она пошла к нему, послушная, сразу же сдавшаяся, холодея и обливаясь потом, ватными ногами, все ближе и ближе, не в силах отвести глаза.

«Клоун, – бессмысленно сопротивлялась Санька, – son de tite, чего уставился? Мало мне в жизни веселья, еще шуты всякие будут плясться...»

Почему бы не предположить, что этот новоиспеченный ангел и ее клоун – одно и то же лицо. Или вот эпизод: герой (реальный, обычный) встречается с реальной Санькой на улице:

Однажды во время своих блужданий по городу он встретил Саньку, бежавшую с одной работы на другую.

– Эх, завидую вам, влюбленным балбесам, – сказала она, глядя ему в глаза с какой-то даже злостью. – Как бы я хотела вот так же на все забыть, шататься по улицам, считать ворон в скверах... И не вскакивать по ночам в ужасе, чем я буду завтра кормить детей...

– Понимаешь, – попытался объяснить он, – ты думаешь, это потому, что я влюбился в твою сестру. Но на самом деле...

– На самом деле ты влюбился в меня? – невесело засмеялась Санька. – Расслабься. Шутка. Я ни на что не претендую. Просто ужасно завидую, правда. Мне кажется, в моей жизни уже никогда ничего такого не случится...

– А ты попроси ангелов, – неожиданно предложил он.

– Ангелов? Они меня уже давно не слышат.

– Может быть, ты давно не просишь?

– Может быть... Может быть...

И многое сразу видится по-другому. Например, становится понятно, почему Париж и прочие элементы путешествия Саньки с ангелом столь эфемерны. Собственно, если перечитать роман с точки зрения моей концепции, то он весь будет восприниматься иначе.

Вот, к примеру, финал – Санька, случайно ставшая участницей протестного движения (против вырубки леса), оказывается за решеткой. Ее младшая сестра (условно говоря) по поводу вырубки таинственного леса и исчезновения Хозяина леса впадает в депрессивное состояние и оказывается в психушке.

Суть в том, что надо преодолеть раздвоение, найти опору для каждой из половинок личности, и тогда появляется другое имя, Мария. Это имя возникает несколько раз – в устах ангела, когда он поминает потерянную возлюбленную, в психушке, когда обычный герой ведет речь от имени Хозяина леса – Марией он называет свою возлюбленную, младшую сестру, которая, по сути, есть внутренний, духовный ребенок Саньки, ее тайное, оберегаемое от реального мира естество. И еще раз:

Но Санька и без всяких докторов уже знала, что это – правда. И даже знала, что там – девочка. И что звать ее будут тем самым именем, которое он с таким трудом выговорил тогда, на краю земли: Мария.

Ребенок-сестра Мария, пока не рожденный ребенок Саньки Мария, и еще девочка, которую пара хочет усыновить и которая называет свою маму Марией. В общем, головкружительные скачки в разные реальности создают простор для трактовок.

О киноромане Анна Козловой сказать могу намного меньше, так как и вариантов интерпретаций он дает намного меньше. В сущности, «F20» послужил мне как бы зеркалом, отражением романа Ключаревой, в результате чего я попала в плен отражений уже внутри «Счастья».

Повествование Анны Козловой, интересное, даже по-киношному захватывающее, в ответке «Счастья» может показаться однолинейным, но это впечатление обманчиво. У Анны Козловой свои призраки, выписанные очень зримо, и свои ангелы (точнее, волонтерская благотворительная организации «Крылья ангела»). По сравнению с героинями Ключаревой девочки Анны Козловой выглядят реальными гопницами, но вот послушайте, сколько нежности:

Его мягкий, горячий язык сплетался с моим языком. Когда меня целовал Костик, я, конечно, подставляла губы, но только потому, что знала – так надо. С Марексом я очень мало собой владела, я не знала, надо так или не надо, мне было просто наплевать. Ему отвечала не я, а мое тело, оно терлось об него, нащупывая под джинсами эрекцию. Мне хотелось слиться с ним, остаться с ним навсегда. Наверное, тогда, на набережной, я и поняла, зачем были написаны все эти тома, которые я читала дома под сероквелом, зачем на пьедестале безымянного памятника выбили чет-веростишие, зачем мама, встретив в психдиспансере Толика, привела его к нам жить, и

зачем все эти люди, все эти безумные старики, мужчины и женщины наперебой убеждают друг друга, что жизнь надо прожить, во что бы то ни стало надо прожить.

Или вот, финал:

На могиле, оставленной женщинами, я заметила книжку без обложки. Она лежала на скамейке, ветер перебирал желтые страницы. Я подошла и взяла книжку в руки, открыла наугад. Там было написано: «Жизнь стоит прожить, и это утверждение является одним из самых необходимых, поскольку если бы мы так не считали, этот вывод был бы невозможен, исходя из жизни как таковой».

Девочки Анны Козловой нестандартны, их видения – отдельная сказка (о названии: F2o – медицинское определение, попросту – шизофрения, безумие). Вот разговор голосов в голове старшей сестры (в реальности как бы передача на радио «Эхо»):

– Видите ли, тоталитарные режимы всегда очень настороженно относились к сумасшедшим. Собственно, они положили начало тому, что мы называем карательной психиатрией.

– Позвольте, – возразил мужчина, и я поняла, что его голос мне тоже знаком, – но тоталитарные режимы, в сущности, и есть апофеоз безумия.

– Несомненно, – согласилась Судья, – идейная платформа, на которой они наспех строятся, вполне ненормальна, поэтому всегда на первое место выдвигается понятие некой новой нормы.

– Новой нормы? – переспросил мужчина.

– Да, – сказала Судья, – и проблема в том, что эту норму встраивают во все сферы жизни, даже в такие, где нормы быть не может в принципе. Например, в сексуальные фантазии.

– Почему же в сексуальных фантазиях нет нормы? – вступила в дискуссию еще одна женщина, я с ужасом узнала Голос добра и человечности. – Если человек мечтает о насилии над собой или другим, об убийстве – это ненормально.

– Вы знаете человека, который страстно фантазирует о том, чтобы после официального заключения брака совершить со своей второй половиной половой акт в миссионерской позиции, как предписывается традиционным обществом? – спросил мужчина.

В иронии автору «F2o» не откажешь, как, впрочем, и Ключаревой (по аналогии пришел на ум образ правозащитницы из «Счастья»):

– Здравствуйте! Вы – в ополчение? – Из палатки высунулась худющая старушенция в круглых очках. – Детей брать не советую. В этой стране по детям и женщинам принято стрелять из боевого оружия.

– Господи, – попятилась Санька, инстинктивно прижимая к себе мальчишек. – Какое еще ополчение?

– Защитников леса! Я – координатор, Ида Бронштейн. Ида Моисеевна, если угодно. Полвека в диссидентском движении. – Старушенция сунула Саньке костлявую ладонь. – Вы анархисты? Троцкисты? Надеюсь, не правые? Хотя временная коалиция тоже возможна.

Кстати, не стоит упускать из виду, что «F2o» Анны Козловой не совсем роман, а «кинороман», и подход к нему, вероятно, должен быть не вполне идентичен чисто литературному. В этом же номере «Дружбы народов» Анна Козлова (в составе круглого стола «Идём в кино») как раз и говорит об отличии сценария от романа, а также о своих взглядах на творчество.

Андрей ПЕРМЯКОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ, УВЫ, СЛЕДУЕТ?

Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2012–2016) / Сост. Б.О. Кутенков, Е.В. Семёнова, И.Б. Медведева, В.В. Коркунов. – М.: ЛитГост, 2016. – 460 с.

Бывают литературные проекты, прямо-таки обреченные успеху. В подобных случаях коллеги-кураторы тихо и завистливо сидят в углу или не менее завистливо сплетничают, переживая в глубине душ: «Отчего это не мы придумали? Ведь всё ж оказалось так просто?» Бывают ровно противоположные случаи. Это когда успех крайне сомнителен, а вероятность неудачи велика. К числу таких явлений можно отнести литературные семинары, подавляющее большинство которых заканчивается жалобами на низкую квалификацию ведущего и взаимным недовольством. Тем не менее (и к счастью!) желающих вести эти самые семинары меньше не становится. Ибо нечастые прорывы бывают всё же замечательными.

Наконец, совсем редко происходят события, где успех и неудача будто переплетены. Именно так был оценён многими старт ежегодных чтений «Они ушли. Они остались», посвящённых памяти безвременно умерших поэтов. Структура была принята литературным сообществом как безусловно необходимая. В то же время в локальный фольклор этого самого сообщества, не отличающийся степенью интеллектуальности от фольклоров сообществ иных, вошли мрачноватые шутки навроде: «Ты, никак, к Кутенкову собрался?» Это когда литератор начинал выпивать совсем уж сверхъестественным манером или творил нечто, чреватое известными последствиями. Да: проект сразу ассоциировался, в первую очередь, с именем московского литератора и организатора Бориса Кутенкова. Это абсолютно верно, и к деятельности Бориса по сохранению памяти тех, кто уже не с нами, относились с большим уважением. А что прикрывали это уважение шуточками на грани фола – так тема такая, что если относиться к ней всерьёз, можно всерьёз и зареветь.

Впрочем, почему только «к деятельности Бориса»? Да, идея проекта, безусловно, принадлежала ему и Ирине Медведевой, но участвовало в организации и проведении чтений множество людей. Они добросовестно перечислены в предисловии к антологии и в развёрнутой хронологии событий. Конечно, эта команда была не первой в своей нервной и необходимой деятельности. Большую работу по сохранению и продвижению наследия умерших собратьев вели и ведут, например, жители Москвы Евгений Степанов и Андрей Коровин, пермяк Юрий Беликов – да много кто. Но столь масштабную антологию получилось выпустить именно сейчас, и сделали это совершенно конкретные люди. Им и благодарность, с них и спрос.

Начнём, пожалуй, с частных, но важных удач. Тут я буду очень субъективен. Но в этом случае оказался бы субъективен любой рецензент: у каждого ж есть свои любимые авторы из числа, к сожалению, вошедших в эту антологию (нет, понятное дело, раз уж жизнь закончилась, лучше быть упомянутым. Но об этом мы скажем отдельно. А ещё лучше, всё-таки, с попаданием-то подождать). Так вот: сейчас придётся использовать числительное, ставшее в русском языке вариантом неопределённого артикля. Ибо, не имея документальных доказательств, рискую быть обвинённым в клевете. Словом, *один* мой хороший друг отнёс в *один* хороший журнал стихи Арсения Бессонова. Через некоторое время вновь зашёл в редакцию по делу. Спросил, конечно, насчёт вариантов с публикацией. Получил ответ:

– Сколько, говорите, ему было? Двадцать четыре? Ну, вот и по стихам ему двадцать четыре. А больше уже не станет. Зачем нам такой автор?

Конечно, у Бессонова были очень хорошие подборки – и при жизни тоже. Книга была по итогам Илья-премии. Пусть коллективная, но не маленькая. Однако здесь, в антологии его представили очень хорошо.

Иная ситуация произошла с Сергеем Казновым. Друзья и близкие после его смерти издали том, куда вошло, кажется, почти всё. Вплоть до записных книжек. Были там и тёплые воспоминания друзей: однокурсников, например. И

Дмитрия Быкова тоже. То есть намерения оказались самыми благими, но в результате три десятка совершенно замечательных поздних стихов Сергея оказались затеряны между ранними, пусть не ученическими, но довольно обычными его текстами и корпусом различных прозаических высказываний. А вот подборку в антологии я б назвал безупречной.

Вообще, кажется, ни одного из авторов (по крайней мере, ни одного из авторов, известных мне ранее) в книге не представили слабее, нежели этот поэт выглядел в своих прижизненных публикациях. У кого они были, конечно. А ведь это очень сложная задача: не испортить впечатление о поэте: вне зависимости от того, сколько ему лет было – двадцать или сорок. В случае каждого из возрастов свои трудности.

В первом разделе, где представлены авторы, не дожившие до двадцати пяти, вопрос составления подборки иногда решался единственно верными ходами. Надо было так представить молодого, но уже принадлежащего вечности поэта, чтоб показать его вклад в литературу. Получилось; без исключений.

Хотя, поскольку читал антологию подряд, очень расстроился из-за отсутствия здесь пермяка Дмитрия Долматова. Всё-таки к двадцати годам он не только был несомненным лидером поэтического поколения – хотя бы в масштабах Урала – но и продолжает влиять до сих пор. Затем, по мере дальнейшего ознакомления с книгой, по мере разговоров с её составителями, принцип формирования сборника стал понятнее, мы обсудим его ближе к финалу рецензии, но два стихотворения Долматова я всё-таки приведу. Был у него такой самый-самый финальный период, когда он, расставшись с (отличными!) стихами о Гекторе и Хароне, стал писать иначе. Вот так, например:

Умирала Соня Коротышка.
Нянечка, сварливая со сна,
принесла ей супа и картошки.
За окошком хмурилась весна.
А в палате пусто, тошно, душно.
И, улыбку склеив на губах,
умирала Соня Коротышка,
танцовщица в местных кабаках.
Где все те, что так тебя любили,
кто дарил тебе цветы в мороз,

где тот мальчик на автомобиле,
с кем ты целовалась взросл?
А теперь ну разве что – к могиле
ветер принесёт тебе цветы.
Умирала Соня Коротышка,
девочка небесной красоты.

Или вот так – совсем по-другому:

Космонавтов очень жалко,
они лёгкие, как пчёлки.
То сломается держалка,
то взрывается заслонка:
вылетают как попало
на четыре стороны
то ли девочки с Урала,
то ли мальчики с Луны.
Дождь из мальчиков – на Землю,
дождь из девочек – на Марс:
это космос, грозный космос!
Жертв он требует от нас!
Очень странно... Непонятно
отчего и почему.
Только падают орлята,
будто пчёлки, на Луну.

Зачастую, желая вежливо поругать чьи-то стихи, про них говорят, будто они написаны неясно когда. Но такой подход работает в отношении линейного хода времени, а не обратного. Тут же тексты, созданные в 1991-м году, читаются как появившиеся только что. Да и отменные.

Второй раздел, посвящённый авторам, умершим до тридцати, с первого взгляда удивил ещё сильнее. Там, к примеру, не оказалась Бориса Рыжего. В этот момент определённо и настала пора связываться с организаторами. Ситуация оказалась предсказуемой: не удалось решить вопросы с авторскими правами. Кажется, и не только в этом случае. Пришлось сей юридический вопрос учитывать при дальнейшей оценке качества книги, что, конечно же, не очень хорошо, но ни в коем случае – не камушек в огород составителей.

Вообще, авторов, не доживших до тридцати, но оставивших в русской поэзии след, немало. Кроме известных всем классиков XIX века на ум приходят, к примеру, ифлийцы. Да и вообще представители военного поколения. Среди поэтов, вошедших в антологию «Уйти. Остаться.

Жить» тоже есть те, кто погиб на фронте – скажем, Александр Бардодым, но большинство уходило проще. И от того – в силу возраста – может быть, страшнее. Хотя, конечно, присутствие авторов, задержавшихся на Земле чуть дольше, заметней по сравнению с совсем молодыми коллегами. Некоторые, как Анна Горенко, уже прочно заняли место не только в этой и прочих антологиях, но и, как пафосно выражались раньше, «в читательских сердцах». Хотя почему пафосно? Верно ж говорили.

Другие условно-тридцатилетние продолжают свой путь к читателю после физической смерти. В этой возможности заключено несомненное, хотя и грустное, конечно, преимущество творческой судьбы. Кроме упомянутого уже Сергея Казнова, я б здесь в первую очередь вспомнил его тезку и коллегу по Литературному институту Сергея Королёва. При жизни у него вышло две маленьких и весьма несовершенных книги, а вот не так давно «Воймега» издала очень достойный, но, к сожалению, итоговый томик.

Из авторов этой возрастной когорты я б особо отметил волгоградца Леонида Шевченко. Его часто сравнивают с Борисом Рыжим, но если последний, уйдя, как-то сразу стал персонажем пантеона нашей литературы, то значение Шевченко очень сильно меняется с течением времени и в зависимости от того, кто это значение оценивает. Как ни странно, здесь тоже есть свой шанс: хорошо представленный корпус его текстов, изданный с любовью, может помочь осознанию масштаба этого поэта. Но да: составлять надо весьма тщательно. Он был очень разнотипным литератором.

А вот екатеринбуржец Тарас Трофимов ушёл накануне отчётливого перелома своей поэтики – от разговорной иронии и чуть наигранной брутальности к... Никогда мы не узнаем, куда вёл тот поворот, к сожалению.

Странно, однако ровно то же чувство недосказанности возникает при чтении поэтов, оставивших нас на четвёртом десятке своей жизни и составивших самый значительный раздел книги. Хотя чего тут странного? Это они здесь оказались взрослее всех, а так были ж совсем молодыми. Некоторые в их возрасте только входят в литературу – время потихоньку вновь делается неторопливым. И как-то вот так случилось, что именно авторы этой группы пре-

ждевременно умирали в самые последние годы. На очень-очень разных этапах своего творчества. Кто-то, как Роман Файзуллин, пребывал в явном, тяжёлом и системном кризисе. У других кризис этот носил какой-то дробный характер, что ли. Скажем, Алексей Сомов до последних дней писал замечательные стихи, а его личное неблагополучие было очевидно всем общавшимся с ним. Кажется, в ещё более глубоком и долгом кризисе находился и самый известный, заслуженно известный, автор и этого раздела, и всей книги. Речь, конечно, идёт о Денисе Новикове. Человек, не написавший в последние годы недолгой жизни ни одного стихотворения, сделался одним из главных поэтов рубежа веков. Был ли шанс это молчание прервать? Опять-таки – вопрос в пустоту.

А вот кто точно ушёл вдвойне, втройне обидно и на крайне важном рубеже, так это рязанец Алексей Колчев. Он присутствовал в литературе сравнительно давно, не менее полутора десятилетий, но все три его книги вышли в последний год жизни. И вошли в те книги стихи достаточно новые. Действительно: в какой-то момент поэт будто заново родился, зазвучав совсем иначе. Более того, в последние месяцы и даже дни жизни намечился ещё один поворот. Будто человек сперва вырuling на какую-то очень важную дорогу, а затем начал прокладывать абсолютно свой путь. Причём не просёлочную тропинку, но вполне автостраду. И тут вдруг...

Конечно, о каждом вошедшем в книгу поэте можно говорить и говорить. Хотя о них отлично сказали авторы недежурных биографических статей. Но об умерших избытка добрых слов не бывает. Можно также обсуждать, является ли данный том антологией в точном смысле слова. Тут составители отлично вышли из положения, дав подзаголовок «Антология чтений», но, согласимся, этот вариант можно принять и за уловку, пусть невинную. Однако этот разговор лучше оставить на потом, для более подходящего случая. Хочется всё-таки о более актуальном – о перспективах.

Действительно, разрыв между количеством авторов, упомянутых в отчётах о чтениях, и теми, кто представлен индивидуальными подборками, довольно велик. Хотя если мы примем наименование «Антология чтений» – тут составители не только имеют право на выбор, но и обязаны его делать. Только, боюсь, не во всех

случаях этот выбор был полностью определён вкусом редакторов. В ситуации с Борисом Рыжим – совершенно точно, о чём я писал выше. Возможно, в каких-то случаях не оказалось в наличии достаточно представительного корпуса текстов. Да мало ли может быть на свете причин?

Важен иной нюанс: как ни страшно, но список преждевременно умерших поэтов будет пополняться. Только за два неполных осенних месяца, минувших после выхода антологии в свет, нас оставили, к примеру, иркутянин Евгений Хрусталёв и житель Ярославля Никита Титаренко. Факт, что их имена имеют на сей момент локальную, хоть и значительную известность, отдельно прискорбен, но поправим. Так что предсказываю появление второго тома. К тому времени и привходящие проблемы, вроде той же ситуации с авторскими правами, могут так или иначе решиться. Другое дело, что спешить не следует: масштаб-то и этого тома, охватившего период в шестьдесят с лишним лет – между рождением Евгения Шешолина (1955 год) и гибелью Романа Файзуллина (2016 год) – ещё совершенно не оценён.

Сейчас бы показать эту книгу – достойно и в разных городах, чем, кажется, создатели его уже занимаются. Ещё б хорошо провести конференцию, посвящённую памяти коллеги и вдохновителя – Ирины Медведевой, умершей в период подготовки антологии. Словом, дел много. Только, как это давно повелось, исполнять их придётся на сугубом энтузиазме. Но уверен: начавшие сей процесс люди справятся. Команда-то собралась отличная.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

DIAMOND COLLECTION
И МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

Журнал «Новая Юность». Избранное (2015)

Гнездо. Литературный альманах. 2016. №3. – Иерусалим, LYRA Publishing House

Волею случая попались мне эти две книжицы одновременно – настолько разные, что поначалу мысль поставить их рядом в рамках любой рецензии показалась абсурдной. Из-

бранное «Новой Юности» в кричащих, чуть ли не африканских расцветок и узоров обложке – и альманах в строгом оформлении, с двумя картинками на вишневом фоне, ничего лишнего и подозрительного. Внутри всё в соответствии с заданным настроением – классическая рубрикация «Поэзия и проза», «Воспоминания», «Статьи» в «Гнезде», в «Новой юности» – сочетание классики с игровыми заголовками «Выход в город», «(И)збранные (Т)ексты (Д)вухтысячных». В общем, Diamond Collection (элемент оформления у НЮ, фишечка, как принято нынче говорить) и «Миндальное дерево» (картина Стеллы Аминовой на обложке иерусалимского альманаха).

Содержание не обманывает ожидания, поскольку публикации «Гнезда» в основном обращены в прошлое, будь то замечательные, на мой вкус, материалы Беллы Магид о Вере Френкель, Самуиле Лурье, или разные по уровню тексты авторов альманаха – Нины Ставиской, Елены Иоффе, Виктора Берлина, Ильи Данцига, Германа Гуревича. И хотя проза, да и стихи в «Гнезде» порой неотличимы от мемуаров, это не делает весь альманах однообразным. Скорее ощущаешь общее настроение, иначе говоря – ноту издания. Наверное, так и должно быть – единая тема эмиграции, внутренней в том числе, и узкий круг причастных к ней формируют свой особый герметичный мир, куда вряд ли массово побежит современный читатель. И редакторы, понимая это, не спешат экспериментировать с оформлением и составлением альманаха. При этом надо обязательно сказать, что мемориальный блок «Гнезда» обширен и включает в себя, помимо художественных текстов, воспоминания о Владимире Британишском, Людмиле Агрэ, Генрихе Тумаринсоне и др.

В «Избранном» царит стихия карнавала, бодрое многоголосье, но отдельные авторы не теряются в общем шуме, тем более что в основном имена публикующихся известны всем, кто следит за литературой последних лет. Проза в НЮ в меру фантастична, иронична, и заканчивается этот выпуск снами, именно так обозначен жанр произведений Ильгара Сафата. Сны, в отличие от ностальгических воспоминаний авторов «Гнезда», не о прошлом, а о будущем, которое, несмотря на пережитый апокалипсис,

оказывается вполне возможным. Есть в НЮ и запоминающиеся миниатюры Михаила Бару, и повести Сергея Катюкова и Валерия Бочкова, но больше других мне понравились проза Василя Махно «Бруклин, 42-я улица» (перевод с украинского Натальи Бельченко) и новеллы Хелле Хелле (перевод с датского Натальи Кларк).

Поэзия в «Избранном» представлена философски плотной лирикой Феликса Чечика – вот у кого ностальгия светла и строка дружиниста, как у молодого, – хорошими подборками стихов Алексея Дьячкова, Игоря Иртеньева, Инги Кузнецовой. Иван Ким, получивший премию НЮ за поэтический дебют года, думается, хорошо бы прозвучал на слэме, а в этом томе выглядит скромнее перечисленных поэтов. В рубрике «Тerra Поэзия» привлекают к себе внимание стихи Сергея Трунева, Михаила Свищева и Рафаэля Мовсесяна. Стихотворение Трунева я с удовольствием, в очередной раз злоупотребляя правом земляка и друга, здесь процитирую:

сын возвратился из школы и сразу
 давай умничать
 как бы доказывая, что их там чему-то учат
 знаешь, говорит, в австралии есть
 животные сумчатые
 знаю, говорю, даже тамошний бог сумчат

это у нас, говорю, в березняках да ельниках
 в вывернутых тулупах бродят порой
 медведи
 слышал ли ты историю про
 одноногого мельника
 сын промолчал, как бы принял к сведению

это у нас, говорю, овес завсегда
 прорастает в печени
 а огоньки на погостах теплятся
 злыми духами
 кот на дубу сладко мурлычет срамные речи
 сонму зверей вещает сказки для лопоухих

дым из печной трубы поднимается
 в ноздри богovy
 сталь раскаленная не оставляет
 на коже отметин
 я здесь живу, лет десять не обновляя логова

может, и хорошо, что ты этого
 ввремя не заметил
 но самые страшные звери бабочки
 и мокрицы
 бабочки крыльями бьют, вызывая
 приступы страха
 те же, вторые, крадутся к тем, кто еще
 не успел родиться
 и выгрызают дыры в радужных
 детских снах

В целом оба издания выглядят как минимум интересными. И пусть «Гнездо» и «Избранное» кажутся не совсем самостоятельными, так как трудно определить, что же это – мемориальный сборник в первом случае, дайджест или отдельный номер для НЮ, но, тем не менее, сопоставив их, понимаешь, что эти две области, практически не пересекаясь, существуют рядом, как бабочки и приступы страха в тексте Трунева. Без Веры Френкель, Василия Бетаки, Сергея Петрова, упоминаемых в иерусалимском альманахе, то избранное, что еще нами составляется, будет неполным, и тот срез современной литературы, который дает НЮ, актуален, пока мы держим в уме эти имена.

Сергей ТРУНЕВ

У ЧЕЛОВЕКА – ЗАЖИВИ

Привычка жить в гетто: неподцензурный поэтический альманах / [сост., авт. вступ. ст. А. Караковский, Е. Волкова, А. Щербаков и др.]. – М.: Алькор Паблицерс, 2016. – 200 с.

Признаться, я не слишком люблю гражданскую лирику. С одной стороны, если попадают в ней созвучные с твоими собственными социально-политические настроения, то надо бы похвалить, а за что? За высказанное в относительно узком кругу личное мнение? Это прекрасный материал для социолога, но причем здесь литература? С другой стороны, как правило, подобного рода произведения довольно несовершенны в плане формы, и в этом случае надо бы критиковать. А за что? За то, что подчас далекие от профессиональной литературы люди попытались поэтически оформить свои ощущения

от жизни в определенной стране, социальные и бытийные «филии», «фобии» и ожидания? Получается патовая ситуация, типа: «И прекрасны вы некстати, И умны вы невпопад».

Впрочем, мнение составителей альманаха склоняется все же к педалированию ценности содержания: «Профессионал почти всегда делает свою работу лучше любителя. Обычно в одном сборнике они не сочетаются: уж очень заметна разница в “классе” – уровне владения словом. Но здесь мы попытались объединить всех, и если человеку где-то не хватило поэтичности, он компенсировал это искренностью чувства и четкостью идеи». Тут можно поспорить, поскольку то, что может быть верным в отношении части (одного стихотворения), едва ли возможно без погрешностей спроецировать на целое (альманах как таковой). А при прочтении текстов всех сорока двух авторов возникает ощущение феномена, который недавно я определил термином «синдром больной собачки».

Вот, у дворовой собачки болит, скажем, нога. Но собачка не знает ни что такое «нога», ни что такое «болит», ни что она – «собачка». Ей просто плохо или почти невозможно жить. В данной ситуации она может невзначай кунуть прохожего, спрятать голову между лап и скулить или геройски броситься под проезжающую мимо машину. Синдром собачки – это тот хаос, который царит в головах подавляющей части россиян, ищущих причины собственных неурядиц неизменно вне себя, а именно в обществе и в представителях ими же избранной власти. Среди причин, отмеченных в произведениях авторов альманаха, есть весь набор транслируемых СМИ стереотипов (перечисляю далеко не все и просто в порядке следования): «девяностые годы», «последние годы советской эпохи», «война», «две женщины родом из гор», «перебитые в разборках мышцы и кости», «интеллигенция», «Болотная», «коммунизм», «чурки» и т.п. в самых разнообразных контекстах. Столь же инфантильны и предлагаемые способы преодоления наличной ситуации, варьирующиеся от «вешать и стрелять» до «пойти в церковь и всем миром покаяться» (в первом случае это цитата, во втором – пересказ настроения). И при этом есть лишь две ключевые фигуры, способные вывести страну из закоренелого до мурашек кризиса: Иисус Христос и Владимир Путин. В силу детской логики я бы добавил сюда

и Деда Мороза: во-первых, Новый год скоро и, во-вторых, он тоже может все.

Не будучи однозначным сторонником ни того, ни другого выхода из положения, позволю себе перейти к пунктирному анализу формы представленных в альманахе произведений. Оговорюсь только: по мере осознания специфики издания помимо констатации диагноза у меня сложилось устойчивое ощущение, что большинство авторов просто застряло где-то между 80-ми и 90-ми годами прошлого века, опоздав как без болезненного люфта войти в современность, так и осмыслить ее в новых, образца начала XXI века, терминах. Обращаюсь к авторам: «Друзья, пора бы давно осознать, что большая часть содержания ваших стихов – это фантомные боли давно уже не существующей в этом мире конечности».

Что касается поэтического оформления социально-политического жеста (назовем это так), то, в целом, соглашусь с мнением составителей: оно далеко от совершенства. В некоторых стихах обнаружилось нечто совсем уже истерически-разухабистое. Например, в тексте Алексея Караковского «Мама, я не буду феминисткой»:

Нас кормил Госдеп рублями, героинои
и соплями,
Что с колен не встанет наша Русь,
Но теперь я изменилась и жую ночами
силос,
И ни с кем я больше не ебусь.

Не имею ни малейшего представления о том, кто кого и чем кормил, но рифма к слову «Русь» не кажется мне вполне подходящей, равно как и перспектива поменять сопли на силос, отказавшись при этом от половой жизни. В данном случае хрен редьки слаще... Вообще, в альманахе много неумелого, студенческого мата. Я отнюдь не ханжа и, как всякий русский человек, приемлю его и в поэзии, но что касается сборника – многовато. И совсем нет музыки, которая (это применимо и к бардовской поэзии альманаха, и к шансону, и к рэпу), несколько перефразируя слова Алексея Цветкова, способна исправить очевидную хромоту стиха. По поводу хромоты приведу в пример своеобразную эскалацию рифмы в тексте Михаила Новицкого «Рассказ водителя “Скорой помощи”»:

сто Косино, изредка – не слишком от них отличающееся ближе Подмосковьё: Реутов, Люберцы, Подольск. Впрочем, это для стороннего наблюдателя они не имеют лица, а наблюдатель Данилова умудряется отличать их, притом на подсознательном уровне. Руководствуясь только внешними признаками, это, по-видимому, не под силу сделать даже ему, по крайней мере, из текстов это никак не следует. Внезапно появляющийся нелокализованный посёлок Железнодорожный, Иерусалим и итальянский Бари через призму воспоминаний – скорее, дополнения в обе стороны, последний, кстати, тоже, заметим, не самый живописный город полуострова. Важная составляющая – Данилов всегда конкретен в своей системе координат. Не просто электричка, а «электричка до Чехова», не какая-то улица, а *Николая Старостина / Основателя ненавистного «Спартака»*.

Авторский взгляд перемещается от крупного к малому, потом совсем малому, а когда уже и это невозможно разложить, можно перейти к разлаганию объекта во времени. В этом смысле очень характерно стихотворение «ВЛ-10». Факт, на основе которого оно возникает, описывается в семнадцати строках, а затем ещё раз укладывается в следующие за зачином три (а можно было даже в одну):

Ничего не значащее атомарное событие
Описываемое простым, атомарным
предложением
«Проехал электровоз»

И тут сам приём становится частью произведения:

Но можно посмотреть на это событие
По-другому
Например, так

Затем этот другой взгляд разворачивается почти на шесть страниц: время течёт очень медленно, появляется точка, которая постепенно увеличивается, вот это уже не точка, вот это уже электровоз, *Он приближается рывками / Как в видеофайле / Низкого качества*, да не просто приближается, а *Ещё три метра пролетел электровоз / Ещё на полтора метра приблизился*, и так далее. В ход идёт не только визуальное, но и нагнетание звуковой волны, отсылки к вос-

станию машин и теням, оставшимся от жителей Хиросимы. Электровоз в данном случае представляется inferнальным Ахиллесом, в роли черепахи все остальные – женщина, бегущая по выхинской платформе к стоящей электричке, наблюдатель, сам Данилов, читатель. В отличие от зеноновской апории время и пространство невозможно делить бесконечно, стальной герой, естественно, догоняет черепах, но, разумеется, ничего катастрофического не происходит, и вот он с лицом интеллигентного рабочего отъезжает от станции, состояние нервного ожидания внезапно прекращается, бегунья на каблучках успевает попасть в ожидающий вагон, жизнь предсказуема, но хороша.

Другое произведение посвящено лежащему в основе мироздания автобусному маршруту №14, *Который следует / От станции Реутово / До Святоозёрской улицы*, отражённому и на обложке странным созвездием. Он, собственно, и производит два возможных состояния – ожидание и поездку внутри, здесь уже наблюдатель [тире] лирический герой [знак приближённого равенства] автор вместе с автобусом выступает в роли Ахиллеса, стремящегося к пределу в виде достижения магазина «Отдохни», продающего алкоголь до 22.00. И тоже преуспевает. Как можно предположить, существование всё время в одной и той же реальности губительно для творческого духа, но и эта проблема разрешима без изменения оптики. Абсурдная топонимика новых кварталов, да и урбанистика вообще становятся частью нечто большего, абсурда высшего порядка. Условный Николай Степанович (никак не Гумилёв) без помощи летательных аппаратов может подняться над не менее условным Железнодорожным, а вот среди городских маршрутов вместо «автобуса один» могут попасться последовательно «автобус пять с половиной», «автобус квадратный корень из шестисот семидесяти пяти», «троллейбус Й», и если в какой-нибудь из них сесть, то, чтобы достичь цели (возможно) придётся пересаживаться, а для этого надо выйти

Через сто восемьдесят две остановки
На сто восемьдесят третьей
Она называется, ох, как же она называется
Кажется, ПХБЭЭЖМ №388-9
Как-то так, а точно не помню
Или ПХБЭЭЖМ №399-8

Инна ДОМРАЧЕВА

ЗДЕСЬ БЕЗДНУ ЗАВОРАЧИВАЛИ

Сергей Ивкин. Грунт. – Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2016. – 80 с.

Вы никогда не оказывались в незнакомом районе мегаполиса в маршруте, идущем то ли туда, куда надо, то ли не совсем? Ну, вот. К тому же тут не Запад, не всё ещё зарегулировано, даже если что-то написано на табличке, а тем более не написано, это ещё ничего не значит, ведь как говорит водитель, которого докучливый пассажир отвлек от его труда космического масштаба: *Откуда я знаю / Доедем или не доедем / Поедем, а там видно будет.* Будь то автобус, трамвай или челнок между мирами (Гумилёв снова ни при чём). Альтернативная история Грегора Замзы и Бари с Иерусалимом занимают своё место в сборнике, но они – не главное. Основное, так или иначе, остаётся в России, где, во-первых, если отправиться в путь, обязательно но будут

Какие-то пустынные пространства
Или какие-то гаражи, что ли
Какие-то сараи непонятные
В общем, что-то такое неопределенное
Что-то такое, что мы любим
В нашей России
Непонятно что

А во-вторых, Россия сама

...в значительной своей части
Это непонятно что
Едешь, смотришь – и не понимаешь
Что это такое, что же это такое
А потом понимаешь
Что это – просто фрагменты жизни

Они здесь, эти фрагменты, независимо от масштаба: смерть знакомых, размышления над Евангелием от Матфея, рассуждения о музыке, вылет московского «Динамо» из высшей лиги или даже просто зелёные газоны на компьютерном симуляторе под песни Янки (да, и здесь автор книги «Есть вещи поважнее футбола» себе не изменяет).

А дальше непонятно, что сказать
Или написать
Нет привычного закругления
Да и не надо
И поэтому текст будет просто окончен
Всё, текст окончен

Название восьмой книги екатеринбургского поэта Сергея Ивкина «Грунт» обманчиво дважды. Почвенный слой, сквозь который пробивается робкий, но бесстрашный росток, – так выглядит картинка на обложке, – как бы буквальизирует заголовок.

И когда доверчивый читатель соглашается принять его *in natura*, читатель хитрый и проныцательный вспоминает о том, что автор – художник, причём прошедший классическую школу изобразительного искусства, поэтому грунт – это не тот грунт, из которого растут, а тот, что наносят на холст.

Но здесь-то излишне хитроумного читателя и подстерегает вторая ловушка. В действительности автор книги не пытается встать на позицию Творца, отгородиться от описываемой реальности – он полностью погружён в неё. Или, скорее, вбит – по колени, по плечи и, наконец, с головой.

«Травяной кит» – так на одной из презентаций автор называет изображённый на обложке росток. И потому, будучи вдавлен в жёсткую, неподатливую среду, автор – нет, конечно, уже лирический герой – не диссоциирует, не распадается, а начинает плыть, разрыхляя и смягчая эту реальность. Делая возможным нахождение в этой почвенной взвеси не только его самого, но и вовлечённого читателя.

Несмотря на то, что «Грунт» очевидно самая сильная на данный момент книга автора, Ивкин пока не вполне преодолел некоторой травестированности своего словаря. «Понты», «фенечки» и иные субкультурные жаргонизмы девяностых то и дело вкрапляются во взвешенную, выверенную речь зрелого поэта. Складывается впечатление, что автор боится или, вернее, стыдится предельности, крошечности своих текстов, и как бы отмахивается от читателя: «Бездны? У меня? Да не смешите...»

Не впадая в гаерство, автор, однако, нередко прибегает к спасительной броне самоиронии:

Здесь не бывает работы.
 Здесь не бывает расплаты.
 Здесь ничего не бывает.
 Люди как люди, в печали.
 Вот, сочинили субботу.
 Вот, осудили Пилата.
 Вот, запустили трамваи.
 Новые звёзды включают.

Почти физически осязаемый отказ от перспективы, демонстративно плоскостное, средневековое письмо становится в суперпозицию по отношению к вещной и одновременно метафизически знобкой ноте, свойственной лучшим образцам комадеевской лирики. Адресная схожесть, связуемость двух поэтов сохранена лишь на уровне чистоты звука.

На протяжении всего этого безумного заплыва через грунт автор то и дело ударяется о камень. О тот самый камень, который – сердце. Мы находим его в ещё одном почти двумерном тексте, адресованном Комадею: «Камень, скажи своё имя!..» – Не даёт ответа.

Но одно имя среди множества посвящений камень всё же очевидно выделяет – Екатерина Симонова. Первое стихотворение в сборнике носит эпиграф из её переводов печальной парижанки Анны Арно, а дальше мы встречаем и прямое посвящение Екатерине – другу и редактору, причём, быть может, редактору не столько слова, сколько сердца и бытия:

Твоего: то, что жаждет
 полыхающих вишен
 и вышитых бисером улиц,
 заплутавших трамваев,
 оставленных кем-то в пустыне,
 убегающих птиц,
 позабывших возможность полёта.
 Остальное – не здесь.
 Не твоя, врачевателя, ноша.

И здесь поэт откровенно приемлет свою общность с поэтикой Екатерины, общность прежде всего фонетическую, интонационную. Но из этой интонации следует бережная пристрастность к каждой молекуле вещного мира, горечь и радость, перебираемые, будто чётки, будто бусы из бабушкиной шкатулки...

Большинство текстов, вошедших в сборник, появляются в период, когда у автора происходит яростное отторжение силлабо-тонического катрена как способа структурировать текст. «Четверостишие – это мёртвая, косная форма, – декларирует Ивкин параллельно написанию “Грунта”. – Это фонетическое решение – гранёный стакан, и если он вообще допустим в современной поэзии, то его содержание должно быть абсолютно прозрачным – как спирт в этом самом стакане!»

И в стихотворении «А центр у моей вселенной...» мы видим, как внутри катренов плещется этот самый спирт предельной, беспощадной точности. Он выплёскивается на читателя, прямо на кожу, ободранную в стремлении плыть сквозь землю в кильватере автора, обжигает и saniрует:

А центр у моей вселенной
 (бумагу протирает взгляд),
 «где георгины о колено
 ртом шевелят».

Постиг, Василия блаженной
 (искрит зеркальное пшено):
 любое из отображений
 рта лишено.

Книга Ивкина не площадна, не плакатна, и заканчивается она не на ударную долю. Прорыв наступает до финала, и завершающее стихотворение мягко выносит, отпускает читателя к выходу:

Так чувствуется:
 Даосы намудрили с описанием
 Большой Колесницы
 Буддой становится всякий, кому
 надоело страдать

Что же произойдёт, когда – возможно, уже в следующем сборнике? – Ивкин сбросит балласт устаревшего арго и неприятия маркированного как чья-то чужая собственность инструментария? Вынырнет ли он к свету и воздуху, или напротив, нырнёт к в каменный расплав ядра речи? Для автора, понятно, предпочтительно первое. Для нас – второе.

16 марта – 15 апреля: Выставка В.Ф. Чудина, к 80-летию художника. Живопись. Саратов, Дом-музей Павла Кузнецова, филиал Радищевского музея

12 августа – 18 сентября: Выставка В.А. Солянова «Путевые знаки». Там же.

В Саратове живопись и литература как-то очень тесно переплелись ещё со времён «Путешествия из Петербурга в Москву», сочинения господина Радищева, чьим именем назван Художественный музей в Саратове, основанный его внуком А.П. Боголюбовым, автором «Записок моряка-художника».

Олег Рогов, редактор журнала «Волга», рассказывая о объединении «Контрапункт», так описал культурное пространство Саратова конца 80-х годов двадцатого века: литература: выжженная территория, более значима традиция художественная, связанная и с кружками периода «Мира искусства» и с послевоенными художниками, репатриантами Гушиным, Юстицким (цитата не совсем точная, точнее в ссылке: <http://oktv.media/informakanal/gost-v-studii/oleg-rogov-saratov-kak-vyzhzhennaya-territoriya.html>). К «кругу Гушина» принадлежат Чудин и Солянов. Оба живописца, и светлый, весенний Чудин (он и родился ранней весной, 8 марта 1936 года) и сдержанный, лаконичный Солянов (родился 26 мая 1927 года) задали некую планку культурной жизни города, обозначили уровень. Высокое мастерство при отсутствии ангажированности. «Контрапункт» – единственное объединение, членом которого за всю свою жизнь был Чудин (не будучи литератором). Членом Союза художников он так и не стал. Не состоял в СХ и Солянов. Вокруг этих мастеров формировался свой союз – не только художников. Литераторы и музыканты, первый саратовский неподцензурный поэт Ярыгин, врач Николай Григорьев – автор идеи «Формулы цвета»... Подробно об этом пишет постоянный автор «Волги», художник и литератор Вячеслав Лопатин: <http://magazines.russ.ru/authors/l/vlopatin>

Переплелись живопись и литература в творчестве Солянова – он автор книги «Магеста», изданной Радищевским музеем в 2003 году. Главные идеи: абстрактное искусство как путь духовного роста, храм искусства как средство гармонизации личности и мира, абстракция как универсальный язык живописи плюс личное – автобиография и окружающая действительность, тёплое и захватывающее повествование. «Мое самодвижение в искусстве от реалистической живописи к абстрактной было связано... с поиском экономной и выразительной художественной формы в ее неразрывной связи с содержанием. Это не было логической установкой, а скорее – внутренней потребностью, данной мне изначально». А из высказываний Чудина мне больше всего почему-то запомнилась фраза, его ответ на вопрос тележурналистки в середине 90-х годов: «Что делать в наше смутное время?» – «Не надо суетиться».

Обе выставки стали последними прижизненными. 13 сентября 2016 года, за несколько дней до завершения работы экспозиции, умер Владимир Алексеевич Солянов. Заранее запланированное обсуждение выставки совпало с поминками. Через полтора месяца, первого ноября, не стало Виктора Фёдоровича Чудина.

Николай Аржанов

20 августа подписан в печать юбилейный 50-й номер журнала «Волга»

№7-8, а по общей нумерации 463-й номер «Волги» – пятидесятый с момента возобновления выхода журнала, то есть с июля 2008-го года. На сайте Журнального зала он появился в первых числах августа, породив волну доброжелательных откликов в социальных сетях, куда в наше время переместились литературные дискуссионные площадки, а затем через некоторое время и в привычном типографском виде. Стоит заметить, что теперь, когда у нас появился свой сайт <http://volga-magazine.ru/>, журнал стало проще читать в формате удобной для большинства pdf-версии.

В юбилейном выпуске, собственно, нет ничего особенного: как и обычно, публикуются и постоянные, и новые авторы – Алексей Порвин, Сергей Соловьев, Евгений Стрелков, Анатолий Бузулукский, Андрей Пермяков, Игорь Бобырев, Евгения Некрасова, Кусчуй Непома и др.

Все по-прежнему и с географией номера, она, как всегда, обширна – Москва, С-Петербург, Нижний Новгород, Германия, Бельгия, Израиль. Саратов присутствует в рубриках «Жизнь художников» (Вячеслав Лопатин) и «Архив» (Алексей Голицын представляет протокол собрания саратовского отделения Союза советских писателей от 23 марта 1949 года).

За это время – с первого номера возобновленного издания по юбилейный – «Волга» опубликовала более 400 авторов.

Алексей Александров

8 ноября – презентация в Государственном музее К.А. Федина книги Алексея Голицына «Про поэта Валентина Ярыгина» (СПб.: Красный матрос, 2016)

С каждой новой публикацией стихов Валентина Ярыгина в «Волге» (1999, №3; 2000, №413); особенно после публикации его поэмы (2009, №1-2), я понимал, что напечатал всё, или почти всё из того, что мне хотелось бы. Но это был, так сказать, «антисоветский» Ярыгин, лишь одна сторона его творчества, высеченная данными публикациями. Книга, подготовленная Алексеем Голицыным, дает практически полное представление о Ярыгине со всеми его советскими иллюзиями (или убеждениями), катастрофически не вписывающимися в дозволенную к печати поэзию тех лет. Это издание, по сравнению с «волжскими» (и не только) публикациями значительно расширяет контекст восприятия. Издание сделано с уважительным тщанием – архивные фотографии разных лет и репродукции художественных работ, глубокое исследование реальной биографии Ярыгина, предпринятое публикатором, – все это позволяет по-новому взглянуть и на известные тексты «проклятого поэта», и уловить шум глухого времени, который тогда звучал в наших широтах. Эхо оказалось на удивление громким.

Олег Рогов

16 ноября – день рождения «Контрапункта»

Литературно-художественная ассоциация, существовавшая в Саратове с 1986 по 1991 годы (см. статью Сергея Рыженкова «Контрапункт» // Новое литературное обозрение. 2001. №43(2). С. 317–324), отмечала 30-летие в помещении театра «Балаганчикъ». Формат видеоконференции позволил заинтересованным лицам собраться – на этот раз в виртуальном пространстве – и обменяться мнениями о том, что представляло собой то время с высоты прошедших десятилетий. Исторические экскурсы в дополиграфическую эпоху чередовались с уточнениями знаковых ситуаций, в том числе, связанных с приемом поэтов-гостей (Д.А. Пригов., О. Седакова, Е. Шварц и других), прозвучали, что отрадно, новые стихи участников объединения и их друзей. На следующий день логическим продолжением этого мероприятия стал спектакль «Балаганчика» по стихам Е. Малякина, С. Рыженкова, С. Покровской и И. Преображенского «Контрапунктом» (преьера состоялась в этом году, спектакль в репертуаре театра) и творческий вечер поэта Игоря Сорокина. Освоение «Контрапунктом» современного культурного пространства имело еще одну форму – машинописный периодический журнал с тем же названием (на всякий случай, подчеркивалось, что это издание не является печатным органом ассоциации). Номера «Контрапункта» сегодня можно найти в сети в виде сканов, «Волга» тоже обращалась к его страницам (2015, № 11-12).

Олег Рогов

20 ноября – День рождения АТХ

Театр АТХ (Академия Театральных Художеств) был образован в Саратове в 1988 году под руководством Ивана Верховых. Театр получил культовый статус благодаря новаторским постановкам с упором на литературную составляющую сценического действия. За основу спектаклей брались не только пьесы («Моцарт и Сальери» Пушкина, «Эмигранты» Славомира Мрожека, «Правда, мы будем всегда?» Сергея Козлова, «Когда пройдет пять лет» Ф.Г. Лорки или «Как я съел собаку» Е. Гришковца), но и прозаические произведения, которые не создавались авторами в расчете на сценическое пространство: «Почему я лучше всех?» по текстам Даниила Хармса, «Прекрасность жизни» по рассказам Евгения Попова, «В ожидании Коровкина» по повести Достоевского и «Незаживающий рай» по произведениям **Владимира Казакова**.

Именно с подачи режиссера Ивана Верховых наследие **Владимира Казакова** – продолжателя традиций футуристов и обэриутов – неоднократно публиковал журнал «Волга» (см. №4, 1995, №1-2, 1997, №8, 1998, №1, 2000).

После распада в 2003 г. АТХ собирался в своем классическом составе дважды – на юбилей в 2013-м и летом текущего года. 17-18 августа в саратовском Доме кино артисты представляли свой самый известный спектакль по Хармсу, который в начале 90-х сделал их звездами российской сцены.

20-21 августа актер Виталий Скородумов сыграл полностью переработанную версию своего моноспектакля «Осенний крик ястреба» по стихам Бродского (преьера 1996 г.). Возобновленный спектакль был поставлен в мастерской Саратовского художественного училища – еще одного культового пространства Саратова, которое скоро прекратит свое существование в нынешнем статусе.

Алексей Голицын

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ ЗА 2016 ГОД

ПОЭЗИЯ

- Александр Авербух.** Свидетельство четвертого лица. №11-12. С. 160
Алёна Алексеева. «снились: тарковский...» и др. №5-6. С. 173
Ольга Аникина. Женщина по улице идёт. №9-10. С. 217
Ольга Баженова. Малые ветки. №9-10. С. 131
Иван Белецкий. «Анапа» и др. №1-2. С. 3
Игорь Бобырев. «я писал что-то а потом посмотрел...» и др. №7-8. С. 52
Герман Власов. «Теряет, кто боится потерять...» и др. №3-4. С. 173
Владимир Гандельсман. «Одна жизнь» и др. №5-6. С. 146
Светлана Гусева. «разместились скучно хлопотно...» и др. №11-12. С. 226
Елена Зейферт. Вода в броске. *Поэма.* №1-2. С. 146
Валерий Земских. «Оно прошло сквозь дверь...» и др. №11-12. С. 214
Виталий Зимаков. В корни грая. *Стихи.* №1-2. С. 86
Евгения Изварина. «...ночью струится по чёрной фольге...» и др. №5-6. С. 150
Иван Козлов. «Пусть меня забирают по праву...» и др. №11-12. С. 3
Александр Корамыслов. «у тебя там – не закрытый перелом...» и др. №7-8. С. 105
Денис Липатов. Мы этим дышим. №7-8. С. 47
Ирина Машинская. Из стихов двенадцатого года. №9-10. С. 230
Елена Михайлик. «В новом сладостном вкусе...» и др. №3-4. С. 134
Рафаэль Морсевич. «мир начинается с описания...» и др. №9-10. С. 238
Станислава Могилёва. «вот лодка /не переставая/...» и др. №9-10. С. 135
Михаил Моисеев. «Человек отпускается по рецепту...» и др. №11-12. С. 254
Владимир Навроцкий. «Ёж» и др. №9-10. С. 3
Лев Оборин. «Темнот всего семь, и седьмая...» и др. №1-2. С. 116
Андрей Пермяков. Новые стихи для Жени Коробковой. №11-12. 207
Александр Петрушкин. «Свернувшись, кровь в царапине звенит...» и др. №7-8. С. 63
Алексей Порвин. «Сквозь воду дождевую плохо...» и др. №7-8. С. 3
Сергей Сдобнов. Три источника сердца. №9-10. С. 226
Сергей Соловьев. Блуждающий театр. №7-8. С. 9
Григорий Стариковский. «кривизна облезлых заборов...» и др. №3-4. С. 139
Сергей Стратановский. Разноголосица. №5-6. С. 3
Евгений Стрелков. Таблица Гмелина. №7-8. С. 94
Елена Сунцова. «Ласточка на хайвее...» и др. №1-2. С. 110
Андрей Тавров. Буква Иероним. №7-8. С. 68
Андрей Торопов. «Вспоминаю сладких моих подружек...» и др. №5-6. С. 165
Андрей Фаицкий. «как ярко вспыхивает спичка...» и др. №9-10. С. 240
Тариэл Цхварадзе. «Разливное пиво, раки...» и др. №1-2. С. 139
Наталья Черных. Три элегии памяти Ю.М. №11-12. С. 203
Феликс Чечик. «под какую мелодию примем...» и др. №3-4. С. 178
Сергей Шаталов. *Стихи из цикла «Слова под наблюдением».* №5-6. С. 178
Валерий Шубинский. «Роланд кричит на смерть из рогового рупора...» и др. №3-4. С. 3
Сергей Шуба. «Дети правда тебя отпускали одну...» и др. №11-12. С. 34
Рафаэль Шустеревич. Скворечник №13, №3-4. С. 180

ПРОЗА

- Каринэ Арутюнова.** Падает снег, летит птица. №5-6. С. 154
Герман Бер. ковальски. *повесть.* №11-12. С. 8
Анатолий Бузулукский. *Три рассказа.* №7-8. С. 54; *Учительницы. Повесть.* №1-2. С. 88
Родион Вереск. Большая Медведица. *Рассказ.* №5-6. С. 168
Валерий Володин. Там, на краешке бессмертного лета. *Быль.* №1-2. С. 120
Александр Дергунов. Кадры решают всё. *Из цикла «Конец эпохи двух нолей».* №11-12. С. 218
Алла Дубровская. Египетский дом. *Повесть.* №11-12. С. 164

- Роман Камбург.** Балинеш. *Рассказ.* №7-8. С. 60
Андрей Клепаков. Опекун. *Повесть.* №9-10. С. 142
Борис Клетинич. Моё частное бессмертие. *Роман.* №1-2. С. 6
Андрей Краснящих. Глава последняя (из романа «О себе»). №5-6. С. 175
Юрий Лунин. Три века русской поэзии. *Рассказ.* №7-8. С. 27
Вадим Месяц. Преступление и наказание. Шинель для Лейбы. *Рассказы.* №3-4. С. 164
Макс Неволошин. Уходишь – счастливо, приходишь – привет. *Рассказ.* №7-8. С. 97
Евгения Некрасова. Ложь-молодежь. *Повести-близнецы.* №7-8. С. 14
Кусчуй Непома. Фантастические истории, записанные во время своих странствий Йозефом Кра-алем, алхимиком из Праги. №7-8. С. 76
Михаил Окунь. Шахматный рассказ. Аралия и лимоны. *Рассказы.* №1-2. С. 142
Андрей Резцов. Короткие истории. №9-10. С. 234
Алексей Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него. *Роман.* №5-6. С. 5
Андрей Тавров. Клуб Элвиса Пресли. *Роман.* №11-12. С. 38
Владимир Тучков. Русский холод. *Надуманное.* №3-4. С. 144
Егор Фетисов. В противоположную сторону. *Рассказ.* №3-4. С. 170
Николай Фоменко. Взять тёплые вещи. *Рассказ.* №1-2. С. 106
Вячеслав Харченко. Домик-пряник. *Рассказ.* №1-2. С. 149
Олег Хафизов. Вышка в Монтебеле. *Рассказ.* №9-10. С. 221
Сергей Чернов. Очень странная игра. *Рассказ.* № 11-12. С. 223
Вадим Шамшурин. Вокруг кошки. *Рассказ.* №3-4. С. 171
Владимир Шапко. Синдром веселья Плуготаренко. *Роман.* №9-10. С. 14
Сергей Шикера. Египетское метро. *Роман.* №3-4. С. 9

ПУТЕШЕСТВИЕ

- Каринэ Арутюнова.** Окрестности улицы Данте. Из книги «В тени тутового дерева». №11-12. С. 234
Михаил Бару. Таракан на канате. №1-2. С. 156; Самовар лоцмана Воронина. №3-4. С. 184
Андрей Пермяков. «Петушки – Москва. Поехал» и др. главы из книги «Тяжкие кони Ополя, или “Просёлки” через шестьдесят лет». №5-6. С. 181

РЕТРОСПЕКТИВА

- Сергей Боровиков.** По страницам журнала «Огонек» 1945–1953. №1-2. С. 178
Анна Голубкова. Василий Розанов как первый русский блогер. №9-10. С. 248
Сергей Слепухин. Путь анархиста: Маяковский в зеркале Гросса. №7-8. С. 108

БИБЛИОМАН

- Наталья Черных.** Пять книг первой половины 2016 года. №5-6. С. 209; Жест отстранения. *Геннадий Каневский. Сеанс (избранные стихотворения); Александр Петрушкин. Лазарет: стихотворения замкнутого пространства; Дана Курская. Ничего личного. Стихотворения.* №9-10. С. 252

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

- Данила Давыдов.** За пределами диалога: О творчестве Бориса Фалькова. №1-2. С. 205
Татьяна Грауз. О стихотворениях «Без названия» у Геннадия Айги. №5-6. С. 203
Виктор Селезнев. Социалистическая утопия или социалистический реализм? Сон Веры Павловны, или Явь XX века. *Публикация Елены Селезневой.* №3-4. С. 209

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

- Владимир Коркунов.** Сюжетные метаходы в «Капсуле времени» Марии Малиновской. №9-10. С. 243
Анна Сафронова. Осенние отражения. *Наталья Ключарева. Счастье. Роман; Анна Козлова. F20. Кинороман.* №11-12. С. 254

Алексей Александров. Молекулы текста. *Е. Стрелков. Молекулы.* №1-2. С. 211; Варианты прочтения. *Иванів В. Себастиан и в травме.* №3-4. С.216; Привыкая к скорости. *Станислав Бельский. Путешествие начинается.* №5-6. С. 216; Блажен, кто напомнил. *Настя Запоева. Почти красиво.* №7-8. С. 154; Diamond Collection и Миндальное дерево. *Журнал «Новая Юность». Избранное.* 2015; Гнездо. *Литературный альманах.* 2016. №3. №11-12. С. 263

Анастасия Андреева. Трилистники вневременья. *Михаил Окунь. 33 трилистника.* №7-8. С. 155

Анна Голубкова. Точность и конструктивное многообразии. *Татьяна Бонч-Осмоловская. Истоки истины.* №1-2. С. 213

Инна Домрачева. Здесь бездну заворачивали. *Сергей Ивкин. Грунт.* №11-12. С. 268

Владимир Коркунов. Между городом и героем. *Мария Галина. Автохтоны.* №7-8. С. 152

Александр Котюсов. Точка деградации. *Вадим Демидов. Яднаш.* №5-6. С. 221

Денис Липатов. Литературная мифология Тольятти. *Антология независимой литературы Тольятти (1990–2014).* №9-10. С. 255

Андрей Пермяков. Частности. *Дмитрий Данилов. Есть вещи поважнее футбола; Александр Ильенен. Пенсия.* №3-4. С. 218; «Никто не знает, как мне на самом деле бывает страшно...». *Наталья Санникова. Все, кого ты любишь, попадают в беду.* №5-6. С. 217; След колеса, объехавшего цветок на асфальте. *Ольга Роленгоф. Время варваров.* №7-8. С. 159; Виток. *Игорь Бобырев. Все знают, что во время войны в мою квартиру попал снаряд.* №9-10. С. 257; Продолжение, увы, следует? *Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2012–2016).* №11-12. С. 260

Анна Сафронова. «Собака, бегущая прямо-боком-наперед». *Владимир Шапко. Лаковый «икарус».* №1-2. С. 216; Живое дело Виктора Селезнева. *А. Сухово-Кобылин. Дело: драма в пяти действиях / Комментарий В.М. Селезнева, Е.С. Калмановского, послесловие В.М. Селезнева.* №3-4. С. 214

Иван Стариков. Ахиллес из Выхина. *Дмитрий Данилов. Два состояния.* №11-12. С. 266

Сергей Трунев. Алексей Григорьев: неслучайность случайного. *Алексей Григорьев. Книга случайных чисел.* №3-4. С. 217; У человека – заживи. *Привычка жить в гетто: неподцензурный поэтический альманах.* №11-12. С. 264

Валерий Шубинский. Полной грудью. *Вадим Месяц. Стихи четырнадцатого года.* №1-2. С. 209

СТРАНИЦЫ ВТОРОЙ КУЛЬТУРЫ: ИЗБРАННОЕ

Сергей Стратановский. Эпоха самиздата: что это было? *Переписка Сергея Стратановского и Кирилла Бутырина.* №1-2. С. 194

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Вячеслав Лопатин. Не «Ностальгия», а воспоминание. *Из цикла «Беседы на выставке».* №7-8. С. 163

АРХИВ

Михаил Решетников. Книга воспоминаний (Фрагмент). *Публикация Олега Решетникова.* №3-4. С. 223

Вредные шарахания и злобные выпады. *Протокол одного собрания. Подготовка текста, вступительная статья, примечания Алексея Голицына.* №5-6. С. 225

Хлесткая частушка и церковное мракобесие. *Протокол одного собрания. Подготовка текста, вступительная статья, примечания Алексея Голицына.* №7-8. С. 173

Последыши эстетства и их космополитические уши. *Протокол одного собрания. Подготовка текста, вступительная статья, примечания Алексея Голицына.* №9-10. С. 260

НАША ХРОНИКА

Николай Аржанов, Алексей Александров, Олег Рогов, Алексей Голицын. №11-12. С. 273

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 19 декабря 2016 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/volga/>
Персональный сайт:
<http://volga-magazine.ru>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.